



**ВОСТАВШАЯ
МЕКСИКА**

**РАССКАЗЫ
И ОЧЕРКИ**

**ДЖОН
РИД**



**ВОССТАВШАЯ
МЕКСИКА**

**РАССКАЗЫ
И ОЧЕРКИ**

ПЕРЕВОДЫ
С АНГЛИЙСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1959

Составление и вступительная статья

И. И. А н и с и м о в а

Переводы под редакцией

И. Г у р о в о й

Оформление художника

Л. Л А М М А

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЖОНА РИДА

1

Как ни старались капиталистические Соединенные Штаты Америки отгородиться от влияния Великой Октябрьской социалистической революции, это влияние было могучим и несокрушимым. Ни интервенция, в которой весьма активно участвовали Соединенные Штаты, ни политика непризнания, в которой твердолобые реакционеры упорствовали до последней возможности, ни бешеная антисоветская пропаганда — ничто не могло остановить этого влияния. О пробуждении масс свидетельствовали забастовки такого размаха, которого они еще никогда не достигали в Америке, рост народных симпатий к советской России и эпидемия «красного страха», охватившая американскую буржуазию¹.

Широкие массы рабочих в США отнеслись к Октябрьской революции с таким же горячим сочувствием, как и во всем мире. Совершавшееся повсюду духовное раскрепощение передовой интеллигенции происходило и в Америке. «Революция в умах» шла здесь полным ходом и находила самые разнообразные формы своего выражения. Эптон Синклер принимает участие в движении «Клартэ», и самый злободневный из его романов — «Джимми Хиггинс» — повествует о том, что простые люди Америки принимают близко к сердцу дело советской революции. Линкольн Стеффенс выражает свое восхищение советской Россией, уверенно прокладываящий путь в будущее. Среди писателей все шире распространяются революционные настроения.

¹ Понятие «красного страха» так прочно вошло в обиход американской реакции, что недавно Р. К. Мэррей выпустил книгу под названием «Красный страх. Исследование в области национальной истории 1919—1920 гг.» и, таким образом, поставил целый период современной истории США под знак паники перед угрозой революционного взрыва. Книга Мэррея вышла в 1955 году.

Все больший размах приобретают литературные явления, в которых отражены социальные потрясения, произведенные первой мировой войной, а также тем воздействием, которое оказала Великая Октябрьская социалистическая революция, до глубин всколыхнувшая народные массы во всем мире.

О масштабе совершившихся в американской литературе сдвигов можно судить по публицистике Драйзера конца десятых годов. Впервые автор «Гения» вступает в такую ожесточенную схватку. Все написанное им ранее, бесспорно, подводило к выводам, которые он теперь делает, но сделать эти смелые выводы ему помогли великие события. Они озарили новым светом творчество Драйзера. Он открывает такие образы, как Джон Парадизо — человек, который уже «не может мириться с окружающей действительностью», которого «покидает спокойствие».

Конец десятых годов — замечательно плодотворное время для американской литературы. Достаточно сказать, что это время Джона Рида. Жизнь этого писателя, трагически оборвавшаяся так рано, с ее неповторимым духовным богатством и сложными перипетиями, была отдана будущему. Джон Рид указал передовой американской литературе предстоящий ей путь.

За свою короткую жизнь Джон Рид создал очень много. Он был удивительно разносторонним — поэт, драматург, мастер короткого рассказа и очерка, автор произведений нового жанра — своеобразных социальных эпопей, в которых были запечатлены такие события современного мира, как революция в Мексике, первая мировая война и, наконец, Великая Октябрьская социалистическая революция. Эти произведения, убедительно выражающие то новое, что внес Джон Рид в литературу, составляют своеобразную трилогию — «Восставшая Мексика», «Война в Восточной Европе», «Десять дней, которые потрясли мир». Две первые части этой трилогии, очень не схожие между собой, готовят грандиозную заключительную часть, которая является в полном смысле этих слов «делающим эпоху» произведением.

Внутреннее развитие трилогии, — которая никогда не задумывалась автором как цельное произведение, но так сложилось в силу определенных исторических обстоятельств, — отчетливо обозначает основную линию развития Джона Рида, все другие произведения находятся если не в прямой связи, то в зависимости от этой главной магистрали. Поэтому важно прочертить именно это решающее направление.

Коренной американец, выходец из состоятельной буржуазной семьи, воспитанник привилегированного Гарвардского университета, Джон Рид блестяще начал свою литературную карьеру, осыпаясь

восторженными похвалами критики. Он быстро достиг славы и больших гонораров. Появление Рида в Нью-Йорке, где он вел жизнь литературной богемы, успех, которым он пользовался в знаменитом тогда литературном салоне Мэбель Додж, производили впечатление бесшабашности, о чем его старший друг и наставник Линкольн Стеффенс свидетельствует, вспоминая, что иногда ему приходилось испытывать тревогу за будущее молодого таланта.

Впрочем, даже самое раннее творчество Джона Рида, например его рассказ «Куда влечет сердце» (1913), опубликованный на страницах незадолго до того возникшего радикального журнала «Мессиз», свидетельствует о резко критическом отношении писателя к капиталистической действительности. Мишурный блеск американской цивилизации не обманывал молодого писателя, и то пристальное, напряженное внимание, с которым он присматривается к еще далекому от него миру трудящихся, говорит о том, что Рида рано начали интересоваться основные социальные противоречия буржуазного общества.

В «Мессиз» Рид, естественно, должен был встретиться с литераторами социалистической ориентации, правда это был туманный и очень абстрактный социализм. Зато наглядные примеры борьбы рабочего класса, подобные знаменитой стачке в Патерсоне, как магнит, притягивали к себе внимание Джона Рида. Он едет на место действия и в своей великолепной корреспонденции «Война в Патерсоне» (1913) не прикрывается объективностью стороннего наблюдателя: он за тех, кто борется, защищая свои права, он против тех, кому принадлежат фабрики, охваченные забастовкой.

Это было первое настоящее знакомство Джона Рида с жизнью и борьбой трудящихся. Он убедился на собственном опыте, какие отвратительные формы принимает социальное угнетение, не останавливающееся ни перед какой жестокостью. Он сам на себе испытал мертвую хватку классового «правосудия», являющегося, подобно полиции, прямым орудием угнетения. Он увидел народ в страданиях и борьбе. Неизгладимое впечатление на него произвело то, что в тюремной камере, куда его бросили вместе с забастовщиками, которых морили голодом и избивали, «ни на одном лице не было заметно разочарования, колебания или страха».

Он понял, что попал в гущу большого сражения. Он так и назвал свой очерк: «Война в Патерсоне». Он увидел решимость на лицах людей, вступавших в борьбу. Он проникается симпатией и восхищением к этим людям. Он пишет с увлечением о Хейвуде, который был среди заключенных, но особенно привлекают его безыменные герои рабочего движения: «именно *они* являлись душой стачки...»

Он делает из событий в Патерсоне очень важный вывод, он видит в этих событиях яркое свидетельство того, что «сами массы под-

нялись на борьбу...» «Нет, вы представьте себе это! Двенадцать лет они терпели поражение в стачечной борьбе, двенадцать долгих лет разочарований и неисчислимых страданий. Они не должны опять проиграть, они не могут проиграть».

События в Патерсоне были значительной вехой не только в формировании революционных взглядов Джона Рида, но и в том, что литературное его творчество начинает связываться с народной жизнью.

В Нью-Йорке у Джона Рида возникает идея агитационного театрального представления, в котором были бы запечатлены оставившие такой глубокий след в народной памяти события стачки в Патерсоне. Ему удастся осуществить свое намерение и поставить единственный спектакль, который, однако, история народного театра в Америке внесет в свои анналы как исключительно важное событие. Сохранилось интереснейшее свидетельство об этом народном представлении, записанное в «Книге Билля Хейвуда»¹, — автобиографии выдающегося деятеля американского рабочего движения, знакомство с которым оказало огромное влияние на духовное развитие Джона Рида. Вот что там говорится:

«В день представления тысяча двести стачечников перешли через Гудзон. С пристани мы отправились в зал Мэдисон-сквера, в котором уже целую неделю зажигались по вечерам красные лампочки, составлявшие гигантскую надпись: «Индустриальные рабочие мира». Мы пригласили принять участие в представлении восемьдесят или девяносто человек нью-йоркцев, известных своими радикальными взглядами. Бобби Джонс, теперь знаменитый театральный художник, вместе с Джоном Ридом нарисовали плакат: героическую фигуру рабочего на фоне фабрики и дымовых труб. В Мэдисон-сквере была построена громадная сцена, на которой была установлена декорация, изображающая шелковые фабрики. Режиссером был Джон Рид.

Когда открыли ворота, перед ними образовались огромные очереди. В эту ночь стачечники собирались показать свою жизнь в Патерсоне многолюдной заинтересованной аудитории под аккомпанемент новых песен, написанных стачечниками.

Первая сцена показывала заводы на полном ходу. Рабочие гуляли по улицам — центр аудитории — группами и поодиночке: одни читали газеты, другие напевали песенки. У всех в руках или под мышкой были корзинки и пакеты с завтраком. Вдруг раздался гудок. Послышались стук, шум, грохот машин. Потом широкое пространство — улица опустела. Все ушли на работу. Вдруг раздался голос: «Стачка! Стачка!» Рабочие выбегали толпами, крича, смеясь,

¹ Издана в Москве в 1932 году (ГИХЛ).

толкая друг друга. И все торжественным хором запели «Интернационал», подхваченный аудиторией.

Во втором действии заводы были мертвы: ни огня, ни звука. Они стояли, как чудовищные привидения. Это было утро после объявления стачки. Появились рабочие пикеты. Они пели песню стачки. Жизнерадостный итальянец весело перебирал струны гитары. Несколько полисменов смешалось со смеющейся, поющей толпой, расхаживающей перед заводом. И вдруг без всякого предупреждения полиция набросилась на стачечников. Началась битва. Раздались выстрелы. Один из стачечников упал. Его убила полиция. Другой, раненный, вырвался из толпы. Убитого унесли. Стачечники проводили его до дому. День был закончен.

Третья сцена представляла похороны убитого рабочего. По сцене пронесли гроб, за которым следовали стачечники с пением похоронного марша. Гроб опустили посредине сцены. Стачечники выстроились по обе стороны его, и каждый опустил на гроб зеленую ветвь и красную гвоздику. Элизабет Герли Флинн, Карло Треска и я произнесли речи, так же, как если бы это было в действительности, над гробом убитого стачечника в Патерсоне. Мы призывали стачечников бороться до тех пор, пока не будет свергнуто проклятое иго эксплуатации, пока рабочие не вступят во владение тем, что им принадлежит по праву.

В четвертом действии стачечники отправляли своих детей в другие города на время стачки. Эти дети также объявили забастовку в школе, потому что учителя называли бастующих рабочих и их организаторов «анархистами и тунеядцами из разных стран». Дети прощались с родителями и уезжали под пение «Красного флага». Они должны были остаться у своих новых друзей — «стаечных родителей» — на все время стачки.

Последняя сцена изображала митинг в Терн-холе в Патерсоне. У задней стены была устроена платформа, вокруг которой столпились рабочие. Я обратился к ним с речью и говорил так серьезно и так сильно, как только может говорить человек, вложивший в дело душу и вдохновленный тысячами сочувствующих слушателей.

Представление закончилось общим пением «Интернационала».

В этой записи Билля Хейвуда необходимо исправить только одну неточность: Джон Рид был автором сценария и всего замысла патерсоновского «карнавала», а не только режиссером.

Трудно переоценить значение этого выступления Джона Рида, явившегося смелым поиском драматургической формы, в которую могла быть облечена «борьба между рабочим классом и классом капиталистов... столкновение между двумя социальными силами», как гласила программа, напечатанная для зрителей «карнавала». Оно

свидетельствовало о том, что между писателем и рабочим классом уже существовали прочные связи.

Вот почему Рид начинает вызывать раздражение Гертруды Стейн, которая была непререкаемым авторитетом в кругах американского декадентства. И вот почему сам Рид испытывает чувство глубокого удовлетворения. «Я никогда не был так счастлив», — пишет он своему другу Эдварду Хенту. С растущей симпатией он отзывается о Хейвуде, Элизабет Флинн и других массовиках, с которыми он сблизился во время «карнавала». «Мне нравится, что их всегда понимают рабочие, — писал он, — нравится их революционная мысль, смелость их мечты, нравится то, как воспаляются необъятные толпы народа, воодушевленные их руководством. Это была подлинная драма, делавшая наглядной демократию в движении».

Если обратиться к рассказам Джона Рида этой поры, напечатанным в журнале «Мессиз» (в 1913 году он становится одним из редакторов этого издания), то они дают основание говорить о нарастающей остроте социальной критики. «Еще один случай неблагодарности», «Игра Правосудия», «Увидеть — значит поверить» — все эти рассказы 1913 года сдирают позолоту с капиталистического фасада, все они посвящены отверженным большого города и все проникнуты возмущением против двуличия, ханжества и цинизма буржуазного общества. Все эти лейтмотивы ридовского рассказа уже полностью складываются здесь, так что его более поздние рассказы, и в том числе потрясающая «Ночь на Бродвее», где показана с такой трагической силой судьба маленького человека в Америке, представляют только дальнейшее развитие и углубление одного отчетливо наметившегося направления.

И так как основные произведения Джона Рида, которые мы называем его эпической трилогией, не изображали американской действительности, то значение рассказов, преимущественно рисующих американскую жизнь, особенно велико: эти небольшие реалистические произведения отличаются социальной насыщенностью и духом гуманизма, что было воспринято молодым писателем от демократической литературной традиции его родины и что наложило отпечаток на все его творчество.

Из рассказов Рида надо сделать не только тот вывод, что реализм их, часто приобретающий сатирический характер, служит обличению американского капитализма, но и тот, что у автора глубокие корни, ушедшие в американскую почву, в демократическую литературную традицию. Подобно тому как его поэзия проникнута духом Уитмена, его проза остается американской прозой независимо от того, что описывается в книгах Рида.

В конце 1913 года Джон Рид отправляется как корреспондент газеты «Уолд» в Мексику, где тогда шла ожесточенная гражданская война. Из его корреспонденций в журнал «Метрополитен», получивший к тому времени социалистическое направление, а также в «Мессиз», составила книга «Восставшая Мексика» (1914). Это была первая книга Джона Рида, и она привлекла к себе широкое внимание. В ней отчетливо проявляются такие особенности литературного метода Джона Рида, без которых уже не обходится ни одно его произведение. Он идет здесь дальше своих рассказов, где встречались лишь жертвы капиталистического строя, и смело вступает в бурный поток народной жизни, где его окружают люди нового склада, люди, защищающие свою свободу.

То, что именно здесь Рид искал своих героев, резко противопоставляло его современной американской литературе. Это отображается, например, на той оценке, которую дал «Восставшей Мексике» Уолтер Липпман (мы теперь знаем его как реакционного журналиста, и трудно поверить, что было время, когда он отдавал дань социалистическим симпатиям, а именно так и было). «Он не выступает как судья, — писал Липпман, — он отождествляет себя с борьбой, и все, что он видит, связано с тем, на что он надеется; и когда симпатии его соответствуют фактам, Рид гордится этим».

Как видим, это двойственная, противоречивая оценка, стремящаяся противопоставить правду фактов симпатиям автора. Липпману не нравилось, что Рид открыто становится на сторону восставшего народа, а это и было самым замечательным и самым новым в книге. Мы еще вернемся к статье Липпмана, из которой взяты эти фразы, но даже сквозь бружжание здесь чувствуется, что книга Рида воспринималась как произведение крупного масштаба. Этого никто не мог отрицать.

Самым большим и многозначительным открытием, которое делает Джон Рид в книге «Восставшая Мексика», было открытие народа. И надо представить себе все значение этого открытия.

Джон Рид верил в массы. Он старался слиться с восставшей Мексикой, с ее неграмотными крестьянами, с ее малообразованными вожаками, и понять, что приносит победу этим оборванным, но беззаветно преданным своей цели простым людям. Он очень быстро понял, что мексиканская революция — это не схватка тех или иных претендентов на власть, а народная революция.

Он понял, какую силу в этой народной революции имеет голос обезземеленной крестьянской бедноты, которая никогда не примы-

рится со своими угнетателями — помещиками. Он понял, что восставшая беднота из всех сил борется за жизнь, землю и хлеб. Он увидел, что мужицкая армия располагает неисчерпаемыми резервами. Вот что он говорит о встрече с одним из *расифос* — мирных жителей.

«Не скрою, я не скоро забуду истощенное тело и босые ноги старика с лицом святого, который сказал медленно:

— Революция — это хорошо! Когда она победит, мы с божьей помощью больше никогда, никогда, никогда не будем голодать. Но это будет не скоро, а сейчас нам нечего есть, нечего надеть. Хозяин уехал из асиенды, у нас нет рабочего скота, и нам нечем обрабатывать землю, а солдаты забирают последний хлеб и угоняют скотину...

— А почему же *расифос* не идут на войну?

Он пожал плечами.

— Мы им не нужны. У них для нас нет ни оружия, ни лошадей. Они сами справляются. А кто будет кормить их, если мы перестанем сеять кукурузу? Нет, сеньор. Но если революции будет грозить опасность, тогда больше не останется *расифос*. Тогда мы все встанем на ее защиту с ножами и хлыстами... Революция должна победить!..»

А вот что думает о происходящем «грязный человечек, которого все называли доктором» и который раньше был аптекарем в Паррале, а теперь носил чин майора: «Наша революция... Вы должны правильно судить о ней. Это борьба бедных против богатых...»

«Вот это и есть мексиканская революция!» — восклицает подружившийся с автором храбрый воин Мартинес, после того как было прочитано перед отрядом кавалеристов на отдыхе «воззвание губернатора штата Дуранго, в котором заявлялось, что земли крупных асиенд будут поделены между бедняками».

Постепенно развертывающаяся перед нами картина событий состоит из множества частиц, иногда очень мелких, но всегда целеустремленных, как бы намагниченных, что и делает книгу цельной. Стремясь проникнуть в глубины народного движения, автор возлагает все надежды на правду, и это вполне соответствует духу народной революции.

«Пишите обо всем, но только правду», — говорит автору крестьянский генерал Урбина.

Идя путем правды, Джон Рид показывает без всяких искусственных приемов величие, грандиозность борьбы народа за свободу и счастье. Ему так глубоко удалось ощутить бурную пульсацию действительности и с такой увлекательной естественностью передать в своих описаниях пафос мексиканской революции только потому, что он был полностью с нею, с ее простыми героями, с ее идеалами.

Прекрасную убедительность, покоряющую силу приобрел в этой книге образ Франсиско Вильи. Человек, находившийся «вне закона» в течение двадцати двух лет, стремительно поднялся в годы народной революции. Джон Рид показал в образе Панчо, как характернейшие черты революции могут воплотиться в определенной личности и как это делает подобного человека настоящим народным вождем.

«Пеон-политик» и «несомненно, величайший полководец, которого когда-либо видела Мексика», Франсиско Вилья привлёк к себе пристальное внимание Рида. Наблюдая его деятельность, Рид нащупывает очень важный узел своего кажущегося разбросанным повествования: в решениях и поступках Панчо проявляется, как всем существом своим он понимает, что «мексиканская революция — революция народная», — это и есть сердцевина событий. Джон Рид стремится особенно приблизить к читателю образ Панчо со свойственной ему пеонской «прямотой и стремительностью», чтобы он мог повнимательнее рассмотреть характерные черты вожака мексиканской революции. Эти черты встречаются и в других действующих лицах народной драмы, но в Панчо они выступают особенно резко. И хотя композиция книги так свободна, что можно предположить намерение автора подчеркнуть этим бурную изменчивость действительности, образ Панчо, несомненно, является центром всей книги.

Небольшая, очень трогательно написанная глава «Мечты Панчо Вильи» заканчивается таким признанием «необразованного рубаки»: «Хорошо помогать Мексике стать счастливой страной».

Разве это не мечта всех героев «Восставшей Мексики» до единого?

И если какими-то своими чертами Панчо Вилья напоминает нашего Чапаева, то это свидетельствует о том, что и в первой книге Джона Рида, и в первой книге нашего Фурманова проявляла себя сложная и многообразная действительность народной революции, в которой перерастание стихийного начала в организованную революционную борьбу является столь острой и столь важной проблемой.

Многим читателям «Восставшей Мексики» импонировала изумительная многоцветность прозы Джона Рида, запечатлевшей необыкновенные краски мексиканской природы. Очень чуткое, изощренное зрение Джона Рида проявилось и в том, что множество выведенных в книге лиц, очерченных лишь немногими чертами, отличались удивительной жизненностью.

В этом характерная особенность ридовской литературной манеры того времени. С цветистостью, которая иногда у него появлялась, он впоследствии расстается, а редкостная способность делать каждый характер живым — совершенствуется. Впрочем, значение книги «Восставшая Мексика» заключено не в тех или иных особенностях формы, а в том, что здесь с глубокой убедительностью была

раскрыта народность бурного, пестрого и многоликого движения, свидетелем и другом которого стал Джон Рид.

Как драма народа, который взялся за оружие, чтобы добыть себе свободу и землю, обрело силу это произведение. В этом секрет его поразительного единства и того глубокого впечатления, которое оно оставляет. Джон Рид отдавал себе отчет в том, что встреча с революционной Мексикой духовно обогатила его: «Я снова нашел себя и пишу лучше, чем когда-либо».

Характерно, что книга кончается главой «Los pastores», в которой описан спектакль народного театра в Эль Оро, причем действие средневековой пасторали обогащается вполне современными репликами зрителей, и это придает традиционному зрелищу совершенно новый смысл: давным-давно окостеневшие образы и несложный сюжет пасторали причудливо переплетаются с темами сегодняшнего дня, интересующими революционно настроенную аудиторию. Получается очень интересно, и Джон Рид заканчивает свою книгу о крестьянской революции словами: «Мексиканскому театру придется обойтись без своего золотого века», желая этим сказать, что преобразуемая революцией Мексика, минувшая эпоху Возрождения и много других эпох, прямо из Средневековья бросается в «бушующие волны современной жизни».

Мы назвали эту концовку характерной потому, что она напоминает о патерсонском «карнавале» и о том, какое огромное значение придавал Джон Рид литературе и театру, их неразрывной связи с народной жизнью, их способности выразить народные чаяния. Всякая народная революция втягивает в свой бурный водоворот литературу и театр — это излюбленная мысль Рида.

Как известно, Эйзенштейн и Александров в своем фильме о Мексике исходили из книги Джона Рида, и тот, кому удалось познакомиться хотя бы с фрагментами этого, так и не увидевшего свет фильма, обязательно должен был заметить, что великий советский кинематографист Эйзенштейн воспринял в книге Джона Рида отнюдь не ее экзотическую сторону, а ее народную природу, ее подлинную сущность, что и позволило с такой силой раскрыть в сценарии образ Панчо Вильи и показать всеокрушающую силу народного движения, опрокидывающего все препятствия.

3

Находясь в Мексике, Джон Рид не мог забыть об Америке. Она постоянно напоминала о себе той ненавистью, которую питал восставший народ к американским трестам, грабившим и разорявшим страну. Эта тема проходит сквозь всю книгу. Она возникает и в рас-

сказе «Мак-американец» (1914), в котором показано, как прочна броня предрассудков, прикрывающая заносчивого американского обывателя, презрительно третирующего мексиканское простонародье. Рассказ показывает пустоту и аморальность спесивого янки.

Вскоре после возвращения из Мексики Джон Рид становится свидетелем нового преступления Уолл-стрита — зверской расправы над горняками Ладлоу в Колорадо. Его восхищает мужественное сопротивление, которое оказали горняки полиции и войскам, направленным для подавления стачки. «Война в Колорадо» — называется корреспонденция Джона Рида, напечатанная в «Метрополитене» (1914, июль).

Он приехал на место действия «примерно через десять дней после массовых убийств в Ладлоу». Внешне все уже было спокойно. «Ничто не напоминало о том, что три ночи назад по улицам мчалась разъяренная толпа вооруженных людей, готовых к отчаянной схватке на этих улицах...»

Ему пришлось восстанавливать картину событий, добавляя материал, подобно исследователю. Документы, анализ социально-экономических данных, свидетельские показания легли в основу очерка, который точнейшим образом воспроизводит все перипетии разыгравшейся в Ладлоу трагедии. Это — всесторонне аргументированное обвинение в чудовищном преступлении, предъявленное не только Рокфеллеру, который держит в руках всю угольную промышленность Колорадо, но и всему капиталистическому строю.

Очерк разоблачает капиталистическое рабство в Америке. Чтобы закрепить систему самой свирепой эксплуатации, хозяева стали «умышленно ввозить для работы на шахтах иностранцев» — итальянцев, поляков, греков и др., «тщательно подбирая на каждой шахте людей, говорящих на разных языках, чтобы рабочим труднее было объединиться». Были введены «феодалные» порядки, ставившие шахтера и его семью в полную зависимость от хозяйского произвола... «повсюду укрепления и патрули, как в государстве, находящемся на военном положении». Рабочему было предоставлено только одно право — повиноваться и терпеть.

Джон Рид тщательно и глубоко изучает действительность. Он показывает, что забастовка в Ладлоу возникла стихийно, в поисках выхода из той «отчаянной нищеты», до которой были доведены колорадские горняки. Стихийным было и то сопротивление, которое оказали забастовщики брошенным против них карательным отрядам.

Разнузданность капиталистической тирании в полной мере проявилась в тех кровавых зверствах, которые были содеяны в Ладлоу, в том презрении к людям труда, с которым действовали агенты компании и государства. Возмущение охватило даже самых «скромных и терпеливых», даже тех, кого обычно было «легко прибрать

к рукам». На сторону забастовщиков становятся люди, обычно не вмешивающиеся в такие события: «врачи, священники... аптекари и фермеры». «С оружием в руках», — подчеркивает Джон Рид. И в другом месте приводит еще один, также очень показательный, перечень: «чиновники, извозчики, шоферы, школьные учителя и даже банковские служащие...» Вот эта невыносимость социального гнета, достигшего предела, неизбежность возмущения, охватившего широкие общественные слои, и является внутренней темой очерка «Война в Колорадо».

«Казалось, что зажженное в Ладлоу пламя охватило всю страну», — пишет Джон Рид, имея в виду пожары, во время которых погибло в огне множество женщин и детей. Этой страшной расправой каратели думали подавить сопротивление забастовщиков, но они сделали его лишь более отчаянным и вызвали бурную реакцию ненависти к угнетателям со стороны всей трудящейся Америки.

Начало войны в Европе Джон Рид встречает без всяких колебаний, заявляя: «Это не наша война».

Статья «Война торговцев» (1914), заканчивающаяся этой выразительной фразой, была попыткой обнажить подлинные причины разгоревшейся бойни: столкновение интересов империалистических держав, погоня германских, английских, французских и прочих капиталистов за прибылями, засилье милитаризма. Он считает необходимым заявить, что выступает как социалист, и резко осуждает либеральную «газетную болтовню», перекрашивающую «войну торговцев» в «священную войну против тирании».

С таким убеждением он и отправляется на фронт, чтобы увидеть войну воочию. В рассказе «Так принято» (1914), описывающем интересную встречу во время путешествия, Рид с сарказмом изображает человека, который принимает войну, послушный морали своего класса. Это удивительно глубокий этюд социальной психологии.

Относящийся к этому же времени рассказ «Кок — отважный капитан» (1914) не связан с какими-либо злободневными проблемами. Но это важный момент в развитии писателя. Джек-лондонский тип «морского волка» представлен здесь в ироническом освещении, и эта полная дискредитация «сверхчеловека» произведена беспощадно и мастерски.

Но это была все же интермедия между гораздо более актуальными, существенными произведениями, в которых Рид пытался дать ответ на самые мучительные вопросы времени.

Очерк «Вместе с союзниками» (1914) начинается описанием сверкающей огнями нейтральной Женевы, где «немцы, англичане, французы вместе обедают, вместе танцуют, толпятся по ночам в курзале у игорных столов» как ни в чем не бывало. А на фронтах дру-

гие немцы, англичане, французы убивают друг друга. Эти гримасы, эту чудовищную бессмысленность войны Джон Рид все время старается обнажить. Он побывал в опустевшем во время немецкого наступления Париже, в Кале, на полях только что закончившейся битвы на Марне. Он разговаривал с французскими и английскими солдатами, спрашивал их, за что же они воюют, и каждый раз убеждался в том, что солдат либо не знает, что сказать в ответ, либо отвечает, как затверженный урок, что цель войны составляет защита родины, уничтожение прусского милитаризма. Очерк Джона Рида разоблачает обман, профанирующий все священное для человека, обман, которым пользуются капиталистические правительства, чтобы держать массы в повиновении.

Вскоре после этого очерка, напечатанного в «Метрополитене», появляется в журнале «Мессиз» один из лучших рассказов Рида «Дочь революции» (1915), навеянный парижскими впечатлениями и повторяющий обычную для Рида тему капиталистического варварства в тонах трагического гротеска. Это грозный рассказ. И то, что свободой Марселлы остается только свобода проституции, и то, что эта дочь французского рабочего решила растоптать благородные традиции своей семьи (дед ее был расстрелян у стены Пер-Лашез), не только обличает человеконенавистнический строй жизни, порождающий подобные уродства, но и требует возмездия.

Американец, слушающий в кафе «Ротонда» горькую нервическую исповедь Марселлы, не скрывает своих революционных симпатий.

«Послушайте, Марсель! Разве вы счастливы вот в этом нашем мире? За что вы можете его любить — уж не за то ли, что вам приходится выходить на улицу продавать свое тело? — Фред со всем жаром бросился в кипящий поток пропаганды. — Когда придет великий день, я знаю, по какую сторону баррикады мне стоять».

Введение в рассказ такого противопоставления, по-видимому имеющего автобиографический характер, дает возможность показать значение и несокрушимость боевых традиций рабочего класса, от которых отеклась сбившаяся с дороги женщина, подчеркнуть накаленность социальных противоречий. Рид любит резкие тона.

После того как Рид побывал во Франции, в Италии, в Германии, побывал в столицах воюющих государств, в штабах воюющих армий, в траншеях, где умирали солдаты, он возвращается в США, и уже высказанное им отрицательное отношение к войне крепнет, «Это не моя война», — повторяет он.

Буржуазная печать и респектабельные литературные круги начинают все более подозрительно относиться к Джону Риду. Ему не могут простить разоблачений капиталистического варварства, ненависть к которому нарастает в его творчестве.

В то время когда Джон Рид находился еще в Европе, Уолтер Липпман, доктринерство которого Рид высмеивал, выступает в одном из первых номеров журнала «Нью-Рипаблик» со статьей «Легендарный Джон Рид», в которой пытается уличить смело идущего вперед писателя в поверхностности и легкомыслии.

«Он утверждает, что все капиталисты жирны, лысы и скупы, что Виктор Бергер и социалистическая партия, Самуэль Гомперс и профсоюзы обманывают трудящихся. Он старается уверить нас, что рабочий класс это не горняки, водопроводчики и представители других видов труда, а величественный гигант, который, подобно статуе, возвышается на высокой горе, лицом к солнцу. Он сочиняет рассказы о ночных приключениях и забавах, о женщинах в кимоно. Он разглагольствует с интеллигентской терпимостью о динамите, и кажется, что он может объяснить истинную связь между кубистами и ИРМ. Он даже прочел несколько страниц Бергсона».

Хотя этот выпад и очень огорчил Джона Рида, теперь в перспективе времени он свидетельствует лишь о том, что стремительный рост таланта и рост революционного сознания в творчестве Рида очень напугали «социалистов», подобных Липпману, и что пропасть между Ридом и такими людьми уже образовалась.

Отметим, что к этому времени относится интереснейший замысел написать комедию в духе Шоу, которая должна была бы сатирически изобразить находящихся в тупике американских интеллигентов, не способных определить свое отношение к войне, к бурным событиям современности.

По предложению журнала «Метрополитен», Джон Рид снова отправляется в Европу. На этот раз его интересуют восточные плацдармы войны. Он посещает истерзанную Сербию, Грецию, Турцию, а также Болгарию, Румынию. Без разрешения пробирается на русский фронт, после очень сложных и опасных приключений попадает в Петроград, откуда его выдворяют в США.

Результатом этого путешествия является вторая книга Джона Рида — «Война в Восточной Европе» (1916). В ней нет той цельности, которая отличает «Восставшую Мексику», в ней Риду не удалось показать трагедию народов, брошенных в бойню, но контуры замысла именно таковы, и если эта книга не сложилась как единое целеустремленное произведение, обвиняющее капитализм в чудовищном преступлении, то это все же остается основой ее неосуществившейся композиции.

Это скорее всего материалы к большому произведению, которое могло бы возникнуть, материалы, богатство и многообразие которых нельзя переоценить.

В этой книге много метких характеристик и глубоких наблюдений, о чем говорит хотя бы выдержка из главы, которая называется «Лицо России» и которая интересна тем, что представляет своеобразный переход к великой книге «Десять дней, которые потрясли мир». В этой главе есть много наивного, но вместе с тем в ней передано ощущение того, что Россия 1915 года, которую он увидел, была уже чревата великими потрясениями. Именно за это и полюбил он так страстно «суровую, великолепную, необъятную, сбивающую с толку, непостижимую для себя самой» страну.

Вот что говорит впервые очутившийся в России американец: «Русская фантазия — самая живая, русская жизнь — самая свободная, русское искусство — самое великолепное, русская еда и питье, на мой вкус, самые лучшие, а сами русские, возможно, самые интересные существа на свете».

Вернувшись в конце 1915 года из своего восточноевропейского путешествия, Джон Рид печатает ряд рассказов — «Ночь на Бродвее» (1916), «Капиталист» (1916), в которых он продолжает показывать Америку обездоленных; его внимание по-прежнему привлекают люди дна большого города, искромсанные человеческие судьбы, жертвы капитализма, вызывающие в нем глубокую симпатию.

То, что в Европе бушует война, не интересует ни старика, торгующего «Брачной газетой» на Бродвее, ни уличную проститутку. Это люди, выброшенные за борт, грязная изнанка того самого Бродвея, который с фасада залит ослепляющими огнями реклам. Этот резкий контраст постоянно встречается в рассказах Рида, которые являются последовательно антикапиталистическими произведениями.

Полный сарказма и гнева очерк «Рузвельт их продал» (1916), в котором показана изнанка буржуазной демократии с ее бесчестными выборными махинациями, служит как бы обостряющим продолжением этих рассказов. Здесь выведены «зловещие фигуры, боровшиеся с народом не на жизнь, а на смерть». Эти «заклятые реакционеры» часто прикидываются сторонниками социальной справедливости. Теодор Рузвельт был одним из циничнейших демагогов такого рода и умел носить свою маску: «в нем воплощались демократия, справедливость и честность, он был защитником бедных...»

Срывая эту маску, уличая такого «героя» в продажности, аморальности и двуличии, Джон Рид обнажал лицо господствующего класса.

Он уже имел возможность близко познакомиться с европейской войной, и он резко осуждает эту «войну торговцев», развязанную империалистами к их выгоде. Он выступает против участия

Соединенных Штатов в этой войне, против заигрывания своих соотечественников с русским царем. В статьях «Миф об американской тучности», «Милитаризм и игра», напечатанных в «Мессиз», он клеймит империалистические махинации Уолл-стрита, прикрываемые всевозможными ханжескими соображениями.

В известной статье Ромена Роллана «Свободные голоса Америки» (1917) «Мифу об американской тучности» уделено большое внимание. Подробно излагая аргументацию автора, который ему ранее не был известен и в котором он угадывает новую силу передовой американской литературы, Роллан сочувственно цитирует особенно понравившиеся ему вещи слова Рида, обращенные к поджигателям войны: «Терпение народа имеет границы. Берегитесь восстаний!»

В этот период Рид пишет и много стихов, в некоторых поэтических его произведениях ясно чувствуется влияние Уитмена. Он выпускает единственный за всю свою короткую жизнь стихотворный сборничек, своеобразную антологию под названием «Бубен» (1917).

Недолго просуществовавший, но оставивший заметный след в истории американской литературы, журнал «Семь искусств» (в нем сотрудничали многие передовые американские писатели и среди них — Уолдо Фрэнк, Ван Вик Брукс, Шервуд Андерсен, Теодор Драйзер, О'Нейлль, Карл Сандберг) стремился сплотить прогрессивные силы¹, и естественно, что Джон Рид тоже участвовал в этом издании. Из двух произведений, которые он хотел напечатать в журнале «Семь искусств», было опубликовано только одно — «Непопулярная война» (1917 г., август).

Предельно сжатый обзор впечатлений, которые автор вынес, побывав на многих фронтах войны, разрастается в грозное обвинение против капитализма, обрекшего народы на страдания и муку. «Ни в одной стране мира, в том числе даже в Германии, эта война не была популярна». Народы ненавидят ее. Очень интересны строки, посвященные России: «Если кто-нибудь думает, что русский народ хотел этой войны, то ему стоит лишь приложить ухо к земле теперь, когда массы русских прервали свое вековое молчание, и он услышит приближающуюся поступь мира».

Нельзя не сопоставить это выступление Рида с тем, что он писал в очерке «Непопулярная война». Здесь есть даже повторение (разговор в Кале, танцующий на вулкане Лондон, заменивший веселящуюся Женеву из первого очерка), но в целом второй очерк отличается и нарастанием возмущения, и большей политической зре-

¹ Ромен Роллан приветствовал появление нового журнала в статье «Писателям Америки» и напутствовал его словами Уитмена: «Поднимись и действуй», что, к сожалению, осталось недостижимым для этого издания.

лостью. Рид уже «перешагнул» через многое, он глубже проникал в суть событий. Он воспринимал их, исходя из «предвзятой идеи социализма, согласно которой правящие капиталистические классы цинично и злонамеренно, обманом втянули свои народы в войну», и это помогало ему нащупывать правильную оценку явлений.

Отметим его выводы о «неистребимой живучести интернационализма», который не могла задушить война, ибо это — могучий «инстинкт, присущий человечеству». Отметим, что Рид старается взглянуть на войну глазами простого человека. И он показывает, что «позиция» и «программа» этого «простого человека» была решительно антивоенной позицией и программой. Шла «непопулярная война», возмущавшая массы.

Осталась неопубликованной интереснейшая автобиография Джона Рида, которой он дал название «Почти тридцать». В этой исповеди рассказана история его духовных исканий¹.

«Мне исполнилось двадцать девять лет, и я чувствую, что окончилась определенная часть моей жизни, окончилась моя молодость. В то же время мне кажется, что окончилась и молодость мира и, конечно, большая война кое-чему нас всех научила. Вместе с тем это начало новой фазы жизни, и мир, в котором мы живем, так стремительно меняет свои краски и мнения, что я едва сдерживал себя, чтобы не размяться о прекрасных и пугающих возможностях грядущего времени».

«Я должен найти самого себя. Некоторые люди, по-видимому, рано нащупывают свою дорогу, растут естественно, изменяясь понемногу. Я не представляю себе, что будет со мной через месяц. Когда я пытался достичь чего-либо, я терпел неудачу исключительно благодаря тому, что я плыл по течению, но я нашел себя и с радостью погрузился в новую роль. Я сделал открытие, что я счастлив только тогда, когда много работаю и чем-нибудь увлечен...»

«Я люблю людей, кроме пресыщенных и самодовольных, и мне интересно все новое и все по старинке красивое, что является делом их рук. Я люблю красоту, успех, перемены, но теперь их происходит меньше во внешнем мире, чем в моем сознании. Кажется, что я всегда был романтиком».

«Я видел и описал несколько стачек, большинство из них были отчаянной борьбой против голой нужды; и все, чему я был свидетель, только подтверждало первоначально усвоенную мною идею классовой борьбы и ее неизбежности. Всем сердцем я хочу, чтобы пролетариат поднялся и захватил свои права, — я не знаю, как

¹ Только в 1936 году этот замечательный документ был напечатан полностью в «Нью-Рипаблик» (15 и 29 апреля).

иначе он может получить их. Политическая помощь приходит так медленно, а возможности мирного протеста и допускаемых законом действий год от года сокращаются. Но я не уверен, что рабочий класс способен осуществить мирную или какую-либо иную революцию, настолько рабочие разобщены и резко враждебны друг к другу, настолько плохо их руководство, и так еще слепы они в отношении классовых интересов. Война оказалась страшным разрушителем веры в экономический и политический идеализм. И все же я не могу отказаться от мысли, что из демократии родится новый мир, который будет богаче, лучше, будет красивее существующего. И я не знаю, чем я должен помочь, все еще не знаю. Зато я знаю, что мое благополучие построено на несчастье других людей; я хорошо ем потому, что другие голодают; я одет, тогда как другие полураздеты бредут зимой по промерзшему городу; и это отравляет мне жизнь, нарушает мое спокойствие, заставляет меня писать пропаганду в то время, как я предпочитал бы развлечься».

Джон Рид говорит о продолжающейся империалистической войне: «Это прекращение жизни и брожения человеческой эволюции. Я жду, жду, пока все это кончится и жизнь возобновится, тогда я найду себе дело».

Эту исповедь Джона Рида нельзя читать без глубокого волнения. Ее искренность предельна, и благодаря этому она так полно и так глубоко отражает путь духовных исканий молодого человека, задумывающегося над целью своей жизни. Мы видим, как постепенно совершался его разрыв с прошлым, с той буржуазной средой, из которой он вышел, как перед ним постепенно раскрывалось ханжеское двуличие американской цивилизации, которое он так настойчиво выставлял напоказ в своих рассказах. Автобиография «Почти тридцать» свидетельствовала о том, что Рид уже тогда был близок к рабочему классу и уже тогда не страшился революционных взглядов. Он уже накопил огромный социальный опыт, который помогал ему ориентироваться в сложной действительности.

Таков был Рид накануне своей поездки в революционную Россию.

4

Он прибыл в Петроград в сентябре 1917 года и сразу же окунулся в бурное море событий. Он приехал как корреспондент американских прогрессивных изданий, но у него был замысел книги, к осуществлению которого он был уже подготовлен двумя предшествовавшими частями большой социальной эпопеи, в особенности книгой о Мексике.

В одном из писем к художнику Робинзону, с которым вместе они были на фронте и который замечательно иллюстрировал его книгу «Война в Восточной Европе», он пишет о впечатлении, произведенном революционной Россией: «Мы находимся в центре событий, и, поверь мне, это потрясает. Так много драматического предстоит описать, что я не знаю, с чего начать. По силе цвета, по ужасающему величию это заставляет побледнеть Мексику».

Исполненный доверия к революционным классам России, убежденный в том, что их борьба поведет к «установлению нового человеческого общества во всем мире», Рид сразу же постигает логику совершающихся перед его глазами событий. Несмотря на свое плохое знание русского языка, несмотря на то что он попал в водоворот поистине ошеломляющих событий («возможно, что пролетариат в конце концов потеряет терпение и восстанет; возможно, что генералы выступят с огнем и мечом»), он без особых колебаний приходит к выводу, что власть Керенского обречена и что будущее за большевиками. Их сила, пишет он, «восходит как солнце».

Он аккуратно выполняет свои обязанности корреспондента, и «Мессиз» начинает печатать серию его статей, которым он сам дал название «Восстание пролетариата», а журнал, которому к тому времени пришлось переменить название и превратиться в «Либереитор», напечатал первую корреспонденцию Рида под заголовком «Красная Россия — триумф большевиков».

Как он сам говорит в предисловии к книге «Десять дней, которые потрясли мир», Джон Рид не был пассивным наблюдателем событий. За отдельными фактами он стремился различить очертания и смысл целого, и «установление истины», что являлось его задачей, вылилось не в хронику, а в цельное эпическое произведение. Он показал величие социалистической революции так искренне, глубоко, полно, ибо он был всем сердцем с массами, осуществившими ее.

После того как совершилась Октябрьская революция, Джон Рид, естественно, стал очень близким новой России человеком. Он принимал участие в первых пропагандистских советских изданиях на иностранных языках, выпускавшихся Бюро Международной Революционной Пропаганды. Эта его работа совпадала с первыми шагами советской литературы. Исключительный интерес представляют небольшие, но очень броские тексты, которые помещались в еженедельном иллюстрированном приложении к газете «Факел», выходившей на немецком языке и через окопы переправлявшейся в части германской армии. Оно называлось: «Die russische Revolution in Bildern» («Русская революция в картинах»). Можно сопоставить это очень еще скромное начинание с тем, что впоследствии вылилось в такое важное явление советской литературы, как «Окна ТАСС».

Приведем некоторые примеры, которые можно найти в монографии Гренвила Хикса «Джон Рид. Становление революционера» (1936). В этой книге сосредоточен большой и очень важный материал, поскольку автор имел возможность пользоваться архивом вдовы Рида — Луизы Брайент.

Под фотографией, изображающей членов Революционного трибунала, был помещен текст: «Эта группа, в ней четыре рабочих и три солдата, представляет в настоящее время Верховный суд Российской республики. Большинство из них насчитывает долгие годы тюрьмы за революционную деятельность. Теперь эти рабочие и солдаты стали судьями тех, кто ранее притеснял народ».

Многократно помещались вместе с соответствующими агитационными текстами фотографии, изображающие солдат и моряков на уличных баррикадах и в момент празднования победы. Фотография, изображающая рабочего, срывающего императорских орлов с фронтона здания, сопровождалась надписью: «Вот как легко сбросить самодержавие! Самодержавие — ничто, как только солдаты выходят из слепого повиновения».

Под фотографией, изображающей солдат в Зимнем, давался текст: «Здесь вы можете видеть, как в России рабочие и солдаты, чьим потом и трудом воздвигнут этот дворец, проливали за него свою кровь, впервые чувствуют себя как дома в этом дворце».

Трудно переоценить значение этих первых набросков, которые принадлежат перу американского писателя, породнившегося и с советским народом, и с советской литературой в великие дни Октябрьской революции.

Работу над книгой Джон Рид ведет неустанно и в России, и во время затянувшейся остановки в Скандинавии по пути на родину. В частности, он пишет предисловие к будущей книге, которое не вошло в ее окончательный текст и сохранилось только в архивах. Оно многозначительно уже по одному тому, что свидетельствует, какое значение придавал Рид убедительному раскрытию «идей, которые овладевают русскими массами». Неодолимое движение масс, поднимавшихся до революционной сознательности, он стремился уловить и показать в своей книге. Здесь ключ к ней.

Подчеркивая, что «в России все атрибуты буржуазно-демократического государства заменены новой идеологией», Рид делает важные и глубокие наблюдения и выводы: «Это патриотизм, но и верность интернациональному братству рабочего класса; это долг, и люди с радостью умирают во имя него, но долг революционный; это честь, но новый вид чести, основанный на человеческом достоинстве и счастье, а не чудовищная честь аристократии крови и денег, выражающаяся в правилах, рассчитанных на «джентльменов»; это

дисциплина, революционная дисциплина, я надеюсь показать на этих страницах; и русские массы сами показали, что они способны не только руководить собой, но и открыть новую всеобъемлющую форму цивилизации».

Характерно, что в этот период горячей работы над книгой, которую Джон Рид считал делом своей жизни, он пишет много стихов, посвященных его родине, которую он так хорошо, так глубоко знал. В частности, он работает над поэмой «Америка 1918», которая так и осталась недооконченной. Это превосходное, чисто уитменовское по духу произведение увидело свет только в 1935 году (журнал «Нью-Мессиз»), «Моя разлюбленная, разлюбленная, разлюбленная», — говорил Рид об Америке и жил уверенностью, что начавшаяся мировая революция захватит «опоясанную сталью, бряцающую оружием» Америку и разрушит этот последний оплот капиталистического рабства.

В конце апреля 1918 года Джон Рид возвращается в Соединенные Штаты. Его задерживает полиция, у него конфискуют рукописи и уникальную коллекцию материалов, на которых базируется вся его книга. Из-под ареста ему удастся освободиться, но работа над книгой задержана тем, что он лишен необходимых ему материалов.

В отчаянье он пишет Линкольну Стеффенсу: «Я до сих пор не имею возможности написать ни одного слова для величайшей в моей жизни повести и одной из величайших во всем мире. Я заперт. Может быть, вы знаете что-либо относительно того, когда мои бумаги будут возвращены мне. Если я не получу их в ближайшее время, будет поздно. Мак-Миллан не издаст книгу.

Недавно я был арестован в Филадельфии за попытку произнести речь на улице, и в сентябре меня будут судить по обвинению в «побуждении к бунту, побуждению к грабежу и разбою и побуждению к мятежным суждениям» (9 июня, 1918 г.).

Уже это письмо показывает, что в Америке Джон Рид попадает сразу в накаленную политическую обстановку. Страна бурлила, митинги, массовые рабочие собрания, на которых симпатии к революционной России проявляются с великой силой, прокатываются по всей стране. Нередко по несколько раз в день Джон Рид выступает на этих собраниях. Его имя приобретает популярность, и она все ширится. Особенное значение имеют выступления Рида против интервенции, которую начала империалистическая Америка, стремясь удушить советскую революцию.

Арестами, тяжелыми штрафами реакция старается принудить его к молчанию. Но разве можно укротить бурю! «Если у нас сажают в тюрьму людей, которые протестуют против интервенции в России

и защищают республику рабочих в России, я буду счастлив и горд тем, что буду привлечен к суду». Джон Рид клеймит сибирский набег американских войск, называя его «настоящей разбойничьей авантюрой», он разоблачает как преступление высадку американских войск в Архангельске.

Как известно, интервенция вызвала возмущение широких масс в Америке, что нашло живой отклик и в литературе. Мы уже упоминали нашумевший тогда роман Эптона Синклера «Джимми Хиггинс» (1919), в котором интервенция американских войск на севере России была осуждена. Автор убедительно показал, что это преступление империалистов в одинаковой мере является преступлением против русского и против американского народа. «Джимми Хиггинс» принадлежит к самым значительным произведениям Эптона Синклера, не часто достигавшего в своем творчестве такой силы и глубины. Его подняла так высоко волна народного возмущения.

Что же касается Джона Рида, то он все время находится в самой середине этого разбушевавшегося моря.

Когда прекратилась первая мировая война, Рид выразил создавшееся положение в сжатой формуле: «Вот теперь кончилась война, но другая война началась, и на этот раз война между двумя идеологиями». Он выступает как пламенный защитник социализма, проповедник социалистического пути для Америки, как друг Советской России.

Он разъясняет колебавшемуся Эптону Синклеру, что ни один социалист не может «сомневаться в спаянности большинства советских лидеров, в великолепии большевистской мечты и в возможности ее практического осуществления». Он ссылается на то, что он был свидетелем Октябрьской революции. «И я не мечтал, я изучал, и я исследовал...»

Он постоянно связывает в своих выступлениях судьбы русской революции и судьбы революционного движения в Америке. Как художник, он находит для раскрытия этой связи незабываемые образы и слова.

В очерке «Социальная революция под судом» («Либерейтор», сентябрь 1918 г.), который по достоинству может быть назван образцом революционной публицистики, он описывает большой судебный процесс индустриальных рабочих мира в Чикаго. Он разоблачает инсценировку суда над передовыми рабочими и фальшивость буржуазной демократии, которая кичится своими «свободами», а на деле прикрывает безграничную власть денег, подчинивших себе цивилизацию.

Очерк пронизывает превосходно переданный контраст между судьей Лэндисом («на долю этого человека выпала историческая

роль — судить социальную революцию»), всем своим видом олицетворяющим смерть и тление, и подсудимыми — великолепной когортой людей, которым принадлежит будущее. «Что же до подсудимых, то я не думаю, чтобы когда-либо в истории Америки можно было наблюдать подобное зрелище. Их сто один человек — лесорубы, батраки, горняки, журналисты. Сто один человек, убежденные в том, что богатства мира принадлежат тем, кто их создает».

Великолепно появление подсудимых в зале. «Вот идет большой Билл Хейвуд в своей черной фетровой шляпе, закрывающей лицо, напоминающее обветренную скалу; Раль Чаплин, похожий на Джека Лондона в молодости; Редди Дорен с добродушным и энергичным лицом, с копной ярко-рыжих волос, падающих на зеленый козырек, который он всегда носит; Гаррисон Джордж, чей лоб изборозжен глубокими морщинами...» И так далее. Целая портретная галерея лучших представителей американского народа.

«Во всей Америке нельзя найти другой сотни людей, которые были бы более достойны представлять социальную революцию. Все, побывавшие в этом зале, говорят: «Это больше походит на собрание, чем на суд».

Если сопоставить это полное драматизма, брызжащее энергией изображение классового сражения, развернувшегося на процессе ИРМ в Чикаго, с очерком «Война в Патерсоне», становятся наглядными и те изменения, которые произошли за истекшие годы в действительности, и изменения в творчестве Джона Рида. Билл Хейвуд, которого мы видели в Патерсоне среди масс, только начавших пробуждаться, теперь окружен закаленными бойцами. Война классов вступила в новую, более ожесточенную фазу. И если судья Кэррол, который, не считаясь ни с чем, приговаривал к тюремному заключению забастовщиков в Патерсоне, еще оставался господином положения и его лицо еще могло казаться «умным, жестоким и неумолимым», то судья Лендис выглядит уже иначе. У него «лицо Эндрю Джексона¹ через три года после смерти», и он уже совсем не является господином положения в «отделанном мрамором, бронзой и строгим темным деревом» зале Федерального суда в Чикаго. В этот зал ворвалась буря, которую не может укротить никакой Лендис.

В очерке «Социальная революция под судом» подсудимые обвиняют капиталистический строй, и их приговор беспощаден.

Вот почему так логична кажущаяся совершенно неожиданной, освещающая всю картину светом грозной молнии концовка:

«Мне, только что приехавшему из России, сцена показалась

¹ Эндрю Д ж е к с о н — президент США в 1829—1837 годах.

странно знакомой. Я долго вспоминал, где я уже видел все это. И внезапно меня осенило.

Судебный процесс индустриальных рабочих мира в Федеральном суде в Чикаго напоминал заседание Всероссийского центрального исполнительного комитета рабочих депутатов в Петрограде. И я никак не мог привыкнуть к мысли, что этих людей судят. Они держали себя независимо, не заискивая, — они были уверены в себе, решительны, мудры... как большевистский трибунал.

И на мгновение мне показалось, что я вижу Центральный комитет советов Америки, который судит судью Лэндиса за... ну, скажем, за контрреволюцию»¹.

Вот как писал Джон Рид.

Непосредственно примыкает к этому замечательному произведению социалистической литературы очерк «С Джином Дебсом в день Четвертого июля», написанный в ответ на арест выдающегося революционера. Это было выражение народной любви к нему и восхищение его мужеством. Дебс — это подлинный народный герой Америки, и в словах его: «Социализм приближается, и врагам не удастся преградить ему путь, как бы они ни старались» — была заключена мысль, овладевавшая массами.

Джон Рид становится во главе журнала «Революционный век», в котором теперь печатается большинство его статей. Сенатская комиссия требует его к ответу, и на вопрос сенатора Юма, призвал ли он в своих выступлениях совершать в США революцию, подобную русской революции, он без колебания отвечает: «Да, я постоянно призываю к революции в Соединенных Штатах».

Реакция ведет бешеную травлю Джона Рида. Выходят газеты с призывом к расправе над писателем-коммунистом. В одной из них появляется набранный крупным шрифтом заголовок: «Человек, по которому соскучилась виселица»².

Буржуазная Америка круто изменила свое отношение к писателю, которого еще недавно называли надеждой и гордостью американской литературы, которому предсказывали самое блестящее будущее.

В конце концов документы были Джону Риду возвращены, он смог закончить свою книгу, и она появилась в свет 19 марта 1919 года, получив свое крылатое заглавие: «Десять дней, которые потрясли мир». Началось ее триумфальное шествие по всему миру,

¹ Очерк имел несколько редакций. Мы публикуем одну из них, данную в антологии Дж. Стюарта. В предисловии приводятся выдержки из других изданий. (Прим. ред.)

² Эптон Синклер рассказывает в «Искусстве Маммоны», как неистовствовала реакционная американская печать при одном только упоминании имени Джона Рида.

которого не могли остановить никакие препятствия. Реакцию она, конечно, взбесила, но народные массы от всего сердца приняли эту книгу, которая доныне производит неотразимое впечатление.

5

«Прочитав с громадным интересом и неослабевающим вниманием книгу Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир», я от всей души рекомендую это сочинение рабочим всех стран». Так писал Ленин в предисловии к американскому изданию. Он подчеркивал, что книга Рида «дает правдивое и необыкновенно живо написанное изображение событий, столь важных для понимания того, что такое пролетарская революция, что такое диктатура пролетариата»¹.

Эта оценка выделяет художественные достоинства книги и ее идейную глубину, обе стороны эти соединяются в ее подлинной эпичности. Эта книга могла стать эпосом, что подчеркивала в свое время Н. К. Крупская в своем предисловии к первому русскому изданию, благодаря тому, что в ее основе лежит понимание великого исторического смысла событий, пронесшихся перед взглядом Рида. Он был подготовлен всей своей жизнью, всем опытом своего творчества к тому, чтобы понять, ощутить народность советской революции, он понял также и то, что Октябрьская революция имела всемирно-историческое значение.

В основу книги положены простые, предельно простые контрасты действительности: буржуазное Временное правительство и партия большевиков, борющаяся за победу социализма; Зимний дворец и Смольный; Петроградская городская дума и Военно-Революционный Комитет. Это была сама историческая действительность. Сама жизнь вылилась в эти контрасты, и они раскрываются у Джона Рида так естественно, с такой полнотой реализма, что перед нами не только вырисовывается обстановка, в которой совершались великие события народной жизни, но и обнажен смысл их. Эти контрасты ведут нас в глубь событий, и то, что они настойчиво, упорно, на каждом повороте событий повторяются, означает предельную напряженность борьбы, полную антагонистичность противоречий, революционность сложившейся ситуации. Не существует никаких возможностей компромисса, произошла поляризация социальных сил, исключая какую-либо третью возможность.

¹ В США предисловие Ленина было опубликовано лишь в издании 1926 года. Печатается в русских изданиях, включая издание 1957 года.

Джон Рид приехал в Россию, которая вынашивала социалистическую революцию, не как сторонний наблюдатель. Сердце его было с народом. «Он отождествлял себя с революцией целиком и полностью». И потому именно, что он был подлинный художник, он дает отнюдь не одностороннюю картину событий, его взор охватывает всю сложность действительности. Его убежденность в том, что народ прав, его страстная симпатия к лагерю социалистической революции позволяют ему так прозорливо показать лагерь врагов, который живет, борется с лихорадочным напряжением всех своих сил, в котором сосредоточена грозная опасность.

Контрасты книги — это глубоко реалистические контрасты, в них выражена вся напряженность происходящего столкновения социальных сил. Эта борьба не на жизнь, а на смерть.

Проникновенно и восхищенно показан титанический труд народа, усилиями которого была совершена социалистическая революция, труд масс и труд руководителей, труд, сочетающийся с невиданным дерзанием, смелостью, самозабвением.

Книга Джона Рида — это безграничное море лиц, событий, случаев, документов. И вместе с тем это необычайно цельное и целеустремленное произведение, в котором великие исторические события находят художественное отражение, выливаясь в образы эпического характера. Эти образы становятся открытиями, мимо которых уже никто не может пройти, обращаясь к задаче изобразить Октябрьскую революцию. Характерно, что Эйзенштейн и Александров в постановке фильма «Октябрь» исходили из книги Джона Рида, и великолепно воплощенный контраст Смольный — Зимний в этом кинематографическом произведении играет, как известно, важнейшую роль.

Конечно, книга Джона Рида не является историей Октябрьского переворота. В ней есть только то, что видел и чувствовал художник, в ней нет многого, что он не мог увидеть и почувствовать и что было бы обязательно для историка. Но, как художник, он увидел и почувствовал то, без чего нельзя создать соответствующее правде представление о таком событии, — народ в движении, в борьбе, в победе. И это делает книгу Джона Рида такой потрясающей, такой увлекательной для каждого честного человека на земле.

Пафос этой книги, которая совершенно утратила мексиканскую цветистость, отличающую первую книгу Рида, и приобрела взамен безукоризненную точность¹, еще более совершенную простоту и

¹ Сопоставление этих двух произведений напрашивается само собой: в предисловии Джона Стюарта к «Воспитанию Джона Рида» различие в отношении автора «Десяти дней» к революции в Мексике и Октябрьской революции в России определяется как «различие между глубокой симпатией и прямым участием».

благородную сдержанность, пафос этой книги заключен в великолепно угаданной логике победы масс, в могучей логике неизбежного нарастания сил революции, в торжестве великих идей, воодушевляющих массы.

В книге множество лиц, и, хотя они очерчены несколькими словами, мы их помним. Эти мгновенно зафиксированные портреты представляют исключительно интересную особенность этого произведения.

Героическое является здесь в самом простом, жестоко-обыкновенном. Ничего показного. Полное отсутствие позы, экзальтированности, и очень большая внутренняя сила. Неотвратимо нарастающую энергию революции Рид все время воспроизводит такими чертами и достигает подлинной эпичности художественного изображения.

С огромной силой написана в этой книге фигура Ленина. «Во всех его словах была какая-то спокойная власть, глубоко проникавшая в людские души. Было совершенно ясно, почему народ всегда верил тому, что говорит Ленин».

Мы ощущаем, насколько Ленин не отделим от могучего движения масс, мы видим, что сила этих масс воплощена в его гении, что благодаря этому единству, слитности, неразделимости и победила революция. Вот почему две сцены из книги Джона Рида — Ленин на трибуне II съезда Советов и на Крестьянском съезде — являются вершиной всей эпопеи.

Подлинно эпическим является финал книги, изображающий народную демонстрацию, которой завершился Крестьянский съезд, поддержавший в конце концов позицию большевиков, демонстрацию единства рабочего класса и крестьянства, демонстрацию единства советского народа, демонстрацию непобедимого величия. Это сцена такой силы, что очень продуманно построенное и очень органично развивающееся повествование завершается без какой-либо заключительной фразы, абзаца или картины. И в самом деле, это могло быть лишним. Автор не подводит последней черты. Пафос этих страниц, запечатлевших присоединение к рабочим, которые совершили великий переворот, крестьян, еще недавно настороженных против большевистской революции и только теперь понявших ее великий смысл, так захватывает и потрясает, что действительно уже нельзя прибавить ни одного слова.

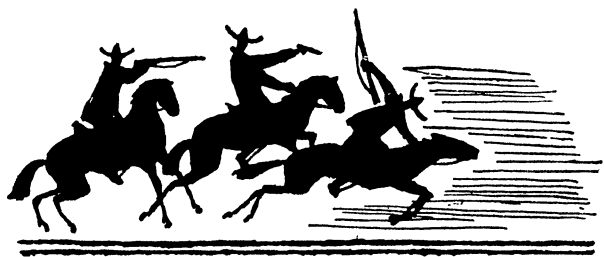
К книге «Десять дней, которые потрясли мир» надо относиться как к историческому повествованию, описывающему события по их горячему следу. В этом неповторимая прелесть книги, но именно поэтому не могли не утратить соответствия с дальнейшим ходом событий некоторые ее детали. В качестве действующих лиц социалистической революции мы встречаем здесь людей, которые впоследствии сделались ее яростными врагами. Современный чита-

тель сразу обнаруживает этот диссонанс некоторых, правда очень немногих, страниц книги с современностью. Джон Рид в силу объективных условий, в которых ему приходилось собирать материал для своей книги, не мог с необходимой достоверностью изучить деятельность большевистских партийных центров в период подготовки восстания и во время восстания, так как она протекала подпольно вплоть до победы восстания. Это не могло не сказаться на освещении некоторых фактов в книге Рида. Но сила книги «Десять дней, которые потрясли мир» в великой правде целого, в глубокой ее народности, в понимании роли Ленина в социалистической революции. Это и делает произведение Джона Рида неувядающим эпосом великого времени.

Это — вершина его революционного творчества, которое оказало огромное влияние на всемирную литературу, помогло многим писателям во всех странах мира найти себя, подобно тому как когда-то нашел себя сам Джон Рид, и стать на сторону своего народа. Трудно переоценить значение той революционной традиции, которая заключена в творчестве Джона Рида и которая остается вечно живой и вечно плодотворной традицией, получающей все более и более широкое развитие в прогрессивной литературе нашего времени.

Его смелые творческие искания и сделанные им художественные открытия имеют важное значение не только для настоящего и будущего американской литературы, но и для всех литератур, избирающих социалистический путь.

И. Анисимов



**ВОССТАВШАЯ
МЕКСИКА**

**Профессору Гарвардского университета
Чарльзу Таунсенду Копленду**

Дорогой Копи!

Я помню, вы находили странным, что после моего первого путешествия за границу у меня не появилось желания писать о том, что я там видел. С тех пор я посетил страну, которая произвела на меня такое впечатление, что я не мог не написать о ней. И когда я работал над этой книгой о Мексике, я невольно думал, что никогда не увидел бы того, что увидел там, если бы вы не научили меня, как надо смотреть и понимать.

Я могу только повторить то, что многие писатели уже говорили вам: слушать вас — значит учиться, как надо подмечать скрытую красоту зримого мира; быть вашим другом — значит стараться быть интеллектуально честным.

И потому я посвящаю эту книгу вам с условием, что вы примете в ней, как свое собственное, то, что вам понравится, и простите меня за остальное.

Ваш, как всегда,
Джек

Нью-Йорк, 3 июля 1914 г.

НА ГРАНИЦЕ

Федеральная армия Меркадо после сдачи Чиуауа и трагического четырехсотмильного отступления через пустыню три месяца стояла в Охинаге, на реке Рио Гранде.

В Пресидио, на американском берегу, взобравшись на плоскую глиняную крышу почтовой конторы, можно было увидеть заросшие кустарником пески, в миле за ними — мелкую мутную реку и на плоском холме — городок Охинагу, четко рисующийся на фоне сожженной солнцем пустыни, окаймленной голыми, дикими горами.

Охинага — это квадратные глинобитные домики, над которыми там и сям возвышаются восточные купола старинных испанских церквей. Унылая, пустынная местность — нигде ни деревца. Так и кажется, что сейчас увидишь минарет. Днем повсюду суетились федеральные солдаты в потрепанных белых гимнастерках, роя окопы: носились упорные слухи, что Вилья со своими победоносными конституционалистами направляется сюда. Иногда что-то ярко вспыхивало на солнце — это были стволы полевых орудий; в тихом воздухе густые облака дыма поднимались прямо в небо.

К вечеру, когда солнце заходило, пылая, словно доменная печь, на горизонте мелькали темные фигуры — кавалерийские патрули отправлялись в дозор. А когда наступала ночь, в городке пылали таинственные костры.

В Охинаге находилось три с половиной тысячи солдат. Это было все, что осталось от десяти тысячной армии Меркадо и тех пяти тысяч, которые послал на север из Мехико в подкрепление ему Паскуаль Ороско. На эти три с половиной тысячи солдат приходилось

сорок пять майоров, двадцать один полковник и одиннадцать генералов.

Мне хотелось проинтервьюировать генерала Меркадо, но какая-то газета напечатала заметку, обидевшую генерала Саласара, и он издал приказ не пускать репортеров в город. Я послал генералу Меркадо записку с просьбой дать мне интервью. Записка была перехвачена генералом Ороско, который прислал мне следующий ответ:

«Уважаемый и почтенный сэр!

Если вы только осмелитесь сунуть свой нос в Охи-нагу, я поставлю вас лицом к стенке и буду иметь честь собственной рукой прошить вам спину пулями».

Но, несмотря на это, в один прекрасный день я перешел вброд Рио Гранде и отправился в городок. К счастью, я не встретил генерала Ороско. На мое появление никто, казалось, не обратил внимания. Все часовые, которых мне довелось увидеть, спокойно отдыхали на теневой стороне улиц. Впрочем, я скоро встретил очень вежливого офицера по имени Эрнандес, которому я заявил, что хотел бы повидать генерала Меркадо.

Не поинтересовавшись узнать, кто я, он нахмурился, скрестил руки на груди и гневно крикнул:

— Я — начальник штаба генерала Ороско, и я не поведу вас к генералу Меркадо!

Я промолчал. Через несколько минут он добавил:

— Генерал Ороско ненавидит генерала Меркадо! Он не снисходит до того, чтобы посещать генерала Меркадо, а генерал Меркадо не смеет прийти к генералу Ороско. Он — трус! Он бежал из-под Тьера-Бланки, а после из Чиуауа!

— А еще какие генералы вам не нравятся? — спросил я. Он спохватился, бросил на меня сердитый взгляд, а затем широко улыбнулся.

— *Quién sabe?..*¹

Я все-таки увиделся с генералом Меркадо — тучным, жалким, задерганным, нерешительным человеком, который долго негодовал и плакался, рассказывая, как войска Соединенных Штатов перешли реку и помогли Вилье одержать победу при Тьера-Бланке.

¹ Кто знает?.. (испанск.)

Белые, пыльные улицы городка, замусоренные, заваленные сеном, старинная церковь без окон, с тремя огромными испанскими колоколами, висящими на балке снаружи, дым ладана, голубыми облаками плывущий из дверей церкви, где следующие за армией женщины день и ночь молятся о победе, — все изнывало под нещадно палящим солнцем. Пять раз Охинага переходила из рук в руки, и на домах не сохранилось почти ни одной крыши, а в стенах зияли огромные пробоины, оставленные снарядами. В этих пустых, выпотрошенных домиках помещались солдаты, их жены, лошади, свиньи и куры, добытые набегами на окрестные деревни. Винтовки были составлены в козлы по углам, седла кучами навалены на земляные полы. Солдаты разгуливали в лохмотьях, почти ни у кого не сохранилось полной формы. Они сидели на корточках вокруг небольших костров у своих дверей и варили кукурузную шелуху и вяленое мясо — они голодали.

По главной улице проходила бесконечная вереница больных, измученных, голодных людей, бежавших из глубины Мексики в страхе перед наступающими повстанцами, — чтобы добраться сюда, им приходилось восемь дней идти по самой ужасной пустыне в мире. На улицах их останавливали федеральные солдаты и отнимали все, что приходилось им по вкусу. Затем беженцы достигали реки. На американском берегу им приходилось проходить сквозь строй таможенных и иммиграционных чиновников Соединенных Штатов, а также пограничной стражи, которая обыскивала их, — нет ли оружия.

Беженцы переходили реку сотнями, — некоторые верхом на лошадях гнали свой скот, другие ехали в фургонах, остальные брели пешком. Чиновники обходились с ними не слишком любезно.

— Ну-ка, вылезай из фургона! — кричал кто-нибудь из них женщине-мексиканке с узлом в руках.

— Но, сеньор, скажите, почему... — начинала она.

— Слезай, не разговаривай! А не то стащу! — рывал он.

И мужчин и женщин, неизвестно зачем, тщательно и бесцеремонно обыскивали.

Стоя на берегу, я видел, как какая-то женщина переходила вброд реку, спокойно подняв юбку по самый

пояс. Она была закутана в огромную шаль, которая пузырилась на животе, словно под ней что-то было.

— Эй, ты! Что это у тебя там под шалью? — закричал таможенник.

Женщина медленно расстегнула платье спереди и сказала добродушно:

— Не знаю, сеньор. Может быть, девочка, а может быть, и мальчик.

То были бурные дни для Пресидио, глухой и невыразимо унылой деревушки, состоявшей из пятнадцати — шестнадцати глинобитных хижин, разбросанных без всякого плана в глубоких песках речной долины посреди поросли виргинского тополя. Немец Клейнман, хозяин лавчонки, каждый день наживал большие барыши, снабжая беженцев одеждой, а федеральную армию на том берегу — продовольствием. У старика были три молоденьких красавицы дочери, которых он держал взаперти на чердаке своей лавки, так как целые толпы влюбчивых мексиканцев и пылких ковбоев, привлеченные сюда слухами о прекрасных девицах, шатались вокруг его дома. Половину суток Клейнман, обнаженный по пояс, как безумный метался по лавке, отпуская товары покупателям, а другую половину с огромным револьвером на бедре сторожил дом, отгоняя непрошенных поклонников.

Во всякое время дня и ночи целые толпы невооруженных солдат федеральной армии являлись сюда из-за реки и толклись в лавке и в бильярдной. Среди них важно расхаживали темные личности зловещего вида — тайные агенты повстанцев и федералистов. В зарослях кустарника расположились лагеря сотен несчастных беженцев, и ночью, куда ни ступи, непременно натолкнешься на какой-нибудь заговор или контрзаговор.

И еще в Пресидио можно было видеть и техасских пограничников, и американских кавалеристов, и агентов различных корпораций, пытавшихся переслать тайные инструкции своим служащим в глубине страны.

Некто Маккензи, крича и возмущаясь, как сумасшедший метался по почтовой конторе. Ему нужно было послать письмо с важными бумагами на рудники Американской горнорудной компании в Санта Эулалия.

— Проклятый Меркадо приказал просматривать все письма, проходящие через линию расположения его войск! — кричал он в негодовании.

— Но ведь он их не задерживает, — сказал я.

— Да, не задерживает, — ответил он. — Но неужели вы думаете, что Американская горнорудная компания позволит, чтобы ее письма вскрывал и просматривал какой-то черномазый мексиканец? Да где это слыхано, чтобы американская компания не могла послать частного письма своим служащим! Если это не приведет к интервенции, — закончил он загадочно, — то уж не знаю, чего им еще надо!

В Пресидио, кроме того, всюду мелькали всевозможные агенты оружейных компаний и контрабандисты — как американские, так и мексиканские. А еще там был низенький хвастливый человечек, коммивояжер фотографической фирмы, который «увеличивал и ретушировал портреты», беря пять долларов за штуку. Он сновал среди мексиканцев, получал тысячи заказов на портреты с уплатой денег по исполнению заказа, которые никогда, конечно, не будут выплачены. Он впервые имел дело с мексиканцами, и такое множество заказов пришлось ему очень по вкусу. Но дело в том, что мексиканец всегда готов сделать заказ на портрет, рояль или автомобиль, лишь бы при этом не требовали задатка. Это создает у него иллюзию богатства.

Низенький агент фотографической фирмы только однажды высказал свое мнение по поводу мексиканской революции. Он сказал, что генерал Уэрта, несомненно, прекрасный человек, ибо, насколько ему известно, со стороны матери он находится в дальнем родстве с весьма почтенным виргинским семейством Кэри.

По американскому берегу дважды в день проезжали кавалерийские патрули, причем по другому берегу за ними добросовестно следовали мексиканские всадники. Обе стороны зорко следили друг за другом через границу. Время от времени какой-нибудь мексиканец, не совладав со своими нервами, стрелял в американцев. Начиналась перестрелка, и оба отряда рассыпались по кустам.

Выше по течению реки за Пресидио стояли два эскадрона девятой негритянской дивизии. Однажды,

когда негр-кавалерист поил свою лошадь, сидевший на другом берегу мексиканец насмешливо закричал ему:

— Эй ты, черномазый! Когда вы, проклятые гринго¹, думаете перейти границу?

— Дружище! — отозвался негр. — А чего нам ее переходить? Мы ее просто возьмем да отнесем к Большой Канаве!²

Иногда какой-нибудь богатый беженец, ускользнув от бдительности федеральных войск, перебирался на другую сторону реки с порядочным запасом золота, зашитым в седле. В Пресидио в ожидании такой жертвы всегда стояло наготове шесть огромных автомобилей. С беженца сдирали сто долларов золотом за доставку к ближайшей железнодорожной станции, а по дороге где-нибудь в пустынных просторах южнее Марфы его обычно встречали замаскированные бандиты и обирали дочиста. В таких случаях в городок шумно врывается главный шериф округа Пресидио, восседая на пегой лошадке, — фигура, словно сошедшая со страниц романа «Девушка с Золотого Запада». Шериф, несомненно, прочитал все романы Оуэна Уистера и прекрасно знал, как должен выглядеть шериф с Дальнего Запада: два револьвера на боку, один на ремне под мышкой, большой нож в левом голенище и громадная винтовка поперек седла. Его речь уснащают самые оборные ругательства, и ему ни разу еще не удалось поймать ни одного преступника. Вся его энергия тратится на проведение в жизнь закона, запрещающего ношение оружия и игру в покер в округе Пресидио, но по вечерам его всегда можно застать за этой мирной игрой в комнате позади лавочки Клейнмана.

Война и всяческие слухи поддерживали в Пресидио лихорадочное возбуждение. Все знали, что рано или поздно армия конституционалистов нагрянет из Чиуауа и атакует Охинагу. И действительно, генералы армии федералистов, желая обеспечить ей отход из Охинаги, уже начали вести по этому поводу переговоры с майором, командовавшим пограничной стражей. Они заявили, что, когда их атакуют повстанцы, они, разумеется, будут оказывать им сопротивление в течение какого-ни-

¹ Презрительная кличка американцев.

² То есть до Панамского канала.

будь вполне приличного срока — скажем, часов двух, а для дальнейшего хотели бы получить разрешение перейти реку.

Мы знали, что примерно в двадцати пяти милях на юг, в горном проходе Ла Мула, пятьсот повстанцев-добровольцев охраняют единственную дорогу из Охинаги через горы. Однажды через расположение федеральных войск на наш берег перебрался курьер с весьма важным известием. Он сообщил, что военный оркестр федеральной армии, репетировавший где-то в окрестностях городка, был захвачен конституционалистами, которые отвели музыкантов на рыночную площадь и, направив на них дула винтовок, заставили играть двенадцать часов подряд. «Таким образом, — говорилось в донесении, — тяготы жизни в пустыне были до некоторой степени облегчены». Мы так и не узнали, почему оркестр отправился из Охинаги за двадцать две мили репетировать в пустыне.

Целый месяц еще федералисты стояли в Охинаге, и Пресидио процветал. Наконец на пустынном горизонте показался Вилья со своей армией. Федералисты вполне приличное время оказывали сопротивление — как раз два часа, или, более точно, до тех пор, пока сам Вилья во главе батареи не ворвался в их расположение и не захватил их пушки, и потом панически бежали на американский берег, где американские патрули согнали их в огромный загон, откуда они впоследствии были переведены в концентрационный лагерь при форте Блисс, в штате Техас.

Но к этому времени я был уже в Мексике и пробирался через пустыню к фронту с сотней оборванных кавалеристов-конституционалистов.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВОЙНА В ПУСТЫНЕ

Глава I

ОБЛАСТЬ ГЕНЕРАЛА УРБИНЫ

Из Парралья приехал на муле торговец с грузом тасисхе, — когда нет табаку, курят тасисхе, — и все жители селения, а с ними и мы, отправились к нему узнать, что нового. Это произошло в Магистрале, горной деревушке в штате Дуранго, откуда до ближайшей железной дороги верхом приходится добираться три дня. Кто-то купил себе тасисхе, мы все поспешили одолжить у него на затяжку и тут же послали мальчика за листьями, заменяющими папиросную бумагу. Мы закурили и уселись вокруг торговца в три ряда. Много дней уже мы ничего не слышали о революции. Он, захлебываясь, делился с нами крайне тревожными слухами: федералисты прорвались из Торреона и направляются сюда, по пути предавая огню ранчо и убивая *pacíficos*¹; войска Соединенных Штатов перешли Рио Гранде; Уэрта вышел в отставку; Уэрта направляется на север, чтобы лично стать во главе федеральных войск; Паскуаль Ороско убит в Охинаге; Паскуаль Ороско направляется на юг с десятью тысячами *colorados*². Он рассказывал все это, отчаянно жестикулируя и расхаживая взад и вперед крупными шагами, так что его тяжелое коричневое с золотом сомбреро плясало на голове. То и дело, забрасывая свой полинявший голубой плащ на плечо, он стрелял из воображаемой винтовки, потрясал в воздухе воображаемой саблей, а его слушатели выкрикивали: «Ма» и «Cedio»³. Но самым

¹ мирное население (*испанск.*).

² Нерегулярные части мексиканской федеральной армии.

³ Возгласы удивления.

интересным был слух, что генерал Урбина через два дня выступает на фронт.

Весьма неприветливый араб, некий Антонио Свай-дета, который на следующее утро отправлялся в Пар-раль в своей двуколке, согласился подвезти меня до Лас Нивес, где живет генерал Урбина. К полудню мы оставили горы позади и покатили по ровному плато северного Дуранго — выгоревшей желтой прерии, протянувшейся на такое расстояние, что пасущиеся стада, по мере того как мы удалялись, становились все меньше и меньше, превращались в чуть заметные точки и наконец сливались с подножием изрезанных лиловых гор, до которых, казалось, можно было добросить камень. Неприветливый араб оттаял и принялся излагать мне историю своей жизни, из которой я не понял ни слова. Однако, насколько мне удалось уловить, она сводилась к бесконечным торговым операциям. Однажды он побывал в Эль Пасо¹ и считал его самым красивым городом в мире. Зато в Мексике торговать было выгоднее. Говорят, что в Мексике так мало евреев потому, что они не могут выдерживать конкуренции с арабами.

За весь день мы не встретили ни души, если не считать оборванного старика верхом на ослике, закутанного в клетчатое красно-черное серапе, но без штанов. Он крепко прижимал к груди поломанный ствол винтовки. То и дело сплевывая, старик по собственной инициативе сообщил нам, что он солдат, что после трех-летнего размышления он решил стать на сторону революции и бороться за свободу. Но в первом же сражении кто-то выстрелил из пушки — первый раз в жизни он услышал этот звук и тотчас отправился к себе домой в Эль Оро, где намеревается спуститься в какую-нибудь шахту на золотых приисках и сидеть там, пока не кончится война...

Мы замолчали; Антонио и я. Иногда он что-то говорил мулу на чистейшем кастильском наречии, не преминув объяснить мне, что его мул — «чистое сердце» (*puiga coazon*).

¹ Американский город на границе с Мексикой.

Солнце на мгновенье повисло на вершине красных порфириновых гор, а затем скользнуло за них; в бирюзовой чаше неба плыли оранжевые облачка. А бесконечные просторы пустыни, озаренные мягким светом, словно подступили ближе. Впереди внезапно возникла глухая крепостная стена — огромное ранчо, какие попадаются на пути не чаще раза в день, когда едешь по этой беспредельной равнине, — угрюмое квадратное здание без окон, с башнями, зияющими бойницами по углам и воротами, обитыми железом. Ранчо стояло на небольшом голом холме, мрачное и неприступное, как замок, окруженное загонами для скота, а внизу в сухом овражке блестело озерцо, — в этом месте пересыхающая речка вырвалась из песка, прежде чем снова в нем скрыться. По внутренним дворам ранчо поднимались тонкие струйки дыма, уходя в небо, озаренное последними лучами солнца. От речки к воротам двигались крохотные женские силуэты с кувшинами на головах, два бесшабашных всадника гнали скот к загонам. Горы на западе теперь казались синим бархатом, а бледное небо — балдахином из голубого шелка, усеянного кровавыми пятнами. Но к тому времени, когда мы достигли огромных ворот ранчо, небеса уже рассыпались звездным ливнем.

Антонио сказал, что нам нужно видеть дона Хесуса. Приехав на незнакомое ранчо, непременно спрашивайте дона Хесуса, и вы не ошибетесь: управляющих всегда зовут именно так. Вскоре к нам вышел необычайно высокий человек, в узких брюках, лиловой шелковой рубашке и сером сомбреро с тяжелым серебряным позументом, и пригласил нас войти. С внутренней стороны к стене со всех сторон были пристроены домики. Вдоль их стен и поперек дверей висели гирлянды нарезанного тонкими ломтиками мяса и красного перца, а также сохнувшее белье. Три девушки гуськом шли по двору, придерживая на головах ollas¹ с водой и перекликаясь между собой резкими голосами, обычными для мексиканских женщин. Возле одного дома сидела женщина, убаюкивая ребенка; у соседней двери другая женщина, стоя на коленях, молола кукурузу ручным жерновом — труд долгий и тяжелый. Мужчины сидели вокруг не-

¹ глиняные горшки (испанск.).

больших костров из сухих стеблей кукурузы, закутавшись в выцветшие плащи, курили *pojas*¹ и спокойно глядели, как работают женщины. Пока мы выпрягали нашего мула, они встали и подошли к нам, мягко произнося: «*Buenas noches*»², и разглядывая нас с дружеским любопытством. Откуда мы приехали? Куда держим путь? Какие новости? Неужели мадеристы еще не взяли Охинаги? Правда ли, что Ороско убивает всех *pacificos*? Не знаем ли мы Панфило Сильвейра? Он — *sargento*³ в армии генерала Урбины. Он здешний, двоюродный брат вот этого человека. И когда только придет конец войне!

Антонио пошел добывать кукурузы для мула.

— *Tanquito* — совсем немножечко! — скулил он. — Неужто дон Хесус захочет потребовать за это платы... Ну, много ли съест один мул!

Я подошел к одной из дверей узнать, не накормят ли они нас обедом. Хозяйка развела руками.

— Мы все теперь так бедны, — сказала она, — вода, бобы, *tortillas*⁴ — вот и вся наша пища... — Есть ли у них молоко? — Нет. Яйца? — Нет. Мясо? — Нет. Кофе? *Valgame Dios!*⁵ — Нет!

Я намекнул, что за эти вот деньги они могли бы купить что-нибудь у соседей.

— *Quien sabe*, — протянула женщина задумчиво. В эту минуту к нам подошел ее муж и набросился на нее с упреками за негостеприимное к нам отношение.

— Мой дом к вашим услугам, — сказал он торжественно и попросил папиросу.

Затем он присел на корточки, а его жена пододвинула нам два парадных стула. Комната показалась мне довольно большой. Пол был земляной, а сквозь тяжелые балки потолка просвечивала глинобитная крыша. Стены и потолок были выбелены и невооруженному глазу казались безупречно чистыми. Один угол занимала большая железная кровать, другой — швейная машина «зингер», которую я видел в каждом мексиканском доме. На точеном столике стояла открытка с изображением

¹ Папиросы, свернутые из кукурузных листьев.

² Добрый вечер (*испанск.*).

³ сержант (*испанск.*).

⁴ Лепешки из кукурузной муки (*испанск.*).

⁵ Господи помилуй! (*испанск.*)

Гваделупской божьей матери, и перед ней горела свеча. На стене над этим изображением в посеребренной рамке висела непристойная картинка, вырезанная из журнала «Le Rire»¹ — по-видимому, предмет глубочайшего почитания.

В комнате один за другим появлялись всяческие дя-дюшки, двоюродные братья и compadres², мимоходом осведомляясь, не найдется ли у нас папироски. По приказу мужа, хозяйка принесла горящий уголек прямо в пальцах. Мы закурили. Дело шло к ночи. Поднялся горячий спор, кому идти покупать провизию для нашего обеда. Выбор пал на женщину; и вскоре мы с Антонио уже сидели в кухне, а в углу на глиняном возвышении, похожем на алтарь, наша хозяйка, скорчившись, что-то стряпала на костре. Дым клубами повалил за дверь. Время от времени со двора к нам забредал поросенок или заходили куры, а иногда стремительно вбегала овца и бросалась к кукурузному тесту, но тут сердитый голос хозяина дома напоминал жене, что она не так уж по горло занята. И она устало вставала и горячей головней прогоняла надоедливую скотину.

Во время нашего ужина, состоявшего из ломтиков сушеного мяса, сдобренного огненным перцем, яичницы, tortillas, frijoles³ и черного, горького кофе, все мужское население ранчо, толпившееся в комнате и у дверей, составляло нам компанию. Многие пылали ненавистью к церкви.

— У попов нет ни стыда, ни совести, — кричал кто-то, — раз они, при нашей бедности, берут у нас десятую часть всего, что мы имеем!

— А ведь мы отдаем четвертую часть правительству на поддержку этой проклятой войны!..

— Заткни глотку! — закричала женщина. — Это ведь для бога. Бог должен есть, как и мы!..

Ее муж снисходительно улыбнулся. Он когда-то ездил в Хименес и считался сведущим человеком.

— Бог — он ничего не ест, — сказал он безапелляционно. — А вот попы жиреют на нашем горбу.

— А зачем вы даете? — спросил я.

¹ «Смех» (франц.).

² приятели (испанск.).

³ мексиканских бобов.

— Таков закон, — ответило сразу несколько человек.
. И никто из них не поверил мне, что этот закон был отменен в Мексике еще в 1857 году!

Я спросил, какого они мнения о генерале Урбине.

— Прекрасный человек, чистое сердце! — сказал один.

— Очень храбрый! Пули отскакивают от него, как дождевые капли от сомбреро, — добавил другой.

— Он *bueno para los negocios del campo* (то есть удачливый бандит и грабитель), — сказал третий.

И наконец последний гордо заключил:

— А ведь всего несколько лет назад он был простым пеоном¹, как и мы, а теперь стал генералом и богачом.

Но не скрою, я не скоро забуду истощенное тело и босые ноги старика с лицом святого, который сказал медленно:

— Революция — это хорошо! Когда она победит, мы с божьей помощью больше никогда, никогда, никогда не будем голодать. Но это будет не скоро, а сейчас нам нечего есть, нечего надеть. Хозяин уехал из асиенды, у нас нет рабочего скота, и нам нечем обрабатывать землю, а солдаты забирают последний хлеб и угоняют скотину...

— А почему же *pacíficos* не идут на войну?

Он пожал плечами.

— Мы им не нужны. У них для нас нет ни оружия, ни лошадей. Они сами справляются. А кто будет кормить их, если мы перестанем сеять кукурузу? Нет, сеньор. Но если революции будет грозить опасность, тогда больше не останется *pacíficos*. Тогда мы все встанем на ее защиту с ножами и хлыстами... Революция должна победить!..

Когда мы с Антонио, завернувшись в одеяла, легли спать на полу в амбаре, наши хозяева начали петь. Кто-то из молодежи раздобыл гитару, и два голоса, сливаясь в визгливой мексиканской мелодии, громко завывали что-то о «*trista historia d'amor*»².

Это ранчо, как и многие другие, входило в асиенду Эль Канотильо, и на следующий день мы до самого вечера ехали по ее землям, занимавшим, как мне ска-

¹ Пеон — крестьянин, батрак.

² печальной истории любви (*испанск.*).

зали, более двух миллионов акров. Асиендадо, богатый испанец, бежал из страны два года назад.

— А кто же теперь здесь хозяин?

— Генерал Урбина, — ответил Антонио.

И это было верно, как я вскоре убедился. Огромные асиенды северного Дуранго, по площади превосходившие штат Нью-Джерси, были конфискованы генералом от имени конституционного правительства, и теперь он управлял ими через своих агентов и, поговаривали, изымал пятьдесят процентов доходов, предназначавшихся «на революцию», в свою пользу.

Мы ехали целый день без отдыха, сделав лишь один короткий привал, чтобы проглотить несколько tortillas. На закате далеко впереди у подножия горы мы увидели красную глиняную стену, окружавшую Эль Канотильо, — целый город маленьких домишек, и возвышавшуюся под деревьями аламо розовую колокольню старинной церкви. А перед нами лежала деревушка Лас Нивес — разбросанные в беспорядке хижины цвета глины, из которой они были построены, казавшиеся каким-то странным наростом на поверхности пустыни. Деревушка стояла в излучине сверкающей на солнце речушки. На ее берегах не было и следа зелени, и они ничем не отличались от сожженной солнцем равнины. Когда мы переходили речку вброд, пробираясь между женщинами, стиравшими белье, солнце вдруг скрылось за западными горами. Тотчас землю затопил поток оранжевого света, густой как вода, и кругом заколебался золотистый туман, в котором словно плавал безногий скот.

Я знал, что за такую поездку нужно было заплатить Антонио не меньше десяти песо, — и ведь он был араб до мозга костей. Но когда я предложил ему деньги, он бросился мне на шею и залился слезами...

Да благословит тебя бог, великодушный араб! Ты прав — в Мексике торговать выгоднее.

Глава II

ЛЕВ ДУРАНГО У СЕБЯ ДОМА

У дверей дома генерала Урбины сидел старик пеон, опоясанный четырьмя патронными лентами, и мирно начинал пороховом бомбы из гофрированного железа. Он

ткнул пальцем в сторону внутреннего двора. Дом генерала, разные службы и склады образовывали четырехугольник, внутри которого поместился бы целый квартал. Там кишели свиньи, куры и полуголые дети. Два козла и три пышных павлина задумчиво глядели на меня с крыши. Куры вереницами входили и выходили из гостиной, где граммофон терзал «Принцессу долларов». Из кухни вышла старуха и вылила на землю ведро помоев; к ним с визгом бросились свиньи. В углу за домом сидела маленькая дочка генерала и посасывала патрон. У колодца посреди двора стояли и лежали мужчины. В центре этой группы в поломанном плетеном кресле сидел сам генерал и кормил лепешками ручного оленя и хромую черную овцу. Стоя на коленях перед ним, пеон вытряхивал на землю из полотняного мешка сотни маузеровских патронов.

На мои объяснения генерал ничего не сказал. Даже не привстав, он протянул мне вялую руку и сразу же отдернул ее. Это был широкоплечий мужчина среднего роста, с медно-красным лицом, по самые скулы заросшим жидкой черной бородой, которая не могла скрыть узкогубый невыразительный рот и вывернутые ноздри. В его блестящих маленьких глазках животного прятался смехок. Добрых пять минут их взгляд не отрывался от моих глаз. Я протянул ему свои документы.

— Я не умею читать, — вдруг сказал генерал и позвал своего секретаря. — Так, значит, вы хотите ехать со мной на фронт? — рявкнул он затем на простонародном испанском диалекте. — Пули там так и свистят (я промолчал). *Muy bien!*¹ Но я не знаю, когда я поеду туда. Может быть, дней через пять. А сейчас ешьте!

— Благодарю вас, генерал, я уже ел.

— Идите есть! — повторил он невозмутимо. — *Ap-dale*².

Грязный человек, которого все называли доктором, проводил меня в столовую. Когда-то он был аптекарем в Паррале, а теперь имел чин майора. Он сказал мне, что эту ночь я буду спать с ним. Но не успели мы дойти до столовой, как раздались крики: «Доктор!» Прибыл

¹ Отлично! (*испанск.*)

² Быстро! (*испанск.*)

раненый крестьянин, державший свое сомбреро в руке, — голова его была завязана окровавленным платком. Маленький доктор сразу засуетился. Одного мальчугана он послал за ножницами, обыкновенными домашними ножницами, другому приказал принести ведро воды. Подняв с земли палочку, он начал заострять ее ножом. Затем, усадив раненого на ящик, он снял повязку, под которой зияла резаная рана дюйма в два, покрытая грязью и запекшейся кровью. Сначала он остриг волосы вокруг раны, то и дело задевая ее концами ножниц. Раненый тяжело дышал, но сидел неподвижно. Затем доктор, весело насвистывая, *срезал ножницами всю запекшуюся кровь с раны.*

— Да, интересная, знаете, жизнь доктора, — заметил он, пристально вглядываясь в густую струю крови. Крестьянин сидел как изваяние мученика. — Благородная профессия! — продолжал доктор. — Облегчать людские страдания...

При этих словах он взял заостренную палочку, *засунул в рану и принялся медленно выскабливать ее по всей длине.*

— Тьфу! Это животное потеряло сознание! — сказал доктор. — Ну-ка, придержите его, пока я буду ее промывать.

Он взял ведро и вылил его содержимое на голову раненому. Вода, смешанная с кровью, стекала по одежде на землю.

— Эти невежественные пеоны совсем лишены мужества, — продолжал доктор, накладывая на рану прежнюю повязку. — Только разум придает человеку храбрость, а, сеньор?

Когда крестьянин пришел в себя, я спросил его:

— Вы солдат?

Раненый улыбнулся мягкой, виноватой улыбкой и сказал:

— Нет, сеньор. Я всего только *pacífico*... Я живу в Канотильо, и дом мой всегда к вашим услугам...

Спустя некоторое время — изрядное время — мы сели ужинать. Среди моих сотрапезников был лейтенант-полковник Пабло Сеанес — бесхитростный веселый молодой человек лет двадцати шести, носивший в теле пять пуль, заработанных за три года войны. Он уснащал свою речь крепкими солдатскими словечками,

но произносил их довольно невнятно — одна из пуль за-
села у него в челюсти, а язык был разрублен сабельным
ударом. О нем говорили, что он демон в бою и жестокий
мститель (*muj matador*) после боя. При первом взятии
Торреона, Пабло и еще два офицера, майор Фиерро и
капитан Борунда, собственноручно расстреляли из ре-
вольверов восемьдесят безоружных пленных и продол-
жали это занятие до тех пор, пока не устали спускать
курок.

— Oiga¹, — обратился ко мне Пабло. — Вы не
знаете, где в Соединенных Штатах самый лучший инсти-
тут по изучению гипнотизма? Как только кончится эта
проклятая война, я буду учиться на гипнотизера.

Тут он повернулся к лейтенанту Боррега и начал
делать гипнотические пассы. Лейтенант, прозванный в
насмешку «Сиеррским львом» за необыкновенную
склонность к хвастовству, судорожно схватился за ре-
вольвер.

— Не желаю иметь дело с дьяволом! — взвизгнул
он, и все кругом оглушительно захохотали.

Сидел за столом и капитан Фернандо, седой великан
в узких брюках, участвовавший в двадцати двух сраже-
ниях. Мой ломаный испанский язык приводил его в не-
истовый восторг, и при каждом моем слове он разра-
жался таким хохотом, что дрожали стены. Он никогда
не выезжал из штата Дуранго и утверждал, что Мек-
сику от Соединенных Штатов отделяет огромное море
и что вся остальная земля залита водой. Рядом с ним
сидел Лонгинос Герека, чье круглое доброе лицо то и
дело расплывалось в улыбке, открывавшей гнилые зубы,
и чье простодушие и храбрость славилась по всей ар-
мии. Ему исполнился двадцать один год, и он уже был
в чине капитана. Он рассказал мне, что накануне ночью
его собственные солдаты пытались убить его... Дальше
сидел Патричио, лучший объездчик диких лошадей во
всем штате, а рядом с ним — Фиденчио, чистокровный
индеец, семи футов росту, который всегда сражался
стоя. И наконец Рафаэль Саларсо, горбатый карлик,
которого Урбина всегда возил с собой для забавы,
словно какой-нибудь средневековый итальянский герцог.

¹ Послушайте (*испанск.*).

Когда мы обожгли свои глотки последними каплями enchilada и выловили последний боб с помощью последней лепешки, — вилки и ложки здесь неизвестны, — каждый офицер пополоскал рот и выплюнул воду на пол. Выйдя после ужина во двор, я увидел генерала. Слегка пошатываясь, он появился из дверей своей комнаты. В руке у него был револьвер. Постояв минуту, в луче света, падавшем из другой двери, он вдруг вошел в нее и захлопнул за собой.

Я уже лежал в постели, когда пришел доктор. На другой кровати лежал Сиеррский лев с очередной случайной подругой. Они уже громко храпели.

— Да, — сказал доктор, — произошла маленькая неприятность. Два месяца генерал совсем не может ходить из-за ревматизма. Когда боль становится особенно сильной, генерал находит забытие в aguardiente¹. Сейчас он хотел застрелить свою мать. Он часто пытается застрелить ее... потому что он крепко ее любит.

Доктор посмотрелся в крохотное зеркальце и покрутил усы.

— Наша революция... Вы должны правильно судить о ней. Это борьба бедных против богатых. Я был очень беден до революции, а теперь я очень богат.

Подумав минуту, он начал раздеваться. Стаскивая заскорузлую от грязи нижнюю рубашку, доктор в первый и последний раз почтил меня ломаной английской фразой.

— У меня много вошей.

Я проснулся на рассвете и отправился осматривать Лас Нивес. Все здесь принадлежит генералу Урбине — дома, животные, люди и их бессмертные души. Только он чинит здесь суд и расправу. Единственная лавочка в деревне находится в его доме, и я купил там папиросы у Сиеррского льва, который в тот день исполнял обязанности приказчика. Во дворе генерал разговаривал со своей любовницей — аристократического вида красавицей, чей голос напоминал визг пилы. Заметив меня, он пошел мне навстречу, пожал руку и сказал, что ему хотелось бы, чтобы я его сфотографировал.

¹ крепкой водке (испанск.).

Я ответил, что это как раз цель моей жизни, и спросил, когда он отправляется на фронт.

— Деньков через десять, — сказал генерал.

Это меня сильно смутило.

— Я очень ценю ваше гостеприимство, генерал, — заявил я, — но я обязан как можно скорее отправиться, туда, чтобы присутствовать при наступлении на Торреон. Если это возможно, я хотел бы вернуться в Чиуауа к генералу Вилье, который скоро отправляется на юг.

Урбина, не меняя выражения лица, закричал:

— А что вам тут не нравится? Ведь вы здесь как в собственном доме! Вам нужны папиросы? *Aguardiente*, *sotol*¹ или коньяк? Женщина, которая согревала бы вашу постель по ночам? Говорите, что нужно, — все получите. Вам нужен пистолет? Лошадь? Деньги?

Он сунул руку в карман, вынул горсть серебряных долларов и швырнул их мне под ноги.

— Нигде в Мексике меня не принимали так хорошо, как в вашем доме, — ответил я и решил ждать.

Весь следующий час я фотографировал генерала Урбину: генерал Урбина стоит с саблей и без сабли; генерал Урбина на трех разных лошадях; генерал Урбина в кругу своей семьи и без семьи; трое детей генерала Урбины на лошадях и без лошадей; мать генерала Урбины и его любовница; вся семья, вооруженная саблями, револьверами, с граммофоном посередине, один из сыновей держит плакат, на котором чернилами выведено: «Генерал Томас Урбина».

Глава III

ГЕНЕРАЛ ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА ВОЙНУ

Мы кончили завтракать, и я уже примирился с тем, что мне придется еще десять дней провести в Лас Нивес, как вдруг генерал изменил решение. Он вышел из своей комнаты, громовым голосом выкрикивая приказания. Через пять минут в доме уже царила невообразимая суматоха — офицеры бежали укладывать свои сарапы, кавалеристы седлали лошадей, пеоны метались взад и вперед, таская охапки винтовок. Патричио

¹ Сорт водки (испанск.).

запряг пять мулов в огромную карету — как две капли воды похожую на старинный дилижанс. В Канотильо, где стоял эскадрон, помчался гонец с известием о выступлении в поход. Рафаэлито таскал в карету багаж генерала; пишущую машинку, четыре сабли — одна из них с эмблемой рыцарей Пифии¹, три мундира, генеральское тавро и огромную бутылъ *aguardiente*.

Вдали на дороге показалось облако бурой пыли — это скакал эскадрон. Впереди летел на лошади маленький коренастый черный кавалерист с мексиканским флагом; на голове у него красовалось огромное сомбреро, украшенное пятью фунтами потемневшего золотого галуна, некогда составлявшего гордость какого-нибудь асиендадо. Вслед за ним скакал Мануэль Паредес в сапогах с голенищами до бедер, застегнутыми серебряными пряжками величиной с доллар, колотивший своего коня саблей плашмя. Исидро Амайо заставлял своего жеребца гарцевать, хлопая его шляпой по глазам; Хосе Валиенте звенел огромнейшими серебряными шпорами с бирюзовой инкрустацией; У Хесуса Манчилла на шее сверкала медная цепь; на сомбреро Хулиана Риеса красовались все самые известные изображения Христа и богородицы. За ними тесной кучкой неслись еще шесть всадников, над которыми то и дело взлетало лассо Антонио Гусмана, старавшегося их заарканить. Эскадрон мчался во весь опор, испуская воинственные вопли и стреляя из револьверов. Не замедляя скачки, всадники приблизились на сто шагов и вдруг круто остановили лошадей, разрывая им губы, — вихрь из людей, лошадей и пыли.

Таков был эскадрон генерала Урбины, когда я увидел его впервые, — человек сто, одетых в живописные и невообразимо потрепанные костюмы: тут были и комбинезоны, и куртки пеонов, и узкие ковбойские брюки. Кое-кто был обут в сапоги, большинство щеголяло в сандалиях из сыромятной кожи, остальные разгуливали босиком. Сабас Гутирес облачился в старомодный фрак, разрезанный сзади до пояса, чтобы удобнее было сидеть в седле. Винтовка, притороченная к луке, четыре-пять патронных лент, крест-накрест пересекавших грудь,

¹ Тайное американское общество, организованное в 1864 году с благотворительными целями,

высокие сомбреро с широченными полями, огромные шпоры, звенящие на ходу, и пестрые серапе — такова была их форма.

Генерал прощался с матерью. Перед дверью, скорчившись на земле, плакала его любовница, окруженная тремя своими детьми. Мы прождали почти целый час, как вдруг Урбина стремительно выбежал из дома. Даже не взглянув на семью, он вскочил на своего огромного серого коня и бешено его пришпорил. Хуан Санчес затрубил в разбитую трубу, и эскадрон во главе с генералом понесся к Канотильо.

Тем временем мы с Патричио погрузили в карету три ящика динамита и ящик с бомбами. Я уселся рядом с Патричио, пеоны отпустили мулов, и длинный бич полоснул животных по брюху. Мы выехали из деревушки галопом и помчались по крутому берегу реки со скоростью двадцати миль в час. Эскадрон скакал по другому берегу, выбрав более прямой путь. Мы миновали Канотильо, не останавливаясь.

— *Arge, mulas! Putas! Hijas de la. No!..*¹ — вопил Патричио, размахивая длинным кнутом.

*Camino Real*² представляла собой обыкновенную проселочную дорогу, изрытую ухабами; каждый раз, когда мы спускались в овраг, ящики с динамитом угрожающе стучали. Вдруг лопнула веревка, и один ящик свалился на камни. Но утро было прохладное, и мы благополучно водворили его на место...

Через каждые сто ярдов мы проезжали кучки камней, увенчанные деревянными крестами, — память об убитом на дороге. На перекрестках торчали высокие побеленные кресты, охранявшие затерянное в пустыне ранчо, к которому вела боковая тропа, от посещения дьявола. Черный блестящий чапарраль, вышиной с мула, царапал стенку кареты; испанский штык и огромные кактусы-питайа высились на горизонте, как часовые. А над ними кружили могучие мексиканские грифы, словно знавшие, что мы едем на войну.

К вечеру слева показалась каменная стена, окружающая миллион акров асиенды Торреон де Каньяс и, подобно Великой китайской стене, протянувшаяся по

¹ Пошли, животные! Сволочи! Черт вас поберет!.. (испанск.)

² Широкая проезжая дорога.

пустыне и по горам больше чем на тридцать миль. Затем мы увидели асиенду. Перед господским домом расположился эскадрон. Нам сообщили, что генерал Урбина внезапно серьезно заболел и ему, вероятно, придется с неделю пролежать в постели.

Каса Гранде (господский дом), великолепный дворец с портиками, но всего в один этаж, занимал всю вершину оголенного холма. Перед его фасадом расстилались пятнадцать миль желтой холмистой равнины, за которой протянулись цепи громаздящихся друг на друга гор. Позади Каса Гранде были расположены конюшни и огромные загоны для скота. Там уже вились столбы желтого дыма — это солдаты эскадрона разожгли свои вечерние костры. Дальше в ложине хижины пеонов — их было больше сотни — отгораживали квадратную площадку, где резвились дети и животные, а женщины, как всегда, стоя на коленях, мололи кукурузу. По равнине медленно ехали возвращавшиеся домой вакеро¹, а от реки, находившейся в миле от поселка, бесконечной вереницей брели женщины, закутанные в черные шали, с огромными кувшинами на головах.

Трудно себе даже представить, как близко к природе живут пеоны на этих огромных асиендах. Даже их хижины построены из той же обожженной солнцем глины, на которой они стоят, их пища — кукуруза, которую они выращивают; их питье — вода, которую зачерпывают из пересыхающей реки и тащут домой на головах усталые женщины; их одежда соткана из шерсти, сандалии вырезаны из шкуры только что зарезанного быка. Животные — самые близкие их друзья. Свет и тьма — их день и ночь. Когда мужчина и женщина влюбляются, они бросаются друг другу в объятия без всяких предварительных формальностей; надоев друг другу, они расходятся. Венчание стоит дорого (целых шесть песо священнику) и считается излишней роскошью, но и оно ни к чему не обязывает случайно сошедшуюся пару. Ревность, конечно, приводит к поножовщине.

Мы обедали в одной из величественных пустых зал дворца — огромной комнате высотой в восемнадцать футов и с чудесными стенами, оклеенными дешевыми аме-

¹ Мексиканские ковбои.

риканскими обоями. Одну сторону зала занимал гигантский буфет красного дерева, но ножей и вилок в нем не оказалось. В крохотном камине никогда не зажигался огонь, хотя в помещении веяло холодом смерти. В соседней комнате стены были обиты тяжелой цветной парчой, но на бетонном полу не было ковра. Ни водопровода, ни канализации — за водой приходилось ходить к колодцу или к реке. Свечи — единственное освещение. Конечно, владелец асиенды давно бежал, но даже при нем дворец, наверное, был так же пышен и уютен, как средневековый замок.

Сига — священник асиенды — занимал почетное место за столом. Ему подавались лучшие кушанья, которые он, отложив себе на тарелку, иногда передавал своим любимцам. Мы пили *sotol* и *aguaniel*, а сига осушил целую бутылку где-то похищенной анисовки. Развеселившись после этого, его преподобие начал перевозносить прелести исповедальни — особенно когда исповедуются молодые девушки. Он также намекнул нам, что обладает неким феодальным правом, касающимся новобрачных.

— Здешние девушки, — сказал он, — очень страстные...

Я заметил, что сидевшие за столом не засмеялись на это, хотя внешне все были очень почтительны с сига. Когда мы вышли из зала, Хосе Валиенте, весь дрожа от злости, процедил сквозь зубы:

— Я знаю этих... Мою сестру... Революция еще скажет свое слово по поводу этих *sigas*!

Впоследствии два видных конституционалиста в мало известном проекте предложили изгнать духовенство из Мексики, а ненависть к попам генерала Вильи хорошо всем известна.

Когда на следующее утро я вышел во двор, Патричио уже запрягал мулов в карету, а кавалеристы седлали коней. Доктор, остававшийся с генералом в асиенде, подошел к моему приятелю, кавалеристу Хуану Валехо.

— Славная у тебя лошадка, и винтовка не плоха, — сказал он. — Одолжи-ка их мне.

— Но у меня ведь нет другой... — начал было Хуан.

— Я старше тебя чином, — возразил доктор, и больше мы не видели ни его, ни лошади, ни винтовки.

Я пошел проститься с генералом, который мучительно корчился в постели, каждые четверть часа передавая своей матери по телефону бюллетень о состоянии своего здоровья.

— Желаю вам счастливого пути! — сказал он. — Пишите правду. Отдаю вас на попечение Паблито.

Глава IV

ЭСКАДРОН В ПОХОДЕ

Я сел в карету вместе с Рафаэлито, Пабло Сеанес и его подругой. Это было странное создание. Молодая, стройная, красивая, она обдавала холодом и злобой всех, кроме Пабло. Я ни разу не видел, чтобы она улыбнулась, не слышал, чтобы она сказала хоть одно ласковое слово. С нами она обходилась с тупым равнодушием, а иногда мы вызывали у нее вспышки бешеной ярости. Но за Пабло она ухаживала, как за маленьким ребенком. Когда он укладывался на сидении и клал голову ей на колени, она крепко прижимала ее к своей груди, взвизгивая, как тигрица, играющая с детенышами.

Патричио достал из ящика свою гитару и передал ее Рафаэлито. Под его аккомпанемент Пабло начал петь хриплым голосом любовные баллады. Каждый мексиканец знает наизусть сотни этих баллад. Они нигде не записаны, часто сочиняются экспромтом и передаются из уст в уста. Некоторые из них прекрасны, другие безобразны, третьи по едкой сатире не уступают французским народным песням. Он пел:

Правительство меня сослало,
И долго я блуждал по свету,
Но к концу года я вернулся —
Возлюбленную не мог позабыть.
Уезжая, я задумал твердо
Навсегда остаться на чужбине,
И меня заставить возвратиться
Только женщина могла своей любовью,

И затем: «Los Hijos de la Noche»: ¹

¹ «Сыновья ночи» (испанск.).

Я — сын ночи, так же как другие,
И во тьме ее брожу бесцельно,
Лишь луна в серебряном наряде
Грусть мою со мною разделяет.

От тебя себя уйти заставлю,
Обессилив от рыданий,
Уплыву далеко в море,
Берега его покину.

Я скажу при расставанье,
Если мне с другим изменишь,
Я лицо твое испорчу,
Будем бить с тобой друг друга.

Я американцем стану,
Уеду в Америку и там поселюсь,
Бог, Антония, с тобою,
Передай привет друзьям ты.

Лишь бы американцы пустили меня к себе
И позволили трактир открыть
На другом берегу Рио Гранде!

Мы позавтракали на асиенде Эль Гентро, и тут Фиденчио предложил мне поехать дальше на его лошади.

Эскадрон был уже далеко, всадники, растянувшись на полмили, мелькали среди кустов черного мескита. Впереди них колыхался крохотный красно-бело-зеленый флаг. Горы скрылись за горизонтом, и мы ехали теперь по огромной чаше пустыни, края которой задевали раскаленную синеву мексиканского неба. Теперь, когда я расстался с каретой, глубокая тишина, невыразимый покой окружили меня. На пустыню нельзя смотреть со стороны — вы сливаетесь с нею, становитесь ее частью.

Пришпорив лошадь, я скоро догнал эскадрон.

— Эгей, мистер! — вопили всадники. — Гляди, мистер наш верхом! Que tal, мистер? Как дела? Хочешь воевать вместе с нами?

Но капитан Фернандо, ехавший впереди колонны, обернулся ко мне и рывкнул:

— Сюда, мистер! — он весь сиял от радости. — По-едем вместе! — кричал он, хлопая меня по спине. — Пей! — и он протянул мне бутылку sotol, наполовину опорожненную. — Пей до дна, докажи, что ты мужчина.

— Как будто многовато, — засмеялся я.

— Пей! — закричали кавалеристы, и почти весь эскадрон сгрудился вокруг меня. Я осушил бутылку до

дна. Раздался взрыв хохота и рукоплесканий. Фернандо перегнулся и крепко пожал мне руку.

— Здорово пьешь, сомтрайего! ¹ — заорал он, показываясь со смеху.

Меня принялись расспрашивать, буду ли я драться вместе с ними? Откуда я приехал? Чем я занимаюсь? Большинство никогда не слыхало слова «репортер», а один, мрачно взглянув на меня, высказал мнение, что я гринго и порфирист ² и меня нужно расстрелять.

Остальные, однако, с этим не согласились. Ни один порфирист не выпьет одним залпом столько *sotol*. Исидро Амайо заявил, что он в первую революцию служил в бригаде, при которой был репортер, и его называли «Corresponsal de Guegga» ³. Нравится ли мне Мексика? Я ответил, что очень люблю Мексику и мексиканцы тоже мне нравятся. И еще мне нравятся *sotol*, *aguardiente*, *mescal*, *tequila*, *pulque* ⁴ и разные мексиканские обычаи. Это вызвало настоящий взрыв восторга.

Капитан Фернандо наклонился в седле и похлопал меня по плечу.

— Значит, ты заодно с народом. Когда революция победит, у нас будет народное правительство — правительство бедноты. Вот эта земля, по которой мы проезжаем, раньше принадлежала богачам, а теперь принадлежит мне и моим сомтрапегос.

— А вы будете служить в армии? — спросил я.

— Когда революция победит, тогда совсем не будет армии, — ответил он к моему изумлению. — Народ ненавидит армию. Ведь дон Порфирио грабил нас с помощью армии.

— А если Соединенные Штаты вторгнутся в Мексику? Поднялась настоящая буря.

— Мы храбрее американцев. Проклятые гринго дальше Хуареса не продвинутся... Мы им покажем!.. Мы их сразу прогоним обратно, а на другой день сожжем их столицу!..

— Да, — сказал Фернандо, — у вас больше денег и больше солдат. У нас встанет весь народ. Нам не

¹ товарищ, приятель (*испанск.*).

² Сторонник Порфирио Диаса.

³ Военный корреспондент.

⁴ Названия разных алкогольных напитков.

нужна армия. Народ будет сражаться за свои семьи, за своих жен.

— А вы за что сражаетесь? — спросил я.

Хуан Санчес, знаменосец, удивленно посмотрел на меня.

— Да ведь сражаться хорошо. Не надо работать в рудниках...

— Мы сражаемся за то, чтобы Франсиско Мадеро опять был президентом, — сказал Мануэль Паредес.

Это необычайное требование значится в программе революции. И повсюду солдат-конституционалистов называют «мадеристами».

— Я знал его, — продолжал Мануэль. — Всегда он был такой веселый, всегда смеялся.

— Да, — начал другой, — бывало, когда кто-нибудь провинится и его хотели убить или посадить в тюрьму, Мадеро говорил: «Подождите, дайте мне с ним поговорить. Я думаю, он исправится».

— Он любил *bailes*¹, — сказал индеец. — Не раз я видел, как он плясал всю ночь напролет, и еще день, и еще ночь. Он приезжал в большие асиенды и произносил речи. Когда он начинал речь, пеоны с ненавистью смотрели на него, когда кончал — все плакали...

Тут кто-то затянул монотонно и заунывно, как всегда соблюдая мотив, каким поются народные баллады, возникающие тысячами по всякому поводу:

В тысяча девятьсот десятом,
В день восемнадцатого февраля,
Мадеру заперли в тюрьму
В Национальном дворце.

Четыре дня был он заключен,
В руках врагов томился,
И только потому, что не хотел
Отречься от президентства.

Бланкет и Феликс Диас
Пытали его там,
Как самые искусные палачи, —
Так крепко ненавидели его они.

Они ломали ему руки и ноги,
И он от боли терял сознание,
Жестокими пытками они хотели
Принудить его к отречению.

¹ танцы (испанск.).

Каленым железом они жгли его,
Жестокие, немилосердные палачи,
И только когда он лишился сознания,
Пытку они прекратили.

Но все это было напрасно —
Не сломлен был дух Мадеро
Он смерть предпочел отреченью, —
То был человек с великим сердцем!

И так закончилась жизнь
Того, кто всю жизнь боролся
За Индейскую республику
И за бедноту.

Они вынесли его из дворца
И сказали, что он убит в драке.
О, какая наглость и бесстыдство,
Какая подлая ложь!

Ах, улица Лекумберри,
Твоя веселость исчезла навсегда —
Мадеро проследовал по тебе
В свой последний путь.

Двадцать второе февраля
Индейский народ запомнит навеки,
Бог все простит Мадеро
И дева Гваделупская.

Прощай, прекрасный Мехико,
Где они убили Мадеро,
Прощай, дворец пытки,
Откуда вынесли его труп.

Сеньоры, ничего нет вечного,
И нет правды на земле:
Поглядите, что сделали они
С доном Франсиско Мадеро!

К тому времени, когда он дошел до половины баллады, весь эскадрон уже подпевал ему, а когда он кончил, на минуту наступила звенящая тишина.

— Мы боремся за Libertad¹, — сказал Исидро Амайо.

— А что вы подразумеваете под словом «Libertad»?

— Когда я смогу делать то, что хочу, вот это и будет Libertad.

— Но, быть может, это будет во вред другим людям?

¹ свободу (испанск.).

На это Исидро ответил мне великолепным изречением Бенито Хуареса:

— Мир — это уважение к правам других!

Этого я не ожидал. Меня поразило такое определение свободы в устах этого босоногого *mestizo*¹. Я должен признать, что оно — единственно правильное, — *делать то, что я хочу*. Американцы с торжеством ссылаются на эту фразу, чтобы доказать безответственность мексиканцев. Но я считаю, что это определение лучше нашего: свобода — это право делать то, что хотят законодательные органы. Каждый мексиканский школьник знает определение слова «мир» и прекрасно разбирается, что оно означает. Однако существует мнение, что мексиканцы не хотят мира. Это ложь, и очень глупая ложь. Пусть-ка американцы, которые так думают, отправятся в мадеристскую армию и спросят, хотят солдаты мира или нет. Все бесконечно устали от войны.

Однако во имя беспристрастности я должен привести здесь замечание Хуана Санчеса.

— А что, в Соединенных Штатах сейчас нет никакой войны? — спросил он.

— Нет, — сказал я, покрывив душой.

— Никакой, никакой войны? — Он на минуту задумался. — Как же вы в таком случае проводите время?..

Как раз в эту минуту в кустах показался койот, и весь эскадрон с гиканьем бросился вслед за ним. Всадники с веселыми возгласами рассыпались по пустыне, заходящее солнце играло на их шпорах и патронных лентах, позади них развевались пестрые серапе. А впереди спаленная равнина уходила в небо, и в жарком мареве далекая гряда сиреневых гор танцевала, словно вставший на дыбы конь. Здесь, если предание не лжет, проходили закованные в железо испанцы в поисках золота — вспышка пурпура и серебра, и с тех пор пустыня стала тусклой и холодной. Поднявшись на возвышенность, мы увидели асиенду Ла Мимбрера, — лепившиеся по склону холма домики, окруженные крепкой стеной, способной выдержать осаду, и великолепный Каса Гранде, на самой его вершине.

¹ метиса (испанск.).

Перед Каса Гранде, который в предыдущем году был разграблен и сожжен Че Че Кампа, генералом армии Ороско, стояла наша карета. Десяток сомрапегос, разложив огромный костер, уже резали овцу. Багровые отблески ложились на их лица, на овцу, которая, блея, билась у них в руках, а стекавшие на землю струи крови, попадая в полосы огненного света, казалось, начинали светиться изнутри.

Я обедал с офицерами в доме управляющего дона Хесуса — более совершенного образца мужественной красоты мне еще не приходилось видеть. Он был выше шести футов ростом, стройный, с молочной кожей — самый чистый, самый благородный испанский тип. В одном конце его столовой висело полотенце, на котором красным, белым и зеленым было вышито: «Да здравствует Мексика!», а в противоположном конце — другое, с надписью: «Да здравствует Иисус».

Когда после обеда я остановился у костра, раздуывая, где бы устроиться на ночь, кто-то тронул меня за локоть. Это был капитан Фернандо.

— Хотите спать с сомрапегос?

Мы пересекли огромный квадратный двор, озаренный слепящим блеском звезд пустыни, и подошли к каменному складу, стоявшему в стороне от других зданий. Внутри горело несколько свечей, освещаая составленные в углах винтовки и седла, сваленные на пол, на которых покоились головы завернувшихся в одеяла сомрапегос. Двое-трое из лежавших еще не спали и разговаривали, дымя папиросами. В одном углу, закутавшись в серапе, три человека играли в карты, в другом пять-шесть голосов напевали под гитару балладу «Паскуаль Ороско», начинавшуюся так:

Говорят, Паскуаль Ороско стал предателем,
Дон Террасас подкупил его,
Ему дали миллионы, заплатили ему
И приказали свергнуть правительство.

Ороско взялся за дело
И отправился на фронт,
Но пушки мадеристов
Сразу сбили с него спесь.

Если Порфирио Диас подойдет к твоему окну,
Поддай ему из милосердия лепешку;

Если генерал Уэрта подойдет к твоему окну,
Плюнь ему в морду и захлопни дверь.

Если Инес Саласар подойдет к твоему окну,
Запри сундук, чтобы он ничего не украл;

Если Макловио Эррера подойдет к твоему окну,
Скатертью стол накрой и обедом его угости.

Сперва они меня не заметили, потом один из игроков в карты сказал:

— Глядите, мистер пришел!

Все засуетились и разбудили остальных.

— Правильно!.. Нужно спать с народом... Ложись здесь, amigo...¹ Вот мое седло... Сразу видно, что честный человек, — не стал как-нибудь...

— Спокойной ночи, сомрапего! — закричало мне несколько человек. — До утра!

В скором времени кто-то закрыл дверь. Стало тяжело дышать. От табачного дыма воздух стал невыносимо спертым. В те редкие перерывы, когда затихал храп, пение, не прекращавшееся до самой зари, звучало особенно громко. В одеялах сомрапегос, видимо, ютились блохи...

Но я, лежа на цементном полу, чувствовал себя очень счастливым, и спал я крепче, чем во все предыдущие ночи, проведенные в Мексике.

На рассвете мы были уже в седлах и мчались во весь опор вверх по обрывистому склону холма, чтобы согреться. Было ужасно холодно. Кавалеристы по самые глаза закутались в серапе, а огромные сомбреро довершали их сходство с ярко расцвеченными грибами. Первые идущие параллельно земле лучи солнца обжигали мне лицо и наделяли серапе совсем уже ослепительными красками. Серапе Исидро Амайо вспыхивало ярко-синими и желтыми спиралями; у Хуана Санчеса — пылало кирпичным оттенком, у капитана Фернандо — переливалось зеленым и вишневым цветом. Рядом сверкали лиловые и черные зигзаги.

Оглянувшись назад, мы увидели, что наша карета остановилась и Патричио усиленно машет нам руками. Два мула, совсем загнанные за последние два дня,

¹ друг (испанск.).

отказывались идти дальше. Их плечи были стерты в кровь постромками. Эскадрон рассыпался во все стороны в поисках мулов. Вскоре кавалеристы вернулись, гоня перед собою двух красавцев, никогда еще не ходивших в упряжке. Как только мулы почувляли карету, они сделали отчаянную попытку вырваться на свободу. И тут все кавалеристы вспомнили прошлое и мгновенно превратились в вакеро. Это была чудесная картина: кольцами, словно змеи, замелькали в воздухе лассо, маленькие лошади крепко упирались в землю всеми четырьмя ногами, чтобы удержать несущегося во всю прыть мула. Но это были не мулы, а черти. Раз за разом они обрывали волосяные веревки и даже бросили двух всадников на землю вместе с конями. На выручку поспешил Пабло. Вскочив на лошадь Сабаса, он вонзил ей шпоры в бока и погнался за мулом. В три минуты он набросил ему лассо на ногу, повалил на землю и крепко связал. Затем он с такой же быстротой расправился и с другим. Недаром Пабло в двадцать шесть лет был уже лейтенант-полковником. Он не только умел сражаться лучше других, но и верхом ездил лучше, и лассо бросал и стрелял лучше, и дрова рубил лучше, и танцевал лучше.

Мулов со связанными ногами подтащили к карете и, несмотря на их неистовое сопротивление, впрягли лежачих. Когда все было готово, Патричио взобрался на козлы, схватил кнут и крикнул, чтобы все отошли в сторону. Дикие животные вскочили на ноги и принялись, визжа, бить задом. Патричио, заглушая весь шум, щелкал кнутом и кричал: «Andale! hijos de la Gran' Ch!..»¹ Мулы наконец рванулись вперед и понеслись по оврагу с быстротой курьерского поезда. Вскоре карета скрылась из виду за облаком пыли, и мы только через несколько часов увидели ее снова — далеко впереди она взбиралась на холм...

Панчито еще не исполнилось двенадцати лет, но он уже был настоящим кавалеристом, имел свою винтовку, которую с трудом поднимал, и лошадь, на которую его всегда подсаживали. Его закадычным другом был Викторiano, четырнадцатилетний ветеран. В эскадроне было еще семеро кавалеристов моложе семнадцати лет,

¹ Пошли, пошли! Сукины дети!.. (испанск.)

а также хмурая, похожая на индианку женщина, перепоясанная двумя патронными лентами. Она ездила верхом наравне с мужчинами и спала вместе с ними в бараках.

— Почему вы пошли воевать? — спросил я ее.

Она кивнула в сторону суровой фигуры Хулиана Рейеса.

— Потому что он пошел, — сказала она. — Кто стоит под хорошим деревом, того защищает хорошая тень.

— Хороший петух будет кукарекать в каком угодно курятнике, — заметил Исидро.

— Попугай весь зеленый, от головы до хвоста, — добавил еще кто-то.

— Лица мы видим, но сердец постигнуть не можем, — сентиментально резюмировал Хосе.

В полдень мы поймали быка и тотчас закололи его; раскладывать костер было некогда, и мы отрезали куски мяса от туши и ели сырым.

— Oiga, мистер! — закричал Хосе. — А американские солдаты едят сырое мясо?

Я ответил, что вряд ли.

— А это хорошо для солдат. В походе у нас нет времени готовить, и мы едим carne cruda¹. Оно придает храбрости.

К вечеру мы догнали карету, пересекли вместе с ней русло высохшей речки и подъехали к асиенде Ла Сарка. В отличие от асиенды Ла Мимбрера, Каса Гранде стоит здесь на ровном месте, а хижины пеонов тянутся по обе его стороны. Перед Каса Гранде расстилается двадцать миль голой пустыни, где нет даже чапарраля. Генерал Че Че Кампа побывал и здесь: от господского дома остались только обуглившиеся руины.

Глава V

БЕЛЫЕ НОЧИ В САРКЕ

Я, конечно, расположился на ночлег вместе с солдатами. И здесь я хочу упомянуть об одном факте. Американцы считают мексиканцев в высшей степени нечестным

¹ сырое мясо,

народом, и мне говорили, что у меня в первый же день украдут мою походную сумку со всеми вещами. Но вот уже две недели я жил среди самых отчаянных головорезов, подобных которым трудно было найти во всей мексиканской армии. Они были совершенно невежественны, не признавали никакой дисциплины. Почти все они ненавидели «гринго». Им уже полтора месяца не выплачивали жалованья, и многие из них были настолько бедны, что не могли купить себе ни сандалий, ни серапе. А я был чужой, хорошо одет и не вооружен. При мне было сто пятьдесят песо, которые я на глазах у всех клал себе под подушку, когда ложился спать. И у меня ни разу ничего не пропало. И даже больше — мне не разрешали платить. И хотя у них не было денег, а табак считался драгоценностью, сотрапегос снабжали меня всяческим куревом. А любая моя попытка заплатить воспринималась как оскорбление. И мне было разрешено только нанять музыкантов для baile.

Мы с Хуаном Санчес давно уже завернулись в наши одеяла, а музыка и громкие возгласы танцующих по-прежнему не затихали. Была, должно быть, уже полночь, когда кто-то открыл дверь и закричал:

— Мистер! Oiga, мистер! Вы спите? Идемте танцевать! Arriba! Andale! ¹

— Я хочу спать! — ответил я. После некоторого пререкания посланный ушел, но минут через десять вернулся.

— Капитан Фернандо приказывает вам явиться немедленно. Vamonos! ²

Теперь проснулись и остальные.

— Идите плясать, мистер! — кричали они.

Хуан Санчес уже натягивал сапоги.

— Мы идем, — сказал он. — Мистер будет танцевать! Капитан приказывает. Идемте, мистер!

— Я пойду, если пойдет весь эскадрон, — сказал я. Мои слова были встречены дружными воплями и хохотом. Все начали одеваться.

Всей толпой, человек в двадцать, мы подошли к дому. Пеоны, сгрудившиеся у дверей и окон, расступились, чтобы дать нам дорогу.

¹ Поднимайтесь! (испанск.)

² Идем! (испанск.)

— Мистер! — слышались крики. — Мистер будет плясать!

Капитан Фернандо обхватил меня за плечи и закричал:

— Пришел, пришел, сомрапего! Давай танцуй! Давай, давай! Сейчас сыграют хоту!

— Но я ведь не умею танцевать хоту!

Патричио, весь раскрасневшись и тяжело дыша, схватил меня за руку.

— Идемте! Это не трудно. Я познакомлю вас с лучшей девушкой в Сарке!

Мне ничего больше не оставалось. Окно было залеплено любопытными, человек сто толпились у дверей. Танцы были устроены в хижине пеона — обыкновенная выбеленная комната, с неровным земляным полом. Две свечи освещали музыкантов. Раздались звуки «Puentes à Chihuahua»¹. Наступила тишина, полная затаенных усмешек. Я обнял девушку и начал с ней ходить вокруг комнаты, что всегда предшествует танцам. Мы неловко провальсировали с ней минуты две, как вдруг раздались крики:

— Ого! Ого! Пора!

— Что нужно делать теперь?

— Vuelta!² Vuelta! Отпусти ее! — оглушительно кричали все.

— Я ведь не умею.

— Этот дурак не умеет танцевать! — взвизгнул кто-то.

Другой затянул насмешливую песенку:

Гринго все — дураки,
Они никогда не бывали в Соноре,
И когда им надо сказать: «Десять реалов»,
Они говорят: «Доллар с четвертью»...

Вдруг на средину пола выскочил Патричио, а за ним — Сабас, и каждый выхватил себе партнершу из ряда женщин, сидевших в одном конце комнаты. И когда я отвел свою даму на место, они начали выделять «vueltas». Сделав несколько па вальса, мужчина завертелся один, отступив от девушки, закрыв лицо

¹ «Мосты в Чинуауа» (испанск.).

² Поворот.

одной рукой и шелкая пальцами другой; девушка, упершись одной рукой в бок, приплясывая, шла за ним. Они подходили друг к другу, отступали, кружились. Все девушки были коренасты и неуклюжи, с тупыми лицами и плечами, сгорбленными от вечной стирки и перемалывания кукурузы. Некоторые мужчины были обуты в сапсги, другие — босы, почти при всех были револьверы и патронные ленты, а у некоторых за плечами висели винтовки.

Перед каждым танцем пары обходили вокруг комнаты, делали два тура и опять начинали обход. Помимо хоты, танцевали еще ту-стэп, вальс и мазурку. Все девушки упорно глядели в землю, не говорили ни слова и тяжело прыгали вслед за своими партнерами. Прибавьте к этому земляной пол с выбоинами на каждом шагу, и вы поймете, что это была утонченнейшая пытка. Мне казалось, что я танцую уже вечность, подгоняемый хором голосов:

— Пляши, мистер! Держись! No gloje! Не отставай!

Потом опять танцевали хоту, и тут я чуть не попал в беду. На этот раз я танцевал удачно — с другой дамой. Потом, когда я пригласил мою первую партнершу на ту-стэп, она пришла в бешенство.

— Ты опозорил меня перед всеми, — сказала она. — Ты... ты сказал, что не умеешь плясать хоту!

Когда мы начали обычный обход кругом, она вдруг крикнула своим друзьям:

— Доминго! Хуан! Отнимите меня у этого гринго! Он не посмеет дать сдачи.

С полдюжины молодцов бросились ко мне, а остальные с интересом ждали, что будет дальше. Момент был щекотливый. Но вдруг меня заслонил милейший Фернандо с револьвером в руке.

— Американец — мой друг! — воскликнул он. — А ну, назад! Убирайтесь на свои места!..

Лошади наши были измучены переходом, и мы остались в Сарке на день. Позади Каса Гранде лежал заброшенный сад, в котором росли серебристые деревья аламо, инжир, виноград и кактусы-пита́йа. Сад с трех сторон был окружен высокой глинобитной стеной, за которой в синее небо поднималась древняя белая колокольня. С четвертой стороны к саду примыкал пруд с желтой водой, а за ним до самого горизонта тянулась

унылая бурая пустыня. Я лежал под фиговым деревом рядом с кавалеристом Марино и следил за парившими в небе грифами. Внезапно тишина была нарушена громкой быстрой музыкой.

Пабло отыскал в церкви пианолу, которую в прошлом году там не заметил генерал Че Че Кампа, при ней был только один валик — вальс из «Веселой вдовы». Разумеется, пианолу немедленно вытащили во двор, и все по очереди запускали ее. Рафаэлито сообщил мне, что «Веселую вдову» в Мексике любят больше всего остального и что ее написал мексиканец.

Находка пианолы подала мысль устроить вечером еще одно baile на террасе Каса Гранде. К колоннам были прикреплены свечи, слабый свет, мерцая, освещал разбитые стены, черные зияющие провалы дверей и окон, дикий виноград, без помехи вившийся по балкам потолка. Внутренний дворик был забит пеонами, которые, несмотря на праздничное настроение, чувствовали себя неловко в господском доме, куда им раньше не разрешалось и ногой ступить. Как только оркестр кончал танец, немедленно начинала играть пианола и танцы следовали один за другим без малейшего перерыва. Sotol, которого притащили целый бочонок, добавил жару. Настроение повышалось с каждым часом. Сабас, ординарец Пабло, открыл танцы с его подружкой, потом ее пригласил я. Едва мы кончили, как Пабло ударил девушку по голове рукояткой револьвера и сказал, что он застрелит ее и всякого, кто теперь пригласит ее. Сабас после некоторого размышления вдруг вскочил, вынул револьвер и закричал арфисту, что он взял фальшивую ноту. Затем он выстрелил в арфиста. Несколько сомрапегос разоружили Сабаса, и он, свалившись на пол посередине террасы, мгновенно заснул.

Танцы «мистера» уже не вызывали любопытства. Зато оказалось, что он интересен и в других отношениях. Я сидел рядом с Хулианом Рейесом, солдатом, у которого на сомбреро были изображения богоматери и Христа. Он был сильно пьян, глаза его горели фанатическим огнем.

Он вдруг повернулся ко мне.

— Ты будешь воевать вместе с нами?

— Нет, — сказал я. — Я корреспондент. Мне запрещено сражаться.

— Врешь! — закричал он. — Ты просто трусишь. Как перед богом — наше дело правое.

— Да, я знаю. Но мне приказано не принимать участия в боях.

— Какое мне дело до того, что тебе приказано! — закричал он. — Нам не нужно корреспондентов. Не нужно, чтобы о нас писали в книгах. Нам нужны винтовки, нужно убивать, а если мы погибнем, то станем святыми в раю! Трус! Уэртист!..

— Хватит! — сказал кто-то, и, подняв взгляд, я увидел, что надо мной наклонился Лонгинос Герека. — Хулиан Рейес, ты ничего не понимаешь. Этот сомрапего приехал за тысячи миль по суше и по морю, чтобы рассказать своим землякам правду о том, как мы боремся за свободу. Он идет в сражение безоружным, значит он храбрее тебя, потому что у тебя есть винтовка. Уходи отсюда и оставь его в покое!

Он сел на то место, где сидел Хулиан, улыбнулся своей простой, мягкой улыбкой и взял меня за руки.

— Будем *compadres*, хорошо? — сказал Лонгинос Герека. — Будем спать под одним одеялом и всегда будем вместе. А когда приедем в Кадену, я поведу тебя к своим, и мой отец назовет тебя моим братом... Я покажу тебе золотые прииски испанцев, богатейшие в мире, о которых никто, кроме меня, не знает... Вместе мы начнем их разрабатывать, хорошо? Мы разбогатеем, да?

С этой минуты и до конца Лонгинос Герека и я всегда были вместе.

Baile становился все шумнее и беспорядочнее. Оркестр и пианола непрерывно сменяли друг друга. Теперь уже все были пьяны. Пабло громко хвастался, как он убивал беззащитных пленных. Изредка один бросал другому оскорбительное слово, и тогда во всех углах зала раздавалось щелканье затворов винтовок. Измученные женщины начинали потихоньку уходить, но тут же слышался грозный окрик: «No vaуа! Не уходить! Сейчас же возвращайтесь и пляшите!»

И женщины, пошатываясь, брели на прежнее место. В четыре часа утра, когда кто-то пустил слух, что среди них находится гринго — шпион уэртистов, я решил пойти спать. Но baile продолжался до семи утра.

Глава VI
QUIEN VIVE?¹

На рассвете меня разбудила стрельба и дикие завывания разбитой трубы. Хуан Санчес стоял перед домом и трубил побудку, но, не зная, какой именно это сигнал, он сыграл все сигналы подряд.

Патричио заарканил на завтрак быка. Мыча, животное бросилось бежать в пустыню, Патричио скакал рядом. Остальные кавалеристы, по самые глаза закутанные в серапе, припав на одно колено, поднимали винтовки. Трах! Утренняя тишина нарушилась трескотней частых выстрелов. Бык пошатнулся, до нас слабо донеслось его жалобное мычание. Трах! Он уткнулся мордой в землю. Его ноги судорожно задергались в воздухе. Лошадка Патричио, рванув лассо, сразу остановилась, его серапе захлопало, как знамя. В это мгновение из-за восточных гор выплыло огромное солнце, и на бесплодную равнину хлынул океан света...

На пороге Каса Гранде показался Пабло. Он с трудом передвигал ноги, опираясь на плечо жены.

— Мне скоро будет очень плохо, — простонал он, подтверждая свои слова делом. — Пускай Хуан Рид поедет на моем коне.

Он сел в карету, ослабевшими руками взял гитару и запел:

Я остался у подножья зеленой горы,
Моя милая бежала с другим, неблагодарная.
Пенье жаворонка меня разбудило.
Голова трещит с похмелья, а трактирщик в долг не дает!
Господи, избавь меня от этой тошноты,
Неужто пришла пора мне умереть?
Святая дева пульки и виски, спаси меня,
Ах, как трещит голова, а опохмелиться нечем!..

От Сарки до асиенды Ла Кадена, будущих квартир эскадрона, примерно шестьдесят пять миль. Это расстояние мы проехали в один день, ни разу не остановившись, чтобы поесть или напиться. Карета скоро оставила нас далеко позади. Голая равнина не замедлила смениться колючими зарослями кактусов и мескитового кустарника. Мы ехали гуськом по тропинке между

¹ Кто идет? (испанск.).

гигантскими кустами чапарраля, задыхаясь в облаках солончаковой пыли, а острые шипы царапали нас и рвали одежду. Иногда, выехав на поляну, мы видели впереди прямую дорогу, уходящую по холмам пустыни к самому горизонту, но мы знали, что до нее еще далеко, далеко. Воздух был неподвижен. Солнце, стоявшее в зените, с такой яростью обрушивало на нас свои вертикальные лучи, что начинала кружиться голова. Кавалеристы, пьянствовавшие всю прошлую ночь, невыносимо страдали. Губы их пересыхали, трескались, становились синими. Я не слышал ни одной жалобы, но не было и намека на то оживление и шутки, которыми сопровождалось наше путешествие в другие дни. Хосе Валиенге научил меня жевать веточки мескита, но это мало помогало.

Так мы ехали уже несколько часов, как вдруг Фиденчио, указав рукой вперед, произнес хрипло: «Вот едет *cristiano*»¹. Вспоминая, когда именно слово «христианин», которое теперь означает здесь просто «человек», проникло в язык индейцев, и слыша, как его произносит человек, который, возможно, как две капли воды похож на Гуатемосина, испытываешь странное чувство. Этот «*christiano*» оказался дряхлым индейцем, гнавшим перед собой ослика. Нет, сказал старик, у него с собой нет воды. Но Сабас соскочил на землю и снял выюк с осла.

— Ага! — вскричал он. — Прекрасно! *Tres piedras!* — И он поднял вверх корень, из которого гонят *sotol*, напоминающий столетник и полный опьяняющего сока. Мы поделили его между собой, словно артишок. Вскоре все почувствовали себя лучше...

Под вечер, перевалив через отрог, мы увидели впереди огромные серые деревья аламо, окружающие родник асиенды Санто Доминго. Над загоном, где вакеро ловили лошадей, поднимался столб бурой пыли, словно дым над пожарищем. В стороне виднелись мрачные руины Каса Гранде, год назад сожженного Че Че Кампа. Возле родника, под деревьями аламо, сидели у костра бродячие торговцы — человек десять. Их ослы стояли рядом, жуя кукурузу. Между родниками и глинобитными хижинами двигалась бесконечная вереница

¹ христианин (испанск.).

женщин с кувшинами на головах — символ северной Мексики.

— Вода! — радостно закричали мы и галопом понеслись с холма в долину. Патричио со своей каретой и лошадьми уже был у родника. Соскочив с коней, весь эскадрон улегся плашмя на берегу. Люди и лошади вместе окунали губы в воду и пили, пили без конца... Это было самое восхитительное ощущение, какое мне когда-либо пришлось испытать.

— У кого есть закурить? — крикнул кто-то. Несколько блаженных минут мы лежали на спине и курили. Но вдруг звуки музыки — веселой музыки — заставили меня подняться. Невдалеке проходила удивительно странная процессия. Впереди всех выступал оборванный пеон, неся усыпанную цветами ветку какого-то дерева. За ним другой пеон нес на голове небольшой ящик, похожий на гроб, покрытый синими, красными и серебряными полосами. Дальше четверо мужчин несли нечто вроде балдахина, сшитого из разноцветных тряпок. Под этим балдахином шла женщина, голова и грудь которой были скрыты балдахином, а на нем лежало тело босоногой девочки, маленькие ручки были скрещены на груди. Волосы покойницы были украшены венком из бумажных цветов, и все ее тело было засыпано этими цветами. Шествие замыкал арфист, игравший популярный вальс «*Recuerdos de Durango*»¹. Погребальное шествие медленно подвигалось вперед и, миновав открытую площадку возле Каса Гранде, где игроки в мяч и не подумали прервать игры, направилось к кладбищу.

— Тыфу! — злобно сплюнул Хулиан Рейес. — Это же надругательство над усопшими!

На закате пустыня пылала огнем. Мы проезжали по безмолвной, волшебной земле, чем-то похожей на подводное царство. Вокруг высились огромные кактусы, залитые красным, голубым, пурпуровым и желтым светом, напоминая кораллы на дне океана. Позади нас на западе, в облаке золотистой пыли, катилась наша карета, словно колесница пророка Илии... На востоке под

¹ «Воспоминания о Дуранго» (испанск.).

темным небом, на котором уже загорались звезды, виднелись гребни гор; за ними лежала Ла Кадена — аванпост мадеристской армии. Это была земля, которую можно было любить, за которую можно было сражаться. Эскадронные певцы затянули вдруг бесконечную песню «Бой быков», в которой федеральные полководцы сравниваются с быками, мадеристские генералы — с тореодорами, и, глядя на этих веселых, милых, простых ребят, готовых отдать за революцию все, вплоть до жизни, я невольно вспомнил ту небольшую речь, которую произнес Вилья перед иностранцами, покидавшими Чиуауа в первом поезде для беженцев.

— Я вам сообщу последние новости, — сказал Вилья, — и прошу передать их всем у себя на родине. В Мексике больше не будет дворцов. Лепешки бедняков лучше хлеба богачей. Поезжайте!..

Было уже поздно, около полуночи, когда на каменистой дороге между высокими горами у нашей кареты сломалась ось. Я остановился, чтобы достать свое одеяло; когда я опять двинулся дальше, сопранегос уже скрылись за изгибом дороги. Я знал, что Ла Кадена была где-то поблизости. Каждую минуту из кустов чапарраля мог вынырнуть часовой. Примерно с милю я спускался по крутой дороге, которая в большей своей части была руслом пересохшей речки, извиравшейся среди высоких гор. Царил глубокий мрак, на небе не было ни звездочки, и веяло ледяным холодом. Наконец горы кончились, дальше расстилалась широкая равнина, за которой я с трудом разглядел крутые отроги Кадены и горный проход, который предстояло охранять эскадрону. В каких-нибудь пяти милях от этого прохода был расположен город Мадими, где находились тысяча двести федералистов. Но асиенда все еще была скрыта за возвышенностью.

Я увидел ее, когда подъехал уже совсем вплотную, — маячившие во мраке белые постройки на другой стороне глубокого оврага. И тем не менее я все еще не встретил ни одного часового. «Странно, — подумал я. — Они тут, по-видимому, не очень бдительны». Я нырнул в овраг и перебрался на другую сторону. В одной из зал Каса Гранде виден был свет, и оттуда доносились звуки музыки. Подойдя ближе и заглянув в дверь, я увидел не-

утомимого Сабаса, кружившегося в хоре, а с ним — Исидро Амайо и Хосе Валиенте. Опять baile! Как раз в эту минуту на пороге освещенного входа показался человек с винтовкой в руках.

— *Quier vivre?* — лениво крикнул он.

— Мадеро! — прокричал я в ответ.

— Да не коснется его смерть! — ответил часовой и вернулся в зал...

Глава VII

АВАНПОСТ РЕВОЛЮЦИИ

В Ла Кадене, авангарде мадеристской армии на западе, нас было сто пятьдесят человек. На нашей обязанности лежало охранять горный проход, Пуэрта де ла Кадена; но войска были расквартированы в асиенде, в десяти милях от прохода. Асиенда стояла на небольшом плоскогорье, по одну сторону которого был глубокий овраг; на дне этого оврага, на протяжении примерно ста ярдов, выходила на поверхность подземная речка и затем опять исчезала. Кругом расстилалась угрюмая пустыня — высохшие русла речек и заросли чапарраля, кактусов и испанского штыка.

Прямо на восток лежал горный проход Пуэрта, пробивший высокую горную цепь, которая, наполовину закрыв небо, уходила в бесконечность на север и на юг, вся в огромных складках, словно одеяло великана. Пустыня поднималась до самого прохода, а за ним была видна лишь яростная синева безоблачного мексиканского неба. Но с Пуэрты открывался вид на Llano de los Gigantes¹ — так испанцы называли огромную безводную равнину, прорезанную невысокими горными кряжами и тянувшуюся миль на пятьдесят. Примерно в шести милях от прохода виднелись низкие серые домики Мапими. Там находился неприятель — тысяча двести colorados², или федеральных нерегулярных войск, которыми командовал недоброй славы полковник Аргумедо. Colorados — бандиты, устроившие переворот генерала Орско. Назвали их так потому, что у них был красный флаг, а их руки были к тому же красны от крови. Они

¹ Равнина гигантов (*испанск.*).

² «Colorado» означает «ярко-красный».

ураганом пронесли по Северной Мексике, грабя бедноту, отмечая свой путь поджогами и убийствами. В Чиуауа они срезали подошвы на ногах одному бедняку и гнали его по пустыне несколько миль, пока он не умер. И я видел городок, в котором после налета colorados из четырех тысяч населения в живых осталось всего пять человек. Когда Вилья взял Торреон, его солдаты не давали пощады colorados, их всех до одного расстреливали.

В первый же день нашего прибытия в Ла Кадену мы встретились с конным разездом colorados — их было двенадцать человек. Двадцать пять человек наших кавалеристов охраняли проход. Они захватили одного colorado, отобрали у него лошадь, винтовку и раздели его донага. Затем приказали ему бежать между кустами чапарраля и кактусами, посылая ему вслед пули. Наконец Хуан Санчес положил его на месте и получил винтовку убитого, которую подарил мне. Colorado был оставлен на съедение огромным мексиканским грифам, весь день лениво кружащимся над пустыней.

В тот же день мой сопраде, капитан Лонгинос Герека, кавалерист Хуан Вальехо и я, попросив у полковника карету, отправились на маленькое пыльное ранчо «Брукилья», принадлежащее родителям Лонгиноса. Ранчо это было расположено в пяти милях на север, где из небольшого мелового холма каким-то чудом бил подземный ключ. Старик Герека оказался седовласым пеоном, обутом в сандалии. Когда-то он был крепостным богатого асиендадо, но многие годы невообразимо тяжелого труда сделали его независимым владельцем маленького ранчо, что случалось в Мексике очень редко. У него было десятеро детей — кроткие смуглые дочери и сыновья, чем-то напоминавшие батраков на фермах Новой Англии. И еще одна дочь умерла.

Члены семейства Герека показались мне гордыми, уважающими себя и добросердечными людьми. Лонгинос сказал:

— Это мой любимый друг и брат Хуан Рид.

Старик и его жена крепко обняли меня и принялись хлопать по спине — мексиканская манера выражать нежность и любовь.

— Моя семья ничем не обязана революции, — гордо сказал Гино. — Другие брали деньги, лошадей, фургоны.

Армейские jefes¹ разбогатели, захватывая имущество на больших асиендах. А Гереки все отдали мадеристам, не взяв себе ничего, — только вот я получил чин.

Однако старик сердито проворчал, показывая мне лассо из конского волоса:

— Три года назад у меня было четыре таких riatas. А теперь осталось одно. Одно забрали colorados, другое — солдаты Урбины, а третье — Хосе Браво... Какая разница, кто тебя грабит?

Но он говорил не вполне серьезно. Он очень гордился своим младшим сыном, храбрейшим офицером в армии.

Мы сидели в большой глинобитной хижине, ели вкуснейший сыр и лепешки со свежим козьим маслом. Глухая старуха мать громко извинялась за столь скудное угощение, а ее воинственный сын рассказывал свою эпопею — девятидневное сражение под Торреоном.

— Мы подошли так близко к неприятелю, — повествовал он, — что нам порохом обжигало лица. Стрелять было уже нельзя, и мы пустили в ход приклады...

Внезапно громко залаяли все собаки. Мы вскочили на ноги. В то время в Ла Кадене можно было ожидать всего. К хижине подскочил мальчуган, крикнул, что colorados занимают проход, и помчался дальше.

Лонгинос закричал, чтобы мулов запрягали в карету. Вся семья яростно взялась за дело, и через пять минут Лонгинос, упав на одно колено и поцеловав руку отцу, вскочил в карету, и мы понеслись.

— Да минует тебя пуля, сынок! — донеслось до нас причитание матери.

Нам повстречался фургон, нагруженный кукурузными стеблями, целой кучей женщин и детей, двумя жестяными сундучками и железной кроватью, привязанной кверху. Глава семейства ехал верхом на осле. Да, colorados наступают — тысячи их ворвались в горный проход. При последнем налете colorados убили его дочь. Вот уже три года ведется война в этой долине, но он терпел и не жаловался. Потому что все это для родины. А теперь он думает бежать с семьей в Соединенные Штаты, где...

Но тут Хуан жестоко хлестнул мулов, и мы не дослушали фразы. Дальше нам повстречался босоногий

¹ начальники (испанск.).

старик, спокойно гнавший стадо коз. Слышал ли он о colorados? Да, как будто что-то о них болтали. А не знает ли он, заняли они проход и сколько их.

— Pues, quien sabe, señor? ¹

Наконец, крича на шатавшихся от усталости мулов, мы подъехали к лагерю как раз в ту минуту, когда наш победоносный эскадрон возвращался по пустыне, расстреливая в воздух гораздо больше патронов, чем они потратили в бою. Всадники на маленьких лошадаках мчались между кустами мескита, все в высоких сомбреро, в пестрых развевающихся серапе, и последние лучи солнца сверкали на поднятых вверх винтовках.

Вечером того же дня от генерала Урбины прискакал гонец с извещением, что генерал очень болен и немедленно требует к себе Пабло Сеанеса. Огромная карета тотчас пустилась в путь. В ней разместились Пабло с подругой, горбун Рафаэлито, Фиденчио и Патричио. Пабло сказал мне:

— Хуанито, если хочешь вернуться, то будешь сидеть рядом со мной в карете.

Патричио и Рафаэлито упрашивали меня ехать с ними. Но я, добравшись наконец до фронта, не хотел возвращаться. А на следующий день мои друзья-кавалеристы, с которыми я так близко сошелся во время перехода в пустыне, получили приказ отправиться в Харралитос. На месте остались лишь Хуан Валехо и Лонгинос Герека.

Новый гарнизон Кадены состоял из людей совсем другого рода. Бог знает откуда они явились, но, во всяком случае, их там буквально морили голодом. Таких бедняков пеонов мне еще не приходилось встречать, — половина из них не имели даже серапе. Среди них было около пятидесяти пuevos², никогда не нюхавших пороха; приблизительно столько же сражалось раньше под командой в высшей степени бездарного майора Саласара, а остальные пятьдесят человек были вооружены старыми карабинами с очень ограниченным количеством патронов. Начальником гарнизона был лейтенант-полковник Петронило Эрнандес, который в течение шести лет служил майором в федеральной армии, пока убий-

¹ Ну, кто может сказать, сударь? (испанск.)

² новобранцев (испанск.).

ство Мадеро не заставило его перейти на другую сторону. Это был храбрый и честный человек со сгорбленными плечами, но многие годы армейской канцелярщины сделали его непригодным командовать тем войском, во главе которого его теперь поставили. Каждое утро он издавал приказ, устанавливавший распорядок на день: кто должен быть дежурным офицером, где должны быть расставлены часовые, патрули и т. д. Но никто не читал его приказов. Офицеры в этой армии не занимаются приучением солдат к дисциплине и порядку. Они стали офицерами потому, что показали свою храбрость в деле, и их обязанность — драться в первых рядах, вот и все. Солдаты считают генерала, под команду которого они завербовались, своим феодальным сеньором. Они называют себя его gente — его людьми, и офицер чужих gente для них не авторитет. Петронило был gente генерала Урбины, но две трети гарнизона в Кадене принадлежали к дивизии генерала Арриета. Вот почему не было часовых ни на западе, ни на севере. Лейтенант-полковник Альберто Редондо охранял другой проход в шести милях к югу, и поэтому в этом направлении мы считали себя в безопасности. Правда, двадцать пять человек несли сторожевую службу в проходе Пуэрта, и Пуэрта была укреплена...

Глава VIII

ПЯТЬ МУШКЕТЕРОВ

Каса Гранде в Ла Кадене, конечно, была разграблена генералом Че Че Кампа в предыдущем году. Внутренний двор Каса Гранде был превращен в конюшню для офицерских лошадей. Мы спали на черепичных полах в комнатах, прилегавших ко двору. В огромном зале, когда-то обставленном с варварской пышностью, в стены были вбиты деревянные колышки, на которых висели седла и уздечки; винтовки и сабли стояли у стен, по углам кучками лежали скатанные грязные одеяла. По вечерам прямо на полу раскладывался костер из обмолоченных кукурузных початков; расположившись вокруг него, мы слушали рассказы Аполлинару и четырнадцатилетнего Хилья Томаса, бывшего colorado, о кровавой борьбе последних трех лет.

— При взятии Дуранго, — начал как-то Аполлинарио, — я был *gente* капитана Борунда — его еще прозвали Матадором за то, что он всегда убивал пленных. Но когда Урбина взял Дуранго, то пленных почти не оказалось. Тогда Борунда, жаждая крови, начал обходить все трактиры. В каждом он тыкал пальцем в какого-нибудь безоружного человека и спрашивал, не федералист ли он? «Нет, сеньор», — отвечал тот. «Ты заслуживаешь смерти, потому что ты лжец!» — кричал Борунда, вытаскивая револьвер, — и трах!

Мы все расхохотались, выслушав этот анекдот.

— А вот когда я воевал под командой Рохаса, — перебил Хиль, — во время переворота Ороско (да будет проклята его мать!) старый офицер-порфирист перебежал на нашу сторону, и Ороско приказал ему обучать *colorados* (зверье!). В нашей роте был один чужак. Он здорово умел шутить. Так вот он притворился таким чужаком, и словно не понимал команды. И вот этот проклятый старый уэртист (чтоб его черти зажарили в аду!) начал обучать его одного. «На плечо!» — тот сделал все так, как нужно. «На караул!» — лучше и не надо. «В штыки!» — он начал ворочать винтовкой и так и этак, будто не знал, что нужно делать. Тогда старый дурак подошел к нему и ухватился за дуло его винтовки. «Сюда!» — сказал он и потянул винтовку на себя. «Ага! Сюда!» — ответил парень и всадил ему штык в грудь...

Затем Фернандо Сильвейра, казначей, рассказал несколько анекдотов про *curas*, то есть про попов. Эти анекдоты напомнили мне Турень тринадцатого века, а также некоторые феодальные привилегии, которыми обладали дворяне вплоть до Французской революции. Фернандо, несомненно, знал, о чем говорил, так как в свое время сам готовился стать священником. У костра сидело человек двадцать, без разбора звания и чина — и самый бедный пеон в эскадроне и капитан Лонгинос Герека, но ни один из них не был религиозен, хотя раньше все были правоверными католиками. Три года войны многому научили мексиканский народ. Никогда больше в Мексике не будет другого Порфирио Диаса, не будет другого переворота генерала Ороско, и католическая церковь никогда больше не будет считаться гласом божьим.

Затем Хуан Сантильянес, двадцатидвухлетний *subteniente*¹, который совершенно серьезно сообщил мне, что он ведет свою родословную от испанского героя Жиль-Бласа, пропел старинную, не совсем пристойную песенку, начинающуюся словами:

Я — граф Оливерос,
Артиллерист испанский...

Хуан с гордостью показал мне четыре пулевых раны. Он утверждал, что собственной рукой застрелил несколько беззащитных пленных; можно было ожидать, что он со временем станет *miu matador* (большой охотник убивать). Он хвастал, что он самый сильный и самый храбрый солдат во всей армии. Он не представлял себе шутки остроумней, чем, засунув в карман моего пиджака сырое яйцо, раздавить его там. Хуан казался моложе своих лет и был чрезвычайно привлекателен.

Но самым лучшим моим другом, помимо Гино Герекса, был *subteniente* Луис Мартинес. Его прозвали «*Gachupine*» — презрительная кличка испанцев, потому что можно было подумать, что он сошел с портрета юного испанского дворянина, написанного Эль Греко. Луис был чистокровный испанец: гордый, веселый, горячий. Ему было всего двадцать лет, и он никогда еще не был в бою. Его скулы и подбородок покрывал черный пушок.

Он, улыбаясь, теребил его.

— Я и Никанор держали пари, что не станем браться, пока не будет взят Торреон!..

Мы с Луисом спали в разных комнатах. Но ночью, когда затухал костер и все уже храпели, мы сидели на постелях друг у друга — одну ночь у него, другую — у меня — и болтали обо всем на свете: и о наших девушках, и о том, кем мы станем и что будем делать после войны. Луис собирался тогда приехать в Соединенные Штаты навестить меня, а затем мы оба вернемся в Мексику и навестим его семью в городе Дуранго. Он показал мне фотографию младенца, гордо похваставшись, что он уже — дядя.

¹ младший лейтенант (испанск.).

— А что ты намерен делать, когда вокруг начнут жужжать пули? — спросил я.

— *Quien sabe?* — рассмеялся он. — Убегу, наверное. Было очень поздно. Часовой у дверей давно уже заснул.

— Посиди еще, — сказал Луис, ухватив меня за рукав. — Поболтаем еще немножко...

Гино, Хуан Сантильянес, Сильвейра, Луис Хуан Вальехо и я отправились верхом на поиски озера, которое, по слухам, находилось где-то в овраге. Мы ехали по раскаленному песку русла пересохшей речки, окаймленной зарослями мескита и кактусов. Каждый километр подземная речка выходила на поверхность, но через несколько метров снова исчезала под растрескавшейся белой коркой солончака. Мы проехали лужу, где кавалеристы поили измученных лошадей: два-три человека, присев на корточки на краю лужи, черпали воду тыквенными бутылками и выплескивали ее на спины своих коней... У следующей — коленопреклоненные женщины были заняты на камнях вечной стиркой. Дальше тянулась древняя тропинка, ведущая к асиенде; по ней бесконечной вереницей двигались женщины в черных платках с кувшинами воды на головах. Еще дальше на отмели купались обмотанные голубым или белым ситцем женщины и голые детишки. И наконец мы подъехали к голым бронзовым мужчинам с сомбреро на головах и с накинутыми на плечи пестрыми серапе. Рассевшись на камнях, они курили свои поjas. Тут мы вспугнули койота и погнали лошадей вверх по обрывистым склонам оврага в пустыню, на ходу вытаскивая револьверы. Как он мчался! Мы неслись вслед за ним по зарослям чапарраля, стреляя и улюлюкая, но он, конечно, удрал. А потом — гораздо позже мы отыскивали мифическую глубокую каменную чашу среди скал, наполненную прохладной водой, сквозь которую виднелись зеленые водоросли на дне.

Когда мы вернулись, Гино Герека пришел в страшное волнение. Отец прислал ему жеребца-четыrehлетку, которого специально вырастил, чтобы Гино скакал на нем во главе своей роты.

— Если он с норовом, — заявил Хуан Сантильянес, когда мы бежали посмотреть этот подарок, — то я хочу

сесть на него первым. Я обожаю укрощать бешеных коней.

Высоко в неподвижном воздухе над загоном стояло огромное облако желтой пыли. В клубах пыли виднелись неясные, беспорядочные силуэты бегущих лошадей. Топот копыт напоминал отдаленный гром. С трудом можно было рассмотреть людей: напряженные ноги, взлетающие кверху руки, лица, завязанные платками. Над их головами разворачивались спирали брошенных лассо. Крупный серый жеребец почувствовал, что петля сжимает его шею. Он громко заржал и ринулся вперед; вакеро захлестнул конец лассо вокруг бедер и откинулся назад чуть не до земли, крепко-крепко упираясь пятками в землю. Другая петля обвилась вокруг задних ног коня, и он повалился на бок. Его оседлали и взнуздали.

— Хочешь прокатиться на нем, Хуанито? — ухмыльнулся Гино.

— После тебя, — ответил Хуан с достоинством. — Это ведь твой конь...

Но Хуан Валехо был уже в седле и кричал, чтобы лассо сняли. С пронзительным визгом жеребец вскочил на ноги, и земля задрожала от ударов его копыт.

Мы обедали в старинной кухне асиенды, сидя на табуретках вокруг дощатого ящика. Потолок покрывала жирная бурая копоть, оседавшая на нем в течение бесчисленных лет варения и жарения. Почти половину кухни занимали глиняные печи, плиты и очаги, у которых хлопотало несколько старух, помешивая в горшках и переворачивая лепешки. Огненные блики — другого освещения в кухне не было — причудливо плясали на спинах старух, озаряя черную стену, вдоль которой поднимался дым, клубившийся под потолком и тянувшийся наружу через окно. Среди обедавших были полковник Петронило, его возлюбленная, удивительно красивая крестьянка с оспинами на лице, которая, казалось, все время чему-то улыбалась про себя; дон Томас, Лунс Мартинес, полковник Редондо, майор Саласар, Никанор и я. Подруга полковника чувствовала себя за столом неловко — мексиканская крестьянка у себя в доме

находится на положении служанки. Но дон Петронило всегда обходился с ней так, как будто она была знатная дама.

Редондо рассказывал мне о девушке, на которой собирался жениться. Он показал мне ее портрет. Оказалось, что она недавно уехала в Чиуауа, чтобы купить там подвенечное платье.

— Мы поженемся, — сказал Редондо, — как только будет взят Торреон.

— Oiga, señor! — дернул меня за локоть Саласар. — Я узнал, кто вы. Вы — агент американских дельцов, имеющих крупные интересы в Мексике. Мне все прекрасно известно об американских дельцах. Вы — агент трестов. Вы приехали сюда, чтобы следить за передвижением наших войск и тайно передавать сведения своим. Правда ведь?

— Как я могу тайно передавать какие бы то ни было сведения отсюда? — спросил я. — Ведь мы в четырех днях езды от ближайшего телеграфа?

— О, я знаю, — хитро подмигнул он и погрозил мне пальцем. — Я знаю много кое-чего; у меня недаром голова на плечах.

Майор встал. Его подагрические ноги были обмотаны огромным количеством шерстяных бинтов и напоминали огромные tamales¹.

— Мне прекрасно известно, что такое американские дельцы. В молодости я много учился. Эти американские тресты проникают в Мексику, чтобы грабить мексиканский народ...

— Вы ошибаетесь, майор! — резко прервал его дон Петронило. — Этот сеньор — мой друг и гость.

— Послушайте, что я вам скажу, mi Coronel², — воскликнул Саласар с неожиданной злобой. — Этот сеньор — шпион. Все американцы — порфиристы и уэртисты. Послушайтесь предупреждения, пока еще не поздно. У меня недаром голова на плечах. Я вижу всех насквозь. Возьмите этого гринго, выведите в пустыню и расстреляйте немедленно. А не то потом пожалеете.

Все остальные заговорили разом, их голоса были приглушены выстрелами и криками.

¹ Мясной пирог.

² полковник (испанск.).

В кухню вбежал кавалерист.

— Солдаты взбунтовались! — закричал он. — Не хотят повиноваться приказам.

— Кто не хочет? — спросил Петронило.

— Gente Саласара!

— Дрянной народ! — объяснил Никанор, когда мы кинулись наружу. — Бывшие colorados, попавшие в плен при взятии Торреона. Присоединились к нам, чтобы мы их не расстреляли. Сегодня им было приказано охранять Пуэрту.

— До завтра! — вдруг перебил его Саласар. — Я иду спать!

Хижины пеонов в Ла Кадене, где были расквартированы солдаты, тянулись с внутренней стороны большого четырехугольного двора, куда вело двое ворот. Мы насилу пробились в первые ряды сквозь толпу женщин и пеонов, которые, отталкивая друг друга, старались выбежать наружу. Внутри двора горело два-три маленьких костра, да из открытых дверей падали полосы тусклого света. Напуганные лошади сбились кучей в дальнем углу. Солдаты с винтовками в руках как безумные бегали взад и вперед. Посредине двора стояла группа солдат, человек в пятьдесят, почти все с оружием наготове, словно собираясь отразить атаку.

— Охранять ворота! — закричал полковник. — Никого не выпускать без моего разрешения!

Бегущие солдаты начали скапливаться у ворот. Дон Петронило один вышел на середину двора.

— В чем дело, contranegos? — спокойно спросил он.

— Они хотели всех нас перебить! — закричал кто-то в темноте. — Они хотели бежать! Они хотели предать нас colorados.

— Врешь! — закричали те, что стояли посреди площади. — Мы gente Мануэля Арриета, дон Петронило нам не начальник.

Внезапно мимо нас скользнул Лонгинос Герека. Безоружный, он начал выхватывать у восставших винтовки и отшвыривать их далеко в сторону. Минуту казалось, что взбунтовавшиеся набросятся на него, но они не стали сопротивляться.

— Разоружить! — приказал дон Петронило. — И всех взять под стражу!

Арестованных согнали в одну большую комнату и поставили у дверей часовых. Далеко за полночь было слышно, как они распевали веселые песни.

У Петронило остался теперь отряд всего в сто человек, несколько лишних лошадей с язвами на спинах и тысячи две патронов. Саласар на следующее утро уехал, предварительно посоветовавши расстрелять всех его gente; он был, видимо, доволен, что отделался от них. Хуан Сантильянес тоже стоял за немедленную казнь, но дон Петронило решил всех мятежников отправить к генералу Урбине для суда.

Глава IX

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

Дни в Ла Кадене были пестры и своеобразны. На заре, когда вода была подернута льдом, в огромный двор влетал галопом кто-нибудь из солдат, таща за собой на лассо упирающегося быка. Человек пятьдесят оборванных солдат, в нахлобученных на самые глаза сомбреро и по уши закутанные в серапе, устраивали импровизированный бой быков под аккомпанемент веселого хохота остальных сопрапегос. Они размахивали сдеялами, выкрикивая то, что обычно кричат участники боя быков. Кто-нибудь начинал крутить хвост взбешенному животному. Другой, менее терпеливый, бил быка саблей плашмя. Вместо бандерилей животному всаживали в плечи кинжалы — горячая кровь струей била в лицо нападавшим, когда бык устремлялся на них. Когда же наконец милосердный нож вонзился быку в мозг и он падал, солдаты гурьбой набрасывались на его тушу, резали и рвали животное на части, унося куски горячего мяса в свои казармы. Внезапно из-за Пуэрты выплывало раскаленное добела солнце и сразу начинало жечь лицо и руки. Лужи крови, линялые серапе, огромное бурое пространство пустыни начинали переливаться радужными красками.

Дон Петронило за время кампании конфисковал несколько карет. Мы часто пользовались ими во время своих экскурсий — мы пятеро. Однажды мы съездили в Сан-Педро дель Гальо смотреть бой петухов, другой

раз мы вдвоем с Гино Герека отправились осматривать баснословно богатые золотые прииски испанцев, которые были известны только ему одному. Но мы доехали только до Брукильи и там целый день валялись в тени деревьев и ели сыр.

Каждый вечер отряд, охранявший проход Пуэрта, быстрой рысью направлялся к своему посту; заходящее солнце играло на дулах винтовок и патронташах, сменинный отряд уже совсем в темноте возвращался на ночь в Ла Кадену.

Приехало четверо бродячих торговцев, которых я видел в Санто Доминго. Они привели с собой четырех ослов, нагруженных тасисхе, чтобы торговать с солдатами.

— Это мистер! — вскричали они, когда я подошел к их костру. — *Que tul?* Как дела? Неужто не боитесь *colorados*?

— Как идет торговля? — спросил я, принимая от них в подарок полную пригоршню тасисхе.

Они громко расхохотались.

— Торговля! Было бы лучше, если бы мы остались в Санто Доминго. У ваших солдат не хватит денег даже на одну сигару!..

Один из них запел знаменитую балладу «Утренняя песнь Франсиско Вилья». Он пропел один куплет, его сосед пропел еще куплет — и так дальше по кругу. Каждый певец по-своему воспевал подвиги Великого генерала. Полчаса я лежал у их костра, глядя, как они сидят, уткнув голову в колени, и багровые отблески костра играют на их простых смуглых лицах. Пока один пел, остальные глядели в землю, увлеченно сочиняя свои строки:

Вот Франсиско Вилья
Со своими генералами и офицерами —
Он пришел обуздать
Коротконогих быков федеральной армии.

А ну, готовьтесь, *colorados*,
Вашему хвастовству пришел конец,
Ибо Вилья и его солдаты
Скоро посдирают с вас шкуры!

Сегодня пришел ваш укротитель,
Отец укротителей быков,
Он выгонит вас из Торреона —
Только пятки ваши засверкают.

Толстосумам-богачам
Уже высыпали как следует;
Это сделали солдаты Урбины,
А также воины Макловни Эррера.

Лети, голубочек, лети,
Во все уголки страны загляни
И всюду поведай: Вилья пришел,
Чтобы навсегда изгнать федералистов.

Неправда должна погибнуть,
Справедливость одержит победу.
Ибо Вилья уже у стен Торреона,
Хищникам он кару готовит.

Лети же, царственный орел,
Лавровый венок Вилье снеси,
Ибо он явился с тем,
Чтобы разбить Браво и его бандитов.

Знайте же, сыновья москитов,
Вашей спеси пришел конец,
Раз Вилья уже у стен Торреона,
То, значит, сил у него хватит!

Да здоровствует Вилья и его солдаты!
Да здоровствует Геррера и его gentel
Теперь вы поняли, злодеи,
Что храбрый человек может сделать.

А теперь я говорю: прощай!
Розою клянусь Кастильи.
Вот и конец моей песни
В честь великого генерала Вильи!

Тут я потихоньку ушел, но они этого даже не заметили. Они пели у своего костра еще часа три.

В нашей казарме меня ожидало еще одно развлечение. В клубах дыма от костра на полу, заполнявшего все помещение, я с трудом мог различить человек сорок кавалеристов, сидевших и лежавших на полу. В глубоком молчании они слушали, как казначей Сильвейра читает вслух воззвание губернатора штата Дуранго, в котором заявлялось, что земли крупных асиенд будут поделены между бедняками.

Он читал:

— «Принимая во внимание, что главной причиной недовольства в штате, побудившей народ взяться в 1910 году за оружие, является полное отсутствие личной собственности; что сельское население не имеет никаких средств к существованию в настоящее время и никаких надежд на будущее и вынуждено работать в качестве пеонов на асиендах крупных землевладельцев, захвативших в свои руки всю землю в штате;

принимая во внимание, что главным источником нашего национального богатства является земледелие и что не может быть действительного прогресса в земледелии там, где большинство крестьян не заинтересовано в земле, на которой они работают...

принимая во внимание, наконец, что провинциальные города дошли до полного обнищания благодаря тому, что те общественные земли, которыми они когда-то владели, при диктатуре Диаса отошли к ближайшим асиендам, вследствие чего население штата утеряло свою экономическую, политическую и социальную независимость и из свободных граждан превратилось в рабов, и правительство не в состоянии поднять их нравственный уровень посредством образования, так как асиенды, на которых они живут, являются частной собственностью...

Вследствие этого правительство штата Дуранго объявляет общественной необходимостью, чтобы все пахотные земли отошли к сельскому и городскому населению в полную собственность...»

Когда казначей наконец, спотыкаясь, прочел все параграфы, в которых указывалось, как можно получить земельный надел и т. д., наступило молчание.

— Вот это и есть мексиканская революция! — воскликнул Мартинес.

— Это как раз то, что делает Вилья в Чиуауа, — сказал я. — Это великолепно. Теперь каждый из вас будет иметь свою ферму.

Раздались веселые смешки. Потом с пола поднялся какой-то маленький лысый человек с грязными рыжими бакенбардами и сказал:

— Только не мы — не солдаты. Когда революция

окончится, в солдатах минует нужда. А землю получают *pasíficos* — те, кто не ходил воевать. И будущее поколение...

Он остановился и протянул свои рваные рукава к огню.

— До войны я был школьным учителем и знаю, что революции и республики всегда неблагодарны. Я сражаюсь вот уже три года. После первой революции великий Мадеро, наш отец, пригласил всех своих солдат в столицу. Он наградил нас всех одеждой, хорошо угощал, устраивал для нас бои быков. Мы разъехались по домам, и оказалось, что у власти опять стоят хищники и грабители.

— Когда я вернулся с войны, у меня было сорок пять песо в кармане, — сказал кто-то.

— Ты еще счастливiec, — продолжал школьный учитель, — нет, выгоду от революции получают не солдаты, не голодные, оборванные, простые солдаты. Офицеры — другое дело. Те нередко жиреют на крови родины. Но мы — никогда.

— А за что же вы боретесь, в таком случае? — воскликнул я.

— У меня растут два сына, — ответил он. — Вот они получают землю. А у них будут свои сыновья. Те тоже не будут голодать... — Маленький человечек скривил рот в улыбку. — У нас в Гвадалахаре есть поговорка: «Не носи сорочку длиной в одиннадцать ярдов, ибо тот, кто хочет быть Спасителем, будет распят».

— А у меня нет сына, — сказал четырнадцатилетний Хиль Томас, и все покатались со смеху. — Я сражаюсь за то, чтобы достать себе новенькую винтовку у какого-нибудь убитого федералиста и хорошую лошадь, которая прежде принадлежала миллионеру.

Шутки ради я спросил кавалериста, у которого к мундиру был приколот портрет Мадеро, кто это такой.

— Pues, quien sabe, señor? — ответил он. — Мой капитан говорит, что это был великий святой. Я сражаюсь потому, что это гораздо легче, чем работать.

— А часто ли вам платят за службу?

— Мы получили по три песо ровно девять месяцев назад, — сказал учитель, и все кивнули, подтверждая

его слова. — Мы настоящие добровольцы. Вот gente Вильи — профессионалы.

Затем Луис Мартинес принес гитару и пропел прелестную любовную песенку, которую, по его словам, как-то вечером сложила проститутка в борделе.

Последнее, что я припоминаю о той памятной ночи, это слова Гино Герека, когда мы болтали с ним, лежа рядом в темноте.

— Завтра я покажу тебе золотые прииски испанцев. Они — в глухом каньоне среди Западных гор. Никто не знает о них, кроме индейцев и меня. Индейцы иногда ножами откапывают там самородки. Мы станем с тобой богачами...

Глава X

НА БЕГ

На следующее утро, еще до восхода солнца, Фернандо Сильвейра, уже совсем одетый, вошел в нашу комнату и начал спокойно будить нас, объявляя, что наступают colorados. Хуан Валехо рассмеялся.

— Сколько их там, Фернандо?

— Да не меньше тысячи, — отвечал Сильвейра все тем же спокойным голосом, ища свои патронные ленты.

Во дворе царила необыкновенная суета. Солдаты поспешно седлали лошадей. Дон Петронило стоял полуодетый возле своей двери; его подруга пристегивала ему саблю. Хуан Сантьянес с лихорадочной поспешностью натягивал на себя брюки. Повсюду щелкали затворы винтовок. Десятка два солдат бесцельно бегали взад и вперед, расспрашивая всех, не видели ли они того-то и того-то.

И все-таки, казалось, никто не верил, что colorados в самом деле наступают. Бледный квадрат неба над внутренним двориком обещал еще один жаркий день. Кукарекали петухи. Где-то мычала корова. Мне вдруг страшно захотелось есть.

— А где они сейчас? — спросил я.

— Совсем близко.

— А наш аванпост — отряд у Пуэрты?

— Спит! — сказал Фернандо, опоясываясь патронной лентой.

В комнату, путаясь в своих огромных шпорах, вошел Пабло Арриола.

— Сперва показалась небольшая кучка кавалеристов человек в двенадцать. Наши ребята в Пуэрте думали, что это обычный разъезд. Отогнав их, они принялись за завтрак. И вдруг — сам Аргумедо, а с ним сотни и сотни...

— Но ведь двадцать пять человек в этом проходе могли бы задержать целую армию, пока не подросла бы помощь...

— Они уже прошли Пуэрту, — сказал Пабло, забрасывая седло на плечо, и вышел.

— Разбойники! — выругался Хуан Санчес, вращая барабан револьвера. — Пусть только попадутся мне!

— Ну вот, мистер! — закричал Хиль Томас. — Теперь увидишь войну. Ты давно хотел. Небось трусишь, мистер?

По-прежнему не верилось, что все это серьезно и реально. Я сказал себе: «Значит, повезло тебе — сейчас ты увидишь настоящий бой. Будет о чем писать». Я зарядил свой фотоаппарат и выбежал наружу.

Все, казалось, было как обычно. Из самой Пуэрты вставало ослепительное солнце. Утренний свет разливался по темным пространствам пустыни на востоке. И все. Ни движения. Ни звука. И тем не менее где-то там горсточка солдат пыталась задержать целую армию.

Над хижинами пеонов высоко в тихое небо поднимались дымки печных труб. Было так тихо, что можно было расслышать скрежет ручных жерновов, размалывавших кукурузу, и еще грустную протяжную песню женщины, работавшей где-то за Каса Гранде. Блеяли овцы, просясь на волю из загонов. По дороге в Санто Доминго, так далеко, что они казались лишь чуть заметными точками, брели позади своих осликов четыре торговца. Перед асиендой небольшими кучками стояли пеоны, размахивая руками и поглядывая на восток.

Изредка из двора Каса Гранде выезжали два-три всадника с винтовками в руках и галопом скакали по направлению к Пуэрте. Я видел, как они то скрывались за холмами, то снова появлялись, становясь все меньше и меньше, пока наконец не исчезли за последним холмом: белая пыль, поднятая ими, засверкала на солнце,

слепа глаза. Они забрали мою лошадь, а у Хуана Вальехо ее давно уже не было. Он стоял рядом со мной и щелкал пустым затвором винтовки.

— Гляди! — закричал он вдруг. Западный склон гор, сходящихся у Пуэрты, все еще был в тени. У его подножия зазмеились узкие полосы пыли и стали медленно-медленно удлиняться. Сперва в каждом направлении было только по одной такой полоске; потом появилась вторая, третья... беспощадно удлиняясь, как спускающаяся петля на чулке, как трещинки в тонком стекле. Враги заходили нам с флангов!

Наши всадники все еще выезжали со двора и скакали по направлению к Пуэрте. Вот промчались Пабло Арриола и Никанор, весело помахав мне рукой. Стрелой пролетел Лонгинос Герека на своем огромном жеребце, еще не совсем обьезженном.

— На прииски — завтра! — крикнул он мне через плечо. — Сегодня некогда... будем богаты... прииски никому неизвестны... — Но он был уже далеко, и больше я ничего не расслышал.

За ним следовал Мартинес. Улыбаясь, он крикнул мне, что напуган до смерти. Затем — другие. Всего их ускакало туда человек тридцать. Я заметил, что большинство из них надели шоферские очки. Дон Петронило, сидя на коне, смотрел в полевой бинокль. Я взглянул опять на полосы пыли, — медленно загибаясь, они шли на сближение, золотясь на солнце, словно ятаганы.

Мимо проскакал дон Томас, а по пятам за ним — Хиль Томас. И кто-то мчался им навстречу. На гребне холма показалась маленькая лошадка и всадник в нимбе сияющей пыли. Он приближался с головокружительной быстротой, то появляясь на вершинах холмов, то исчезая за ними... Когда он, прищпоривая коня, взлетел на холмик, где мы стояли, перед нами открылось ужасное зрелище. Из раны на его груди веерообразно растекались струи крови. Нижняя челюсть была почти оторвана разрывной пулей. Осадив лошадь возле полковника, он с огромным напряжением пытался что-то сказать, — это было страшно. Но из изуродованного рта вырывались лишь нечленораздельные звуки. По щекам бедняги катились слезы. Он что-то неясно прохрипел и, прищпорив коня, помчался по дороге в Санто Доминго.

Вслед за ним карьером мчались другие — те, кто охранял Пуэрту. Двое или трое проскочили через асиенду, даже не придержав коней. Остальные вне себя от бешенства набросились на доня Петронило.

— Еще боеприпасов! Еще патронов! — кричали они. Дон Петронило рассеянно отвел глаза.

— Ничего нет.

Солдаты неистовствовали, громко ругались и швыряли винтовки на землю.

— Еще двадцать пять человек к Пуэрте! — закричал полковник.

Через несколько минут новый отряд выехал из ворот асиенды и поскакал по дороге на восток. Ближайшие концы пылевых полос теперь скрылись из виду за гребнями дальних холмов пустыни.

— Отчего вы не пошлете всех солдат сразу, дон Петронило? — крикнул я.

— Оттого, мой милый друг, что вот по тому оврагу движется целая рота *colorados*. Вы их не видите оттуда; а я вижу.

Не успел он договорить, как из-за угла дома выскочил всадник, показывая рукой назад, на юг, откуда он прискакал.

— Они заходят и отсюда! — кричал он. — Тысячи! Пробрались другим проходом. У Редондо было всего пять человек на посту! Они взяли их в плен и ворвались в долину, прежде чем он разобрал, в чем дело.

— *Valgame Dios!* — пробормотал дон Петронило.

Мы посмотрели на юг. Над бурой поверхностью пустыни колыхалось огромное облако белой пыли, сверкавшее на солнце подобно библейскому огненному столпу.

— Ребята! Встретить их и задержать! — скомандовал полковник. Остальные двадцать пять человек вскочили на коней и помчались в южном направлении.

Внезапно большие ворота поселка стали извергать солдат на лошадях — солдат без винтовок. Разоруженные *gente* Саласара! Они кружились вокруг нас, охваченные паникой.

— Отдайте нам наши винтовки! — кричали они. — Где наши патроны?

— Ваши винтовки в казарме, — ответил полковник, — но вашими патронами угощают *colorados*.

Поднялся страшный шум.

— У нас отняли оружие! Нас хотят погубить!

— Как же мы можем теперь сражаться? Что нам делать без оружия? — кричал один солдат, наступая на дона Петронило.

— За мной, *compaños*! За мной, мы их задушим голыми руками, этих... *colorados*! — закричал кто-то.

Человек пять пришпорили лошадей и понеслись к Пуэрте — без оружия, без надежды! Это было великолепно!

— Нас всех перебьют! — сказал другой. — Нам нужно бежать!

И остальные сорок пять бешено помчались по дороге в Санто Доминго.

Те двадцать пять человек, которым было приказано задержать неприятеля на юге, отъехали с полмили и затем остановились, видимо растерявшись, и тут они увидели безоружных солдат, скакавших по направлению к горам.

— *Compaños* бегут! *Compaños* бегут!

Этот крик продолжался несколько секунд. Они глядели на приближавшееся облако пыли. Они думали об огромном отряде безжалостных дьяволов, которые подняли ее. Они дрогнули, рассыпались — и понеслись во весь опор к горам через заросли чапарраля.

Я неожиданно заметил, что давно уже прислушиваюсь к треску выстрелов. Звуки доносились откуда-то издалека и напоминали стук пишущей машинки. Но с каждой секундой они казались все более четкими. Безобидное потрескивание нарастало, становилось зловещим, сливалось в один звук, напоминавший громкий рокот барабанов.

Дон Петронило чуть-чуть побледнел. Он подозревал Аполлинарио и велел запрягать мулов в карету.

— В случае если нас разобьют, — спокойно сказал он, обращаясь к Хуану Валехо, — позови мою жену и поезжай вместе с ней и с Ридом в карете. За мной, Фернандо, Хуанито!

Сильвейра и Хуан Сантильянес пришпорили лошадей. Вскоре все трое скрылись из виду на дороге, ведущей к Пуэрте.

Теперь мы уже ясно видели неприятеля: сотни маленьких черных фигур на лошадях пробирались по зарослям чапарраля. Пустыня, казалось, кишела ими. До нас доносились злобные крики. Над головой просвистела пуля на излёте, за ней другая, затем третья — далеко не на излёте и наконец уже целый рой их яростно жужжал в воздухе. Кляк! Кляк! Кляк! — щелкали пули о глиняную стену. Пеоны и женщины метались из хижины в хижину, потеряв голову от ужаса. Мимо проскакал наш кавалерист, крича, что все потеряно... его закопченное пороховым дымом лицо было искажено яростью и ужасом...

Аполлинарио торопливо привел мулов и начал запрягать их в карету. Руки его дрожали. Он уронил постромки, схватил их, опять уронил. Его била дрожь. Внезапно он бросил упряжь и со всех ног пустился бежать. Мы с Хуаном ринулись к карете. И в ту же минуту случайная пуля задела плечо головного мула. И без того испуганные, животные рванулись в сторону. Дышло кареты лопнуло с таким треском, словно выстрелили из винтовки. Мулы как бешеные помчались по пустыне.

И тут мимо нас, охваченные дикой паникой, в полном беспорядке пронеслись кавалеристы, беспощадно нахлестывая напуганных лошадей. Они миновали нас, не останавливаясь, не замечая, все в крови, в поту, в грязи. Дон Томас, Пабло Арриола, а потом мальчишка Хиль Томас, — его лошадь зашаталась и упала мертвой рядом с нами. Кругом нас в стену впивались бесчисленные пули.

— Бежим, бежим, мистер! — кричал Хуан. — Скорей, не отставай!

И мы пустились бежать. Когда я, задыхаясь, поднялся на противоположный склон оврага, я оглянулся. Хиль Томас бежал за мной по пятам, закутавшись в черно-красное клетчатое серапе. Вдали на коне показался дон Петронило, стрелявший через плечо; рядом с ним скакал Хуан Сантьянес, а впереди, припав к шее лошади, — Фернандо Сильвейра. Повсюду вокруг асиенды скакали, стреляли и кричали всадники, и, насколько хватал глаз, ими были усеяны все окрестные холмы,

БЕГСТВО МИСТЕРА

Хуан Валехо бежал уже далеко впереди, не выпуская винтовки из рук. Я закричал, чтобы он свернул в сторону от дороги, и он повиновался, не оглянувшись. Я побежал вслед за ним по прямой тропинке, которая вела через пустыню в горы. Пустыня здесь была голая, как бильярдный стол. Нас могли увидеть на много миль кругом. Мой фотоаппарат запутался у меня между ног. Я бросил его. Пальто тяжелым грузом давило плечи. Я стряхнул его на землю. Мы видели, что сомбранегос мчатся как безумные по дороге в Санто Доминго. Впереди них неожиданно вынырнула группа всадников — отряд, заходивший с юга. Опять завязалась перестрелка, преследователи и преследуемые скрылись за небольшим холмом. Слава богу, тропинка увела нас уже далеко от дороги.

Я бежал, бежал, бежал и бежал, пока хватало сил бежать. Потом шел несколько метров шагом и снова бежал. Я уже не дышал, а хрипел. Страшные судороги сводили мои ноги. Теперь кругом попадались кусты чапарраля и западные горы были совсем близко. Но с востока вся тропинка была еще на виду. Хуан Валехо, опередивший меня на полмили, был уже у подножия гор. Я видел, как он стал подниматься на холм. Внезапно за ним погнались три вооруженных всадника. Он оглянулся вокруг, швырнул винтовку в кусты и бросился бежать во всю прыть. Всадники открыли по нему огонь, но вдруг остановились и начали искать винтовку. Он скрылся за вершиной холма, а вслед за ним скрылись и всадники.

Я снова побежал. Мне вдруг захотелось узнать, который час. Я был не особенно испуган. Все происходившее казалось нереальным, словно страница из книги Ричарда Хардинга Дэвиса¹. В голове вертелась мысль: «Ну, во всяком случае, это что-то новое. Будет о чем писать».

И вдруг сзади послышались крики и топот копыт. Примерно в ста ярдах за мной бежал маленький Хиль

¹ Р. Х. Дэвис (1864—1916) — американский журналист и военный корреспондент.

Томас, концы его пестрого серапе развевались в воздухе. А в ста ярдах за ним мчались верхом два негра с винтовками в руках. Они выстрелили. Хиль Томас повернул ко мне бронзовое, искаженное ужасом лицо и продолжал бежать. Опять раздалась выстрелы. З-з-з-з-с — просвистела пуля над моей головой. Мальчик зашатался, остановился, закружился на месте и затем кубарем покатился в кусты. Всадники бросились за ним. Я увидел, как первая лошадь ударила его копытом. Colorados, подняв лошадей на дыбы, расстреливали лежащее на земле тело...

Я бросился в кусты, взобрался на холм, зацепился за корень мескита, упал, покатился по песчаному склону и очутился в неглубоком овраге, заросшем кустами мескита. Не успел я пошевелиться, как colorados появились на склоне холма.

— Вот он! Вот он! — закричали они и, вонзив шпоры в бока лошадей, перелетели через овраг всего в десяти шагах от меня и помчались по пустыне. А я вдруг заснул.

Я спал, должно быть, совсем недолго, потому что, когда проснулся, солнце было примерно на том же месте, а на западе, по направлению к Санто Доминго, все еще изредка слышались выстрелы. Сквозь густые ветви кустов я глядел в раскаленное небо. Над головой у меня медленно кружился огромный гриф, недоумевая, мертв я или нет. Шагах в двадцати от меня босоногий индеец, с винтовкой в руках, неподвижно сидел на коне. Он посмотрел на грифа, затем устремил взгляд вдаль. Я затаил дыхание. Я не мог определить, из наших он или нет. Постояв минуту на месте, он медленно въехал на северный склон холма и исчез.

Я подождал еще с полчаса, потом стал ползком выбираться из оврага. В направлении асиенды все еще слышались выстрелы. Как я потом узнал, colorados на всякий случай стреляли в мертвецов. Но сам я видеть этого, конечно, не мог.

Небольшая долина, в которой я теперь находился, простиралась с востока на запад. Я направился на запад, к горам. Но я все еще был недалеко от роковой тропинки. Пригнувшись и не оглядываясь, я стал быстро взбираться на холм. За этим холмом лежал другой, по-

выше, а дальше — третий. Быстро пробегая вершины, проходя шагом ложбины, я держал путь на северо-запад, к горам, которые все приближались и приближались. Теперь кругом царила тишина. Солнце жгло нещадно, и длинные гряды унылых холмов дрожали в жарком мареве. Высокий чапарраль рвал на мне одежду и царапал лицо. Под ногами у меня были кактусы, столетники и убийственные *espadas*, длинные крепкие колючки которых пробивали ботинки, раздирая ноги в кровь, а под ними был песок и острые камни. Идти было невыносимо трудно. Огромные, застывшие в неподвижном воздухе силуэты испанского штыка, издали удивительно похожие на людские фигуры, четко рисовались на фоне неба. Я устало остановился среди них, когда поднялся на высокий холм, и оглянулся. Асиенда была уже так далеко, что казалась белым пятном в необъятных просторах пустыни. Тонкая полоска пыли двигалась от нее в сторону Пуэрты — *colorados* увозили своих убитых в Мадими.

И вдруг мое сердце бешено забилося. По долине тихо пробирался человек. На одной руке у него висело зеленое серапе, а голова была обвязана носовым платком, пропитанным запекшейся кровью. *Espadas* издрали его босые ступни. Неожиданно заметив меня, он замер на месте, а потом поманил к себе пальцем. Я подошел к нему. Не говоря ни слова, он пошел обратно, я последовал за ним. Пройдя ярдов сто, он остановился и обернулся ко мне. На песке, задрав кверху зачехленные ноги, лежала убитая лошадь, а возле нее — человек с распоротым ножом или саблей животом, вероятно *colorado*, так как в его патронташе было еще много патронов. Человек с зеленым серапе вытащил из-за пояса кинжал, весь в крови, стал на колени и начал копать яму между *espadas*. А я стал таскать камни. Из ветки мескита мы сделали крест и похоронили убитого.

— Ты куда, сомрапего? — спросил я.

— В горы, — ответил он. — А ты?

Я указал на север, где, по моим расчетам, находилось ранчо старого Герека.

— Пелайо — вон там, отсюда милях в двенадцати.

— А что такое Пелайо?

— Асиенда... Я думаю, там есть наши...

Мы попрощались и разошлись.

Много часов шел я, быстро пробегая через холмы, лавируя между беспощадными *espadas*, спускаясь и поднимаясь по крутым берегам высохших речек. Нигде не попадалось ни капли воды. Я давно уже ничего не ел и не пил. Было невыносимо жарко.

Часам к одиннадцати я обогнул горный отрог и увидел вдали небольшое серое пятно — то было ранчо Брукилья. Здесь проходила широкая дорога, пустыня была ровная и открытая. В миле от меня виднелась маленькая фигурка всадника. Мне показалось, что всадник заметил меня, — он остановился и долго смотрел в мою сторону. Я замер на месте. Скоро он поехал дальше, становясь все меньше и меньше, и наконец превратился в облачко пыли. На целые мили вокруг не было больше никаких признаков жизни. Я пригнулся и побежал по обочине дороги, чтобы не поднимать пыли. Примерно в миле на западе находилась Брукилья, скрытая рощицей гигантских деревьев аламо, окаймляющей берег ручья. Еще издали я заметил красное пятно на вершине небольшого холмика; подойдя ближе, я увидел, что это был старик Герека, глядевший на восток. Заметив меня, он побежал мне навстречу, ломая руки.

— Что случилось? Что случилось? Неужели правда, что *colorados* заняли Ла Кадену?

Я вкратце рассказал ему, как было дело.

— А Лонгинос? — вскрикнул он, вцепляясь в мой локоть. — Вы видели Лонгиноса?

— Нет, — сказал я. — *Companeros* отступили в Санто Доминго.

— Вам нельзя оставаться здесь, — сказал старик, дрожа всем телом.

— Дайте мне воды, я с трудом могу говорить.

— Да, да, напейтесь, напейтесь. Вон там ручей. *Colorados* не должны застать вас здесь. — Старик обвел испуганным взглядом маленькое ранчо, которое он приобрел ценой такого тяжкого труда. — Они тогда всех нас перебьют.

В это время в дверях показалась старуха.

— Идите сюда, Хуан Рид! — закричала она. — Где мой сын? Почему он не пришел? Убит? Скажите мне правду!

— Нет, я думаю — им всем удалось спастись, — ответил я.

— А вы? Вы что-нибудь ели? Успели вы позавтракать?

— Я ничего не ел и не пил со вчерашнего вечера. И всю дорогу от Ла Кадены я прошел пешком.

— Бедный мальчик! Бедный мальчик! — причитала старуха, обнимая меня. — Садись, я тебе сейчас что-нибудь приготовлю.

Старик Герека кусал губы, мучимый опасениями. Наконец чувство гостеприимства одержало верх.

— Мой дом к вашим услугам, — пробормотал он. — Но только спешите! Спешите! Вас не должны застать здесь. А я пойду на холм и буду следить, не поднимается ли пыль!

Я выпил несколько литров воды, съел яичницу из четырех яиц и порядочное количество сыру. Старик вернулся и принялся беспокоиться шагать по комнате.

— Я отправил всех детей в Хараль Гранже, — сказал он. — Мы узнали сегодня утром... Все здешние жители бежали в горы. Ну, вы готовы?

— Оставайся у нас, — сказала старуха. — Мы тебя спрячем от colorados, пока не вернется Лонгинос.

— Ты с ума сошла! — закричал муж. — Ему нельзя здесь оставаться. Вы готовы? Идемте!

Хромая, я побрел за ним через спаленное солнцем поле кукурузы.

— Теперь идите по этой тропинке вон через те поля и чапарраль. Выйдете на дорогу, которая ведет в Пелайо. До свидания, счастливого пути!

Мы пожали друг другу руки, и он, шлепая сандалиями, заковылял обратно по холму.

Я пересек огромную долину, поросшую мескитом в рост человека. Два раза я видел всадников — возможно, это были просто расіfіcos, но я не стал рисковать. За первой долиной лежала другая, длиной миль в семь. По сторонам высились огромные голые горы, а впереди маячила цепь белых, красных и желтых холмов. Прошло примерно четыре часа, прежде чем я обогнул эти холмы и увидел деревья аламо и низкие глинобитные стены асиенды дель Пелайо. Мои окровавленные ноги совсем одеревенели, спина невыносимо болела, перед глазами все плыло.

Как только я подошел к асиенде, меня окружили леоны, внимательно слушая мой рассказ.

— Que sagrai-i-i! ¹ — бормотали они. — Да разве возможно за один день дойти сюда из Ла Кадены? Pobrecito! ² Ну и устал же ты, иди скорее есть. Сегодня ты будешь спать в постели.

— Мой дом к вашим услугам, — сказал дон Фелипе, кузнец. — Но скажите, уверены ли вы, что солгавос сюда не придут? Последний раз, когда они были здесь, — он указал рукой на обгоревшие стены Каса Гранде, — они убили четырех расіісіос за то, что те отказались присоединиться к ним. — Он взял меня под руку. — Идем, amigo, тебе надо подкрепиться.

— Эх, если бы раньше можно было где-нибудь выкупаться!

При этих словах все кругом заулыбались, а дон Фелипе повел меня за угол асиенды вдоль небольшого ручья, над которым свисали тенистые ивы, а берега были покрыты удивительно яркой зеленью. Вода вырывалась из-под высокой стены, над которой свисали искривленные ветви великана аламо. Мы вошли в калитку, и тут меня оставили.

Внутри почва круто поднималась вверх так же, как и выкрашенная в бледно-розовую краску стена. Посредине этого огороженного пространства находился небольшой бассейн с кристально чистой водой. Дно устилал белый песок. В дальнем конце бассейна со дна бил фонтан. Над поверхностью воды поднимался легкий пар. Вода была *горячей*.

В воде по шею стоял какой-то человек. На макушке у него был выбрит кружок.

— Сеньор, — спросил он, — вы католик?

— Нет.

— Слава богу, — сказал он быстро. — Мы, католики, часто бываем нетерпимы. Вы мексиканец?

— Нет, сеньор.

— Это очень хорошо, — он печально улыбнулся. — Я священник, и я испанец. Мне дали понять, что я лишний в этой прекрасной стране. Бог милостив, сеньор. Но в Испании он более милостив, чем в Мексике.

Я потихоньку начал опускаться в прозрачную теплую глубину. Боль, усталость, уныние сразу как рукой

¹ Какой ужас! (мексик.)

² Бедняга! (испанск.)

сняло. Я чувствовал себя бесплотным духом. Лежа на спине, мы нежились в теплых объятиях этого чудесного бассейна; над нашими головами склонялись кривые сучья аламо, и мы говорили о философии. Раскаленное небо постепенно охлаждалось, закатные лучи солнца скользили все выше и выше по розовой стене.

Дон Филипе настоял, чтобы я ночевал у него в доме, на его кровати. Кровать эта состояла из железного остова, поперек которого были уложены доски, покрытые старым, рваным одеялом. Укрылся я своей одеждой. Дон Филипе, его жена, взрослый сын, и дочь и двое маленьких детей — все те, кто обычно спал на кровати, устроились на земляном полу. Кроме них, на полу лежало еще двое больных — дряхлый старик, покрытый красной сыпью, у которого уже не было сил говорить, и мальчик с необыкновенно распухшими жёлезам на шее. Время от времени в хижину входила какая-то столетняя ведьма и начинала лечить своих пациентов. Лечение ее было очень простое. Старика она лечила так: нагревала на свече обломок железного прута и проводила им по сыпи. Для мальчика она готовила тесто из кукурузной муки и сала и мазала ему локти, громко читая молитву. Это продолжалось с перерывами всю ночь. А в промежутки просыпались дети и плакали, пока мать не начинала их кормить... Дверь в хижине была плотно закрыта еще с вечера, а окон в ней не было совсем.

Надо помнить, что, оказывая мне такое гостеприимство, дон Фелипе приносил тяжелую жертву, особенно потчuya меня ужином и завтраком, во время которых он отпирал жестяной сундучок, благоговейно доставая для меня драгоценные сахар и кофе. Он был, как и все леоны, невероятно беден и безмерно гостеприимен. Уступая мне на ночь свою кровать, он также оказал мне величайшую честь. А когда я на следующее утро хотел заплатить ему, он не пожелал даже слышать об этом.

— Мой дом к вашим услугам, — повторил он. — Принимая гостя, принимаешь бога, как у нас говорится.

Наконец я попросил его купить мне табак, и тогда он взял деньги. Я знал, что они попадут туда, куда надо, ибо нет мексиканца, который выполнил бы поручение такого рода. Они упоительно безответственны.

В шесть утра я выехал в Санто Доминго в двуколке, которой правил старик пеон по имени Фройльян Мендарес. Мы не решились держаться главной дороги и тряслись по боковой тропинке, пролегавшей позади длинного ряда холмов. Мы ехали около часа, как вдруг мне в голову пришла неприятная мысль.

— Что если сомрапегос бежали еще дальше, а в Санто Доминго теперь colorados?

— Да, действительно, — пробормотал Фройльян и прикрикнул на мула.

— Ну, а если в самом деле так, что нам тогда делать?

Фройльян на минуту задумался.

— А мы просто скажем, что мы родственники президента Уэрты, — сказал он совершенно серьезно.

Фройльян был босоногий пеон, возраст и тяжелый труд наложили неизгладимую печать на его лицо и руки; а я был одет в лохмотья гринго...

Так мы тряслись несколько часов. В одном месте из кустов выбежал вооруженный человек и крикнул, чтобы мы остановились. Его губы потрескались и запеклись от жажды. Espadas изрезали ему ноги до кости. Ему удалось спастись, и всю ночь он брел по горам. Мы отдали ему всю воду и продовольствие, которые у нас были, и он пошел по направлению к Пелайо.

День уже склонялся к вечеру, когда наша двуколка поднялась на гребень последнего бурого холма пустыни и перед нами открылась дремлющая в долине асиенда и рощица гигантских аламо, которые, словно пальмы в оазисе, окружали бьющий из земли ключ. Когда мы спускались вниз, мне казалось, что сердце мое выпрыгнет из груди. На большом дворе пеоны играли в мяч. От ключа к асиенде двигалась длинная вереница женщин, с кувшинами на головах. От костра, разложенного среди деревьев, поднимался к небу голубоватый дымок.

Мы нагнали старика пеона, тащившего на спине вязанку хвороста.

— Нет, — сказал он, — здесь не было colorados. Мадеристы? Да, они прискакали вчера вечером — целые сотни их. Но сегодня на рассвете они вернулись обратно в Ла Кадену «поднять землю» (похоронить убитых).

У костра между деревьями вдруг раздались веселые восклицания:

— Мистер! Глядите, приехал мистер. Que tal, 'com-
рапего? Как тебе удалось спастись?

Это были мои старые друзья, бродячие торговцы. Они кинулись ко мне, забросали меня вопросами, пожимали мне руки, крепко обнимали меня.

Ну и туго же мне пришлось. Caramba! ¹ Но все-таки я везучий. А знаю ли я, что Лонгинос Герека убит? Да, убит. Но прежде он успел положить на месте шестерых colorados. Мартинес тоже убит, и Никанор, и Редондо.

Мне стало невыносимо больно. Больно при мысли об их бессмысленной гибели в такой ничтожной схватке. Жизнерадостный милый Мартинес; Гино Герека, которого я так полюбил; Редондо, невеста которого в это самое время ехала в Чиуауа купить себе подвенечное платье, и весельчак Никанор.

Солдаты Редондо, заметив, что их обходят с фланга, бросили его и разбежались, а он галопом помчался в Ла Кадену, но его настигли триста colorados и буквально изрешетили пулями. Лонгинос, Луис Мартинес и Никанор с пятью кавалеристами одни удерживали восточную часть асиенды, пока у них не кончились патроны и их не окружили непрерывно стреляющие враги. И они были убиты. Colorados увели подругу полковника.

— Но вот человек, который был в самой гуще боя, — сказал один из торговцев. — Он сражался до последнего патрона, а затем саблей проложил себе дорогу через неприятельские ряды.

Я оглянулся. Окруженный толпой замороженных пеонов и усиленно жестикулируя, чтобы точнее описать свой подвиг, стоял Аполлинарио! Увидев меня, он холодно кивнул мне — человеку, бежавшему с поля битвы, и продолжал свой рассказ.

До самого заката я и Фройльян играли с пеонами в мяч. Кругом царила мирная сонная тишина. Легкий ветерок покачивал ветки огромных деревьев; их могучие вершины золотились в лучах солнца, опускавшегося за холм позади Санто Доминго. Это был странный закат. К вечеру небо затянулось светлой дымкой, сначала она

¹ Черт возьми! (испанск.)

порозовела, потом стала красной, и вдруг все небо стало темно-алым, словно кровь.

Пьяный гигант-индеец футов семи ростом, пошатываясь, вышел на площадку рядом с полем для игры в мяч. В руках у него была скрипка. Он подсунул ее под подбородок и принялся пикиать по струнам, раскачиваясь в такт мелодии. Затем из толпы пеонов выскочил однорукий карлик и принялся плясать. Сразу образовался тесный круг, зрители громко хохотали, выражая свой восторг.

И как раз в эту минуту на фоне кровавого неба из-за гребня восточного холма показались измученные солдаты разбитого отряда. Одни ехали на лошадях, другие брели пешком — и раненые и здоровые, одинаково измученные и павшие духом, пошатываясь и хромя, приближались к Санто Доминго.

Глава XII ЭЛИСАБЕТТА

Итак, на фоне алого неба разбитый, измученный отряд спускался с холма. Одни солдаты ехали верхом, иногда по двое на одной лошади, которая понуро опускала голову чуть ли не до самой земли. Другие шли пешком. Головы и руки большинства были обмотаны окровавленным тряпьем. Патронные ленты были пусты, винтовок не было совсем. Лица и руки их покрывали пот, грязь и копоть от порохового дыма. Но это были только передовые — другие еще брели по безводной двадцатимильной пустыне, отделяющей Санто Доминго от Ла Кадены, и хотя их осталось всего пятьдесят человек, включая женщин, а остальные уцелевшие рассеялись по бесплодным горам и оврагам пустыни — печальное шествие растянулось на много миль и прошло несколько часов, прежде чем подошли отставшие.

Впереди, опустив голову и скрестив на груди руки, ехал дон Петронило, поводья свободно болтались на шее его лошади, еле передвигавшей ноги. Позади него ехал Хуан Сантьянес, худой и бледный, сразу постаревший на несколько лет. Фернандо Сильвейра, весь в лохмотьях, плелся рядом, держась за его седло. Перебираясь через мелкий ручей, они подняли головы и заме-

тили меня. Дон Петронило слабо махнул мне рукой, Фернандо воскликнул:

— Смотрите — мистер! Как тебе удалось бежать? А мы решили, что ты убит.

— Я бежал вперегонки с дикими козами, — ответил я.

Хуан рассмеялся.

— Душа в пятки ушла, а?

Лошади протянули морды к воде и принялись жадно пить. Хуан безжалостно вонзил шпоры в бока своему коню, перемахнул через ручей, и мы упали друг другу в объятия. Но дон Петронило спешил прямо в воде и безучастно, словно спал на ходу, побрел по мелководью в нашу сторону.

Он плакал. Лицо его ничего не выражало, но по щекам медленно катились крупные слезы.

— Colorados захватили его жену! — шепнул мне на ухо Хуан.

Мне стало невыносимо жаль беднягу.

— Это ужасно, полковник, — мягко сказал я, — чувствовать ответственность за всех храбрецов, которые пали в бою. Но ведь не ваша вина...

— Не в этом дело, — тихо сказал он, глядя сквозь слезы на тех, кто, шатаясь, брел по пустыне.

— У меня тоже были друзья, которые пали в этом бою, — продолжал я. — Но они пали смертью храбрых, сражаясь за родину.

— Я не об этом плачу, — сказал дон Петронило, ломая руки. — Вчера я потерял все, что было мне дорого. Они отняли у меня жену, и мой отряд, и все мои бумаги, и все мои деньги. Но сердце мое сжимается от горести, когда я вспоминаю новые серебряные шпоры с золотой напечкой, которые я только в прошлом году купил в Мадриде!

Он отвернулся, охваченный безутешным горем.

Из хижин уже бежали пеоны, выкрикивая слова сочувствия и утешения. Они обнимали солдат, помогали раненым, робко хлопая их по спине и называя «храбрецами». Отчаянно бедные сами, они предлагали им еду, постели, корм для лошадей и упрашивали остаться в Санто Доминго до полного выздоровления.

Я уже договорился о ночлеге. Дон Педро, старший козий пастух, в порыве сердечного великодушия уступил

мне свою комнату и постель, а сам с семьей перебрался в кухню. Он сделал это, надеясь на вознаграждение, так как считал, что у меня есть деньги. А теперь повсюду мужчины, женщины и дети выбирались из своих хижин, чтобы дать приют потерпевшим поражение, измученным солдатам.

Мы с Хуаном и Фернандо направились к четырем бродячим торговцам, разбившим лагерь под деревьями возле рудника, чтобы попросить у них табаку. За последнюю неделю они ничего не продали, жили впроголодь, и тем не менее они щедро оделили нас тасисхе. Мы растянулись на земле и, опираясь на локти, следили, как последние солдаты разбитого гарнизона спускаются с холма. Мы говорили о вчерашнем бое.

— Вы, верно, слышали, что Гино Герека убит, — сказал Фернандо. — Я это видел сам. Он ведь в первый раз сел на своего серого коня, и тот был страшно напуган уздечкой и седлом. Но как только он попал в самую гущу боя, где беспрерывно трещали выстрелы и жужжали пули, он сразу успокоился. Вот это лошадь чистых кровей... наверное, его предки были все боевыми конями. Рядом с Гино было еще человек пять храбрецов, и у всех у них патроны уже кончались. Они все дрались, а colorados уже заходили с боков по двое в ряд. Гино стоял рядом со своим конем, как вдруг десятка два пуль поразили коня, и, вздохнув, он рухнул на землю. Тут остальные перестали стрелять, словно потеряв голову от страха. «Мы погибли! Бежим! Бежим, пока не поздно!» — кричали они. Но Гино погрозил им дымящейся винтовкой. «Нет! — отозвался он. — Мы должны задержать их, чтобы contraneros успели отступить». Тут его совсем окружили, и снова я его увидел только сегодня утром, когда мы его похоронили... Там был просто ад крошечный. Дула винтовок так нагревались, что нельзя было коснуться их рукой, от порохового дыма казалось, что все кругом качается и пляшет...

Его перебил Хуан:

— Когда началось отступление, мы поскакали прямо к Пуэрте, но сразу увидели, что дело проиграно. Colorados смели горсточку наших солдат, как морские волны. Мартинес скакал как раз впереди меня. Но он не успел даже выстрелить... а ведь это был его первый бой... Я вспомнил, как вы и Мартинес любили друг

друга. Разговаривали всю ночь напролет и не пускали друг друга спать.

Солнце скрылось. Высокие голые вершины деревьев потускнели и неподвижно застыли среди роившихся в темном небе звезд. Торговцы подбросили хворосту в огонь, до нас доносились их спокойные, довольные голоса. Из открытых дверей хижин падал дрожащий свет свечей. От ручья безмолвной вереницей шли девушки в черных платках, с кувшинами на голове. Женщины молили кукурузу, и всюду слышался монотонный скрип жерновов. Лаяли собаки. Раздался стук копыт — это пришел на водопой табун. Перед домом дона Педро кучками расположились солдаты, они курили и заново переживали вчерашний бой. «Я схватил винтовку за дуло и двинул прикладом в его ухмыляющуюся морду, как раз в ту минуту...» — говорил кто-то, отчаянно жестикулируя. Пеоны, сидя вокруг, слушали затаив дыхание. А страшная процессия солдат разбитого гарнизона все еще двигалась по дороге, переходя вброд ручей...

Еще не совсем стемнело. Я направился к берегу ручья в надежде встретить среди проходивших тех из моих товарищей, о которых ничего не было известно. Здесь-то я и увидел Элисабетту.

В ней не было ничего примечательного. Я и обратил-то на нее внимание только потому, что она была женщина, а их с солдатами шло немного. Это была индианка лет двадцати пяти, небольшого роста, коренастая, с приятным смуглым лицом, двумя длинными косами, падавшими на спину, и большими блестящими зубами, открывавшимися в улыбке. Я так и не узнал, была ли она просто пеонка, работавшая на асиенде Ла Кадена, или же *vieja* — женщина, следующая за солдатами в походе.

Сейчас она покорно тащилась позади лошади капитана Феликса Ромеро, как тащилась все тридцать миль. Он не разговаривал с ней, не оглядывался — короче говоря, совсем не обращал на нее внимания. Когда он уставал держать винтовку, он оборачивался и говорил: «Возьми-ка!» Позднее я узнал, что, когда наши вернулись в Ла Кадену хоронить убитых, Ромеро случайно заметил Элисабетту, которая словно помешанная бесцельно бродила по асиенде, и, нуждаясь в женщине, приказал ей следовать за собой. Она беспрекословно подчинилась, по обычаю женщин своей страны,

Капитан Феликс дал своей лошади напиться. Элисабетта тоже остановилась, стала на колени и погрузила лицо в воду.

— Иди, иди! — крикнул капитан. — Andale!

Она молча выпрямилась и побрела через ручей. На берегу капитан спешил, протянул руку за винтовкой, которую она несла, и, бросив на ходу: «Приготовь-ка ужин!» — направился к хижинам, где сидели солдаты.

Элисабетта опустила на колени и начала собирать сухие ветки для костра. Вскоре небольшая кучка хвороста уже пылала.

— Эй, *chamaco*!¹ — окликнула она какого-то мальчугана, голос у нее, как у всех мексиканок, был резок и визглив. — Принеси мне воды и кукурузы. Мне нужно покормить моего мужа.

И, стоя на коленях в красном отблеске костра, она забросила назад свои длинные прямые черные косы. На ней была свободная блуза из полинявшей светло-синей грубой материи. На груди виднелись пятна запекшейся крови.

— Какой был бой, сеньорита, — сказал я, обращаясь к ней.

Ее зубы блеснули в улыбке, но лицо сохранило прежнее отсутствующее выражение. У индейцев лица как маски. И все же я видел по ней, что она страшно устала и истерически возбуждена. Однако ответила она мне довольно спокойно:

— Да, — сказала она. — А вы, видно, тот *гринго*, который пробежал много миль, а *colorados* стреляли ему вслед?

Она рассмеялась, но сразу же поперхнулась и перестала смеяться, словно ей было больно.

Подошел мальчик, тащивший глиняный кувшин с водой и охапку кукурузных початков, которые он высыпал под ноги Элисабетте. Размотав шаль, она достала тяжелое каменное корытце, которое всегда носят с собой мексиканки, и начала машинально вылушивать в него зерна кукурузы.

— Не помню, чтобы я видел вас в Ла Кадене, — сказал я. — Вы долго там были?

¹ мальчик! (мексик.)

— Дольше, чем надо бы, — ответила она просто, не поднимая головы. И затем добавила: — Да, эта война для женщин не шутка!

Из темноты вдруг вынырнул дон Феликс с папиросой в зубах.

— Мой ужин! — проворчал он. — Pronto? ¹

— Luego, luego! ² — ответила она, и он ушел.

— Послушайте, сеньор, кто бы вы ни были, — быстро заговорила Элисабетта, глядя на меня. — Мой возлюбленный погиб вчера в бою. Теперь этот человек будет моим мужем, но, клянусь богом и всеми святыми, эту ночь я не могу спать с ним. Позвольте, я пойду с вами!

В ее голосе не было ни тени кокетства. Эта темная, по-детски наивная женщина оказалась в положении, которое она не в силах была выдержать, и инстинктивно избрала выход. Я даже думаю, что она сама не понимала, почему мысль о новом муже была ей так отвратительна, когда ее возлюбленный только сегодня был засыпан землей. Я был ей чужим, так же, как и она мне. Вот все, что имело для нее значение.

Я согласился, и мы вместе ушли от костра, бросив кукурузу капитана в корытце. И в темноте сразу же столкнулись с капитаном.

— Мой ужин? — сказал он раздраженно. Но вдруг его тон изменился. — Куда ты идешь?

— Я иду к этому сеньору, — испуганно ответила Элисабетта. — Я заночую у него...

— Ты... — начал было дон Феликс, задыхаясь. — Ты — моя женщина! Ojga, сеньор, это моя женщина!

— Да, — сказал я, — это ваша женщина. Мне она совершенно не нужна, но она страшно устала, ей нездоровится, и я предложил ей свою постель на эту ночь.

— Это очень нехорошо, сеньор! — воскликнул капитан напряженным голосом. — Вы гость нашего эскадрона и друг нашего полковника, но это моя женщина, и я хочу, чтобы она...

— Нет! — вскрикнула Элисабетта. — До следующего раза, сеньор!

Она схватила меня за руку и потянула дальше.

¹ Готов? (испанск.)

² Скоро, скоро! (испанск.)

Уже второй день мы жили в кошмаре сражения и смерти. По-моему, все мы были возбуждены и ошеломлены. Во всяком случае, так было со мной.

К этому времени вокруг нас уже собрались пеоны и солдаты, и, уходя, мы слышали, как капитан жалуется толпе на свою обиду.

— Я обращусь к полковнику! — повторил он. — Я расскажу ему все!

Он быстро обогнал нас и направился к хижине полковника, что-то бормоча на ходу.

— Ojga, сеньор полковник! — кричал он. — Этот гринго увел мою женщину. Это величайшее оскорбление!

— Ну что ж, — невозмутимо сказал полковник, — если они оба так хотят, я думаю, мы ничего тут не можем поделать, а?

Новость распространилась с быстротой молнии. Целая толпа мальчишек бежала за нами, выкрикивая разные веселые непристойности, которые они привыкли выкрикивать на сельских свадьбах. Мы прошли мимо солдат и раненых, которые, улыбаясь, тоже отпустили несколько свадебных шуток. В их словах не было ни грубости, ни насмешки, — только безыскусственность и веселость. Они были искренне рады за нас.

Подойдя к хижине дона Педро, мы заметили, что она ярко освещена. Сам хозяин, его жена и дочь были заняты уборкой комнаты, тщательно выметая земляной пол и поливая его водой. Они постлали свежее белье на кровать и зажгли светильник перед столом, служившим алтарем, на котором стояло изображение богоматери. Над дверью висела гирлянда бумажных цветов, которые украшали эту дверь в сочельник, — время было зимнее, и настоящих цветов взять было неоткуда.

Дон Педро сиял улыбками. Ему было все равно, кто мы и каковы наши отношения. Но мы были мужчиной и женщиной, а это уже — брак.

— Желаю вам счастливой ночи, — тихо сказал он, закрывая за собой дверь.

Экономная Элисабетта немедленно потушила все свечи, кроме одной. Почти тотчас мы услышали, как снаружи музыканты начали настраивать свои инструменты. Кто-то нанял местный оркестр, чтобы он устроил нам серенаду. И оркестр долго играл у нас под дверью. А в соседнем доме сдвигали к стенам столы и стулья, и, засы-

пая, я слышал, что там начались танцы, — не пропадать же музыке.

Элисабетта без малейшего смущения легла рядом со мной на кровать. Ее рука нащупала мою. Плотнo прижавшись ко мне, словно ища успокоения в человеческом тепле, она пробормотала: «Спокойной ночи», — и мгновенно заснула. Немного погодя заснул и я спокойным, сладким сном...

Когда я проснулся, Элисабетты уже не было. Я открыл дверь и выглянул наружу. Утро было ослепительно-синее с золотом. По небу неслись пушистые облака с пурпуровыми каемками, а пустыня переливалась всеми красками. Под пепельно-серыми безлиственными деревьями пламя костра торговцев стлалось по ветру. Женщины в черном с красными глиняными кувшинами на головах гуськом тянулись к речке, а ветер играл их шаялями. Кричали петухи, блеяли козы, нетерпеливо ожидая доения, сотня лошадей стучала копытами по пыльной дороге, направляясь к водопою.

Элисабетта сидела на корточках перед небольшим костром за углом хижины и пекла tortillas капитану на завтрак. Она улыбнулась, когда я подошел к ней, и вежливо спросила, как мне спалось. Она, по-видимому, была теперь вполне довольна — работая, она что-то напевала про себя.

Вскоре к нам подошел угрюмый капитан и сурово кивнул мне.

— Наконец-то, — проворчал он, беря tortillas, которые она подала ему. — Как ты долго возишься с завтраком! Sagramba! И почему здесь нет кофе?

Он отошел, хрустя лепешкой.

— Собирайся! — бросил он ей через плечо. — Через час уезжаем на север.

— Вы поедете? — спросил я с любопытством. Она посмотрела на меня широко раскрытыми глазами.

— Ну а как же? Seguro! ¹ Разве он мне не муж?

Она восхищенно посмотрела на удаляющегося капитана. Мысль о нем уже не была ей отвратительна.

— Он мой муж, — сказала она. — Он очень красивый и очень храбрый. Да вы знаете, что вчера во время боя...

Элисабетта уже забыла о своем возлюбленном.

¹ Конечно! (испанск.)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ФРАНСИСКО ВИЛЬЯ

Глава I

ВИЛЬЯ ПОЛУЧАЕТ МЕДАЛЬ

Во время пребывания Вильи в городе Чиуауа, за две недели до наступления на Торреон, артиллерийский корпус его армии решил преподнести ему золотую медаль за героизм на поле сражения.

В приемном зале губернаторского дворца в Чиуауа, предназначенном для всяческих церемоний, украшенном огромными люстрами, тяжелыми малиновыми портьерами и кричащими американскими обоями, стоит губернаторский трон. Это — позолоченное кресло, с ручками наподобие львиных лап, стоящее на возвышении под малиновым бархатным балдахином, увенчанном деревянной позолоченной шапкой, которая чем-то напоминает корону.

Артиллерийские офицеры в щегольских голубых мундирах, отделанных черным бархатом, с блестящими новенькими шпагами на боку и оплетенными золотым галуном шляпами под мышкой, плотными рядами выстроились в одном конце зала. От дверей этого зала вокруг галереи, вниз по парадной лестнице, во всю длину грандиозного внутреннего двора, до внушительных ворот и за ворота, протянулась двойная шеренга солдат, державших винтовки на караул. Четыре полковых оркестра, сведенные в один, клином вдавались в толпу. Жители столицы собрались тысячами на Пласа де Армас перед дворцом.

— Ya viene! Вот он идет! Да здравствует Вилья! Да здравствует Мадеро! Вилья — друг бедняков!

Рев возник где-то в задних рядах толпы, прокатился, как лесной пожар, нарастая мощным крещендо, и

казалось, это он взметывает в воздух тысячи шляп. Оркестр во дворе заиграл национальный гимн Мексики, и на улице показался Вилья. Он шел пешком.

Одет он был в старый простой мундир цвета хаки, у которого не хватало нескольких пуговиц. Он давно не брился, шляпы на нем не было, и нечесанные волосы стояли копной. Он шел косолапой походкой, сутулясь, засунув руки в карманы брюк. Очутившись в узком проходе между двумя шеренгами застывших солдат, он, казалось, немного смутился и, широко ухмыляясь, то и дело кивал какому-нибудь *comrade*, стоявшему в рядах. У лестницы его встретили губернатор Чао и секретарь штата Террасас в парадных формах. Оркестр совсем обезумел, а когда Вилья вошел в приемный зал, то по сигналу, данному с балкона дворца, огромная толпа на Пласа де Армас обнажила головы, а блестящее собрание офицеров в зале вытянулось в струнку.

Это было нечто наполеоновское!

Вилья минуту колебался, покручивая ус, и вид у него был очень растерянный, затем направился к трону, покачал его за подлокотник, чтобы проверить, прочно ли он стоит, и сел. Губернатор занял место по правую его руку, секретарь штата — по левую.

Сеньор Бауче Алькальде выступил вперед, поднял правую руку, как Цицерон, изобличающий Катилину, и произнес небольшую речь, восхваляя храбрость, проявленную Вильей в шести сражениях, которые он описал подробно и красочно. Его сменил начальник артиллерии, который сказал:

— Армия вас обожает. Мы пойдем за вами, куда бы вы нас ни повели. Вы можете стать в Мексике, чем пожелаете.

Затем один за другим выступили три офицера, говорившие высокопарными длинными фразами, как это в обычае у мексиканских ораторов. Они называли Вилью «другом бедняков», «непобедимым генералом», «вдохновителем храбрости и патриотизма», «надеждой Индейской республики». Все это время Вилья сидел сгорбившись на троне, рот его был полуоткрыт, маленькие хитрые глазки внимательно оглядывали зал. Раза два он зевнул, но по большей части он, казалось, размышлял,

к чему и зачем все это, и испытывал от этого огромное удовольствие, словно маленький мальчик в церкви. Он, конечно, знал, что так принято, и, быть может, сознавая себя виновником всех этих церемоний, испытывал некоторое тщеславие. Тем не менее они нагоняли на него скуку.

Наконец торжественной походкой к трону подошел полковник Сервин, держа в руках картонную коробку с медалью. Губернатор Чао слегка толкнул Вилью локтем, и тот встал. Раздались громкие рукоплескания офицеров, толпа на улице разразилась радостными криками, оркестр заиграл торжественный марш.

Вилья протянул вперед обе руки, словно ребенок, тянувшийся за новой игрушкой. Казалось, он хотел как можно скорее открыть коробку и посмотреть, что в ней. Выжидательная тишина воцарилась в зале, передавшись даже толпе на площади. Вилья посмотрел на медаль, почесал затылок и, нарушив благоговейную тишину, сказал громко:

— Уж больно она мала, чтобы ею наградить за весь тот героизм, о котором вы столько тут наговорили!

И мыльный пузырь империи лопнул от громовых раскатов хохота.

Все ожидали, что Вилья произнесет полагающуюся в таких случаях благодарственную речь. Но когда он окинул взглядом всех этих блестящих образованных людей, которые говорили, что готовы умереть за Вилью, за пеона, и говорили это искренне, и увидел в дверях оборванных солдат, которые давно уже вышли из рядов и забились коридоры, не сводя глаз со своего любимого сопраного, он еще яснее понял, что несет в себе мексиканская революция.

Сморщившись, как всегда, когда он напряженно думал, он наклонился над столом, стоявшим перед ним, и сказал настолько тихим голосом, что его с трудом можно было расслышать:

— У меня нет слов. Одно могу сказать: мое сердце навсегда ваше.

Затем, толкнув в бок губернатора Чао, он сел и сплонул. А Чао произнес требуемую обычаям речь.

Глава II

КАРЬЕРА БАНДИТА

Вилья в течение двадцати двух лет считался преступником, объявленным вне закона. Когда он был еще шестнадцатилетним юношей и развозил молоко по улицам Чиуауа, он убил правительственного чиновника, и ему пришлось бежать в горы. Говорят, что этот чиновник изнасиловал его сестру, но, вернее, Вилья убил его за невыносимую надменность и жестокость. Однако по одной этой причине он недолго находился бы вне закона, так как в Мексике человеческая жизнь ценится дешево. Однако, скрываясь в горах, он совершил уже непростительное преступление — угнал скот богатого асиендадо. И поэтому мексиканское правительство назначило награду за его голову, и так продолжалось до революции Мадеро.

Вилья происходил из семьи неграмотных пеонов. Он никогда не ходил в школу. Он не имел ни малейшего представления о всей сложности современной цивилизации, и когда вновь столкнулся с ней уже взрослым человеком, обладающим необыкновенным природным умом, то принес в двадцатый век наивное простодушие дикаря.

Невозможно узнать точно о действиях Вильи как бандита. Комплекты местных газет за прошлые годы и правительственные отчеты содержат много материала о совершенных им преступлениях, но они не могут служить достоверным источником, так как слава Вильи как бандита была столь велика, что всякое ограбление поезда, всякий разбой на большой дороге и всякое убийство в Северной Мексике приписывались ему. Его имя стало легендарным. Существует множество народных песен и баллад, восхваляющих его подвиги. По ночам их поют в горах пастухи у своих костров, повторяя строфы, сложенные еще их отцами, или тут же сочиняя новые. Например, они поют о том, как Вилья, разгневанный бедственным положением пеонов на асиенде Лос Аламос, собрал своих сторонников и напал на Каса Гранде, разграбил его и поделил добычу между бедняками. Он угнал несколько тысяч голов скота с ранчо Террасас и переправил их через границу. Он делал вне-

запные налеты на рудники и увозил весь добытый металл. Когда ему была нужна кукуруза, он захватывал амбары какого-нибудь богача. В глухих деревнях, удаленных от главных проезжих дорог и железнодорожных путей, он открыто набирал людей в свой отряд и объединял всех объявленных вне закона беглецов, скрывавшихся в горах. В его шайке состояли многие из нынешних повстанцев-солдат, а также и некоторые генералы-конституционалисты, как, например, Урбина. Область его деятельности ограничивалась по большей части южным Чиуауа и северным Дуранго, но она простиралась через всю республику от штата Коагуила до Синалоа...

Его бесшабашная и романтическая храбрость служит темой бесчисленных баллад. Поют, например, о том, как один из его бандитов, Реса, был захвачен руралес¹ и подкуплен, чтобы он выдал Вилью. Вилья услышал об этом и сообщил в Чиуауа, что он явится туда для расправы над Реса. Среди бела дня он въехал в город верхом, съел на площади мороженое — в балладе особенно подчеркивается эта деталь — и стал разъезжать по улицам, встретил Ресу, гулявшего со своей возлюбленной среди праздничных толп на улице Пасео Боливар, застрелил его и скрылся.

Во время голода Вилья кормил целые районы, а также брал под свою опеку многие деревни, согнанные с насиженного места возмутительным земельным законом Порфирио Диаса. Повсюду Вилья был известен как «друг бедняков». Это был мексиканский Робин Гуд.

За все эти годы Вилья научился никому не доверять. Нередко в своих тайных поездках по стране с каким-нибудь верным товарищем он разбивал лагерь где-нибудь в пустынном уединенном месте и отсылал своего проводника, а затем, оставив горящий костер, ехал всю ночь, чтобы скрыться от своего верного товарища. Так Вилья учился искусству войны, и теперь, когда его армия разбивает лагерь на ночь, он бросает поводья своего коня ординарцу, набрасывает на плечи серапе и один уходит в горы. Он как будто никогда не спит. В любое время ночи он вдруг появляется где-нибудь в линии расположения аванпостов, чтобы проверить часовых, а

¹ Деревенская полиция.

утром возвращается с совершенно противоположной стороны. Ни одна душа, даже самый доверенный офицер его штаба, ничего не знает о его планах, пока он не решает, что пора действовать.

Когда в 1910 году на сцену выступил Мадеро, Вилья все еще находился вне закона. Быть может, как утверждают его враги, он увидел возможность загладить свои грехи, а может быть, что кажется более вероятным, он просто был увлечен революцией пеонов, революцией бедноты. Как бы то ни было, но примерно через три месяца после начала вооруженного восстания Вилья внезапно появился в Эль Пасо и предоставил себя, свою банду, свое знание страны и все свое состояние в полное распоряжение Мадеро. Огромные богатства, которые он, по всеобщему мнению, должен был нажить за двадцать лет грабежа, на деле свелись к тремстам шестидесяти трем серебряным песо, изрядно потертым. Вилья получил чин капитана в мадеристской армии и в этом чине отправился вместе с Мадеро в город Мехико, где был произведен в почетные генералы обновленных руралес. Он был прикомандирован к армии Уэрты, когда она была послана на север для подавления восстания генерала Ороско. Вилья командовал гарнизоном в Паррале и нанес поражение Ороско, на стороне которого было значительное численное преимущество, в единственном за всю войну решительном сражении.

Уэрта назначил Вилью командующим авангардом, свалив на него и на ветеранов армии Мадеро всю тяжелую и опасную работу, в то время как федеральные полки отсиживались в тылу под защитой своей артиллерии. В Хименесе Уэрта внезапно приказал арестовать Вилью, предал его военно-полевому суду, обвинив его в неподчинении приказу, который, как он утверждал, был передан Вилье в Парраль по телеграфу. Вилья отрицал это, заявляя, что он никакого распоряжения не получал. Процесс продолжался пятнадцать минут, и будущий самый грозный противник Уэрты был приговорен к расстрелу.

Альфонсо Мадеро, находившийся в штабе Уэрты, приостановил исполнение смертной казни, но президент Мадеро, будучи вынужден поддержать авторитет своего

главнокомандующего, приказал посадить Вилью в главную тюрьму столицы. За все это время Вилья ни разу не поколебался в своей верности Мадеро — вещь неслыханная в истории Мексики. Он давно уже страстно стремился к образованию и теперь не стал тратить время на напрасные сожаления или политические интриги. Он с необыкновенным энтузиазмом начал учиться грамоте. У него не было ни малейшей подготовки. Он говорил лишь на грубом диалекте бедноты, известном под названием *pelado*. Он не имел ни малейшего представления об элементарной грамматике, не говоря уже о философии языкознания, но он начал именно с этого, потому что он всегда стремился узнать причины, лежащие в основе явлений. Через девять месяцев он уже очень неплохо писал и умел читать газеты. Очень интересно наблюдать или, вернее, слушать, как он читает: он бормочет слова вслух, как ребенок. Наконец правительство Мадеро устроило ему побег из тюрьмы, для того ли, чтобы спасти престиж Уэрты, так как друзья Вильи настоятельно требовали пересмотра дела, или потому, что Мадеро убедился в невинности Вильи, хотя и не осмеливался открыто освободить его.

С этого времени до начала последней революции Вилья жил в Техасе, в Эль Пасо, и именно оттуда в апреле 1913 года он отправился завоевывать Мексику всего с четырьмя товарищами, тремя выючными лошадьми, двумя фунтами сахара и кофе и фунтом соли.

Об этом рассказывают следующий анекдот. Ни у Вильи, ни у его товарищей не было денег на покупку лошадей. В течение недели он посылал двух своих приятелей в местную конюшню брать каждый день лошадей на прокат. Они исправно платили после каждой поездки, и когда однажды они попросили дать им восемь лошадей, служащий конюшни, не задумываясь, выполнил их просьбу.

Шесть месяцев спустя, когда Вилья во главе четырехтысячной армии с триумфом вступил в Хуарес, первым его общественным актом было послать хозяину конюшни сумму, равную двойной стоимости взятых у него лошадей.

Он набирал солдат в горах вблизи Сан Андреса, и его популярность была столь велика, что в течение

одного месяца у него набралась армия в три тысячи человек; через два месяца он очистил весь штат Чиуауа от федеральных гарнизонов, загнав их в город Чиуауа; через шесть месяцев он взял Торреон, а через семь с половиной месяцев — Хуарес; федеральная армия Меркадо бежала из Чиуауа, и почти вся Северная Мексика была освобождена.

Глава III

ПЕОН-ПОЛИТИК

Вилья объявил себя военным губернатором штата Чиуауа и взялся за необыкновенный эксперимент — необыкновенный потому, что он ничего не смыслил в этом деле, — за создание на пустом месте правительства для трехсот тысяч человек.

Часто приходится слышать, что Вилье это удалось потому, что его окружали образованные советники. На самом же деле он действовал почти один. Окружавшие его советники были заняты главным образом тем, что давали ответы на его пытливые вопросы и выполняли то, что он им приказывал. Я часто рано утром отправлялся в губернаторский дворец и ожидал Вилью в приемной. Примерно в восемь часов являлись секретарь штата Сильвестре Террасас, казначей штата Себастиан Варгас и Мануэль Чао, в то время временный гражданский губернатор, с кипами составленных ими отчетов, планов и декретов. Сам Вилья выходил около половины девятого, усаживался в кресло, и они начинали читать принесенные документы. Каждую минуту он прерывал их замечаниями, поправками или дополнениями. Иногда он, помахивая пальцем, говорил: «No sirve»¹. Когда они кончали, он начинал быстро, без запинки развивать программу штата Чиуауа в вопросах законодательства, финансов, судопроизводства и даже образования. Когда он сталкивался с какой-нибудь трудностью, он спрашивал: «Как это делается?» — и, выслушав подробное объяснение, неизменно добавлял: «Почему?» Большинство актов и методов правительственной системы казались ему запутанными и совершенно ненужными. Например, советники предлагали ему в целях финансирования рево-

¹ Не подойдет (*испанск.*).

люции выпустить тридцати — сорокапроцентный заем. Вилья сказал: «Я понимаю, что штат должен платить известные проценты тем, кто одолжил ему деньги, но я не могу понять, почему мы должны выплачивать им сумму в три-четыре раза больше занятой?» Он также не мог понять, почему богатым людям отводились большие участки земли, а бедные не пользовались такой привилегией. Вся сложная структура цивилизации была для него непонятна. Только философ мог бы что-нибудь объяснить Вилье, но его советники были всего лишь практическими людьми.

Вот, например, финансы. Вилья задумался над ними при следующих обстоятельствах. Он заметил, что деньги почти исчезли из обращения. Крестьяне перестали подвозить в города мясо и овощи, потому что у горожан не на что было их покупать. Дело в том, что те, у кого было серебро или государственные банкноты, прятали их, закапывая в землю. Чиуауа никогда не был промышленным центром, да и все находившиеся там немногие фабрики во время революции закрылись, таким образом обменивать продукты сельского хозяйства было не на что; подвоз сразу прекратился, и городское население буквально начало голодать. Я что-то смутно припоминаю о весьма сложных проектах, направленных к устранению финансового кризиса, которые предлагали советники. Сам же Вилья сказал просто: «Если дело только в деньгах, то их просто нужно напечатать». И вот в подвале губернаторского дворца установили печатный станок и напечатали два миллиона песо на прочной бумаге, с подписями правительственных чиновников и фамилией Вильи, набранной посередине крупными буквами. Фальшивые деньги, которые впоследствии наводнили Эль Пасо, отличались от оригинала тем, что подписи официальных лиц на них делались от руки, а не при помощи штампа.

Выпуск этих бумажных денег абсолютно ничем не был гарантирован, кроме подписи Франсиско Вильи. Эти деньги были выпущены исключительно для того, чтобы оживить внутреннюю торговлю штата и чтобы бедняки имели возможность покупать себе продукты. И тем не менее они были немедленно скуплены банками Эль Пасо

по цене восемнадцати и девятнадцати центов за доллар только потому, что на них стояло имя Вильи.

Он, конечно, не знал об обычных каналах, по которым деньги пускаются в обращение. Он прежде всего начал платить ими жалованье своим солдатам. Во время рождественских праздников он созвал всю бедноту в Чиуауа и распорядился выдать каждому человеку по пятнадцати долларов. Затем он издал приказ, согласно которому выпущенные им деньги должны были приниматься по всему штату по номиналу. В следующую же субботу рыночная площадь Чиуауа кишела крестьянами, продавцами и горожанами покупателями. Вилья издал второй приказ, устанавливавший цену на мясо, — семь центов за фунт, на молоко — пять центов за кварту и на хлеб — четыре цента за буханку. Голод в Чиуауа прекратился. Однако крупные торговцы, со времени вступления Вильи в Чиуауа впервые рискнувшие открыть свои лавки, выставляли две различные цены на свои товары: одну — при уплате государственным серебром и банкнотами, другую — при уплате «деньгами Вильи». Тогда Вилья издал новый приказ, который под угрозой двухмесячного тюремного заключения запрещал делать различие между теми и другими деньгами.

Но серебро и банкноты все еще оставались закопанными в земле, а Вилье они были необходимы для закупки оружия и продовольствия для своей армии. Поэтому он просто издал постановление, согласно которому государственные серебряные и бумажные деньги после десятого февраля объявлялись фальшивыми, а до тех пор они подлежали обязательному обмену на новые деньги в казначействе штата по номиналу. Однако это не отдало в его руки капиталы богачей. Большинство финансистов заявило, что это пустые угрозы, и не обращало внимания на постановление Вильи. Но вот утром десятого февраля по всему городу был расклеен приказ, коим объявлялось, что отныне серебряные и бумажные деньги государственного выпуска считаются фальшивыми и больше не подлежат обращению среди населения или обмену на новые деньги. Виновным в несоблюдении приказа угрожало двухмесячное тюремное заключение. Это заставило взвять не только городских капиталистов, но и предусмотрительных скряг в отдаленных деревнях.

Недели через две после опубликования этого приказа я присутствовал на обеде у Вильи в доме, который он конфисковал у Мануэля Гомероса и сделал своей официальной резиденцией. Как раз во время обеда прибыла делегация одной из тараумарских деревень — три пеона в сандалиях, — чтобы заявить протест против декрета, объявлявшего государственные деньги фальшивыми.

— Ведь мы, *mi General*, — сказал глава делегации, — только теперь услышали об этом приказе. Мы все время пользовались старым серебром и бумажками у себя в деревне. Мы еще не видали ваших денег и не знали, что...

— А много у вас денег? — прервал Вилья.

— Да, *mi General*.

— Три, а то четыре или пять тысяч песо, а?

— Больше, *mi General*, больше.

— Сеньоры! — свирепо нахмурился Вилья. — Образцы моих денег были в вашей деревне через двадцать четыре часа после выпуска. Но вы решили, что мое правительство долго не продержится. Вы вырыли ямки у себя под очагами и попрятали деньги. Вам было известно о моем первом приказе через сутки после того, как он был расклеен на улицах Чиуауа, но вы не пожелали обратить на него внимания. О втором приказе вы также узнали немедленно. Но вы думали, что, в случае надобности, обменять деньги никогда не поздно. А потом вы испугались, и вот вы трое, самые богатые в своей деревне, сели на своих мулов и приехали ко мне. Сеньоры, ваши деньги фальшивые. Вы теперь бедняки.

— *Valgame Dios!* — вскричал старейший из делегатов, обливаясь потом. — Мы ведь теперь разорены, *mi General!* Клянусь вам, мы не знали... Мы давно обменяли бы... В нашей деревне люди начинают голодать...

Главнокомандующий на минуту задумался.

— Ну, вот что, — сказал он, — не ради вас, а ради бедняков в вашей деревне, которые не могут купить себе хлеба, я попробую что-нибудь сделать. В следующую среду в полдень привозите в казначейство все свои деньги, до последнего гроша, и тогда посмотрим.

Об этом услышали и обливавшиеся потом финансисты, которые, держа шапки в руках, ждали в приемной, и в следующую среду в полдень нельзя было пробиться к дверям казначейства.

Величайшей страстью Вильи было просвещение. Он верил, что все вопросы современной цивилизации можно разрешить, отдав землю народу и открыв для него школы. Нередко мне приходилось слышать, как он говорил: «Сегодня я проходил по такой-то и такой-то улице и видел там много детей. Давайте откроем там школу».

В Чиуауа насчитывается сорок тысяч населения. В разное время Вилья открыл в этом городе больше пятидесяти школ. Он мечтал о том, чтобы послать своего сына учиться в Соединенные Штаты, но когда начался учебный год, он должен был отказаться от своих планов, так как у него не хватило средств внести плату за обучение.

Как только Вилья взял власть в свои руки в Чиуауа, он тотчас же послал своих солдат работать: обслуживать электрическую станцию, конку, телефонную станцию, водопровод и мельницу Террасаса. Он также посылал своих солдат в качестве управляющих на крупные асиенды, которые конфисковал. Он поставил солдат на бойни, где они резали скот, принадлежавший именным Террасаса, мясо продавали населению, а доход от продажи поступал в казну. Тысячу солдат он расставил по улицам в качестве гражданской милиции. Под страхом смерти запрещалось воровство и продажа спиртных напитков солдатам. Он даже пытался завести пивоварню, но среди его солдат не нашлось опытного пивовара.

— В дни мира, — сказал Вилья, — солдаты должны работать. Когда солдату нечего делать, он думает о войне.

С врагами революции Вилья расправлялся так же просто и так же эффективно. Через два часа после занятия им губернаторского дворца иностранные консулы явились к нему в полном составе просить у него защиты для тех двухсот солдат федеральной армии, которые, по ходатайству иностранцев, были оставлены в городе в качестве полицейских. Прежде чем дать ответ, Вилья спросил резко:

— А кто здесь испанский консул?

— Испанцев представляю я, — ответил Скобел, английский вице-консул.

— Так вот что! — рявкнул Вилья. — Передайте всем испанцам, чтобы они немедленно собирали свои пожитки и убирались вон. Всякий испанец, который будет пойман в пределах штата по прошествии пяти суток, считая с сего дня, будет поставлен к ближайшей стенке и расстрелян.

Консулы ахнули от ужаса. Скобел начал было яростно протестовать, но Вилья сразу же перебил его.

— Это не сейчас пришло мне в голову, — сказал он. — Я думаю об этом с тысяча девятьсот десятого года. Испанцам нет места в Мексике.

Летчер, американский консул, сказал:

— Генерал, я не стану входить в ваши мотивы, но полагаю, что вы делаете крупную политическую ошибку, изгоняя испанцев. Вашингтонское правительство серьезно подумает, признавать ли правительство, прибегающее к таким варварским мерам.

— Сеньор консул, — отвечал Вилья, — мы, мексиканцы, достаточно натерпелись от испанцев в течение трех столетий. Они остались такими же, как во времена конкистадоров. Они разрушили Индейскую империю и поработили ее народ. Мы не просили их смешивать свою кровь с нашей. Два раза мы изгоняли их из Мексики и два раза разрешали им возвращаться, предоставляя им те же права, что и мексиканцам. Но они пользовались этими правами для того, чтобы отнимать у нас нашу землю, порабощать наш народ и поднимать оружие против нашей свободы. Они поддерживали Порфирио Диаса. Они оказывали пагубное влияние на нашу политику. Это испанцы устроили заговор, который сделал Уэрту президентом. Когда был убит Мадеро, испанцы во всех штатах нашей республики встретили это известие как праздник. Они навязали нам величайшее суеверие в мире — католическую религию. За одно это их следует истреблять беспощадно. Я считаю, что мы поступаем с ними еще очень мягко.

Скобел горячо наставлял на том, что за пять дней он не успеет оповестить всех испанцев в штате, и тогда Вилья продлил этот срок до десяти дней.

Богатых мексиканцев, угнетавших народ и противившихся революции, он немедленно изгнал из штата и конфисковал все их имущество. Одним росчерком пера семнадцать миллионов акров земли и многочисленные

промышленные предприятия семейства Террасас стали собственностью конституционного правительства, равно как и огромные земельные богатства Крилей вместе с великолепными дворцами, служившими им городскими резиденциями. Не забыв, однако, что бежавшие за границу члены семьи Террасаса финансировали переворот Ороско, Вилья оставил заложником дона Луиса Террасаса, поместив его в собственном его доме в Чиуауа. Особенно ненавистные политические враги были немедленно расстреляны в тюрьме. У революции есть своя «черная книга», в которой перечислены все имена, преступления и имущество тех, кто угнетал и грабил народ. Немцев, которые занимались особенно активной политической деятельностью, а также англичан и американцев Вилья пока не осмеливается трогать. Их страницы в «черной книге» будут рассмотрены тогда, когда в столице Мексики будет образовано конституционное правительство; и тогда же он сведет счеты мексиканского народа с католической церковью.

Вилья знал, что резерв банка Минеро, составлявший пятьсот тысяч долларов золотом, был спрятан где-то в Чиуауа. Дон Луис Террасас состоял директором этого банка. Когда Террасас отказался указать место, где были спрятаны деньги, Вилья с отрядом солдат как-то ночью вывел его из дома, посадил на мула, увез в пустыню и повесил на дереве. В самый последний момент веревку обрезают, и тогда Террасас повел Вилью к старой кузнице на сталелитейном заводе Террасаса, где и был найден золотой запас банка Минеро. Террасас, так и не оправившись от потрясения, отправился в свою тюрьму, а Вилья сообщил его отцу в Эль Пасо, что освободит его сына за выкуп в пятьсот тысяч долларов.

Глава IV

ВИЛЬЯ В ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ

У Вильи две жены. Одна — простая, терпеливая женщина, переносившая с ним все превратности его многолетнего изгнания из общества. Она живет в Эль Пасо. Другая — стройная красавица, гибкая как кошка. Она

хозяйка его дома в Чиуауа. Вилья не делает секрета из своей семейной жизни, хотя в последнее время культурные мексиканцы, все больше и больше группирующиеся вокруг него и не любящие нарушения приличий, стараются всячески затушевать этот факт. Пеоны же часто, если не сказать — как правило, имеют не одну подругу, а несколько.

Мне часто приходилось слышать о том, что Вилья насилует женщин. Я спросил его, правда ли это. Он покрутил ус и минуту смотрел на меня непонимаемым взглядом, потом сказал:

— Я никогда не беру на себя труда опровергать такие рассказы. Про меня говорят также, что я бандит. Ну, вам известна моя жизнь. Но скажите мне, встречали ли вы когда-нибудь мужа, отца или брата женщины, которую я изнасиловал? — Помолчав немного, он добавил: — Или хотя бы какого-нибудь свидетеля?

В высшей степени интересно наблюдать, как он воспринимает новые идеи. Не забывайте, что Вилья совершенно не разбирается во всей сложности современной цивилизации.

— Социализм, — сказал он мне как-то, когда я хотел узнать его мнение об этом предмете, — социализм... а что это такое? Вещь? Это слово попадалось мне в книгах, а я читаю мало.

Однажды я спросил его, будут ли женщины в новой республике иметь право голоса. Он в это время валялся на кровати, расстегнув мундир.

— Да нет, пожалуй, — сказал он и вдруг удивленно приподнялся. — То есть что значит «иметь право голоса»? Вы спрашиваете, будут ли они выбирать правительство и проводить законы?

Я ответил, что подразумевал именно это и что в Соединенных Штатах женщины уже пользуются таким правом.

— Ну что ж, — сказал он, почесывая в затылке, — если ваши женщины у вас выбирают, то почему бы и нашим у нас не выбирать?

Эта возможность, по-видимому, очень его позабавила, и он долго продолжал ее обдумывать, глядя то на меня, то куда-то в сторону.

— Может, и будет, как вы говорите, — сказал он наконец, — но я как-то не думал об этом раньше. По-моему, женщины созданы для того, чтобы о них заботиться и любить их. А настоящего ума у них нет. Они не могут рассудить, что хорошо и что плохо. Они слишком мягкосердечны и жалостливы. Женщина, например, не смогла бы отдать приказ расстрелять предателя.

— Ну, я в этом не совсем уверен, *mi General*, — сказал я. — Женщины при случае могут проявить большую твердость и жестокость, чем мужчины.

Он посмотрел на меня, дергая усы. Потом взглянул в ту сторону, где его жена накрывала на стол к обеду.

— *Oiga*, — сказал он, — поди-ка сюда. Слушай. Вчера я поймал трех предателей, которые перебирались через реку, чтобы взорвать железнодорожный путь. Как я должен поступить с ними? Нужно их расстрелять или нет?

Смутившись, она схватила его руку и поцеловала.

— Я в этом ничего не понимаю, — сказала она, — тебе лучше знать.

— Нет, — продолжал Вилья, — я предоставляю решать тебе. Эти люди хотели прервать сообщение между Чиуауа и Хуаресом. Они предатели — федералисты. Как быть с ними? Расстрелять их или нет?

— Ну что ж, расстреляй, — сказала миссис Вилья.

Он весело рассмеялся.

— А ведь в том, что вы говорите, есть правда, — заметил он, обращаясь ко мне, и много дней после этого расспрашивал горничных и кухарку, кого они хотели бы иметь президентом Мексики.

Он не пропускает ни одного боя быков, и каждый день в четыре часа его можно видеть на площадке для боя петухов, куда он выпускает своих собственных бойцов и следит за ними с увлечением маленького мальчика. По вечерам он играет в фаро в каком-нибудь игорном зале. Иногда около полудня он посылает нарочного за матадором Луисом Леоном и лично звонит на городскую бойню, спрашивая, нет ли у них свирепого быка. Такой бык почти всегда находится, и мы все быстро садимся на коней и галопом мчимся по улицам к бойням.

Двадцать ковбоев отгоняют быка от стада, связывают его, бросают на землю и спиливают острые рога. Затем Вилья, Луис Леон и все желающие берут красные плащи и вступают в круг. Луис Леон движется с профессиональной осторожностью, а Вилья, упрямый и неуклюжий, как бык, ходит медленно, зато его торс и руки неимоверно подвижны. Вилья идет прямо на разъяренное животное и, сложив плащ, дерзко хлопает его по морде, и начинается получасовая забава, лучше которой мне редко приходилось видеть. Иногда бык упирается лбом в спину Вильи, бешено толкает его перед собой по арене; тогда Вилья изворачивается, хватает быка за голову и, весь обливаясь потом, борется с ним, пока человек шесть сопрапегос не хватают быка за хвост и не оттаскивают его назад, хотя он ревет и роет копытами землю.

Вилья не пьет и не курит, зато он может переплясать самого пылкого *povio*¹ в Мексике. Когда армия Вильи наступала на Торреон, то по дороге он остановился в Камарго, где был шафером на свадьбе одного из своих старых *sopradres*. Говорят, он проплясал там почти без перерыва всю ночь с понедельника на вторник, весь день и вечер во вторник и в среду утром прибыл на фронт с налитыми кровью глазами и крайне усталым видом.

Глава V

ПОХОРОНЫ АВРААМА ГОНСАЛЕСА

Вилья ненавидит всякие пышные и ненужные церемонии, и поэтому любое его публичное выступление производит сильное впечатление. Он обладает необыкновенной способностью выражать чувства народных масс. В феврале, в день первой годовщины убийства федералистами губернатора Авраама Гонсалеса в каньоне Бачимба, Вилья отдал приказ устроить погребальную церемонию в городе Чиуауа. Два поезда с армейскими офицерами, консулами и представителями иностранной колонии должны были отбыть из Чиуауа рано утром,

¹ жениха (испанск.).

чтобы привезти тело убитого губернатора, покоившееся под грубым деревянным крестом в пустыне. Вилья отдал распоряжение майору Фиерро, своему директору железных дорог, приготовить поезда, но Фиерро напился и совершенно забыл о приказе, так что когда на следующее утро на станцию прибыл Вилья со своим блестящим штабом, единственным поездом там оказался обыкновенный пассажирский поезд, через несколько минут отходивший в Хуарес. Вилья на ходу вскочил на паровоз и заставил машиниста подать состав обратно. Затем он сам прошел по вагонам, приказал пассажирам выйти, а поезд направил в Бачимбу. Как только поезд отошел, Вилья вызвал к себе Фиерро, сместил его с должности директора железных дорог и на его место назначил Кальсадо, которому приказал немедленно отправиться в Чиуауа и ко времени его возвращения узнать все, что полагается знать о железных дорогах.

В Бачимбе Вилья безмолвно стоял перед могилой, слезы текли у него по щекам. Гонсалес был его близким другом. Десять тысяч человек, несмотря на духоту и пыль, ожидали на вокзале Чиуауа траурный поезд и, когда он прибыл, со слезами на глазах провожали покойника по узким улицам. Вилья шел впереди воинских частей, рядом с катафалком. Ему был подан автомобиль, но он сердито отказался сесть в него и упрямо брел по пыли, потупив глаза в землю.

Вечером в «Театре Героев», до отказа набитом впечатлительными пеонами и их женами, состоялась *velada*. Кольцо лож блестело парадными мундирами офицеров, а выше все пять балконов были забиты оборванной беднотой. *Velada* — самобытный мексиканский обычай. Сперва произносится речь, кто-нибудь играет на рояле, потом новая речь, за которой следует патриотическая песня, исполняемая пискливым хором робеющих школьниц-индианок, затем опять речь и соло из «Трубадура» в исполнении жены какого-нибудь чиновника, потом еще речь, и так не менее пяти часов. Всякий раз, когда хоронят какое-нибудь видное лицо, во время национальных праздников в честь годовщины вступления на пост президента или еще по какому-нибудь подобному же поводу обязательно устраивается *velada*. Это

наиболее принятый и торжественный способ отмечать важные события.

Вилья сидел в левой литературной ложе и руководил всей процедурой, позванивая колокольчиком. Сцена была великолепна в своем безобразии: черные траурные полотнища, огромные букеты искусственных цветов, отвратительные раскрашенные фотографии Мадеро, Пиньо Суареса и самого убитого губернатора, а также красные, белые и зеленые электрические лампы. И где-то внизу подо всем этим стоял маленький черный ящик, в котором покоились останки Авраама Гонсалеса.

Velada, неторопливая и утомительная, шла своим чередом около двух часов. Местные ораторы, смущаемые обращенными на них тысячами глаз, декламировали приличные случаю пышные кастильские фразы, маленькие девочки, переминаясь с ноги на ногу, убили «Прощание» Тости. Вилья сидел, устремив взгляд на черный гроб, не шевелясь и не произнося ни слова. Когда было нужно, он машинально звонил в колокольчик, но в конце концов он не выдержал. Когда какой-то тучный мексиканец огромного роста исполнял на рояле «Ларго» Генделя, Вилья вдруг вскочил, перекинул ногу через барьер ложи, спрыгнул на сцену, опустился на колени и поднял гроб. Генделевский «Ларго» смущенно смолк. Театр онемел, парализованный удивлением. Нежно, словно мать ребенка, обнимая черный гроб, не глядя ни на кого, Вилья направился по ступенькам в проход театра. Все зрители, как по уговору, встали и, когда Вилья вышел на площадь, безмолвно последовали за ним. Стуча волочившейся по земле саблей, он прошел между шеренгами ожидавших снаружи солдат и направился к губернаторскому дворцу, где и поставил гроб на приготовленный для него усыпанный цветами стол в приемном зале. Было постановлено, что четыре генерала по очереди будут нести у гроба почетный караул, каждый по два часа. Свечи бросали слабый свет на стол, освещая лишь небольшой круг; весь остальной зал тонул во мраке. Двери были забиты безмолвной толпой, слышно было лишь дыхание множества людей. Вилья отстегнул саблю и швырнул в угол, она с лязгом упала на пол. Затем он взял со стола свою винтовку и первым встал в почетный караул.

Глава VI

ВИЛЬЯ И КАРРАНСА

Для тех, кто не знает Вилью, покажется невероятным, что этот замечательный человек, в течение трех лет из провинциального бандита ставший первым лицом в Мексике, не испытывает ни малейшего желания стать президентом. Но это находится в полном соответствии с простотой его характера. Когда его спросили об этом, он ответил с присущей ему прямолинейностью, не вдаваясь в рассуждения, может или не может он быть президентом.

— Я солдат, а не государственный деятель, — сказал он. — Я недостаточно образован, чтобы быть президентом. Я научился читать и писать только два года назад. Разве я сумею, никогда нигде не учившись, разговаривать с иностранными послами и образованными господами в парламенте? Плохо придется Мексике, если во главе ее правительства станет необразованный человек. Я никогда не займу поста, для которого не гожусь. Даже если бы мой jefe (Карранса), все приказы которого я всегда в точности выполнял и буду выполнять, приказал мне стать президентом или губернатором, я и то отказался бы.

От имени моей газеты мне пришлось задать ему этот вопрос раз пять или шесть. Наконец он вышел из себя.

— Я вам без конца повторял, что никогда не буду президентом. Может быть, газеты хотят поссорить меня с моим jefe? Запомните, я в последний раз отвечаю на этот вопрос. Следующего корреспондента, который меня об этом спросит, я прикажу отшлепать и выслать из пределов Мексики. — В течение нескольких дней после этого он шутливо ругал chatito (курносого), который приставал к нему с вопросом, хочет или не хочет он быть президентом. Такая мысль ему казалась потешной. Каждый раз, когда я приходил к нему после этого, он неизменно спрашивал меня в конце беседы:

— А разве сегодня вы не спросите меня, хочу или не хочу я быть президентом?

Вилья всегда называет Каррансу «мой jefe» и безоговорочно повинуетя малейшему приказу «первого вождя революции». Его преданность Каррансе граничит с упрямством. Он видит в Каррансе воплощение всех

идеалов революции, хотя многие его советники пытались втолковать ему, что Карранса — по преимуществу аристократ и сторонник реформ, а народ борется не за простые реформы.

В политической программе Каррансы, сформулированной в Гваделупском плане, тщательно обойден вопрос разделения земли, если не считать неопределенного подтверждения выдвинутого Мадеро плана Сан-Луис-Потоси, и вполне очевидно, что Карранса не намерен отстаивать передачу земли народу, пока не будет назначен временным президентом — да и тогда он начнет действовать с большой осторожностью. А пока он предоставил земельный вопрос на усмотрение Вильи, равно как и другие частности проведения революции на севере. Но Вилья, сам пеон, как и все пеоны, безотчетно чувствовал, что главная причина революции — земля, и он начал действовать с характерной для него прямоотой и поспешностью. Тотчас же после образования правительства в штате Чиуауа и назначения Чао временным губернатором он издал прокламацию, объявлявшую, что все население штата мужского пола получает из конфискованных поместий по шестьдесят два акра земли на душу и что эта земля ни под каким видом не подлежит отчуждению в течение десяти лет. В штате Дуранго Вилья разрешил земельный вопрос точно таким же образом, и нет сомнения, что он будет держаться этой политики и в других штатах, по мере очищения их от федеральных гарнизонов.

Глава VII

ПРАВИЛА ВОЙНЫ

Вилье пришлось также выработать свои собственные методы ведения войны, ибо он никогда не имел возможности познакомиться с общепринятой военной стратегией. В этом отношении он, несомненно, величайший полководец, которого когда-либо видела Мексика. Его военная тактика удивительно напоминает тактику Наполеона. Тайна, быстрота передвижения, приноравливание своих планов к характеру страны и солдат, близость к рядовым и умение убедить противника в непобедимости своей армии и в том, что его жизнь заколдована, —

вот что характеризует Вилью-полководца. Он совершенно незнаком с общепринятыми европейскими понятиями стратегии и дисциплины. Одна из слабых сторон мексиканской федеральной армии заключается в том, что ее офицеры до мозга костей пропитаны европейской военной теорией. Мексиканский солдат по своему духовному складу все еще воин конца восемнадцатого века. Он прежде всего свободный, своевольный партизан. Бюрократические формальности просто-напросто парализуют военную машину. Когда армия Вильи идет в бой, ей не мешают такие вещи, как отдавание чести и строгое чинопочитание, тригонометрические вычисления траекторий снарядов, теория о процентном отношении попаданий на тысячу выстрелов, распределение функций кавалерии, пехоты и артиллерии и строжайшее подчинение ничего не объясняющему командованию. Армия Вильи напоминает оборванную республиканскую армию французов, которую Наполеон повел в Италию. Сам Вилья, конечно, тоже мало разбирается во всей этой военной премудрости. Но он прекрасно понимает, что солдат-партизан нельзя слепо гнать в бой стройными рядами, что солдаты, сражающиеся каждый по-своему и по своей собственной воле, проявляют гораздо больше храбрости, чем засевающие в траншеях стрелки, которых офицеры бьют ножнами, чтобы они вовремя давали залпы. А когда бой особенно горяч, когда оборванная толпа разъяренных смуглых солдат с гранатами и винтовками в руках мчится под градом пуль по улицам только что взятого города, тогда Вилья с ними и дерется, как рядовой боец.

До того дня, когда на сцену выступил Вилья, мексиканские армии всегда возили за собой сотни солдатских жен и детей. Вилья первый ввел форсированные марши кавалерии, оставившей жен и детей в тылу. До него мексиканская армия никогда не покидала своей базы, она всегда держалась вблизи железной дороги и поездов с продовольствием. Но Вилья привел неприятеля в панику тем, что оставил поезда далеко позади и все свои силы бросил в бой, как он сделал это при Гомес Паласио. Он первый в Мексике придумал ночную атаку — наиболее деморализующий неприятеля род боя.

В прошлом сентябре, после падения Торреона, когда Вилья, отступив перед Ороско, отвел свою армию из

города Мехико и в течение пяти дней безуспешно атаковал Чиуауа, федеральный генерал был потрясен, проснувшись однажды утром и узнав, что Вилья под покровом ночи обошел город, захватил товарный поезд в Террасасе и со всей своей армией обрушился на плохо защищенный Хуарес. Разве так делают? Вилья обнаружил, что у него не хватит паровозов и вагонов, чтобы перебросить всех своих солдат, хотя он и захватил воинский поезд федералистов, посланный на юг генералом Кастро, командующим федеральной армией в Хуаресе. И вот он посылает этому генералу за подписью полковника, начальника захваченного поезда, телеграмму следующего содержания: «Паровоз вышел из строя в Монтесуме. Пришлите другой паровоз и пять вагонов». Ничего не подозревавший Кастро немедленно послал новый поезд. Тогда Вилья телеграфировал ему: «Провода в Чиуауа перерезаны. Крупные силы повстанцев наступают с юга. Что мне делать?» Кастро ответил: «Немедленно возвращайтесь назад». И Вилья повиновался, посылая ободряющие депеши с каждой станции по пути. Командир федеральных войск спохватился всего лишь за час до прибытия Вильи и немедленно бежал из города, даже не поставив в известность об этом гарнизон, в результате чего, если не считать небольшой резни, Вилья взял Хуарес почти без единого выстрела. И так как граница была совсем близко, то ему удалось везти контрабандным путем достаточно оружия и боеприпасов, чтобы снабдить ими свои почти безоружные части, и неделю спустя он выступил в поход и разгромил преследовавшие его силы федералистов, устроив им горячую баню в Тьерра-Бланке.

Генерал Хью Скотт, начальник американского гарнизона в форте Блисс, прислал Вилье небольшую брошюру, содержащую «Правила войны», принятые на Гаагской конференции. Вилья часами просиживал над этой брошюрой. Она страшно его интересовала и потешала.

— Что такое эта Гаагская конференция? — спрашивал он меня. — Присутствовал ли на ней представитель Мексики? Был ли там представитель конституционалистов? Я не понимаю, как это можно вести войну, руководясь правилами. Ведь это не игра. И какая вообще разница между войной цивилизованных стран и всякой

другой войной? Если мы с вами подеремся в кабаке, так не станем же мы сперва заглядывать в какую-то книжечку и изучать правила. Здесь говорится, что нельзя пользоваться свинцовыми пулями, но я не могу понять, почему? Это хорошие пули.

Долго еще Вилья задавал своим офицерам вопросы, вроде следующего:

— Если наступающая армия захватывает неприятельский город, то как нужно поступать с женщинами и детьми?

Насколько я мог наблюдать, «Правила войны» не оказали никакого влияния на манеру Вильи вести войну. Захваченных в плен *colorados* он неизменно расстреливал, потому что, говорил он, они пеоны, такие же, как и солдаты революции, а если пеон добровольно выступил против дела свободы, значит он скверный человек.

Федеральных офицеров он также расстреливал, потому что, объяснял он, они — образованные люди, а следовательно, должны понимать, какой стороны держаться. Но федеральных рядовых солдат он отпускал на все четыре стороны, потому что в большинстве случаев их мобилизовали насильно и они считали, что сражаются за отечество. Нельзя привести ни одного случая, когда он убил бы человека ради развлечения. И всякого, кто делал это, он немедленно расстреливал, — за исключением Фиерро.

Фиерро, убивший Бентона, был известен в армии под кличкой «Мясник». Это было огромное красивое животное, лучший наездник и самый неустрашимый и жестокий вояка во всей армии. Охваченный свирепой жаждой крови, Фиерро иногда расстреливал из револьвера по сто человек пленных подряд, останавливаясь лишь за тем, чтобы перезарядить револьвер. Он убивал ради удовольствия убивать. За две недели моего пребывания в Чиуауа Фиерро хладнокровно расстрелял пятнадцать человек мирных жителей. И все-таки между ним и Вильей существовала какая-то странная дружба. Вилья любил его, как сына, и все прощал ему.

Но несмотря на то что Вилья никогда не слышал о «Правилах войны», его армия — первая и единственная в Мексике, имеющая мало-мальски сносный полевой госпиталь. Этот госпиталь состоит из сорока товарных вагонов, покрашенных внутри белой масляной краской.

Он снабжен операционными столами и всеми новейшими хирургическими инструментами и обслуживается семьюдесятью докторами и медицинскими сестрами. Каждый день, во время сражения, пригородные поезда с тяжелоранеными направлялись с фронта к тыловым госпиталям в Паррале, Хименесе и Чиуауа. Раненым федералистам уделялось не меньше внимания, чем своим. Впереди интендантского поезда шел другой, с двумя тысячами мешков муки, кукурузой, сахаром, кофе и папиросами. Все это распределялось среди голодающего населения прилегающих к Дуранго и Торреону местностей.

Простые солдаты обожают Вилью за храбрость и грубоватый юмор. Не раз мне приходилось видеть, как он, лежа на койке в своем красном вагончике, обменивался дружескими шутками с двумя десятками оборванных солдат, расположившихся на полу, на стульях и столах. Когда войска грузились или выгружались, Вилья всегда лично присутствовал при этом: в старом грязном мундире, без воротничка, он толкал и пинал ногой мулов и лошадей, выгружая их из вагона или втаскивая в вагон. Когда его вдруг одолевала жажда, он хватал фляжку какого-нибудь солдата и осушал ее, несмотря на гневный протест владельца, а потом говорил ему, чтобы он отправился на реку и сказал, что Панчо Вилья велел ему набрать там воды.

Глава VIII

МЕЧТА ПАНЧО ВИЛЬИ

Быть может, небезынтересно будет познакомиться со страстной мечтой этого невежественного вояки, который «недостаточно образован, чтобы быть президентом Мексики». Он однажды изложил ее мне в следующих словах.

— Когда Мексика станет новой республикой, армия будет распущена. Всякая тирания держится на армии. Ни один диктатор не может существовать без армии. Мы дадим солдатам работу. По всей республике мы учредим военные колонии из ветеранов революции. Государство даст им землю и, кроме того, создаст много крупных промышленных предприятий, чтобы им было

где работать. Три дня в неделю они будут работать, и работать изо всех сил, потому что честный труд важнее всякой войны и только труд делает человека хорошим гражданином. Остальные три дня они будут сами учиться военному искусству, а также учить народ владеть оружием. И тогда, если наша родина окажется под угрозой вторжения неприятеля, нам достаточно будет позвонить из столицы по телефону во все концы страны, и весь народ, как один человек, бросив поля и фабрики, организованно, с оружием в руках, выступит на защиту своих очагов и детей. Я мечтаю о том, чтобы дожить свою жизнь в одной из таких военных колоний, среди моих соотрапегос, которых я люблю и которые претерпели вместе со мной столько лишений и страданий. И будет совсем хорошо, если будущее правительство откроет в нашей колонии кожевенный завод, где мы могли бы изготавливать хорошие седла и уздечки, потому что я знаком с этим делом, а остальное время мне хотелось бы работать на своей маленькой ферме — разводить скот. Хорошо помогать Мексике стать счастливой страной.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ХИМЕНЕС И ДАЛЬШЕ НА ЗАПАД

Глава I

ГОСТИНИЦА ДОНЬИ ЛУИСЫ

Я выехал из Чиуауа с воинским поездом, направлявшимся на юг, где вблизи Эскалона армия готовилась перейти в наступление. Позади пяти товарных вагонов, набитых лошадьми, с солдатами на крышах, был прицеплен пассажирский вагон, в котором разрешили ехать мне с сотней шумных *расіfіcos* обоего пола. Вагон этот навевал самые мрачные мысли: окна были выбиты, зеркала, лампы и плюш сорваны, стенки во многих местах походили на решето. Время отхода поезда не было установлено, и никто не знал, когда мы прибудем на место. Железную дорогу только что восстановили. В тех местах, где раньше были мосты, мы ныряли в овраги и потом взбирались на противоположный берег — паровоз пытел и хрипел, а только что проложенные рельсы дрожали и прогибались. По обе стороны пути на всем протяжении лежали изогнутые, изломанные рельсы, сорванные в прошлом году при помощи цепи и паровоза методичным Ороско. Разнесся слух, что бандиты Кастильо собираются взорвать наш поезд...

Все места и проходы были забиты пеонами в огромных соломенных сомбреро, закутанными в выцветшие и ставшие красивыми серапе, индейцами в синих рабочих блузах и сандалиях из сыромятной кожи, женщинами в черных шалях и орущими младенцами. Пассажиры пели, ели, плевали, болтали. Иногда по вагону проходил, пошатываясь, пьяный оборванец в форменной фуражке, на которой потемневшими золотыми буквами было написано: «Проводник». Он то и дело обнимал

своих знакомых и строго требовал билеты и пропуска у незнакомых. Я завязал с ним знакомство при помощи небольшого подарка, заключавшегося в нескольких денежных знаках американского образца. Он сказал:

— Сеньор! Теперь вы можете путешествовать бесплатно по всей республике. Хуан Альгомеро к вашим услугам.

В дальнем конце вагона сидел офицер в новеньком мундире, с саблей на боку. Он заявлял, что направляется на фронт, чтобы сложить там голову за отечество. Весь его багаж состоял из четырех деревянных клеток с жаворонками. Невдалеке от него сидели двое мужчин, с полотняными мешками в руках, внутри которых что-то шевелилось и клохталось. Как только поезд тронулся, мешки были развязаны, и из них выскочили два здоровенных петуха, которые начали расхаживать по полу, подбирая крошки и окурки. Владельцы принялись выкрикивать: «Сеньоры! Бой петухов, бой петухов! Ставьте пять песо на этого прекрасного, храброго петуха! Пять песо, сеньоры!» Мужчины сразу оставили свои места и начали проталкиваться поближе к петухам. Все согласны были заплатить требуемые деньги. Через десять минут владельцы петухов, встав на колени, уже выпускали птиц друг на друга. И в то время как поезд шел вперед, покачиваясь из стороны в сторону, летя в пропасти и тяжело поднимаясь на крутые склоны, в проходе нашего вагона кагался клубок перьев и блестящих стальных шпор.

Когда бой закончился, на середину вышел одноногий юноша и сыграл «Свистуна Руфуса» на жестяной дудочке. У кого-то оказалась кожаная бутылка *tequila*, к которой мы все приложились по очереди. В одном конце вагона закричали: «*Vamonos a bailar!* Давайте танцевать!» И через мгновение пять пар — конечно, все мужчины — уже отплясывали ту-стэп. Слепому старику крестьянину помогли встать на сидение, и он дрожащим голосом пропел длиннейшую балладу о подвигах великого генерала Макловио Эррера. Все, притихнув, внимательно слушали и бросали медяки в сомбреро старика. Изредка до нас доносилось пение солдат, ехавших впереди на крышах вагонов, и звуки выстрелов, когда солдаты открывали стрельбу по койоту, проби-

равшемуся в кустах мескита. Тогда в нашем вагоне все тоже бросались к окнам, выхватывали револьверы и принимались рьяно палить по зверю.

Весь день мы медленно подвигались к югу; лучи вечернего солнца обжигали нам лица. Почти каждый час мы останавливались на какой-нибудь станции, разрушенной до основания снарядами той или другой армии за три года революции; тут наш поезд осаждали бесчисленные продавцы папирос, фисташек, молока, *camotes* и *tamales*, завернутых в листья кукурузы. Старухи, судача меж собой, выходили из вагона, раскладывали костры и кипятили кофе. Присев на корточки у костров, они курили папирсы, свернутые из листьев кукурузы, и рассказывали друг другу бесконечные любовные истории.

Был уже поздний вечер, когда мы наконец прибыли в Хименес. Я протолкался сквозь густую толпу горожан, высыпающих встречать поезд, прошел мимо факелов, пылавших над лотками со сладостями, и направился по улице, где гуляли под руку пьяные солдаты и накрашенные женщины, к гостинице донны Луисы. Гостиница оказалась запертой. Я постучал в дверь. Открылось небольшое окошечко, и из него высунулась седая голова древней старухи. Посмотрев на меня сквозь очки в стальной оправе, старуха проворчала: «Ну, тебя, кажется, можно впустить!» Загремели железные засовы, и дверь открылась. Предо мной предстала сама донна Луиса с огромной связкой ключей на кожаном поясе. Она тащила за ухо здорового китайца, осыпая его отборной испанской бранью.

— Chango! — кричала она. — Как ты смеешь говорить гостю, что у нас нет больше горячих лепешек? А почему ты не зажарил больше? Собирай свои грязные тряпки и уходи вон отсюда, скотина!

Еще раз сильно дернув свою жертву за ухо, она отпустила его.

— Черт бы побрал этих проклятых язычников! — заявила она по-английски. — Грязные нищие! Чтобы мне дерзил какой-то паршивый китаец, который живет целый день на горсти риса!

Указав на дверь, она с виноватой улыбкой сказала:

— Сегодня тут шляется столько пьяных генералов,

что мне пришлось запереть дверь. Я не хочу, чтобы ко мне заходила всякая... мексиканская сволочь!

Донна Луиса — маленькая толстая старуха. Она американка, и ей лет восемьдесят с лишним. Она живет в Мексике уже сорок пять лет. Лет тридцать назад, когда умер ее муж, она открыла гостиницу при станции. Война или мир — для нее все равно. Над дверью у нее развешается американский флаг, и в своем доме она никому не позволяет хозяйничать. Когда Паскуаль Ороско взял Хименес, его пьяные солдаты совсем терроризировали жителей. Сам Ороско — непобедимый, свирепый Ороско, для которого убить человека пустяк, в компании двух офицеров и нескольких женщин подошел к дверям гостиницы в стельку пьяный. Донна Луиса — одна — заслонила дверь и, потрясая кулаком перед лицом Ороско, закричала:

— Паскуаль Ороско! Забирай свою беспутную компанию и убирайся отсюда! Я пускаю в свою гостиницу только приличных людей!

И Ороско ушел...

Глава II

DUELLO A LA FRIGADA

Я бродил по длинной, невероятно запущенной улице, которая ведет в город. Проехала конка, запряженная одним мулом и набитая подвыпившими солдатами. Мимо проносились открытые коляски, в которых сидели офицеры с женщинами на коленях. Под пыльными голыми деревьями аламо в каждом окне торчала сеньорита; внизу, закутавшись в плед, стоял ее *caballero*. Фонарей не было. Ночь была сухая, холодная и полная неуловимой экзотики: во мраке бренчали гитары, слышался смех, обрывки песен и тихий шепот; с дальних улиц доносились крики. Изредка из тьмы появлялись группы пехотинцев или отряды всадников в высоких сомбреро и серапе, наброшенных на плечи, и тут же снова растворялись в ней — всего вероятнее, происходила смена караулов.

Когда я проходил по тихому кварталу вблизи арены, где не было домов, я заметил автомобиль, мчавшийся из города. Навстречу ему скакал всадник, и когда он подъ-

ехал ко мне, фары машины осветили коня и всадника, молодого офицера в широкополой шляпе. Заскрипели тормоза, автомобиль остановился, и сидевший в нем закричал:

— Altoahí! ¹

— Кто говорит? — спросил всадник, поднимая своего коня на дыбы.

— Я, Гусман! — И из автомобиля выскочил человек, оказавшийся на свету толстяком мексиканцем со шпагой на боку.

— Come le va, mi Capitán? ²

Офицер мгновенно соскочил с лошади. Они обнялись, хлопая друг друга по спине обеими руками.

— Прекрасно! А вы? Куда едете?

— К Марии.

Капитан расхохотался.

— Не советую, — сказал он. — Я сам собираюсь поехать к Марии, и если застану вас там, то застрелю на месте.

— Но я все-таки поеду. Я стреляю не хуже вас, сеньор.

— Но согласитесь, — сказал капитан кротко, — что нам обоим там делать нечего!

— Несомненно!

— Oiga! — крикнул капитан своему шоферу. — Поверни машину так, чтобы свет падал ровно вдоль тротуара... А теперь мы разойдемся на тридцать шагов и станем спиной друг к другу, пока ты не сосчитаешь до трех. Потом кто из нас первый прострелит другому шляпу, тот и будет победителем...

Оба вынули огромные револьверы и начали быстро вращать барабаны.

— Listo! Готов! — закричал всадник.

— Быстрее, быстрее! — сказал капитан. — Мешать любви всегда опасно.

Спина к спине, они начали расходиться.

— Раз! — крикнул шофер.

— Два!

При дрожащем, неверном свете фар толстяк вдруг круто повернулся на каблуках, рука его мелькнула

¹ Стой! (*испанск.*)

² Как поживаете, капитан? (*испанск.*)

в воздухе, и в густой ночной тишине прогрехотал выстрел, широкополая соломенная шляпа всадника, который еще не повернулся, смешно запрыгала в десяти шагах от него. Всадник повернулся как ужаленный, но капитан уже садился в автомобиль.

— Вуено! ¹ — весело закричал он. — Я победил. До завтра, amigo!

Автомобиль рванул и скрылся в темноте. Всадник медленно направился к тому месту, где лежала его шляпа, поднял ее и начал осматривать. С минуту он стоял, о чем-то раздумывая, затем неторопливо подошел к своему коню, спокойно сел в седло и уехал. Я уже шел своей дорогой...

На площади полковой оркестр играл «Эль Пагаре» — песню, которой начался переворот Ороско. Это была пародия, в которой рассказывается о том, как Мадеро, сделавшись президентом, тотчас потребовал выплаты своей семье военных издержек в сумме семисот пятидесяти тысяч долларов. Песня эта пронеслась по всей республике, как лесной пожар, и потребовалось вмешательство полиции и военных властей, чтобы запретить ее. «Эль Пагаре» даже до сих пор в большинстве революционных кругов считается запретной, и я слышал, что за нее расстреливали, но в Хименесе в то время господствовала полная свобода. Кроме того, мексиканцы, не в пример французам, совершенно равнодушно относятся ко всяческим символам. Смертельно ненавидящие друг друга противники пользуются одним и тем же флагом; почти в каждом городе на площади до сих пор стоят статуи Порфирио Диаса; даже в кругу офицеров на фронте мне часто приходилось пить из стакана с изображением бывшего диктатора, а революционные солдаты сплошь и рядом носят мундиры федералистов.

Но «Эль Пагаре» — удивительно четкая, бойкая мелодия, и при свете сотен электрических лампочек, висевших на проволоке, по площади ритмично двигались два огромных круга. В наружном, группами по четыре, шагали мужчины, по большей части солдаты.

¹ Хорошо! (испанск.)

Во внутреннем, в противоположную сторону, двигались девушки, взявшись под руку. Гуляющие осыпали друг друга конфетти. При этом не разговаривали, не останавливались, но стоило девушке приглянуться мужчине, он совал ей в руку любовную записочку, и если и он нравился ей, она отвечала ему улыбкой. Так завязывалось знакомство. А потом девушка как-нибудь сообщит сабаллего свой адрес, за этим последуют длинные разговоры в темноте у ее окна, а потом они станут любовниками. Передача записочек — очень щекотливое дело. Каждый мужчина вооружен и ревниво охраняет свою девушку. Передать записочку чужой возлюбленной, значит рисковать жизнью... Толпа весело двигалась в такт пьянящей музыке.

За площадью чернели руины магазина Маркоса Рассека, который эти солдаты разграбили всего две недели назад, а по другую сторону среди огромных деревьев и фонтанов возвышался древний розовый собор, где над входом сверкала ярко освещенная вывеска из железа и стекла: «Санто Кристо де Бургос».

Здесь, у края площади, я заметил пятерых американцев, сбившихся в кучку на скамье. Они были оборваны до невероятности — все, кроме одного, худощавого юноши в крагах и мундире федерального офицера, на голове у него была мексиканская шляпа без тульи. Из дыр в башмаках вылезали пальцы, лишь у двоих на ногах было что-то похожее на носки, все были небриты. Один из них, совсем еще мальчик, носил руку на перевязи из рваного одеяла. Они с радостью подвинулись, давая мне место на скамейке, потом окружили меня, восторженно крича, как все-таки хорошо, когда встречаешь еще одного американца среди всех этих «проклятых мексикашек».

— А что вы, ребята, делаете здесь? — спросил я.

— Мы солдаты наживы! — сказал парнишка с раненой рукой.

— Как же... — прервал его другой. — Солдаты!

— Дело вот в чем, — начал юноша с военной выправкой. — Мы сражались все время в Сарагосской бригаде... принимали участие в бою при Охинаге и так далее. А теперь Вилья вдруг издает приказ уволить всех американцев из армии и отправить их к границе. Вот такая чертовщина!

— Вчера вечером нас почетным образом уволили из армии и выбросили из барачков, — сказал рыжий солдат с одной ногой.

— И нам негде ночевать и нечего жрать, — вставил свое слово парень небольшого роста с серыми глазами, которого все величали «майором».

— Ты не вздумай еще попрошайничать у земляка! — с возмущением сказал солдат. — Разве нам не выдадут утром по пятьдесят мексиканских долларов?

Мы на время прервали беседу и отправились в ближайший ресторанчик. По возвращении я спросил их, что они намерены делать.

— Мне подавай только Соединенные Штаты! — сказал красивый смуглый ирландец, который до сих пор хранил молчание. — Я вернусь обратно во Фриско и буду опять работать шофером. Надоели мне эти черномазые мексиканцы, их дрянная жратва и их драки.

— Меня два раза с почетом увольняли из армии Соединенных Штатов, — гордо сказал юноша с военной выправкой. — Я участвовал в испанской войне. Я — единственный солдат среди этого сброда, — его товарищи насмешливо усмехнулись и выругались. — Пожалуй, я снова пойду в армию, когда доберусь до границы.

— Мне это не подходит, — сказал одноногий. — Меня обвиняют в двух убийствах. Но клянусь богом, все было подстроено, а я ни в чем не виноват. Но бедняку в Штатах не верят. Если меня не тянут в тюрьму по ложному обвинению, то сажают туда за «бродяжничество». А какой я бродяга, — добавил он горячо, — я рабочий человек, труженик, только никак не могу получить работу.

«Майор» повернул к нему жестокое лицо и жестокие глаза.

— Я бежал из исправительной колонии в Висконсине, — сказал он, — и в Эль Пасо меня ждут фараоны. Мне всегда хотелось убить кого-нибудь из револьвера, и мне удалось это в Охинаге, но мне еще мало. Говорят, что нас не отправят за границу, если мы станем мексиканскими подданными. Я хочу завтра подписать прошение.

— Черта с два ты это сделаешь! — закричали его товарищи. — Это уже подлость. А вдруг Штаты объявят интервенцию, и тогда тебе придется стрелять в своих. Я ни за что на свете не согласился бы стать мексикашкой.

— А это легко поправить, — сказал «майор». — Когда для меня придет время вернуться в Штаты, я уеду туда под другим именем. Я буду жить здесь только до тех пор, пока не накоплю денег, чтобы вернуться на родину, в Джорджию, и открыть фабрику с применением детского труда.

Другой вдруг заплакал.

— Мне прострелили руку во время боя в Охинаге, — всхлипнул он, — а теперь меня вышвыривают вон без гроша за душой, а я не могу работать. Когда я доберусь до Эль Пасо, полиция арестует меня, и мне придется писать отцу, чтобы он приехал за мной и увез домой, в Калифорнию. Я сбежал отсюда в прошлом году, — пояснил он.

— Послушайте, «майор», — сказал я, — не стоит вам оставаться здесь, если Вилья не хочет, чтобы в армии служили американцы. Если вы даже станете мексиканским подданным, это вам несколько не поможет в случае интервенции.

— Быть может, вы и правы, — сказал «майор», подумав. — Хватит тебе реветь, Джек! Я, пожалуй, поеду в Галвестон, а там сяду на пароход и уеду в Южную Америку. Говорят, в Перу началась революция.

Солдату было лет тридцать, ирландцу — лет двадцать пять, а остальным троим — от шестнадцати до восемнадцати.

— А зачем вы, ребята, ехали сюда? — спросил я.

— Чтобы поискать приключений! — с усмешкой ответили солдат и ирландец. Трое юношей посмотрели на меня, и их исхудавшие от голода и перенесенных лишений лица вдруг оживились.

— Чтобы нажиться! — сказали они в один голос.

Я взглянул на их лохмотья, на гулявших по площади оборванных добровольцев, которые не получали своего содержания уже несколько месяцев, и насилу удержался от смеха.

Вскоре я расстался с ними — с расчетливыми, холодными людьми, лишними в этой стране страстей, презиравшими то дело, за которое сражались, издевавшихся над веселым характером неукротимых мексиканцев. И, уходя, я спросил:

— Между прочим, ребята, в какой части вы состоите? Как вы себя называете?

— Иностранный легион! — ответил мне рыжий.

И здесь я должен прямо сказать, что все «солдаты наживы», которых мне доводилось встречать, все, за одним исключением (а это был ученый сухарь, изучавший действие взрывчатых веществ на полевые орудия), были бы у себя на родине бродягами.

Когда я наконец вернулся к себе в гостиницу, была уже поздняя ночь. Донна Луиса пошла приготовить мне постель, а я на минуту зашел в бар. Там было трое военных, по-видимому офицеров, один из них был уже сильно пьян. На его изрытом оспой лице чернели усики, глаза дико блуждали. Увидев меня, он затянул очень приятную песенку:

Yo tengo una pistola
Con mango de marfil
Para matar todos los Gringos
Que vienen por ferrocarril

(У меня есть пистолет с ручкой из слоновой кости, чтобы убивать всех американцев, которые приедут по железной дороге.)

Я счел за благо поскорее уйти, так как трудно сказать, что может сделать мексиканец, когда он пьян. Темперамент его слишком сложен.

Донну Луису я застал у себя в номере. Тайнственно приложив палец к губам, она закрыла дверь и достала из-за пазухи весьма потрепанный номер «Сетердей ивнинг пост».

— Достала это для вас из несгораемого шкафа, — сказала она. — Самая дорогая вещь в доме. Американцы, ехавшие на рудники, давали мне за этот журнал пятнадцать долларов. Вот уже больше года, как мы перестали получать американские журналы.

Глава III

ЧАСЫ-СПАСИТЕЛИ

После такого предисловия я не мог не прочитать этот драгоценный журнал, хотя и читал его раньше. Я зажег лампу, разделся и лег в постель. Но в это время в коридоре послышались чьи-то нетвердые шаги и моя дверь с шумом распахнулась: на пороге стоял

офицер с изрытым оспой лицом, который пил в баре. В одной руке он держал огромный револьвер. Секунду он стоял на пороге, злобно щуря на меня глаза, потом шагнул вперед и захлопнул дверь.

— Я, лейтенант Антонио Монтойя, к вашим услугам, — сказал он. — Я слышал, тут появился гринго, и пришел застрелить тебя.

— Садитесь, — сказал я приветливо. Я видел, что он проникнут пьяной решимостью. Он снял шляпу, вежливо поклонился и пододвинул себе стул. Затем из-под полы своего мундира он достал другой револьвер и положил оба револьвера на стол. Они были заряжены.

— Хотите папиросу? — спросил я, протягивая ему пачку. Он взял одну папиросу, помахал ею в знак благодарности и прикурил от лампы. Потом взял оба револьвера и прицелился в меня. Пальцы его нажали на собачки, затем вдруг расслабили. Я был не в силах пошевелиться, и мне оставалось только ждать.

— Вся беда в том, — сказал офицер, опуская револьверы, — что я не могу решить, каким револьвером воспользоваться...

— Извините, — сказал я дрожащим голосом, — но мне кажется, они оба устарели. Этот кольт, безусловно, модель тысяча восемьсот девяносто пятого года, а что касается Смит и Вессона, то это не больше, чем игрушка.

— Правильно, — пробормотал он, печально глядя на револьверы. — Если бы знал, я захватил бы с собой мой новый маузер. Извините, сеньор. — Он вздохнул и опять со спокойной радостью направил дула мне в грудь. — Но раз нет другого исхода, то придется как-нибудь обойтись этими.

Я уже приготовился вскочить, увернуться, закричать, как вдруг его взгляд упал на стол, где лежали мои двухдолларовые ручные часы.

— Что это? — спросил он.

— Часы! — С огромной охотой я поспешно стал показывать, как они надеваются. Он машинально опустил пистолеты. Его рот раскрылся, он смотрел на часы горящими глазами, как ребенок на какую-нибудь новую заводную игрушку.

— Ах! — наконец перевел он дыхание. — *Que estu bonita!* Какие красивые!

— Они ваши, — сказал я, снимая часы и протягивая ему.

Он посмотрел на часы, потом на меня; лицо его просветлело от неожиданной радости. Я положил часы в его протянутую руку. С трепетным благоговением он застегнул браслет на своей волосатой руке. Затем встал, глядя на меня сияющими глазами. Револьверы упали на пол, но он этого не заметил. Лейтенант Антонио Монтойя бросился мне на шею.

— Ах, *compadre!* — воскликнул он пылко.

На следующий день мы встретились с ним в лавке Валиенте Адриана. Мы попиwali в задней комнате *aguardiente*, и лейтенант Монтойя, мой лучший друг во всей армии конституционалистов, рассказывал мне о трудностях и опасностях походной жизни. Вот уже три недели бригада Макловио Эррера в полной боевой готовности стояла в Хименесе, каждую минуту ожидая приказа наступать на Торреон.

— Сегодня утром, — рассказывал Антонио, — наши разведчики перехватили телеграмму командующего федералистами в городе Сакатекас к генералу Веласко в Торреоне. В телеграмме говорится, что, по здравому рассуждению, он пришел к мысли, что Сакатекас защищать труднее, чем брать его приступом. Поэтому он сообщает генералу Веласко, что при наступлении конституционалистов он заранее эвакуирует город, а потом возьмет его заново.

— Антонио, — сказал я, — завтра я отправлюсь в далекое путешествие по пустыне. Я еду в Магистраль. Мне нужен *mozo*¹. Я буду платить три доллара в неделю.

— *Esta bueno!*² — воскликнул лейтенант Монтойя. — Платите, сколько хотите, только бы я мог поехать с моим *amigo!*

— Но вы ведь на действительной службе, — сказал я. — Как же вы можете оставить свой полк?

— Это ничего, — махнул рукой Антонио. — Я не стану докладывать об этом своему полковнику. Я им не нужен. Ведь у них, помимо меня, еще пять тысяч человек.

¹ слуга (*испанск.*).

² Отлично! (*испанск.*)

Глава IV

СИМВОЛЫ МЕКСИКИ

На рассвете, когда низкие серые домишки и покрытые пылью деревья были еще объаты ночным холодом, мы хлестнули наших мулов и, прогрохотав по неровным мостовым Хименеса, выехали за город. Несколько солдат, до самых глаз закутанные в серапе, дремали возле своих фонарей. В канаве спал пьяный офицер.

Мы ехали в древней двуколке со сломанным дышлом, которое было связано проволокой. Упряжь состояла из кусков старого железа, ремней и веревок. Мы с Антонио сидели рядом на сидении, а у наших ног клевал носом смуглый серьезный юноша по имени Примитиво Агулар. Мы наняли Примитиво, чтобы он открывал и закрывал ворота по дороге, подвязывал упряжь, когда она будет рваться, и по ночам сторожил двуколку и мулов, — по слухам, дороги кишели бандитами.

Мы проезжали по обширной плодородной равнине, прорезанной оросительными каналами, по сторонам которых высились ряды огромных деревьев аламо, безлиственных и серых, как пепел. Накаленное добела солнце слепило глаза, как жерло топки, над уходящими вдаль голыми полями поднимался легкий туман. Мы двигались, окруженные клубами белой пыли.

Мы сделали остановку возле церкви асиенды Сан Педро, где долго торговали у старика пеона мешок кукурузы и соломы для мулов. В стороне от дороги, посреди рощи зеленых ив, виднелось изящное розовое здание.

— Что там такое?

— А ничего. Просто мельница, — сказал Антонио.

Обедали мы в бедной хижине с выбеленными стенами и земляным полом, принадлежавшей пеону с другой асиенды, название которой я забыл, но которая раньше принадлежала Луису Террасасу. Она была конфискована и теперь составляла собственность конституционного правительства. А на ночь мы разбили лагерь возле оросительного канала, вдали от какого бы то ни было жилья, в самом сердце бандитского царства.

После ужина, состоявшего из рубленого мяса с перцем, лепешек, бобов и черного кофе, мы с Антонио принялись инструктировать Примитиво. Он должен был

стоять на часах с револьвером в руках неподалеку от костра и, чуть что, немедленно разбудить нас. Он ни в коем случае не должен был засыпать. Мы застрелим его, если он заснет. Прimitиво очень серьезно произнес: «Si señor!»¹, широко раскрыл глаза и сжал в руке револьвер. Завернувшись в одеяла, мы с Антонио легли спать у костра.

Я, должно быть, сразу заснул, потому что, когда, приподнявшись, Антонио разбудил меня, мои часы показывали, что прошло всего полчаса. Из темноты, где на посту должен был стоять Прimitиво, доносился громкий храп. Лейтенант направился туда.

— Прimitиво! — окликнул он спящего.

Никакого ответа.

— Прimitиво, болван, вставай!

Наш часовой зашевелился, перевернулся на другой бок и продолжал сладко храпеть.

— Прimitиво! — закричал Антонио и пнул его ногой.

Спящий даже не шевельнулся.

Тогда Антонио отступил немного назад и так ударил спящего ногой в спину, что тот отлетел на несколько шагов в сторону. Тут Прimitиво проснулся. Он ловко вскочил на ноги. Размахивая револьвером, он закричал:

— *Queu vive?*

На другой день плодородная равнина кончилась. Мы въехали в пустыню и начали кружить по пологим песчаным холмам, заросшим черным мескитом, среди которого изредка встречались кактусы. По сторонам дороги стали попадаться зловещие деревянные кресты, которые крестьяне ставят в том месте, где был найден труп человека, погибшего насильственной смертью. На горизонте теснились лиловые горы. Направо, в конце обширной сухой долины, виднелись белые, зеленые и серые строения похожей на город асиенды. Час спустя мы проехали мимо одного из тех огромных, обнесенных каменной стеной ранчо, которых столько затеряно среди холмов этой беспредельной пустыни. Высоко над головой в безоблачном зените сгустилась ночь, но горизонт

¹ Понимаю, сеньор! (*испанск.*)

все еще горел ярким светом; затем день вдруг погас, и на высоком небосводе мгновенно высыпали звезды. Мулы бежали легкой рысью. Антонио и Примитиво скрипучими мексиканскими голосами, напоминающими пиликанье на скрипке с изношенными струнами, напевали «Эсперансу». Стало холодно. На многие мили вокруг растилалась спаленная земля, страна смерти. Прошло уже много часов с тех пор, как мы миновали последнее жилье.

Антонио уверял, что где-то впереди должен быть родник. Но к полуночи наша дорога неожиданно исчезла в густой чаще мескита. Очевидно, в темноте мы где-то свернули с большой дороги. Было уже поздно, мулы были вконец измучены. Ничего больше не оставалось, как разбить «сухой лагерь», так как воды поблизости, насколько мы знали, не было.

Когда мы выпрягли мулов и разложили костер, в густой чаще мескита слышались осторожные, крадущиеся шаги. Затем они затихли. Танцующее пламя нашего костра освещало небольшой круг, радиусом шагов в десять, дальше был полный мрак. Примитиво попятился и спрятался за двуколку. Антонио вынул револьвер, и мы застыли на месте. Снова слышались шаги.

— Кто идет? — крикнул Антонио.

Раздался какой-то шорох, затем чей-то голос несмело спросил:

— Вы какой партии?

— Мадеристы! — крикнул Антонио. — Идите!

— А *racificos* ничего не грозит? — продолжал спрашивать невидимка.

— Даю вам слово, что нет, — закричал я. — Выходите, чтобы мы могли на вас посмотреть.

И тотчас на границе света показались две смутные тени. Они двигались совершенно беззвучно. Когда они подошли ближе, мы увидели двух пеонов, закутанных в рваные одеяла. Один — сгорбленный, морщинистый старик в самодельных сандалиях, в штанах, висевших клочьями на его исхудалых ногах; другой — очень высокий босоногий юноша, с лицом настолько простым и бесхитростным, что его можно было принять за дурачка. Они подходили к нам, дружелюбно протягивая нам руки, светясь солнечной радостью и детским любопытством. Мы по очереди пожали им руки, приветствуя их с изысканной мексиканской вежливостью.

— Добрый вечер, друг. Как поживаете?
— Очень хорошо, gracias¹. А вы?
— Хорошо, gracias. А ваши родные?
— Ничего, спасибо. А ваши?
— Ничего, спасибо. Какие у вас здесь новости?
— Nada — нет никаких. А у вас?
— Нет никаких. Садитесь.
— Спасибо. Я постою.
— Садитесь, садитесь!
— Очень вам благодарны. Извините нас на минутку.

Они улыбнулись и опять скрылись в чаще. Через минуту они вернулись, неся большие охапки сухих веток для нашего костра.

— Мы — ранчero, — сказал старик, кланяясь. — У нас есть козы, и наши хижины — к вашим услугам; найдется место и корм и для ваших мулов. Наши ранчито² совсем тут близко, за чащей. Мы очень бедные люди, но все-таки надеемся, что вы окажете нам честь и воспользуетесь нашим гостеприимством.

От нас требовался невероятный такт.

— Мы вам очень благодарны, — вежливо ответил Антонио, — но, к сожалению, мы очень спешим и должны выехать на рассвете. Нам неудобно беспокоить ваши семьи в такую пору.

Они горячо протестовали, заявляя, что их семьи и хижины всецело к нашим услугам, что это доставит им величайшее удовольствие. Не помню, как нам в конце концов удалось отклонить их приглашения, не обидев их, но я хорошо помню, что для этого потребовалось полчаса взаимных любезностей. Мы знали, что, во-первых, нам не удастся выехать от них утром, так как, по понятиям мексиканцев, торопливость гостя означает недовольство оказанным приемом; кроме того, за ночлег платить не полагалось, однако следовало сделать хозяевам хороший подарок, а нам это было не по карману.

На наше приглашение поужинать с нами они вначале ответили вежливым отказом, но после долгих упрасиваний согласились взять лепешек и мяса с перцем. Было смешно и жалко смотреть, с какой жадностью они

¹ спасибо (испанск.).

² Маленькое ранчо.

ели, стараясь в то же время не показывать, насколько они голодны.

После ужина они по собственному почину принесли нам ведро воды, а потом некоторое время простояли у костра, грея руки и куря папиросы, которыми мы их угостили. Помню, как они распахнули серапе, чтобы благодатное тепло согрело их тощие тела, помню скрюченные, морщинистые руки старика и лицо юноши, на котором играли красноватые блики, зажигая огоньки в его больших глазах. Вокруг нас стояла черная ночь пустыни, удерживаемая лишь ярким светом костра и готовая поглотить нас, если бы он погас. Над головой, не тускнея, сверкали огромные звезды. В чаще, словно демоны, плакали и хохотали койоты. И в эту минуту эти два человека представились мне символами Мексики — гостеприимные, любящие, терпеливые, бедные, так долго томившиеся в рабстве, всегда мечтающие, наконец встречающие свободу.

— Когда мы увидели, что вы едете сюда, — сказал старик с улыбкой, — сердца наши упали. Мы уже думали, что опять едут солдаты, чтобы забрать у нас последних коз. Много солдат проходило здесь за последние годы — очень много. И всё больше федералисты; мадеристы только тогда заезжают, когда уже совсем изголодаются. Бедные мадеристы!

— Да-а, — вздохнул юноша, — мой брат, мой самый любимый брат погиб в одиннадцатидневном сражении под Торреоном. Многие тысячи уже погибли в Мексике, и многие тысячи еще погибнут. Три года войны в одной стране — долгий срок, слишком долгий.

— *Valgame Dios*, — пробормотал старик и покачал головой.

— Но наступит день... — продолжал юноша.

— Говорят, — прервал его старик с дрожью в голосе, — что Соединенные Штаты там на севере жадно поглядывают на нашу родину, что в конце концов к нам придут солдаты-гринго и заберут у меня последних коз.

— Это ложь! — воскликнул юноша, оживляясь. — Только богатые американо хотят нас грабить так же, как и наши мексиканские богачи. Во всем мире богатые грабят бедных.

Старик вздрогнул и подвинул высохшее тело поближе к огню.

— Я часто задумываюсь, — тихо сказал он, — почему богатые, у которых всего так много, хотят иметь еще больше. А бедные, у которых нет ничего, довольны малым. Лишь бы несколько коз...

Его compadre гордо поднял голову и мягко улыбнулся.

— Я никогда не выезжал из наших мест, — сказал он. — Не был даже в Хименесе. Но мне рассказывали, что на севере, на юге и на востоке есть много плодородных земель. Но это моя родина, и я люблю ее. Всю жизнь и я, и мой отец, и дед видим, как богатые держат в кулаке хлеб перед нашими ртами и не дают нам есть. И только кровь заставит их разжать кулак перед своими братьями.

Костер догорал. Бдительный Прimitиво спал на своем посту. Антонио задумчиво глядел на угасающие угли, чуть заметная радостная улыбка играла у него на губах, глаза горели, как звезды.

— Adiós! — сказал он внезапно, словно озаренный прекрасной мечтой. — Когда доберемся до Мехико, какой baile мы там устроим! Ох, и напьюсь же я,

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

СРАЖАЮЩИЙСЯ НАРОД

Глава I

«НА ТОРРЕОН!»

Кругом Йермо бесконечная песчаная пустыня, кое-где щетинящаяся кустами мескита и карликовыми кактусами. На западе она тянется до зубчатых бурых гор, а на востоке уходит за колеблющийся в мареве горизонт. Разбитая водокачка, дающая ничтожное количество грязной солоноватой воды, разрушенная железнодорожная станция, два года назад разнесенная вдребезги пушками Ороско, запасной путь — вот и весь поселок. На сорок миль кругом воды нет и в помине. Нигде ни клочка травы для скота. В продолжение трех весенних месяцев горячие, сухие ветры гонят по пустыне тучи желтой пыли.

На единственном пути, проложенном посреди пустыни, стояли десять огромных поездов, исчезая на севере за горизонтом. Поезда эти — огненные столпы ночью и столпы черного дыма — днем. По обе стороны пути, под открытым небом, расположились лагерем девять тысяч человек; лошадь каждого солдата привязана к кусту мескита, рядом с ним на этом же кусте висит его единственное серапе и тонкие ломти сушащегося мяса. Из пятидесяти вагонов выгружали лошадей и мулов. Покрытый потом и пылью оборванный кавалерист проскальзывал в вагон с лошадьми, в гущу мелькающих копыт, вскакивал на спину первой попавшейся лошади и с диким гиканьем вонзал ей шпоры в бока. Слышался громовой топот испуганных животных, и вдруг какая-нибудь лошадь вырывалась в открытую

дверь, обычно задом наперед, и вагон начинал извергать колышашуюся массу лошадей и мулов. Они быстро вскакивали на ноги и в ужасе бежали прочь, храпя и раздувая ноздри, почуяв запах пустыни. И тогда широкое кольцо зрителей-кавалеристов превращалось в вакеро, в насыщенном пылью воздухе мелькали огромные кольца лассо, и пойманные животные в панике мчались по кругу. Офицеры, ординарцы, генералы со своими штабами, солдаты с уздечками, разыскивающие своих коней, бежали и неслись галопом в полной неразберихе. Брыкающихся мулов запрягали в зарядные ящики. Кавалеристы, приехавшие с последним поездом, разыскивали свои бригады. Немного в стороне солдаты открыли стрельбу по кролику. С крыш товарных вагонов и с платформ смотрели вниз сотни *soldaderas*¹, окруженные выводками полуголых детишек, выкрикивая визгливые советы или спрашивая, ни к кому, собственно, не обращаясь, не видал ли кто Хуана Монероса или Хесуса Эрнандеса — короче говоря, их мужей... Какой-то солдат, волоча за собой винтовку, бродил вокруг, громко выкрикивая, что он уже два дня ничего не ел и никак не может отыскать свою жену, которая пекла ему лепешки, и заключал свои жалобы утверждением, что она, наверное, связалась с каким-нибудь... из другой бригады... Женщины на крышах вагонов, пожав плечами, восклицали: «*Valgame Dios!*» — и, кинув ему несколько черствых лепешек, стали просить во имя богоматери Гваделупской угостить их папиросой. Шумная грязная толпа осадила паровоз нашего поезда, требуя воды. Когда вооруженный револьвером машинист отогнал ее и закричал, что прибыл специальный поезд с цистернами воды, толпа быстро рассеялась, а ее место заняла другая. Возле двенадцати огромных цистерн с водой царила невообразимая толчея — люди и лошади пробивались к маленьким крапам, из которых непрерывной струей текла вода. Надо всем этим стояло огромное облако пыли, семь миль в длину и милю в ширину, вместе с черным дымом паровозов высоко поднимаясь в тихом, горячем воздухе и поражая ужасом сторожевые посты федералистов, расставленные в горах за Мопими в пятидесяти милях от нас.

¹ солдатских жен.

Когда Вилья покидал Чиуауа, направляясь к Торреону, он прервал телеграфное сообщение с севером, приостановил движение поездов на Хуарес и под страхом смертной казни запретил передачу в Соединенные Штаты сведений о его отъезде. Он стремился захватить федералистов врасплох, и его план удался как нельзя лучше. Ни один человек, даже из штабных Вильи, не знал, когда он выступит из Чиуауа, армия задержалась там так долго, что мы все полагали, что она уйдет оттуда не раньше, чем через две недели. И вдруг, проснувшись в субботу утром, мы узнали, что телеграфное и железнодорожное сообщение прервано и три огромных поезда с бригадой Гонсалес — Ортега уже ушли. Сарагосская бригада отправилась на следующий день, а на другое утро отбыл и Вилья со своими войсками. Двигаясь с характерной для него быстротой, Вилья уже через сутки сконцентрировал свою армию в Йермо, в то время как федералисты думали, что он все еще находится в Чиуауа.

Вокруг полевого телеграфа, установленного в разрушенной станции, собралась толпа. Внутри стучал аппарат. Солдаты и офицеры вперемешку забили окна и двери, и время от времени телеграфист выкрикивал что-то по-испански, после чего раздавался громкий хохот. Оказалось, что аппарат случайно подключили к линии, не перерезанной федералистами, — линии, соединенной с армейским проводом, между Мопими и Торреоном.

— Слушайте! — кричал телеграфист. — Полковник Аргумедо, командующий colorados в Мопими, телеграфирует генералу Веласко в Торреон. Он сообщает, что видит дым и огромное облако пыли на севере, и полагает, что мятежники отходят на юг из Эскалона!

Настала ночь, тучи затянули небо, поднявшийся ветер начинал кружить пыль. На крышах товарных вагонов, протянувшихся к горизонту, пылали костры, разложенные soldaderas. В пустыне тускло сверкали солдатские костры — самые дальние из них казались крохотными огненными точками, порой совсем исчезающими из вида в густых клубах пыли. Песчаная буря надежно заслоняла нас от глаз федеральных дозорных.

— Даже бог, — заметил майор Лейва, — даже бог на стороне Франсиско Вильи!

Мы обедали в своем товарном вагоне, и нашими гостями были молодой великан, генерал Максимо Гарсиа, с непроницаемым лицом, его брат, который был даже выше его, краснолицый Бенито Гарсиа, и майор Мануэль Акоста, человек небольшого роста, обладатель изысканнейших манер. Гарсиа командовал наступлением у Эскалона. Он и его братья, из которых один, Хосе Гарсиа, любимец армии, был убит в бою, всего лишь четыре года назад были богатыми асиендадо, владельцами огромных поместий. Они выступили на стороне Мадеро... Генерал Гарсиа принес нам в подарок бутылку и отказался разговаривать о революции, заявив, что он сражается за то, чтобы в мире не было скверного виски! В ту самую минуту, когда я пишу эти строки, пришло известие, что он умер от пулевой раны, полученной в бою при Сакраменто.

На платформе в клубах пыли впереди нашего вагона вокруг костров лежали солдаты, положив головы на колени своим женам, и распевали «Кукарачу» — сотни насмешливых куплетов, рассказывающую о том, что сделают конституционалисты, когда отберут Хуарес и Чиуауа у Меркадо и Ороско.

Заглушая шум ветра, слышался глухой рокот войска, и изредка раздавались пронзительные окрики часовых: «*Quien vive?*» И ответ: «*Chiapas!*» — «*Que gente?*» — «*Chaco!..*»

Всю ночь раздавались наводившие жуть свистки десяти паровозов, сигналивших один другому.

Глава II

АРМИЯ В ИЕРМО

На следующее утро, как только рассвело, к нам в вагон пришел завтракать генерал Торрибио Ортега — худой смуглый мексиканец, прозванный солдатами «Благородным» и «Храбрейшим». Бескорыстнее и простодушнее его нет военного во всей Мексике. Он никогда не расстреливает пленных. Он не хочет наживаться на революции и отказывается взять хотя бы грош сверх своего скудного жалованья. Вилья уважает его и доверяет

ему больше всех остальных своих генералов. Ортега начал жизнь бедняком, ковбоем. Позабыв о завтраке, он сидел, положив локти на стол, и, блестя большими глазами и улыбаясь мягкой, кривой улыбкой, рассказывал нам, за что он сражается.

— Я человек необразованный, — начал он, — но я знаю, что война — самое последнее дело для любого народа. Только когда уж невозможно терпеть, народ берется за оружие, а? Раз уж мы подняли руку на своих же братьев, то нужно добиться чего-нибудь хорошего, а? Вы в Соединенных Штатах и не представляете, что видали мы, мексиканцы! Мы тридцать пять лет смотрели, как грабили наш народ, — простой, бедный народ, а? Мы видели, как руралес и солдаты Порфирио Диаса расстреливали наших братьев и отцов, отказывая им в правосудии. Мы видели, как у нас отнимали последнюю землю, а самих отдавали в рабство, а? Мы мечтали о своих домашних очагах и школах, где могли бы учиться, а над нами только смеялись. Мы ведь хотели только, чтобы нам не мешали жить и трудиться, чтобы наша родина стала великой, и нам уже надоело терпеть этот вечный обман...

Снаружи под облаками кружилась пыль, в которой маячили стремительно мчавшиеся длинные ряды конников; офицеры, проходя вдоль рядов, тщательно осматривали патронные ленты и винтовки...

— Херонимо, — сказал капитан одному из солдат, — иди-ка к поезду с боеприпасами и пополни свой запас. Ты, дурак, расстрелял свои патроны на койотов!

На запад через пустыню к отдаленным горам скакали всадники — первые отряды, уходившие на фронт. Всего их было около тысячи, они двигались десятью колоннами, расходившимися, как спицы в колесе; звенели шпоры, развевались красно-бело-зеленые флаги, тускло сверкали патронные ленты, надетые крест-накрест, подпрыгивали положенные поперек седел винтовки, мелькали тяжелые высокие сомбреро и разноцветные серапе. За каждым отрядом брели пешком десять — двенадцать женщин, тащившие кухонные принадлежности на головах и спинах, иногда они гнали мула, навьюченного мешками с кукурузой. Проезжая мимо поездов, солдаты перекликались со своими товарищами в вагонах...

— Poco tiempo California! ¹ — крикнул кто-то.

— Сразу видно, colorado! — отозвался другой. — Бьюсь об заклад, что ты был в отряде Саласара при перевороте Ороско. Только Саласар, напившись, всегда кричал: «Poco tiempo California!», а больше никто.

— А тебе что? Может, и был, — ответил первый, немного смутившись. — Но погоди, дай мне добраться до своих прежних contranegos. Тогда увидишь, мадерист я или нет!

Ехавший в арьергарде индеец громко возразил:

— Я знаю, какой ты мадерист, Луисито. При первом взятии Торреона Вилья предложил тебе на выбор: либо перейти на нашу сторону, либо получить пулю в затылок!

С песнями и шутками кавалеристы поскакали в юго-западном направлении, становясь все меньше и меньше, и наконец исчезли в облаках пыли.

Сам Вилья стоял у вагона, засунув руки в карманы. На нем была старая шляпа с обвисшими полями, грязная рубашка без воротничка и сильно потертый, лоснящийся коричневый костюм. Как по волшебству, вся окутанная пылью равнина перед ним вдруг покрылась лошадьми и людьми. Всадники поспешно седлали лошадей, надтреснутые рожки трубили сбор. Сарагосская бригада готовилась к выступлению — фланговый отряд в две тысячи человек, которому предстояло отправиться на юго-восток и атаковать Тлахуалило и Сакраменто. Сам Вилья только что прибыл в Йермо. По дороге он задержался на ночь в Камарго, чтобы присутствовать на свадьбе какого-то contradre. Вид у него был очень усталый.

— Carraamba! — сказал он со смехом. — Мы начали плясать в понедельник вечером, проплясали всю ночь, весь следующий день, да и вчерашнюю ночь! Вот это был baile! А какие muchachas! Красивей девушек, чем в Камарго и Санта Росалия, не найти во всей Мексике! Устал вконец — rendido! Легче выдержать двадцать сражений!..

Затем Вилья выслушал рапорт штабного офицера, подскакавшего к нему верхом, без запинки отдал ему подробное распоряжение, и офицер так же быстро ускакал.

¹ Скоро Калифорния! (испанск.)

Потом он указал сеньору Кальсадо, директору железных дорог, в каком порядке должны двигаться на юг поезда. Сеньору Уро, главному квартирмейстеру, он отдал приказ, какие припасы надо взять из армейских поездов и распределить среди солдат. Сеньору Муносу, начальнику телеграфа, он назвал фамилию капитана армии федералистов, неделю тому назад окруженному частями Урбины вблизи Ла Кадена и уничтоженному со всем отрядом, и приказал, подключившись к линии федералистов, послать депешу генералу Веласко в Торреон, рапорт этого капитана из Конехоса, а также запрос о дальнейших распоряжениях... Казалось, Вилья все знает и обо всем думает.

Мы завтракали с генералом Еугенио Агирре Бенавидесом, спокойным косоглазым человечком, командиром Сарагосской бригады, принадлежавшим к одному из самых образованных семейств в Мексике, примкнувшему к Мадеро в первую революцию; с Раулем Мадеро, братом убитого президента, помощником командира бригады, — он окончил американский университет и походит на уолл-стритовского маклера; с полковником Герра, тоже получившим образование в Америке, и майором Лейва, племянником Ортеги, историческим защитником из футбольной команды «Нотр-Дам»...

Огромным кругом расположилась готовая к действию артиллерия, зарядные ящики были открыты, мул привязан в центре. Полковник Сервин, командующий батареей, сидел верхом на большом гнедом коне — он был до нелепости низкого роста, всего пять футов. Он махал рукой, здороваясь с генералом Ангелесом, военным министром в правительстве Каррансы, — высоким, худым человеком, в коричневом свитере, без шляпы и с военной картой Мексики, перекинутой через плечо, который ехал на маленьком ослике. В густых облаках пыли, обливаясь потом, трудились солдаты. Пять американских артиллеристов курили, спрятавшись от ветра за пушкой. Увидев меня, они закричали:

— Эй, дружище. Какого дьявола ввязались мы в эту кашу? Ничего во рту не было со вчерашнего вечера, работаем по двенадцать часов... Послушай, сфотографируй-ка нас!

Мимо прошел, по-дружески кивнув мне, английский солдат, когда-то служивший под командой Китченера,

затем. — канадец, капитан Трестон, громко звавший своего переводчика, — ему нужно было отдать приказ солдатам относительно пулеметов, — и наконец капитан Маринелли, толстый итальянец, «солдат наживы», обрушивал на скучающего мексиканского офицера бесконечный поток неудобоваримой смеси из французских, испанских и итальянских слов. Проехал Фиерро, безжалостно шпоря коня, у которого рот был изорван в кровь. Фиерро, красивый, жестокий, наглый, прозванный «Мясником» за то, что он собственноручно убивал беззащитных пленных и без малейшего повода расстреливал своих собственных солдат.

К вечеру Сарагосская бригада ускакала в пустыню, и еще одна ночь спустилась на землю.

В темноте ветер усиливался, и с каждой минутой становилось все холоднее и холоднее. Я посмотрел на небо, еще недавно усыпанное яркими звездами, — его заволокло тяжелыми черными тучами. В ревущих клубках пыли сверкали огненные нити — это летели на юг искры от костров. Когда где-нибудь открывали паровозную топку, над вереницей поездов вспыхивало багровое зарево. Вдруг нам показалось, что где-то вдали началась канонада. Но тут неожиданно небо ослепительно разверзлось от горизонта до горизонта, грянул гром и полил страшный ливень. На одну секунду гудение бесчисленных голосов смолкло. Костры сразу погасли. И затем воздух сотрясли сердитые крики и смех солдат, застигнутых врасплох дождем на равнине, и невероятной силы вопль женщин. Но этот концерт длился не больше минуты. Солдаты, закутавшись в серапе, укрылись в чапарале, а сотни женщин и детей, сидевших на крышах вагонов и на открытых платформах, без всякой защиты от дождя и холода, безмолвно, с индейским стоицизмом, прижались друг к другу и стали ожидать рассвета. Впереди, в вагоне генерала Макловни Эррера, слышался пьяный смех и пение под гитару...

На рассвете загревели бесчисленные трубы, и, взглянув из двери вагона, я увидел, что пустыня на многие мили кругом кишит вооруженными солдатами, сидящими на лошадях. В прозрачное небо из-за восточных гор выплыло пылающее солнце. Над землей за клубился пар, и вот она снова стала сухой и пыльной. Дождя словно и не было. На крышах вагонов дымились сотни

небольших костров. Готовя завтрак, женщины сушили на солнце платья, болтали и шутили. Сотни голых детишек вертелись вокруг, пока матери сушили их рубашонки. Тысячи кавалеристов весело перекликались, радуясь, что наконец-то идут в наступление; какой-то полк от восторга палил в небо. Ночью прибыли еще шесть больших поездов с войсками, паровозы свистели, подавая сигналы.

Я направился вперед, чтобы уехать с первым поездом, и, проходя мимо вагона Тринидада Родригеса, услышал резкий женский голос: «Эй, детка! Заходи, позавтракаем вместе!» Из дверей вагона высывались Беатриса и Кармен, две известные всему Хуаресу женщины, которых увезли на фронт братья Родригес. Я вошел в вагон и уселся за стол, где уже сидело человек двенадцать: несколько докторов из полевого госпиталя, артиллерийский капитан француз и пестрая смесь мексиканских офицеров и рядовых. Это был обыкновенный товарный вагон, но только с прорезанными в стенах окнами и перегородкой для кухни, где работал повар китаец, и с койками по бокам и в конце вагона. Завтрак состоял из мяса с перцем, бобов, холодных пшеничных лепешек и шести бутылок шампанского. У Кармен был унылый вид и нездоровый цвет лица, — такая диета, очевидно, не шла ей на пользу, — но Беатриса, с коротко подстриженными рыжими волосами, с бледным бескровным лицом, вся светилась злокозненной радостью. Она была мексиканкой, но говорила на языке нью-йоркских притонов без малейшего акцента. Выскочив из-за стола, она закружилась по вагону, дергая мужчин за волосы.

— Здравствуй, здравствуй, проклятый гринго! — со смехом обратилась она ко мне. — Что ты тут делаешь? Так и знай: получишь пулю, если не побережешься.

Мрачный молодой мексиканец, уже порядочно пьяный, злобно бросил ей по-испански:

— Не разговаривай с ним! Поняла? Я расскажу Тринидаду, как ты пригласила гринго завтракать, и он тебя застрелит.

Беатриса откинула голову назад и расхохоталась.

— Слышите, что он говорит? Переночевал со мной раз в Хуаресе и уже думает, что я теперь его!.. Господи, до чего чудно ездить на поезде и не брать билета!

— Послушайте, Беатриса, — сказал я, — нам может прийтись там жарко. Что вы будете делать, если нас разобьют?

— Кто, я? — воскликнула она. — Ну, обо мне не беспокойтесь! Я скоро заведу дружков среди федералистов. У меня прекрасный характер.

— Что она сказала? Что ты говоришь? — спрашивали ее по-испански.

Не моргнув и глазом, Беатриса перевела свои слова. Среди поднявшегося шума я вышел из вагона.

Глава III

ПЕРВАЯ КРОВЬ

Первым отошел поезд с цистернами с водой. Я ехал на передней площадке паровоза, где давно уже поселились две женщины и пятеро детей. На узкой железной площадке они разложили костер из веток мескита и пекли лепешки, над их головами ветер, свистевший по сторонам котла, трепал протянутую веревку со свежестираным бельем.

День выдался чудесный. Нещадно палящее солнце время от времени скрывалось за огромными белыми облаками. Двумя густыми колоннами по обе стороны пути армия двигалась на юг. Над ними плыло огромное двойное облако пыли. Армия двигалась вперед, отряд за отрядом, иногда мелькали большие мексиканские флаги. Между колоннами медленно ползли поезда; столбы черного паровозного дыма, подымавшиеся через равные интервалы, казалось укорачивались к горизонту на севере, где расплывались в грязный туман.

Я зашел в служебный вагон, чтобы напиться воды, и увидел проводника, который лежал на койке и читал библию. Он был так увлечен и так смеялся, что с минуту не замечал меня. А когда заметил, закричал весело:

— Oiga, я вычитал в этой книге забавную историю об одном парне по имени Самсон, который был *un homme* — настоящий мужчина, — и о его девке. Она, наверное, была испанка — такую она с ним подлую шутку сыграла. Он сначала был революционером, мадеристом, а она сделала его стриженным!

«Стриженные» — презрительная кличка федералистов, так как федеральных солдат нередко вербуют в тюрьмах.

Наш авангард с полевым телеграфом еще накануне выступил в Конехос, и теперь он встретил наш поезд в страшном волнении. Пролилась первая кровь этой кампании: несколько colorados, посланные на разведку севернее Бермехильо, были захвачены врасплох у отрога большой горы, лежащей к востоку, и все перебиты. У телеграфиста тоже были новости. Он опять подключился к проводу федеральной армии и от имени убитого капитана послал депешу федеральному командующему в Торреоне, спрашивая его распоряжений ввиду наступления с севера больших отрядов повстанцев. Генерал Веласко ответил, чтобы капитан во что бы то ни стало удержал Конехос, а также чтобы послал разведку в северном направлении — узнать, как велики силы неприятеля. Одновременно телеграфист перехватил донесение Аргумедо, командующего отрядом федералистов в Матими. В этом донесении говорилось, что на Торреон наступают войска всей Северной Мексики вместе с американской армией!

Конехос отличался от Йермо только тем, что здесь не было водокачки. Тысячи солдат с седобородым генералом Росалио Эрнандесом, ехавшим во главе, выступили в поход сразу; за ними, на расстоянии нескольких миль, последовал ремонтный поезд, остановившись в том месте, где федералисты несколько месяцев назад сожгли два железнодорожных моста. А дальше, за последним небольшим бивуаком огромной армии, расположившейся вокруг нас, в жарком мареве спала безмолвная пустыня. Ветер стих. Солдаты со своими женами собрались на платформах, появились гитары, и всю ночь над поездами звенели сотни поющих голосов.

На следующее утро я отправился в вагон Вильи. Это — небольшой красный вагон с ситцевыми занавесками на окнах, знаменитый вагончик, в котором Вилья ездит со времени падения Хуареса. Он разделен перегородкой на две половины — кухню и спальню генерала. Эта комнатка была сердцем армии конституционалистов. Здесь происходили все военные совещания, и пятнадцать генералов, принимавшие в них участие, с трудом умещались в ней. На этих совещаниях обсуждались важнейшие вопросы кампании, генералы ре-

шали, что надо делать, а затем Вилья отдавал приказы, какие считал нужными. Стены вагона были выкрашены в грязно-серую краску, к ним приколоты фотографии прекрасных дам в театральных позах, большой портрет Каррансы, фотография Фиерро и портрет самого Вилья. В стены были вделаны две широкие откидные полки, на одной спали Вилья и генерал Анхелес, на другой — Хосе Родригес и доктор Рашбаум — личный врач Вилья. Вот и все...

— Que desea, amigo? (Что вам нужно, дружище?) — спросил меня Вилья, сидевший на краю полки в одном белье. Солдаты, толкавшиеся здесь без дела, лениво пропустили меня.

— Мне нужна лошадь, *mi General!*

— Черт возьми, нашему другу потребовалась лошадь! — саркастически улыбнулся Вилья, и все окружающие расхохотались. — Вы, корреспонденты, того гляди потребуете себе автомобиль! Oiga, сеньор корреспондент, известно ли вам, что около тысячи солдат в моей армии не имеют коней? Вот вам поезд. Зачем вам еще лошадь?

— Затем, чтобы поехать с авангардом.

— Нет! — улыбнулся он. — Слишком много пуль летит навстречу авангарду...

Разговаривая, он быстро одевался и время от времени потягивал кофе прямо из грязного жестяного кофейника. Кто-то подал ему его саблю с золотым эфесом.

— Нет! — сказал он презрительно. — Мы идем в бой, а не на парад. Подайте мне мою винтовку!

Минуту он стоял у двери своего вагона, задумчиво глядя на длинные ряды живописных всадников, вооруженных самым различным образом, но непременно с перекрещивавшимися патронными лентами на груди. Затем он быстро отдал несколько распоряжений и вскочил на своего огромного жеребца.

— *Vamonos!*¹ — крикнул Вилья. Заиграли трубы, раздалось мелодичное позвякивание, и отряды один за другим поворачивали к югу и скрывались в облаках пыли.

Наконец из виду исчезла вся армия. В течение дня с юго-запада до нас доносилась слабая канонада — там,

¹ Пошли! (испанск.)

по донесениям, Урбина, спустившись с гор, собирался атаковать Мапими. К вечеру стало известно о захвате Бермехильо, а гонец, присланный генералом Бенавидесом, сообщил, что взят Тлахуалило.

Охваченные горячкой нетерпения, мы ждали отъезда. На закате сеньор Кальсадо сказал, что ремонтный поезд отправляется через час, и я, схватив одеяло, прошел милою вдоль составов, прежде чем добрался до него.

Глава IV

В БРОНИРОВАННОМ ВАГОНЕ

Первый вагон ремонтного поезда представлял собой закрытую стальной броней платформу, на которой стояло знаменитое орудие конституционалистов «Эль Ниньо», а позади него — открытый зарядный ящик, наполненный снарядами. Дальше следовал бронированный вагон с солдатами, потом платформа с рельсами, затем четыре вагона со шпалами и наконец паровоз. Машинист и кочегар были обвешаны патронными лентами, винтовки были тут же у них под рукой. За паровозом шли два-три товарных вагона с солдатами и их жёнами.

Это было опасное предприятие. В Мапими стоял большой отряд федералистов, и всюду в окрестностях сновали их разъезды. Наша армия была уже далеко впереди, и поезда в Конехосе охраняло только пятьсот человек. Если бы неприятелю удалось захватить или вывести из строя ремонтный поезд, армия осталась бы без воды, продовольствия и боеприпасов.

Мы выехали, когда уже стемнело. Я сидел на казенной части «Эль Ниньо» и болтал с капитаном Диасом, командиром орудия, пока он смазывал замок своей любимой пушки, покручивая торчавшие кверху усы. В бронированной будочке позади орудия, где спал капитан, я услышал какой-то странный, приглушенный шорох.

— Что это там?

— А? — сказал он нервно. — Там ничего нет!

Но в эту минуту из будочки показалась молодая милостивая индианка с бутылкой в руке. На вид ей было не больше семнадцати лет. Капитан, бросив взгляд в мою сторону, быстро обернулся к ней.

— Что тебе здесь надо? — злобно спросил он ее. — Зачем ты вышла сюда?

— Мне показалось, что вы просили пить, — сказала она.

Я понял, что я здесь лишний, и поспешил ретироваться. Они даже не заметили, как я ушел. Перелезая через стенку платформы, я на минуту задержался и прислушался. Они были уже в будке, девушка плакала.

— Разве я не говорил тебе, — бушевал капитан, — чтобы ты не показывалась при других? Я не потерплю, чтобы все мужчины в Мексике пялили на тебя глаза!

Я стоял на крыше покачивавшегося бронированного вагона. Поезд медленно полз вперед. Лежа на животе на самом краю передней платформы, двое солдат с фонарями в руках тщательно следили, нет ли где на рельсах проволоки от мин, заложенных неприятелем. У моих ног солдаты и их жены ужинали, сидя вокруг разложенных на полу костров. Дым вырывался из бойниц; слышался смех... На крышах вагонов позади тоже горели костры, вокруг них сидели загорелые оборванные люди. В безоблачном небе над головой сверкали звезды. Было холодно.

Через час мы подъехали к месту, где путь был разрушен. Поезд, дернув, остановился, засвистел паровоз, мимо промелькнуло десятка два факелов и фонарей. Бежали рабочие. Факелы сдвинулись — это десятники осматривали путь. В кустах вспыхнул костер, за ним — другой. Подошли солдаты поездной охраны, таща за собой винтовки, и образовали непроницаемую стену вокруг костров. Раздался лязг железных инструментов и крики: «Эй-гой!» — это рабочие сбрасывали рельсы с платформ. Напоминая китайского дракона, прошли рабочие, тащившие рельсы, за ними следовали другие — со шпалами. Четыреста человек с необыкновенной энергией и воодушевлением взялись за восстановление поврежденного участка: стук молотов, забивавших костыли, и крики бригад, укладывавших рельсы и шпалы, слились в один сплошной гул. Повреждение было старым, оставшимся еще от того времени, когда год назад эти самые конституционалисты отступали на север под натиском федеральной армии Меркадо, и за один час все было исправлено. Поезд двинулся дальше. Иногда мы чинили сожженные мосты, иногда укладывали новый путь там,

где рельсы были сорваны и скручены, как виноградные лозы, — это проделывается с помощью цепи и паровоза, идущего задним ходом. Мы продвигались медленно. Возле большого моста, на ремонт которого требовалось не меньше двух часов, я разложил костер, чтобы согреться. Кальсадо, проходя мимо, крикнул мне:

— Сейчас мы поставили дрезину и поедем вперед посмотреть убитых. Хотите ехать с нами?

— Каких убитых?

— А вот каких. Сегодня утром отряд из восьмидесяти руралес был послан на разведку севернее Бермехильо. Мы перехватили об этом телеграмму и сообщили Беневидесу на левом фланге. Он послал отряд им в тыл и отогнал их на север. Через пятнадцать миль они наткнулись на расположение наших главных частей, и никто из них не ушел живым. Их трупы валяются по всему пути.

Спустя минуту мы уже катили на дрезине на юг. С правой и с левой стороны во мраке молча скакали два всадника — наша охрана, державшие винтовки наготове. Вскоре огни и костры поезда остались далеко позади и нас окутала мертвая тишина пустыни.

— Да, — сказал Кальсадо, — руралес очень храбры. Они *тиу hombres*. Это лучшие солдаты и Диаса и Уэрты. Они никогда не переходят на сторону революции. Они всегда верны существующему правительству, потому что они — полиция.

Было страшно холодно. Мы почти не разговаривали.

— Мы едем перед поездом ночью, — сказал солдат, сидевший слева от меня, — и если где-нибудь под насыпью заложены динамитные бомбы...

— Мы их обнаружим, выкопаем и нальем в них воды, *сагамба!* — сказал другой насмешливо. Остальные рассмеялись. Я представил себе это, и меня пробрала дрожь. Мертвая тишина пустыни казалась зловещей. В десяти шагах от полотна дороги ничего не было видно.

— *Oiga!* — вскричал один из всадников. — Где-то тут лежал один из них.

Заскрипели тормоза, мы соскочили с дрезины и бросились вниз по крутому откосу, освещая себе путь фонарями. У телеграфного столба лежал какой-то бесформенный комок, маленький и жалкий, словно куча тряпья. Убитый, один из руралес, лежал на спине, изогнувшись.

Бережливые повстанцы сняли с него все, что представляло ценность, — башмаки, шляпу, белье. Рваную куртку, обшитую почерневшим серебряным галуном, не тронули, так как она была прострелена в семи местах, не забрали и брюк, насквозь пропитанных кровью. При жизни он, очевидно, был гораздо крупнее, — ведь мертвые сильно сжимаются. Взлохмаченная рыжая борода усиливала бледность лица и делала его особенно жутким, и вдруг мы заметили, что под этой бородой, под грязью, налипшей на длинные полосы пота, оставленного часами боя и бешеной скачки, его рот был как-то мягко и умиротворенно полуоткрыт, будто он спал. Голова его была прострелена навывлет.

— Черт возьми! — сказал один из кавалеристов. — Вот это выстрел. Прямо в голову!

Другие рассмеялись.

— Неужто ты, дурак, в самом деле думаешь, что пуля угодила ему в голову во время боя? — сказал его товарищ. — Ведь потом всех убитых на всякий случай...

— Сюда! Я нашел еще одного, — раздался голос в темноте.

Мы живо представили себе последние минуты этого человека. Он упал, раненный, — на земле была кровь, — в неглубокий овражек. Мы даже нашли место, где стояла его лошадь, пока он дрожащими руками закладывал патроны в маузер и стрелял, стрелял — сначала туда, где мчались, испуская дикие вопли, его преследователи, а затем в тысячи безжалостных всадников, мчавшихся с севера, во главе с самим «дьяволом» Панчо Вилья. Он, вероятно, долго отстреливался — его окружили стеной сплошного огня, как мы догадались по сотням пустых гильз. А затем, когда вышли все патроны, он бросился бежать на восток под градом пуль; на минуту спрятался под железнодорожным мостом, потом выбежал на открытое место, где и упал. На трупe было двадцать огнестрельных ран.

С этого убитого содрали все, кроме нижнего белья. Он застыл в позе отчаянной борьбы, мускулы были напряжены, один кулак крепко сжат, словно для удара; лицо искажено свирепой, ликующей улыбкой. Сильным и диким казался убитый, но, присмотревшись поближе, можно было подметить ту еле заметную печать слабости, которой смерть отмечает все живое, — выражение

бессмысленной тупости. Ему прострелили голову в трех местах — вот в какое бешенство привел он своих преследователей!

И опять мы медленно ползем на юг в холодном мраке. Несколько миль — и снова взорванный мост или поврежденный путь. Остановка, танцующие факелы, огромные костры, принизывающие мрак пустыни, и четыреста человек, быстро выскакивающие из вагонов и с остервенением набрасывающиеся на работу... Ведь Вилья приказал торопиться...

Часа в два утра я подошел к костру, возле которого сидели две *soldaderas*, и спросил, не найдется ли у них для меня лепешек и кофе. Одна из них была седой старухой индианкой с застывшей на лице гримасой улыбки, другая — молодой тоненькой девушкой лет двадцати, не больше, с четырехмесячным ребенком на руках. Они устроились на самом краешке платформы, разложив огонь на куче песка. На платформе вповалку спали громко храпевшие люди. Весь поезд был погружен во мрак, и этот костер был единственным огоньком. Я жевал предложенную мне лепешку; старуха, взяв голыми пальцами горящий уголь, закурила папиросу, свернутую из кукурузного листка, и бормотала что-то о неведомо куда ускакавшей бригаде ее Пабло. Молодая мать укачивала ребенка, прижав его к груди, ее голубые эмалевые серьги поблескивали в свете костра. Мы разговорились.

— Ну и жизнь наша несчастная, — жаловалась молодая женщина. — Мы едем со своими мужьями, а сами не знаем, будут они живы через час или нет. Я хорошо помню, как мой Филадельфо пришел ко мне как-то утром, еще не совсем рассвело — мы жили в Панчуке, — и сказал: «Собирайся! Мы идем воевать, потому что сегодня убит добрый Панчо Мадеро!» Мы любили друг друга всего только восемь месяцев — еще первый ребенок не родился... Мы все верили, что мир в Мексике установился навсегда. Филадельфо оседлал осла, и мы поехали по улицам, когда только начинало светать, и выехали в поле, где никого еще не было видно за работой. И я сказала: «А почему я должна ехать?» Он сказал: «А что же, по-твоему, я должен голодать? Кто мне будет печь лепешки, как не жена?» Целых три месяца мы были в дороге, я заболела в пустыне, и тогда же родился мой первый ребенок и вскоре умер, потому

что мы не могли достать воды. Это было в ту пору, когда Вилья после взятия Торреона пошел на север...

— Да, правда, — перебила старуха. — Чего только не приходится переносить нам ради своих мужчин, а тут еще эти проклятые собаки-генералы издеваются над нами. Я сама из Сан Луис-Потоси, и мой муж служил в федеральной артиллерии, когда Меркадо пришел на север. Мы ехали до самого Чиуауа, а этот старый дурак Меркадо еще ворчал, что приходится возить за армией женщин. Потом он отдал приказ армии двинуться на север и атаковать Вилью в Хуаресе, а женщинам запретил следовать за мужьями. Так вот ты как, неблагодарная тварь, сказала я самой себе. И когда он ушел из Чиуауа и бежал в Охинагу, захватив с собой моего мужа, я осталась в Чиуауа и скоро нашла себе мужа в мадеристской армии, когда она вступила в город. И хорошего, красивого парня — гораздо лучше Хуана. Я не такая женщина, чтобы мной помыкали.

— Сколько вам следует за лепешки и кофе? — спросил я.

Женщины удивленно переглянулись. Они, вероятно, приняли меня за солдата без гроша в кармане.

— Сколько дадите, — чуть слышно произнесла молодая женщина. Я дал им песо.

Старуха разразилась целой молитвой.

— Господи боже, его пресвятая мать, блаженный Ниньо и наша божья мать Гваделупская послали нам этого чужестранца. У нас уже ни сентаво не было на муку и на кофе.

Я вдруг заметил, что свет нашего костра побледнел, и, оглянувшись, с удивлением увидел, что уже рассветало. Вдоль поезда бежал какой-то солдат, крича что-то непонятное, а вслед ему неслись восклицания и громкий хохот. Спавшие с любопытством приподнимали головы, желая узнать, что случилось. В один миг наша безмолвная платформа оживилась. Человек, пробегая мимо, все еще кричал что-то о «padre»¹, и лицо его расплывалось в широкой улыбке.

— В чем дело? — спросил я.

— Да вот, — сказала старуха, — у его жены в другом вагоне только что родился ребенок!

¹ отце (испанск.).

Впереди, прямо перед нами, лежал Бермехильо, его розовые, голубые и белые домики были так изящны и воздушны, словно сделаны из фарфора. На востоке, по тихой пустыне, где еще не клубилась пыль, к городу приближался небольшой отряд всадников с красно-белозеленым флагом...

Глава V

У ВОРОТ ГОМЕСА

Мы взяли Бермехильо вчера днем, — в пяти километрах севернее города армия перешла на бешеный галоп, пронеслась через него во весь опор и погнала застигнутый врасплох гарнизон на юг. Эта схватка продолжалась на протяжении пяти миль — до асиенды Санта Клара, и было убито сто шесть colorados. Несколько часов спустя на высотах у Мапими показался отряд Урбины, и находившиеся там восемьсот colorados, к своему крайнему изумлению узнав, что вся армия конституционалистов обходит их с правого фланга, поспешно эвакуировали город и стремглав умчались в Торреон. По всем направлениям застигнутые врасплох, федералисты в панике отступали к этому городу.

К вечеру из Мапими по узкоколейке прибыл паровозик, тащивший старые вагоны. Из них доносилось громкое треньканье десяти гитар, игравших «Воспоминание о Дуранго». Как часто я под эти звуки отплясывал с солдатами эскадрона! Крыши, двери и окна поезда были забиты солдатами, которые громко пели, отбивая такт каблуками, и стреляли в воздух, салютуя городу. Когда этот забавный поезд подполз к платформе, из него вышел не кто иной, как Патричио, боевой кучер генерала Урбины, вместе с которым мне так часто приходилось разъезжать и плясать. Он бросился мне на шею, восклицая:

— Хуанито! Глядите, *mi General*, здесь Хуанито!

Через минуту мы уже засыпали друг друга бесконечными вопросами. Напечатал ли я его снимки? Буду ли я участвовать в наступлении на Торреон? Не знает ли он, где теперь дон Петронило? А Пабло Сеанес? А Рафаэлито? В самый разгар нашей беседы кто-то закричал: «Вива Урбина!» — и в дверях вагона показался сам старый генерал — неустрашимый герой Дуранго. Он

хромал, и его поддерживали два солдата. В одной руке он держал винтовку — устаревший, негодный спрингфилд со спиленным прицелом, — две патронные ленты обвивали его талию. Несколько секунд он стоял неподвижно, с бесстрастным выражением на лице, буравя меня маленькими жесткими глазками. Я было подумал, что он меня не узнал, как вдруг услышал знакомый хриплый голос:

— У вас другой фотоаппарат! А где же старый?

Я хотел ответить, но он перебил меня:

— Я знаю. Бросили его в Ла Кадене. А что — удирали во все лопатки?

— Да, *mi General*.

— А теперь вы едете в Торреон, чтобы снова удирать во все лопатки?

— Когда я решил удирать из Ла Кадены, — ответил я, слегка задетый, — дон Петронило со своим отрядом опередил меня на целую милю.

Он ничего не сказал в ответ и, прихрамывая, начал сходить со ступенек, а солдаты кругом так и покатались со смеху. Подойдя ко мне, он обнял меня за плечи и похлопал по спине.

— Рад вас видеть, *сотрапего*, — сказал он.

В пустыне стали появляться солдаты, раненные в бою при Тлахуалило. Они направлялись к санитарному поезду, стоявшему далеко от нас вторым или третьим в длинной веренице поездов. На плоской голой равнине мне были видны только три движущиеся группы: хромающий солдат без шапки, с рукой, обвязанной окровавленным тряпьем; другой солдат, ковыляющий рядом со своей еле бредущей лошадью, и далеко позади них — мул, на котором сидели две обмотанные бинтами фигуры. Из тихой душной тьмы до нашего вагона доносились стоны и вопли.

Утром в воскресенье я уже снова сидел рядом с «Эль Ниньо» на головной платформе ремонтного поезда, который медленно подвигался вперед параллельно с армией. На второй платформе была установлена другая пушка, «Эль Чавалито», за ней были прицеплены два бронированных вагона и вагоны-мастерские. На этот раз женщин там не было. Армия, двумя огромными змеями извивавшаяся по обе стороны пути, стала какой-то другой: не слышно было ни смеха, ни криков. Мы

находились совсем близко от неприятеля, всего в восемнадцати милях от Гомес Паласио, и никто не знал, что нам готовят федералисты. Не верилось, что они подпустят нас еще ближе, не попробовав оказать сопротивления.

Южнее Берхемильо мы сразу же вступили как будто в другую страну. Голую пустыню сменили поля с оросительными каналами, вдоль которых росли зеленые великаны аламо, представлявшие очень приятный контраст с оставшейся позади сожженной плоской равниной. Здесь тянулись плантации хлопка и кукурузы, белые коробочки хлопка не были собраны и гнили на стеблях; кукуруза только-только начинала выгонять зеленые ростки. По глубоким каналам, в тени деревьев, быстро струилась вода. Пели птицы, а голые западные горы, по мере нашего продвижения на юг, подходили все ближе и ближе...

Возле асиенды Санта Клара густые колонны армии остановились и начали развертываться направо и налево; вереницы всадников двигались в тени огромных деревьев, среди солнечных бликов, пока наконец шесть тысяч человек не развернулись в одну длинную шеренгу. Ее правый фланг тянулся через орошенные поля и пустыню до самых гор; а левый терялся в мареве, окутывавшем равнину. Где-то вдали, а потом совсем рядом, загремели трубы, и могучая шеренга двинулась вперед через всю равнину. Над головами всадников, словно ореол славы, поднялось облако золотистой пыли в пять миль шириной. Развевались флаги. В центре, держась вровень с армией, шел бронированный поезд, а рядом с ним скакал Вилья со своим штабом. Жители окрестных деревушек — *racíficos* — в огромных широкополых шляпах и белых блузах, с безмолвным удивлением следили за этой катящейся лавиной. Какой-то старик гнал домой стадо коз. Волна весело вопящих всадников на взмыленных конях надвинулась на него, и козы разбежались во все стороны. По шеренге на целую милю прокатился хохот, из-под тысячи копыт за клубилась пыль, и волна хлынула дальше. В деревне Бриттингэм огромная шеренга остановилась, и Вилья со штабом подскочил к пеонам, столпившимся на небольшом холмике.

— Oyes!¹ — обратился к ним Вилья. — Здесь за последние дни проходили какие-нибудь войска?

— Si, señor! — ответило сразу несколько человек. — Вчера здесь проскакали gente дона Карло Аргумедо.

— Гм! — буркнул Вилья. — А не видали ли вы здесь бандита Панчо Вилью?

— Нет, сеньор! — хором ответили пеоны.

— А я как раз ищу его. И если захвачу этого diablo², ему придется туго.

— Желаем вам успеха! — вежливо проговорили racistas.

— А вы никогда его не видали, а?

— Нет, сохрани бог! — воскликнули они горячо.

— Так вот, — усмехнулся Вилья, — в следующий раз, когда вас спросят об этом, вам придется признаться в своем позоре! Я — Панчо Вилья!

С этими словами он пришпорил коня, и вся армия двинулась вслед за ним...

Глава VI

ВСТРЕЧА С COMPANEROS

Наступление Вильи для федералистов явилось такой неожиданностью и они бежали так поспешно, что железнодорожный путь на многие мили остался неповрежденным. Но к полудню нам стали попадаться сожженные, еще дымящиеся мосты и телеграфные столбы, срубленные топором, — разрушения, сделанные наспех, которые нетрудно было исправить. Однако армия ушла далеко вперед, и к ночи, когда мы были примерно в восьми милях от Гомес Паласио, мы достигли места, где железнодорожный путь был разрушен на протяжении всех этих восьми миль. В нашем поезде не осталось уже запасов продовольствия; на каждого солдата приходилось лишь по одному одеялу, а ночь была холодная. При свете факелов и костров ремонтная бригада принялась за починку пути. Слышались крики, звон стали, грохот падающих шпал... Ночь была темная, на небе лишь кое-где тускло мерцали звезды. Расположившись вокруг костра, мы разговаривали и дремали, как вдруг

¹ Слушайте! (испанск.)

² дьявола (испанск.).

воздух прорезал новый звук, более гулкий, чем стук молотов, более низкий, чем вой ветра. Грохнуло — и опять тишина. Потом прокатился нарастающий гул, словно рокот отдаленных барабанов, и затем — бум! бум! Молоты опустились, голоса стихли, мы замерли, напряженно прислушиваясь. Где-то впереди в непроглядном ночном мраке (было так тихо, что малейший звук разносился на много миль кругом) Вилья со своей армией обрушился на Гомес Паласио, и начался бой. Гул медленно и неотвратно нарастал, и вот уже пушечные выстрелы слились в сплошной грохот, а ружейные выстрелы трещали так, словно там шел стальной дождь.

— Andale! — раздался хриплый голос с крыши бронированного вагона. — Что вы там копаетесь! За работу! Панчо Вилья ждет поездов!

С громкими криками четыреста человек рабочих как бешеные бросились чинить разрушенный путь.

Помню, как мы просили полковника, начальника поездов, отпустить нас на фронт. Он не разрешил. Приказ строжайшим образом запрещал кому бы то ни было покидать поезда. Мы умоляли его, предлагали ему деньги, чуть не становились перед ним на колени. Наконец он немного смягчился.

— В три часа я сообщу вам пароль и отзыв и отпущу вас, — сказал он.

Мы, несчастные, свернулись клубочками у своего маленького костра, пытаюсь заснуть или хотя бы согреться. Вокруг нас и впереди, вдоль разрушенного пути, метались факелы, сутились люди, и примерно каждый час поезд продвигался шагов на сто и опять останавливался. Ремонтировать путь было нетрудно — рельсы сохранились в полной исправности. Паровоз, разрушавший путь, захватывал цепью рельс с правой стороны и срывал, переворачивал, ломал шпалы... А из мрака доносился однообразный, страшный гул яростного боя. Он был такой утомительный, такой монотонный, этот гул, и все же я не мог заснуть...

Около полуночи от заднего поезда прискакал один из наших патрульных с известием, что с севера движется большой отряд кавалерии. Когда их окликнули, всадники назвались gente Урбины из Мапими. По сведениям полковника, в этот час мимо нас не должны были проходить никакие войска. Мгновенно начались

лихорадочные приготовления. Двадцать пять вооруженных всадников бешеным галопом помчались к заднему поезду с приказом полковника задержать прибывших на пятнадцать минут, если это действительно конституционалисты, а если нет, задержать их как можно дольше. Рабочие немедленно вернулись к вагонам и схватили свои винтовки. Костры были потушены, все факелы, кроме десяти, погашены. Наша охрана из двухсот человек тихонько нырнула в кусты, на ходу заряжая винтовки. Полковник с пятью солдатами, невооруженные, заняли посты по обе стороны пути, высоко над головой держа факелы. И вот из густого мрака вынырнули передние ряды прибывшего отряда. Солдаты эти нисколько не походили на хорошо одетых, хорошо вооруженных и хорошо питавшихся солдат армии Вильи. Это были оборванные, босые, истощенные люди, закутанные в выцветшие рваные серапе, увенчанные огромными живописными сомбреро, какие носят в глухой провинции. Собранные в кольца лассо болтались у их седел. Их кони были худые, выносливые, полудикие малорослые лошадки с плоскогорий штата Дуранго. Всадники проезжали мимо с угрюмым видом, презрительно нас не замечая. Они не знали и не хотели знать ни отзыва, ни пароля. И почти все монотонно напевали сочиненные экспромтом баллады, какие импровизируют и поют пеоны, когда стерегут по ночам стада на горных северных равнинах.

Я стоял под самым факелом, и вдруг проезжавший мимо всадник осадил свою лошадь, и знакомый голос прокричал: «Эй, мистер!» Серапе полетело на землю, сам всадник мгновенно скатился с коня, и я был уже в объятьях Исидро Амайя. Позади него раздался целый хор приветствий: «Que tal, мистер! О Хуанито, как мы рады тебя видеть! Где ты был? Говорили, что ты был убит в Ла Кадене! А что — быстро пришлось удирать от colorados? Mucho susto¹, а?»

Они соскочили с лошадей и облепили меня со всех сторон, человек пятьдесят тянулись одновременно хлопнуть меня по спине. Все они были самые дорогие мои друзья — сопранегос из эскадрона генерала Урбины и из Ла Кадены!

¹ Очень испугался? (испанск.)

Задние ряды задержанных в темноте подняли крик: «Проезжайте! Vampos! В чем дело? Скорей! Не стоять же нам здесь всю ночь!» Передние кричали им в ответ: «Здесь мистер! Здесь тот гринго, о котором мы рассказывали, — он еще плясал хоту в Ла Сарке! Который был в Ла Кадене!» — И тут ко мне бросались другие.

В отряде было тысяча двести человек. Безмолвные, угрюмые, возбужденные предстоящим боем, проезжали они между двумя рядами высоко поднятых факелов. И каждого десятого я знал в лицо. То и дело полковник рывкал:

— Знаете отзыв? Загните поля шляп впереди! Отзыв знаете?

Он выкрикивал это хрипло, раздраженно. А они спокойно проезжали мимо, с невозмутимой наглостью, не обращая на него ни малейшего внимания.

— К черту твой отзыв! — вопили они насмешливо. — Зачем еще нам отзыв! Они сразу узнают, на чьей мы стороне, когда мы пойдем в бой!..

Несколько часов, казалось, проезжали они мимо нас, растворяясь в темноте; лошади их нервно поводили ушами, прислушиваясь к орудийным выстрелам вдаль, солдаты горящими глазами вглядывались во мрак, где их ожидал бой, в который они ехали со старыми винтовками спрингфилд и с самым ничтожным запасом патронов. И когда они скрылись, сражение вдаль, казалось, вспыхнуло с новой силой...

Глава VII

КРОВАВЫЙ РАССВЕТ

Гул сражения не затихал всю ночь. Впереди плясали горящие факелы, звенели рельсы, гремели по костылям молоты, кричали рабочие ремонтной бригады, ни на секунду не ослаблявшие своих усилий. Было уже за полночь. С того момента как поезда подошли к разрушенному участку пути, мы продвинулись на полмили. Время от времени вдоль поездов проходил какой-нибудь отставший солдат с тяжелой винтовкой за плечом и опять скрывался во мраке, торопясь туда, где ревел и грохотал бой. Солдаты нашей охраны, разложив в поле

костры, отдыхали у них от напряженного ожидания. Трое из них распевали походную песенку, начинавшуюся словами:

Я не хочу быть порфиристом,
Я не хочу быть ороскистом,
Нет, я хочу быть добровольцем
В армии мадеристов!

В страшном волнении, сгорая от любопытства, бежали мы взад и вперед вдоль поездов, расспрашивая всех, что им известно, что они думают. Мне никогда еще не приходилось слышать грохот настоящего сражения, и я был вне себя от любопытства и нервного возбуждения. Мы были словно собаки, запертые во дворе, когда за оградой кипит собачья драка. Внезапно мое волнение улеглось, и я почувствовал страшную усталость. Я тут же свалился и заснул мертвецким сном на небольшой площадке под дулом пушки, куда рабочие бросали гаечные ключи, молоты и ломы, когда поезд начинал двигаться по починенному участку пути, и куда они валились сами с криками и шутками.

В предутреннем холоде я проснулся и почувствовал, что кто-то трясет меня за плечо. Это был полковник.

— Можете теперь идти, — сказал он. — Пароль — «Сарагоса», отзыв — «Эрреро». Наших солдат узнаете по полям шляп, загнутым спереди. Да не случится с вами беды!

Было страшно холодно. Мы закутались в одеяла, словно в серапе, и направились мимо рабочих, с прежней энергией продолжавших чинить путь при дрожащем свете факелов, затем мимо пяти солдат, гревшихся у костра на краю полного мрака.

— Идете в бой, compañeros? — спросил один из рабочих. — Берегитесь пуль!

Все рассмеялись. Часовые кричали нам вслед:

— Adios! Не убивайте всех! Оставьте нам хоть несколько «стриженных».

Во мраке за последним факелом, где на полотне в беспорядке валялись сорванные рельсы и шпалы, к нам приблизилась какая-то тень.

— Идемте вместе, — раздался голос. — В темноте трое — это целая армия.

Спотыкаясь, мы молча брели по разрушенному пути вслед за нашим новым спутником, с трудом различая его в темноте. Это был коренастый солдатик с винтовкой и наполовину опустошенной патронной лентой. Он сказал, что только что доставил в санитарный поезд раненого и теперь возвращается обратно:

— Пощупайте, — сказал он, протягивая руку. Рука была мокрая, но мы ничего не могли разглядеть.

— Кровь, — продолжал он безучастно. — Его кровь. Он был моим *compadre* в бригаде Гонсалеса — Ортега. Мы пошли сегодня ночью в наступление, и столько нас, столько... Нас просто косили...

Впервые мы слышали — или подумали — о раненых. И тут же до нас донесся гул сражения. Он не затихал ни на мгновение, но мы как-то забыли о нем, — он был так однообразен, так однообразен. Треск отдаленных ружейных выстрелов напоминал треск рвущейся парусины, пушки ухали, как паровые молоты. До поля боя оставалось всего шесть миль.

Из мрака вынырнула кучка солдат — четыре человека несли на одеяле что-то тяжелое и неподвижное. Наш проводник поднял винтовку и окликнул их; в ответ с одеяла донесся прерывистый стон.

— *Oiga, compadre*, — прохрипел один из носильщиков. — Скажи, ради пресвятой девы, где санитарный поезд?

— Мили три...

— *Valgame Dios!* Как же мы сможем...

— Воды! Есть ли у вас вода?

Носильщики остановились, с туго натянутого одеяла что-то падало каплями — кап, кап, кап! — на шпалы.

Страшный голос вскрикнул: «Пить!» — и замер в дрожащем стане. Мы протянули носильщикам свои фляжки, и они безмолвно, с животной жадностью, осушили их. О раненом они забыли. Затем тяжело поплелись дальше...

Во мраке мелькали все новые — в одиночку и небольшими группами — смутные тени, спотыкавшиеся как пьяные, как люди, смертельно уставшие. Прошли двое, поддерживая третьего, крепко обхватившего их шеи, — ноги его бессильно волочились по земле. Пошатываясь, прошел юноша, почти еще мальчик, неся на спине безжизненное тело своего отца. Прошла лошадь,

опустившая морду до самой земли, — к седлу были привязаны два тела, а сзади шагал солдат, бил лошадь по крупу и визгливо ругался. Его пронзительный голос долго еще слышался в темноте. Некоторые стонали — глухие стоны, вырванные невыносимой болью. Какой-то всадник, скорчившийся в седле, монотонно вскрикивал при каждом шаге, который делал его мул. Под двумя высокими тополями у оросительного канала мерцал слабый огонек. Три солдата с пустыми патронными лентами, лежа на твердой неровной земле, громко храпели, у костра сидел четвертый. Обхватив обеими руками свою ногу, он грел ее у самого огня. До самой лодыжки это была нога как нога, но дальше свисали кровоточащие лохмотья брюк и мяса. А солдат сидел и смотрел на нее. Он не пошевелился, когда мы подошли к нему, но дышал он ровно и спокойно, а рот был полуоткрыт, как во сне. У самой воды на коленях стоял другой раненый. Разрывная пуля попала ему в руку между средним пальцем и безымянным и разворотила всю ладонь. Намотав кусок тряпки на палочку, он беззаботно окунал ее в воду и прочищал рану.

Вскоре мы подошли к месту боя. На востоке, над обширной равниной, забрезжил рассвет. Величественные деревья аламо, стройными рядами поднимавшиеся по бокам каналов, уходивших на запад, огласились многоголосым птичьим пением. Становилось теплее, пахло землей, травой и молодой кукурузой — запахи тихой летней зари. И от этого грохот сражения казался порождением безумия. Истерический треск ружейного огня, который как будто сопровождался непрерывным приглушенным воплем, хотя, когда вы вслушивались, это впечатление исчезало. Отрывистая смертоносная чечетка пулеметов, словно где-то долбит клювом огромный дятел. Гром орудий, подобный ударам тысячепудовых колоколов, и свист снарядов: бум! — пи-и-и-и-ю! И самый страшный из всех звуков войны — свист рвущейся шрапнели: трах! — ви-и-и-й-я!

Раскаленное солнце выплыло на востоке из легкого тумана, поднявшегося от плодородной земли, и над бесплодной восточной равниной заколебался горячий воздух. Солнечные лучи заиграли на ослепительно зеленых верхушках высоких аламо, окаймлявших канал, тянувшийся справа от железнодорожного полотна. Ряды

деревьев здесь кончались; за ними громоздились друг на друга обнаженные горные хребты, залитые розовым светом. Мы опять вступили в сожженную солнцем пустыню, густо поросшую пыльным мескитом. Если не считать еще одного ряда аламо, тянувшегося с востока на запад почти у самого города, на всей равнине больше не было деревьев, кроме двух-трех с правой стороны. До Гомес Паласио было уже совсем близко — мили две, не больше — и часть города лежала перед нами как на ладони. Вот направо черный круглый резервуар — водокачка, позади него — железнодорожное депо; налево, по другую сторону пути, низкие глинобитные стены Бриттингэм-Корраля. Налево подымались, четко рисуясь в прозрачном воздухе, дымовые трубы, здания и деревья мыловаренного завода Ла Эсперанца. Направо, словно совсем рядом с железнодорожным полотном, суровая каменная гора Черро де ла Пилья вздымает свои отвесные склоны, увенчанные на вершине каменной цистерной; а западный склон горы понижается отлого волнистым кряжем, длиной в милю. Большая часть Гомеса лежит за этим отрогом Черро, у западного конца которого ярким пятном зелени на сером фоне пустыни выделяются виллы и сады Лердо. Высокие бурые горы на западе мощным полукругом охватывают оба города и затем уходят на юг — бесконечный ряд суровых, голых хребтов. И прямо на юг от Гомеса, у подножия этих хребтов, расположен Торреон, богатейший город северной Мексики.

Стрельба не прекращалась ни на минуту, но теперь она занимала лишь второстепенное место в бредово-хаотичном мире. По полотну железной дороги при ярком утреннем свете медленно тянулся поток раненых — окровавленных, искалеченных, смертельно усталых людей в грязных, пропитанных кровью повязках. Они проходили мимо нас, один упал и неподвижно застыл в пыли, а нам было все равно. Солдаты, черные от пороха, потные, грязные, израсходовав все свои патроны, выходили из кустов чапарраля, волоча за собой винтовки, бессмысленно уставив глаза в землю, и снова скрывались в кустах по другую сторону железной дороги. При каждом шаге поднимались облачка тончайшей пыли, и она стояла в тихом воздухе, обжигая горло

и глаза. Из кустарника показалось несколько всадников. Они остановились у полотна железной дороги и стали всматриваться в сторону Гомеса. Один из них спешился и присел на землю возле нас.

— Это был черный ужас! — сказал он вдруг. — Саг-гамба! Прошлой ночью мы пошли в наступление в пешем строю. Федералисты засели в железном резервуаре, в стенках которого были прорезаны дыры для винтовок. Мы подошли вплотную, засунули дула винтовок в дыры и перебили их всех до одного — в этой крысоловке! Но потом нам пришлось брать Корралы! Они прорезали два ряда бойниц: один ряд для лежачих, другой — для стоячих. Три тысячи руралес засели там с пятью пулеметами, которые простреливали дорогу. И еще железно-дорожное депо с тремя рядами окопов снаружи и подземным ходом, откуда они могли заползти к нам в тыл и стрелять в спину... Наши бомбы не взрывались, а что мы могли поделать с одними винтовками? *Madre de Dios!*¹ Но мы налетели на них так внезапно, что они не успели и опомниться. Мы захватили депо и резервуар. Но вот сегодня утром тысячи их... тысячи... пришли на подкрепление из Торреона... с артиллерией... и погнали нас обратно. Они окружили резервуар, засунули дула винтовок в дыры и перебили всех наших... черти проклятые!

Пока он рассказывал, мы смотрели на место боя и прислушивались к вою и свисту снарядов и пуль, но нигде не было заметно ни малейшего движения, и нельзя было догадаться, откуда стреляют, — даже дымков не было заметно, только иногда в миле от нас в первом ряду деревьев с треском взрывалась шрапнель, выплевывая клубы белого дыма. Так мы и не могли разобраться, где ухают пушки и раздается треск винтовок и пулеметов. Плоская пыльная равнина, деревья, трубы и каменная гора застыли в горячем воздухе. Справа, с ветвей аламо, доносилось беззаботное птичье пение. Казалось, что все кругом — лишь обман чувств, невероятный сон, сквозь который проходит страшная процессия раненых солдат, ковыляющих в облаках пыли, словно привидения...

¹ Матерь божия! (*испанск.*)

ПРИБЫТИЕ АРТИЛЛЕРИИ

Справа, вдоль ряда деревьев, густыми облаками поднималась пыль, слышны были крики, свист бичей, грохот и звон цепей. Мы свернули на тропинку, извивавшуюся среди чапарраля, и вскоре подошли к крохотной деревушке, затерявшейся в кустах на берегу оросительного канала. Она имела удивительное сходство с китайской деревней или селением Центральной Америки; пять-шесть глинобитных хижин, с кровлей из глины и веток. Деревушка эта называлась Сан Рамон. У каждой двери толпилась кучка солдат, громко требовавших кофе и лепешек, размахивая деньгами Вильи.

Rasificos, присев на корточки у своих сарайчиков, втридорога продавали масисхе; их жены потели у очагов, жаря лепешки и разливая скверный черный кофе. Повсюду прямо на голой земле мертвым сном спали солдаты; те, у кого на руках и головах запеклись кровавые раны, стонали и метались во сне. Вскоре галопом прискакал обливавшийся потом офицер и закричал:

— Вставайте, олухи! Дураки! Немедленно по своим ротам! Сейчас идем в атаку!

Три-четыре человека зашевелились и с проклятиями начали подниматься, еле держась на усталых ногах, остальные продолжали спать.

— Hijos de la!..¹ — закричал офицер и, пришпорив лошадь, проскакал над спящими... Они вскакивали, увертываясь и крича. Потом потягивались, зевали, все еще сонные, и лениво, нехотя, уходили по направлению к фронту... А раненые только безучастно отползали в тень кустов.

Вдоль берега канала протянулась проезжая дорога, по которой двигалась наконец прибывшая артиллерия конституционалистов. Мелькали серые головы мулов, широкополые шляпы погонщиков и извивавшиеся в воздухе бичи — остальное тонуло в облаке пыли. Передвигаясь медленнее армии, артиллерия шла всю ночь. Мимо нас с грохотом катились зарядные ящики, лафеты и длинные тяжелые орудия, покрытые желтой пылью. Погонщики и артиллеристы были в прекрасном

¹ Ругательство.

настроении. Один из них, американец, лицо которого было скрыто под сплошной маской пота и грязи, громко закричал, спрашивая, не опоздали ли они, не взят ли уже город?

Я ответил по-испански, что *colorados* на их долю еще хватит, и мои слова были встречены радостными возгласами.

— Ну, теперь мы им покажем! — воскликнул великан индеец, ехавший на муле. — Раз уж вы могли ворваться в их проклятый город без пушек, то уж с пушками-то мы им покажем!

Длинный ряд аламо кончался сейчас же за деревней Сан Рамон, и там под последними деревьями, на берегу канала, стояла кучка всадников — Вилья, генерал Анхелес и весь штаб. Канал, извиваясь по обнаженной равнине, тянулся до самого города, где его питала река. Вилья был одет в старый коричневый мундир, без воротничка, и очень старую войлочную шляпу. Он всю ночь разъезжал по линии фронта, был в грязи с головы до ног, но казался совсем свежим и бодрым.

Увидев нас, он закричал:

— Здорово, малыши! Ну, нравится вам все это?

— Очень, *mi General!*

Мы были измучены вконец и очень грязны. Наш вид чрезвычайно позабавил Вилью. Но надо сказать, что он вообще не принимал корреспондентов всерьез, и ему казалось очень смешным, что американская газета согласна нести такие расходы, чтобы раздобыть новости.

— Вот и хорошо, — сказал он, усмехнувшись. — Я рад, что вам это нравится, — ведь у вас впереди еще много того же!

Подъехала первая пушка и остановилась напротив штаба, орудийная прислуга начала срывать холщовые чехлы, снимать орудие с передка и открывать тяжелые зарядные ящики. Капитан батареи привинтил панорамный прицел и ручку подъемного механизма. В зарядных ящиках сверкала медь тяжелых снарядов, лежавших в ряд; два артиллериста, сгибаясь под его тяжестью, поднесли один снаряд к пушке и, опустив на землю, поддерживали его, пока капитан устанавливал дистанционную трубку. Лязгнул затвор, и мы отскочили в сторону. Бум! — пи-и-и-и-ю! — раздалось, затихая, и небольшое облачко дыма поднялось у подножия

Черро де ла Пилья, а через минуту донесся звук взрыва. На расстоянии примерно ста шагов один от другого, впереди орудия неподвижно стояли оборванные артиллеристы и глядели в полевые бинокли.

— Слишком низко! Чересчур далеко вправо! Их пушки стоят вдоль кряжа! Прибавь-ка ей пятнадцать! — кричали они, перебивая друг друга.

Ружейная перестрелка на передней линии почти затихла, а пулеметы умолкли совсем. Все следили за артиллерийской дуэлью. Было около половины шестого утра, но уже сильно припекало солнце. Позади нас на полях сухо трещали кузнечики, в легкой ветерке шелестели высокие верхушки аламо, снова затянули свои песни птицы.

Еще одна пушка вышла на позицию; снова щелкнул ударник первого орудия, но выстрела не последовало. Артиллеристы открыли затвор и выбросили дымящийся снаряд на траву — негодный. Я видел, как генерал Анхелес, в выцветшем свитере, с непокрытой головой, устанавливал прицел. Вилья шпорил коня, который пятился от зарядных ящиков. Бум! — пи-и-и-и-ю! — выстрелило второе орудие. На этот раз шрапнель разорвалась уже на склоне. Затем до нас донесся звук четырех выстрелов, и неприятельские снаряды, до сих пор падавшие меж деревьями, ближайшими к городу, теперь разорвались на равнине — четыре оглушительных взрыва и каждый последующий намного ближе к нам. Подъехало еще несколько пушек; другие же были установлены вдоль диагонали деревьев, пыльную дорогу забили длинные ряды тяжелых фургонов, брыкающихся мулов, кричащих и ругающихся солдат. Тех мулов, которых выпрягали, отводили подальше, а их измученные погонщики бросались на землю в тень ближайшего куста.

Федералисты прекрасно брали прицел и стреляли великолепно; их шрапнели взрывались теперь всего в каких-нибудь ста шагах от нашей линии, и эти взрывы следовали один за другим. Трах! — ви-и-и-й-я! — в листьях деревьев над нашими головами зловеще зашелестел дождь свинца. Наши орудия отвечали плохо, с перебоями: самодельные снаряды, изготовлявшиеся в Чиуауа на станках, переделанных со снятого с шахт оборудования, были очень ненадежны. Мимо проскакал

толстый итальянец, капитан Маринелли, «солдат наживы», и постарался поставить свое орудие как можно ближе к корреспондентам. Лицо его хранило сосредоточенное, «наполеоновское» выражение. Раз два он с любезной улыбкой взглянул на фотографа, но тот холодно отвел глаза в сторону. Деловитым жестом итальянец приказал поставить орудие на место и сам навел его. Но как раз в эту минуту, в каких-нибудь ста шагах от него, с оглушительным треском взорвалась шрапнель. Федералисты уже почти накрыли цель. Маринелли бросился в сторону, вскочил на лошадь и с драматическим видом поскакал обратно, за ним, гроыхая, неслась его пушка. Все другие орудия оставались на своих местах. Осадив взмыленного коня перед фотографом, Маринелли спрыгнул на землю и, встав в позу, сказал:

— А теперь вы можете меня снять!

— Поди к черту! — ответил фотограф, и по всей линии пронесся громкий хохот.

Покрывая грохот боя, раздались визгливые звуки трубы. Тотчас же появились погонщики и мулы с передками. Зарядные ящики закрылись.

— Будем продвигаться ближе, — закричал полковник Сервин. — Плохо попадаем. Слишком далеко отсюда...

Защелкали бичи, мулы рванулись вперед, и под обстрелом неприятеля длинный ряд орудий потянулся в открытую пустыню.

Глава IX

СРАЖЕНИЕ

Мы вернулись обратно по тропинке, извивавшейся среди кустов мескита, перешли разрушенный железнодорожный путь и по пыльной равнине направились на юго-восток. Оглянувшись на железную дорогу, я увидел вдали дымок паровоза первого поезда, а перед ним — копошащиеся справа от полотна темные пятнышки, искаженные, как отражение в кривом зеркале. Над ними висело облако тончайшей пыли. Кусты мескита становились все ниже и ниже и уже едва достигали колен. Направо высокая гора и трубы города тихо плыли в горячем воздухе; ружейный огонь на время

почти затих, и только иногда вспыхивавшие на краже ослепительно белые клубы густого дыма показывали, где рвутся наши снаряды. Мы смотрели, как наши желтовато-серые орудия катили по равнине, занимая позицию вдоль первого ряда деревьев аламо, прочесываемых неприятельской шрапнелью. Там и сям по равнине двигались небольшие отряды всадников, кое-где брели пехотинцы, таща за собой винтовки.

Старый пеон, согбенный годами и одетый в лохмотья, низко нагибаясь, собирал ветки мескита.

— Эй, друг, — обратились мы к нему, — не скажете, как нам подойти поближе к месту боя?

Старик выпрямился и пристально посмотрел на нас.

— Коли б вы пожили здесь столько времени, сколько я, — сказал он, — то у вас отпала бы охота смотреть бой. Сагамба! За три года я семь раз видел, как брали Торреон. То наступление ведут со стороны Гомес Паласио, то со стороны гор. Но всегда одно и то же — война. Молодым, может быть, это и интересно, а нам, старикам, война надоела дальше некуда.

Он остановился и перевел взгляд вдоль по пустынной равнине.

— Видите вон тот высохший канал? Так вот, если вы пойдете по этому каналу, то он приведет вас прямо в город. — Затем, как будто вспомнив о чем-то, он равнодушно спросил: — Какой вы партии?

— Мы — конституционалисты.

— Так. Сперва были мадеристы, потом ороскисты, а теперь — как вы сказали? Я очень стар, мне уже недолго осталось жить, но эта война, мне кажется, ничего не даст нам, кроме голода. Ступайте себе с богом, сеньоры.

Он опять нагнулся и стал собирать ветки, а мы спустились в заброшенный оросительный канал, тянувшийся в юго-западном направлении; дно его было покрыто пыльными сорняками. Он уходил вдаль, прямой как стрела, но дальний конец расплывался в мареве, и казалось, что там блестит озерцо. Пригнувшись, чтобы нас не заметили с равнины, мы шли вперед, казалось, целыми часами; потрескавшееся дно и пыльные берега канала дышали таким зноем, что кружилась голова и все начинало плавать перед глазами. Один раз справа от нас совсем близко проехали всадники, звеня огром-

ными железными шпорами; мы прижались к берегу, не желая рисковать. На дне канала грохот орудий казался очень слабым и отдаленным, но, осторожно подняв голову над краем, я увидел, что мы находимся совсем близко от первого ряда деревьев. Вдоль этого ряда рвалась шрапнель, и я даже рассмотрел дымки, вырывавшиеся из дула наших пушек после каждого выстрела, и почувствовал удары звуковых волн. Мы находились теперь на добрую четверть мили впереди нашей артиллерии и, очевидно, продвигались прямо к резервуару на краю города. Мы снова шли, нагнувшись, и визг снарядов доносился до нас теперь только в то мгновение, когда они прочерчивали небо над самой нашей головой, затем секунда тишины и глухой взрыв. Впереди, где канал пересекал мост боковой ветки, лежала куча трупов, вероятно оставшихся здесь после первой атаки. Крови почти не было: головы и сердца убитых пронзили стальные маузеровские пули, оставив крохотные чистые ранки. Мертвые лица с запавшими глазницами были спокойны спокойствием смерти. Кто-то, быть может их же собственные бережливые сопративос, забрал их оружие и снял с них обувь, шляпы и всю мало-мальски уцелевшую одежду. Какой-то солдат, сидя на земле рядом с трупами и положив винтовку себе на колени, спал тяжелым сном, сильно храпя. Его облепили мухи — рои их гудели над трупами, пока еще не тронутыми разложением. Другой солдат, прислонившись к холмику и упираясь ногами в труп, стрелял раз за разом в сторону города, целясь во что-то вдали. В тени моста сидели еще четыре солдата и играли в карты. Они играли вяло, не разговаривая друг с другом; глаза их были красны от длительной бессонницы. Жара стояла нестерпимая. Порой проносилась шальная пуля, насвистывая: «Зде-с-с-с-ь вы?» Эта странная компания отнеслась к нашему появлению совершенно безразлично. Стрелок согнулся в три погибели и осторожно вставил новую обойму в свою винтовку.

— Нет ли у вас хоть капли воды? — спросил он, глядя на мою фляжку. — Adio! Мы не ели и не пили со вчерашнего дня.

Он жадно припал губами к фляжке, украдкой следя за играющими в карты, боясь, что и они могут попросить воды.

— Говорят, что мы опять пойдем в атаку на резервуар и Корраль, как только артиллерия придет нам на подмогу. Мы все из Чиуауа. Ночью нам пришлось туго: они нас так и косили на улицах...

Вытерев губы тыльной стороной ладони, он опять начал стрелять. Мы лежали рядом и смотрели. Мы находились всего в двухстах шагах от смертоносного резервуара. По другую сторону пути и широкой улицы, отходившей от него, виднелись бурые, такие безобидные на вид стены Бриттингэм-Корраля, и только чуть заметные черные точки выдавали двойной ряд бойниц.

— Вон там пулеметы, — сказал наш приятель. — Вон над стеной торчат их дула.

Но мы ничего не могли разглядеть. Резервуар, Корраль и город дремали в раскаленных солнечных лучах. В воздухе легким туманом по-прежнему висела пыль. Впереди, шагах в пятидесяти от нас, протянулась неглубокая открытая канава, несомненно окоп, вырытый федералистами, так как земля была навалена с нашей стороны. Теперь в нем засели две сотни усталых, покрытых пылью солдат — пехота конституционалистов. Они растянулись на земле в позах крайней усталости: одни спали, лежа на спине, даже не закрыв лица от горячего солнца; другие, еле передвигая ноги, пригоршнями переносили землю с одной стороны канавы на другую, где уже лежали кучки камней. Надо помнить, что пехота в армии конституционалистов — это просто кавалерия без лошадей; все солдаты Вильи — кавалеристы, за исключением артиллерийской прислуги и тех, для кого не нашлось лошадей.

Внезапно артиллерия позади нас открыла стрельбу из всех орудий, десятков снарядов, просвистев над нашими головами, взорвался на склоне горы Черро.

— Это сигнал, — сказал стрелок. Он соскользнул на дно и пнул ногой спящего.

— Эй, — закричал он, — вставай! Сейчас пойдем в атаку на стриженных!

Спавший застонал и медленно открыл глаза; потом зевнул и молча взял винтовку. Игравшие в карты начали пререкаться из-за выигрышей. Затем они отчаянно заспорили по поводу того, кому принадлежит колода. Все еще ворча и споря, они вылезли из канала и пошли по его краю вслед за стрелком.

В окопе впереди затрещали выстрелы. Те, кто спал, переворачивались на живот и, прячась за своими невысокими укрытиями, принимались стрелять — мы видели, как движутся их локти. Пустой железный резервуар зазвенел под градом пуль; кусочки глины посыпались со стен Коралля. Мгновенно стена ошетибилась дулами винтовок и пулеметов, открывших убийственный огонь. Небо закрыл свистящий поток свинца, пули взбивали пыль, и скоро желтое клубящееся облако скрыло от нас и резервуар и Корраль. Мы видели, как наш стрелок бежал, пригибаясь к земле, сонный солдат следовал за ним, выпрямившись во весь рост и все еще протирая глаза. Позади гуськом бежали игроки, по-прежнему переругиваясь. Где-то в тылу раздался звук трубы. Стрелок, бежавший впереди, внезапно остановился, покачнувшись, словно налетел на каменную стену. Его левая нога подогнулась, он пошатнулся и упал на одно колено на открытом месте. С воплем ярости он вскинул винтовку.

— ...мерзкие обезьяны! — кричал он, стреляя в облако пыли. — Я покажу этим... Стриженные головы! Арестанты.

Он раздраженно мотнул головой, как собака, которой прокусили ухо. Во все стороны полетели капли крови. Рыча от бешенства, он расстрелял всю обойму, потом упал и с минуту катался по земле в конвульсиях. Другие, пробегая мимо, даже не взглянули на него. Траншея теперь кишела солдатами, вскакивавшими на ноги, как потревоженный муравейник. Резко трещали выстрелы. Позади нас раздался топот бегущих ног, — солдаты в сандалиях, с серапе на плечах, кувыркком скатывались в канал, затем взбирались вверх на другую сторону... сотни и сотни их... так казалось...

Они почти заслонили от нас передовую, но сквозь пыль и бегущие ноги мы успели рассмотреть, как солдаты в окопе мощной волной перекатывались через насыпь. Затем непроницаемое облако пыли сомкнулось и резкий треск пулеметов заглушил все остальные звуки. Внезапно горячий порыв ветра прорвал облако пыли, и мы увидели первый ряд солдат, — они шли и бежали, шатаясь, словно пьяные, а пулеметы на стенах выплевывали тусклое багровое пламя. Затем из облака пыли выбежал солдат без винтовки, пот градом

МЕЖДУ ДВУМЯ АТАКАМИ

Примерно через милю беглецы остановились. Мне попадалось все больше и больше встречных солдат. У всех на лицах было написано облегчение — словно они страшились неведомой опасности и вдруг страх исчез. В этом и заключалась сила Вильи: он всегда так умел все объяснить массе простых людей, что они сразу его понимали. Федералисты, по обыкновению, не сумели воспользоваться удобным моментом, чтобы окончательно разгромить конституционалистов. Быть может, они боялись ловушки, вроде той, какую Вилья устроил им у Мапулы, когда победоносные федералисты сделали вылазку, чтобы преследовать бегущую армию Вильи после первой атаки у Чиуауа, и были отбиты с тяжелыми потерями. Как бы то ни было, но они не вышли из своих укреплений. Наши солдаты возвращались обратно и начинали разыскивать в зарослях мескита свои винтовки и серапе, а также чужие винтовки и серапе. По всей равнине раздавались громкие возгласы и шутки:

— Oiga! Куда ты тащишь эту винтовку?.. Это моя фляжка!.. Я бросил свое серапе вот под этот самый куст, и уже его сперли!

— А что, Хуан, — кричал кто-то, — я же всегда говорил, что тебе за мной не угнаться!

— Вот и соврал, comrade! Я тебя обогнал на сто метров и летел, как ядро из пушки!

Надо помнить, что накануне солдаты провели в седлах двенадцать часов, что потом они сражались всю ночь и все следующее утро под палящими лучами, что им приходилось бросаться в атаку на окопавшегося противника под артиллерийским и пулеметным огнем, а ведь они не ели, не пили и не спали уже более суток. Не удивительно, что их нервы не выдержали. Но с той минуты, как они повернули обратно, конечный результат был предопределен. Психологический кризис миновал.

Ружейная перестрелка теперь совершенно затихла, и даже неприятельские пушки стреляли очень редко. Наши солдаты окопались у канала под первым рядом деревьев; артиллерия отошла на милю ко второму ряду,

и в благодатной тени солдаты растягивались на земле и сразу засыпали. Напряжение спало. Когда солнце поднялось к зениту, пустыню, горы и город окутало знойное марево. Иногда где-нибудь на правом или левом фланге начиналась перестрелка между аванпостами. Но вскоре и она прекратилась. На хлопковых и кукурузных полях, тянувшихся к северу, среди зеленых всходов трещали кузнечики. Птицы умолкли: слишком велика была жара. Стояла невыносимая духота и полное безветрие.

Тут и там дымились костры, — это солдаты пекли лепешки из скудных запасов муки, оказавшейся в их седельных сумках, а те, у кого муки не было, толпились вокруг, выпрашивая крохи. С ними делились щедро и просто. От десятка костров ко мне неслись приглашения: «Эй, сомрапего, ты уже завтракал? Вот тебе кусок лепешки — садись и ешь!»

Вдоль берега рядами лежали солдаты, черпавшие пригоршнями грязную воду. В трех-четырех милях позади нас у большого ранчо Эль Верхель виднелся бронированный поезд и еще два головных поезда. На полотне продолжала трудиться неутомимая ремонтная бригада, не обращая внимания на палящее солнце. Поезд с провиантом еще не прибыл...

Мимо на громадном гнедом коне проехал маленький полковник Сервин, подтянутый и свежий, несмотря на страшную ночь.

— Не знаю, что мы предпримем, — сказал он. — Это знает только командующий, а он ничего не говорит заранее. Но мы не пойдем в наступление, пока не вернется Сарагосская бригада. Бенавидес выдержал горячий бой у Сакраменто — говорят, двести пятьдесят человек наших пало в бою. А командующий послал приказ генералу Роблсу и генералу Контрера, которые вели наступление с юга, идти сюда со всеми своими частями на соединение с ним. Впрочем, говорят, что мы ночью пойдем в атаку, чтобы вывести из строя неприятельскую артиллерию.

Он поскакал дальше.

Около полудня над городом в нескольких местах стали подниматься клубы грязного дыма, и днем вместе с горячим ветром до нас донесся тошнотворный

запах нефти, смешанный с запахом паленого мяса. Федералисты сжигали убитых...

Мы вернулись к поездам и взяли штурмом личный вагон генерала Бенавидеса в поезде Сарагосской бригады. Начальник поезда приказал приготовить нам что-нибудь поесть на кухне генерала. С жадностью проглотив обед, мы отправились в тень деревьев и проспали там несколько часов. Сотни солдат и окрестных пеонов, томимые голодом, бродили вокруг поездов в надежде подобрать какие-нибудь объедки или отбросы. Но им было стыдно, и, когда мы проходили мимо, они сделали вид, что просто гуляют тут. А когда мы сидели на крыше вагона, болтая с солдатами, внизу прошел какой-то юнец, перепоясанный патронными лентами. Держа винтовку наперевес, он внимательно вглядывался в землю. Вдруг он заметил черствую заплесневелую лепешку, втопанную в пыль множеством ног. Он схватил ее и жадно откусил кусок. Вдруг он поднял глаза и увидел нас.

— Что я, с голоду умираю, что ли! — сказал он презрительно и небрежно отшвырнул лепешку..

В тени деревьев аламо, против Сан Рамона, на другом берегу канала стояла пулеметная батарея канадца капитана Трестона. Пулеметы и их тяжелые треножки были сняты с мулов и уложены под деревьями. Мулы паслись в зеленых полях, а солдаты сидели у костров или лежали, растянувшись на берегу канала. Трестон помахал мне вывалянкой в золе лепешкой, которую он в это время жевал.

— Эй, Рид, — крикнул он. — Пойдите-ка сюда и помогите мне! Мои переводчики куда-то девались, и если начнется наступление, я здорово влипну. Я ведь не знаю их идиотского языка, и когда я приехал сюда, Вилья нанял двух переводчиков, чтобы они все время находились при мне. Но этих мерзавцев не дозовешься: вечно шляются неизвестно где, оставляя меня ни с чем.

Я взял кусок предложенного мне деликатеса и спросил капитана, действительно ли мы скоро пойдем в наступление.

— По-моему, мы начнем дело сегодня же, как только стемнеет, — ответил он. — Хотите идти с моей батареей и быть моим переводчиком?

Я охотно согласился.

Оборванный солдат, которого я никогда раньше не встречал, встал и, улыбаясь, подошел ко мне.

— Судя по вашему виду, вы давно уже не пробовали табака. Хотите половину моей папиросы?

Я хотел было с благодарностью отказаться, но он уже вытащил из кармана помятую папиросу и перервал ее надвое...

Ослепительное солнце спустилось за зубчатую стену лиловых гор, и несколько мгновений в небе трепетал веер светлых лучей. На деревьях встрепенулись птицы, зашуршали листья. От плодородной земли поднялся жемчужный пар. Несколько лежавших рядом оборванных солдат начали сочинять мотив и слова песни о сражении при Торреоне — рождалась новая баллада... В тихих прохладных сумерках до нас доносилось пение от других костров. Я почувствовал, что весь растворяюсь в любви к этим добрым, простым людям, — такими милыми они мне казались...

Как раз когда я вернулся от канала, куда ходил напиться воды, Трестон сказал мне:

— Да, кстати, один из наших солдат выловил из канала вот эту бумажку. Я ведь не умею читать по-испански и не понял, что на ней написано. Вода во все эти каналы поступает из реки, протекающей через город, так что, может быть, эта бумажка приплыла сюда от федералистов.

Он протянул мне клочок белой мокрой бумаги, очевидно сорванной с какого-то пакетика. На ней большими черными буквами было напечатано «Arsenico», а пониже мелким шрифтом стояло: «Cuidado! Veneno!» «Мышьяк. Осторожно — яд!»

— Послушайте, — сказал я, вскакивая на ноги. — А у вас сегодня никто не заболел?

— Интересно, что вы об этом спросили. У многих солдат вдруг начались страшные колики в животе, да и мне что-то не по себе. Как раз перед вашим приходом один мул внезапно свалился и издох, а вон там, возле канала, — лошадь. От солнечного удара, или, может, их совсем загнали...

К счастью, канал оказался глубоким, а течение быстрым, и опасность была невелика. Я объяснил капитану, что федералисты отравили воду в канале.

— Ах, черт! — воскликнул Трестон. — Недаром солдаты пытались объяснить мне что-то. Человек двадцать приходили ко мне и все повторяли: *envenenado*¹. Что означает это слово?

— А это самое и означает, — ответил я. — Где тут можно достать кварту крепкого кофе?

Мы нашли большую жестянку кофе у соседнего коистра, и нам сразу стало легче.

— Ну, конечно, мы знали об этом, — сказали солдаты. — Вот почему мы поили своих лошадей и мулов в другом канале. Нас уж давно предупреждали. Говорят, впереди нас сегодня пало десять лошадей и очень много солдат катается в корчах по земле.

Мимо проскакал офицер, крича, что все мы должны отойти к ранчо Эль Верхель и расположиться на ночь вблизи поездов; что командующий приказал, чтобы все, кроме передовых постов, хорошенько выспались вне зоны огня и что поезд с провиантом прибыл и стоит за санитарным поездом. Загремели трубы, солдаты начали подниматься с земли, седлать лошадей, собирать пулеметы, ловить и запрягать мулов под аккомпанемент ругани, рева и лязга. Трестон сел на своего пони, а я шагал рядом. Значит, в эту ночь атаки не будет. Было уже почти темно. Перейдя канал, мы натолкнулись на отряд, который тоже отходил к поездам. Во мраке смутно виднелись широкополые шляпы и серапе, слышалось звяканье шпор. «Эй, сотрайего, а где твоя лошадь?» — закричали несколько человек, обращаясь ко мне. Я ответил, что у меня нет лошади. «Прыгай ко мне!» — сказали сразу человек пять-шесть. Один из них подъехал поближе, и я взобрался на круп его лошади. Легкой рысцей мы миновали заросли и поехали по необычайно красивому, чуть освещенному полю. Кто-то затянул песню, еще двое начали вторить ему. В ясном небе плыла полная луна.

— Послушай, как сказать по-вашему «mula»?² — спросил меня мой всадник.

— ...упрямый, глупый мул! — ответил я.

¹ отравлено (испанск.).

² мул (испанск.).

И в течение нескольких дней после этого совершенно незнакомые мне солдаты останавливали меня и спрашивали со смехом, как по-американски «мул».

Армия расположилась биваком вокруг ранчо Эль Верхель. Мы выехали на поле, усеянное кострами, где бродили отставшие солдаты, громко спрашивая, не знает ли кто, где бригада Гонзалес — Ортега, или gente Хосе Родригеса, или ametralladoras¹. Ближе к городу широким полукругом стала артиллерия, дула орудий были обращены на юг. На востоке пылали костры Сарагосской бригады Бенавидеса, только что прибывшей из Сакраменто. От интендантского поезда тянулась длинная вереница солдат, словно муравьи тащивших мешки с мукой и кофе и пачки папирос... Повсюду во мраке звенели песни множества хоров.

Когда я думаю о той ночи, мне особенно ярко припоминается, как бедная отравленная лошадь вдруг покатила по земле и ноги ее судорожно задергались; как в темноте мы проходили мимо стоявшего на четвереньках солдата, которого страшно рвало; как у меня, когда я закутался в одеяло и лег, начались вдруг ужасные колики, и я отполз в кусты, и был не в силах приползти обратно. Так до самого рассвета и «катался в корчах по земле».

Глава XI АВАНПОСТ В БОЮ

Во вторник, рано утром, армия снова двинулась к фронту по железнодорожному полотну и по полям. Четыреста бешеных демонов, обливаясь потом, гремели молотами, исправляя путь; ночью головной поезд продвинулся на полмили. В это утро запасных лошадей было много, и я купил себе коня, с седлом и со всем прочим, за семьдесят пять песо — около пятнадцати долларов золотом. Проезжая мелкой рысью по Сан Рамону, я догнал двух свирепых на вид всадников в высоких сомбреро, к тульям которых были пришиты литографии Гваделупской богоматери. Они сказали, что направляются в расположение аванпоста, занимающего

¹ пулемет (испанск.).

позицию на правом крыле армии, вблизи гор у Лердо, — там их роте приказано удерживать холм. Почему это мне захотелось ехать с ними? Кто я такой вообще? Я показал им свой пропуск, подписанный Франсиско Вильей. Это их не смягчило.

— Франсиско Вилья для нас — ничто! — сказали они. — И почему мы знаем, его это подпись или не его? Мы из Хуаресской бригады, gente генерала Каликсто Контрера.

Однако после короткого совещания тот, кто был выше ростом, сказал:

— Ну ладно, едем.

Мы выехали из спасительной тени деревьев и поскакали по диагонали через изрытое траншеями хлопковое поле на запад, прямо к высокому крутому холму, уже расплывавшемуся в знойном мареве. Между нами и окраинами Гомес Паласио тянулась голая, плоская равнина, заросшая низким мескитовым кустарником и изрезанная высохшими оросительными канавами. Грозная артиллерия Черро де ла Пилья была замаскирована, и вокруг царило глубокое спокойствие, однако так чист и прозрачен был воздух, что мы рассмотрели кучку людей, тащивших что-то похожее на пушку. У самого города разъезжало несколько всадников, и мы тотчас свернули к северу, предпочитая кружной путь, так как эта нейтральная полоска земли кишела пикетами и разведчиками. Проехав так мило, мы достигли подножия холма, где пролежала проезжая дорога с севера на Лердо. Прячась в кустах, мы осторожно осмотрели ее. Мимо, насвистывая, прошел крестьянин: он гнал стадо коз. На обочине дороги под кустом стояла глиняная крынка, доверху наполненная молоком. Не долго думая, первый солдат вынул револьвер и выстрелил в нее. Крынка разлетелась вдребезги — молоко расплескалось по земле.

— Отравлено, — сказал он отрывисто. — Первая рота, стоявшая здесь, напилась как-то такого молока. Четверо умерло.

Мы поехали дальше.

На вершине холма виднелось несколько темных фигур: солдаты сидели, положив на колени винтовки. Мои спутники помахали им рукой; мы свернули на север и поехали вдоль речушки, чьи зеленые берега резко кон-

трастировали с окружающей пустыней. Аванпост расположился лагерем на обоих берегах речки, где было что-то вроде лужайки. Я спросил, где их полковник, и когда в конце концов отыскал его, оказалось, что он расположился под тентом, который соорудил из своего серапе, подвесив его на ветках куста.

— Слезайте с коня, amigo, — сказал он. — Рад приветствовать вас здесь. Мой дом, — он шутливо указал на серапе, — к вашим услугам. Вот папиросы. На костре жарится мясо.

На лугу паслись оседланные кони, их было примерно с полсотни. Солдаты валялись на траве, в тени мескита, болтая и играя в карты. Они не были похожи на хорошо вооруженных, снабженных хорошими лошадьми и сравнительно хорошо дисциплинированных солдат армии Вильи. Это были просто пеоны, взявшиеся за оружие, такие же, как мои друзья из эскадрона, — неотесанные веселые горцы и ковбои, среди которых насчитывалось немало бывших бандитов. Не получая жалованья, не получая обмундирования, не имея никакого понятия о дисциплине — их офицеры были просто самые храбрые из них, — вооруженные лишь устаревшими спрингфилдами и горстью патронов на человека, они сражались почти непрерывно на протяжении трех лет. Четыре месяца они и нерегулярные части таких партизанских командиров, как Урбина и Роблес, вели наступление на Торреон, сражаясь почти ежедневно с федеральными аванпостами и выдерживая все тяготы кампании, в то время как главные силы армии стояли гарнизонами в Чиуауа и Хуаресе. Эти оборванцы были самыми храбрыми солдатами в армии Вильи.

Четверть часа я лежал у костра, наблюдая, как мясо шипит на углях, и объясняя охваченным любопытством солдатам, что такое моя странная профессия, как вдруг раздался топот копыт несущейся галопом лошади и крики:

— Они сделали вылазку из Лердо! По коням!

Полсотни солдат неохотно, вразвалку направились к своим лошадям. Полковник встал, зевая и потягиваясь.

— ...скоты-федералисты! — проворчал он. — Только о них мы и думаем. Просто нет возможности вспомнить о

более приятных вещах. Не дают даже пообедать спокойно.

Усевшись на коней, мы легкой рысью двинулись вдоль речки. Далеко впереди трещали выстрелы. Инстинктивно, без приказа, мы перешли в галоп и скоро уже проезжали по улицам какой-то деревушки, где расіficos стояли на крышах своих хижин, поглядывая на юг и держа наготове узлы с нехитрым скарбом, чтобы сразу бежать, если схватка кончится не в нашу пользу, ибо федералисты жестоко расправляются с деревнями, которые дают приют их противникам. За деревней показался небольшой каменистый холм. Мы спешили и, забросив поводья на шею лошадям, стали взбираться на него пешком. На вершине уже лежало человек десять, то и дело стрелявших в направлении купы зеленых деревьев, за которой прятался Лердо. Из пустынного поля, лежавшего между нами и Лердо, доносился треск ответных выстрелов. В полумиле от нас среди кустов мелькали какие-то темные фигуры. Легкое облако пыли указывало на то, что позади них другой отряд медленно подвигается к северу.

— Один уже готов, а другому влепили в ногу, — сказал какой-то солдат и сплюнул.

— А сколько их там, по-твоему? — спросил полковник.

— Сотни две.

Полковник выпрямился во весь рост, беспечно поглядывая на залитую солнцем равнину. И тотчас прогремел залп. Над головой прожужжала пуля. Не дожидаясь приказа, солдаты принялись за работу. Каждый выбрал себе ровное местечко, чтобы прилечь, и навалил впереди кучку камней для защиты. Они ложились, недовольно ворча, расстегнув ремни и сбросив гимнастерки, чтобы было удобнее лежать, а затем начали стрелять — неторопливо и методично.

— Еще один, — сказал полковник. — Это твой, Педро.

— Почему это Педро? — сказал какой-то солдат недовольно. — Это я влепил ему.

— Черта с два — ты, — огрызнулся Педро. Началась ссора.

Стрельба со стороны пустыни стала непрерывной, и нам было видно, как федералисты, прячась за кустами и в овражках, подвигаются в нашу сторону. Наши

солдаты стреляли медленно, долго и тщательно целясь, прежде чем спустить курок: война вокруг Торреона, когда в течение многих месяцев они испытывали нехватку в боеприпасах, научила их быть экономными. Но теперь уже за каждым холмиком и за каждым кустом вдоль нашей линии засели стрелки, и, оглянувшись на широкие равнины и поля между холмом и железной дорогой, я увидел бесчисленных отдельных всадников и целые отряды, мчавшиеся через кусты. Через десять минут к нам должно было подойти подкрепление в пятьсот человек.

Ружейная перестрелка вдоль линии усилилась и распространилась дальше, почти на целую милю. Федералисты остановились; облако пыли медленно поплыло обратно в сторону Лердо. Огонь со стороны пустыни ослабел. И затем, неизвестно откуда, в голубом небе внезапно появились грифы: широко расправив огромные крылья, они парили в вышине, спокойные, неподвижные...

Полковник, его солдаты и я демократически завтракали все вместе в тени деревенских хижин. Наше жаркое, конечно, сгорело, и нам пришлось удовольствоваться вяленным мясом и *pinole* — смесью мелко измолотых отрубей с корицей. Никогда еще я не ел с таким наслаждением... А на прощание солдаты подарили мне две пригоршни папирос. Полковник же сказал:

— *Amigo*, я сожалею, что у нас не нашлось времени поговорить. Многое мне хотелось узнать о вашей стране: правда ли, например, что в ваших городах люди совсем не пользуются ногами и не ездят по улицам верхом, а только в автомобилях. У меня когда-то был брат, который работал на железной дороге близ Канзас-Сити, и он рассказывал мне чудесные вещи. Но какой-то американец назвал его «грязным мексикашкой» и застрелил, хотя брат мой ничем его не обидел. Скажите, почему ваши земляки так не любят мексиканцев? Мне нравятся многие американцы. И вы мне нравитесь. Я хочу, чтобы вы приняли от меня подарок. — Он отстегнул одну из своих громадных железных шпор, выложенных серебром, и протянул мне. — А вот поговорить нам здесь никогда не удастся. Эти... не дают нам покоя, и

только когда наши подстрелят двоих-троих, наступает недолгая передышка.

Под деревьями аламо я отыскал одного из фотографов и кинооператора. Они лежали на спинах у костра, вокруг которого расположилось десятка два солдат, жадно насыщавшихся лепешками, мясом и кофе. Один из солдат с гордостью показал мне серебряные ручные часы.

— Это мои часы, — пояснил фотограф. — Мы два дня ничего не ели, а эти ребята подозвали нас и накормили до отвала. После такого угощения я, конечно, не мог не сделать им подарка.

Солдаты приняли его подарок на всех и договорились, что будут носить часы по очереди, по два часа, начиная с этого дня и до конца жизни...

Глава XII

ОТРЯД КОНТРЕРЫ ИДЕТ В АТАКУ

В среду мы с моим приятелем фотографом, бродя по полю, встретили Вилью, ехавшего верхом. Он был весь в грязи, измучен, но казался счастливым. Движением, легким и грациозным, как движение волка, он придержал коня, потом улыбнулся нам и сказал:

— Ну, ребята, как дела?

Мы сказали, что вполне всем довольны.

— У меня нет времени беспокоиться о вас, поэтому вы сами будьте осторожны, избегайте опасности. Раненых и так слишком много. Сотни. Они храбры, эти *tuchachos*, самый храбрый народ в мире. Вот что, — продолжал он, загорааясь новой мыслью, — вы должны поглядеть санитарный поезд. Вот о чем стоит написать в ваши газеты.

И действительно, то, что мы там увидели, было великолепно. Санитарный поезд стоял теперь сразу за ремонтным поездом. Сорок товарных вагонов, выкрашенные изнутри белой эмалевой краской, с огромными синими крестами и надписью «*Servicio Sanitario*»¹ снаружи, принимали раненых, прибывших с линии огня. Поезд был снабжен новейшими хирургическими инстру-

¹ Санитарная служба (испанск.).

ментами, и его обслуживали шестьдесят опытных американских и мексиканских врачей. Каждый вечер пригородные поезда увозили серьезно раненных в базовые госпитали в Чиуауа и Паррале.

Мы миновали Сан Рамон, оставили позади деревья и вышли в пустыню. Солнце уже пекло нещадно. Впереди разрасталась ружейная перестрелка, затем застрекотал пулемет — та-та-та-та! Когда мы выехали на открытое место, где-то справа раздался треск одинокого маузера. Сначала мы не обратили на это внимания, но скоро заметили, что вокруг нас то и дело что-то щелкает, поднимая облачка пыли.

— Черт возьми! — воскликнул фотограф. — Какой-то снайпер избрал нас мишенью.

Не сговариваясь, мы рванулись вперед бегом. Выстрелы участились. Равнина была очень широка, и вскоре мы уже трусили спокойной рысцой. Наконец мы пошли шагом, хотя вокруг нас по-прежнему поднимались облачка пыли, — мы пришли к заключению, что бегством не спасешься. Потом мы совсем перестали думать об этом...

Полчаса спустя мы пробрались через кустарник в четверти мили от окраины Гомеса и натолкнулись на небольшое ранчо из семи-восьми глинобитных хижин, разделенных улочкой. Укрывшись за одной из них, сидело и лежало около пятидесяти оборванных бойцов генерала Контреры. Они играли в карты, лениво перебрасывались словами. Немного дальше по улице, за углом крайней хижины, выходившей прямо на позиции федералистов, беспрерывно сыпались пули, поднимая клубы пыли. Эти бойцы провели на передовой всю ночь. Отзыв был — «долой шляпы», и все они разгуливали под палящим солнцем без головных уборов. Они всю ночь не смыкали глаз, есть было нечего, а воды на нашлось бы и на полмили в окружности.

— Федералисты стреляют по нас вон из той казармы, — пояснил нам мальчуган лет двенадцати. — Нам дан приказ атаковать их, как только прибудет артиллерия...

Старик, сидевший на корточках, прислонившись к

стене, спросил меня, откуда я. Я сказал, что из Нью-Йорка.

— Ну, я об этом Нью-Йорке ничего не знаю, — сказал старик, — но бьюсь об заклад, что на его улицах не увидишь такого прекрасного скота, как на улицах Хименеса.

— На улицах Нью-Йорка вообще скота не бывает, — сказал я.

Он недоверчиво посмотрел на меня.

— Как так — не бывает скота? Вы хотите сказать, что там не гонят по улицам скот? Или овец?

Я ответил, что именно это и хочу сказать. Он посмотрел на меня так, словно видел перед собой величайшего вруна; потом опустил глаза и глубоко задумался.

— Ну, — объявил он в заключение, — не хотел бы я там жить!..

Двое мальчишек затеяли игру в салки. Минут через двадцать взрослые мужчины уже весело гонялись друг за другом. У картежников была всего одна истрепанная колода. Их было человек восемь, и все они отчаянно спорили о правилах игры, а может быть, им просто не хватало карт. Человек пять, устроившись в тени хижины, напевали насмешливые любовные песенки. И все это время вдали непрерывно трещали выстрелы и пули шлепались в пыль, словно дождевые капли. Изредка какой-нибудь боец лениво переваливался на другой бок, высовывал дуло винтовки за угол и стрелял...

Мы побыли здесь с полчаса. Потом из кустов выехали две серые пушки и заняли позицию в высохшей канаве в семидесяти пяти ярдах с левой стороны.

— Видно, сейчас пойдем в атаку, — сказал мальчик.

В эту минуту из тыла галопом промчались три всадника, по-видимому офицеры. Хотя низкие хижины не могли укрыть их от неприятельского огня, они не стали спешиваться, с презрением игнорируя свистевшие кругом пули. Первым заговорил великолепный сильный зверь Фиерро, расстрелявший Бентона. С высоты своего коня он смерил оборванных солдат насмешливым взглядом.

— Вот с такими красавчиками придется брать город! — сказал он. — Но других здесь нет. Когда услышите трубу, идите в атаку. — Жестоко рванув удила,

так что его огромный конь встал на дыбы и закружился на задних ногах, Фиерро галопом помчался обратно, бросив на ходу: — Что толку в этих деревенских простаках Контреры!..

— Смерть Мяснику! — крикнул в ярости один из солдат. — Этот убийца застрелил моего *compadre* на улице в Дуранго — ни за что ни про что! Мой *compadre*, очень пьяный, проходил мимо театра. Он спросил у Фиерро, который час, а Фиерро сказал: «Ах ты!.. Как ты посмел первый заговорить со мной...»

Тут раздался звук трубы, и солдаты встали, берясь за винтовки. Играющие в салки никак не могли остановиться. Картежники обвиняли друг друга в краже колоды.

— Oiga, Фиденчио! — крикнул один солдат. — Быюсь об заклад на свое седло, что я вернусь, а ты нет. Сегод-ня утром я выиграл прекрасную уздечку у Хуана...

— Ладно! Muy bien! Мой новый крапчатый конь...

Смеясь и перебрасываясь шутками, они весело покинули укрытие и выехали под стальной дождь. Они неловко трусили по улице, словно какие-то бурые зверьки, не привыкшие бегать. Их окутало облако пыли и адский треск...

Глава XIII

НОЧНАЯ АТАКА

Мы трое разбили собственный лагерь возле канала среди деревьев аламо. Вагон с нашим продовольствием, одеждой и одеялами все еще находился в двадцати ми-лях от фронта. По целым дням мы ничего не ели. Ко-гда нам удавалось выпросить у начальника интендант-ского поезда несколько жестянок сардин или немного муки, то мы считали себя счастливыми.

В среду кому-то из нас удалось раздобыть жестянку лососины, кофе, сухари и большую пачку папирос. Пока мы готовили обед, один мексиканец за другим, проез-жая мимо нас по пути на передовую, спешивались и присоединялись к нам. Следовал самый изысканный об-мен любезностями — нам приходилось уговаривать на-шего гостя есть без стеснения обед, который стоил нам стольких трудов. Из вежливости приняв наше приглаше-ние, он затем садился на коня и уезжал, не испытывая

ни малейшей благодарности, хотя и преисполненный дружеского к нам расположения.

Растянувшись, мы лежали на берегу канала в золотистых тихих сумерках и курили. Головной поезд, где на первой платформе стояло орудие «Эль Ниньо», теперь уже продвинулся ко второму ряду деревьев, — отсюда до Гомеса было не больше одной мили. На путях перед бронепоездом трудилась ремонтная бригада. Вдруг раздался ужасающий гул, и в небо над поездом поднялся дымок. Радостные крики пронеслись по равнине. «Эль Ниньо», любимец армии, наконец подошел вплотную к неприятелю. Теперь федералистам придется туго. Это было трехдюймовое орудие — самое мощное в армии Вильи... Впоследствии мы узнали, что из железнодорожного депо Гомеса вышел на разведку неприятельский паровоз и что снаряд, выпущенный «Эль Ниньо», попал ему прямо в котел и взорвал его...

Носились слухи, что в эту ночь мы должны пойти в атаку, и как только стемнело, я сел на своего коня Буцефала и отправился на передовую. Пароль был «Эррера», и отзыв — «Чиуауа номер четыре». Но чтобы легче различать «своих» солдат, было приказано загнуть поля шляп сзади. Строжайше запрещалось зажигать костры в «зоне огня», и всякого, кто вздумает чиркнуть спичкой, пока не начнется сражение, часовые должны были расстреливать на месте.

Я тихо пробирался вперед на своем Буцефале. Ночь была тихая и темная. На всей обширной равнине перед Гомесом не слышно было ни малейшего шороха, не видно было ни огонька, и только вдалеке раздавался стук молотков неутомимой бригады, работавшей на путях. Но в городе ярко горели электрические огни, мелькнул трамвайный вагон, направляющийся в Лердо, и тут же скрылся за горой Черро де ла Пилья.

Вдруг возле канала впереди послышались приглушенные голоса — очевидно, там был расположен аванпост.

«Quien vive?» — закричал часовой, и не успел я ответить, как над головой у меня прожужжала пуля.

— Что ты делаешь, дурень! — сердито крикнул кто-то. — Разве так можно? Надо подождать, пока он даст неправильный отзыв. Слушай, как я буду спрашивать.

На этот раз формальности были соблюдены к пол-

ному удовлетворению обеих сторон, и офицер сказал мне: «Pase usted!»¹ Но до меня донеслось ворчание часового:

— А какая разница? Все равно я никогда не попадаю...

Осторожно пробираясь в темноте, я подъехал к ранчо Сан Рамон. Я знал, что все *pacíficos* бежали, и был очень удивлен, когда увидел свет в щелях дверей одной из хижин. Мне страшно хотелось пить, но я больше не доверял каналу. Я громко попросил воды. Ко мне вышла женщина, за ее юбку цеплялось четверо малышей. Она принесла мне воды и вдруг спросила обеспокоенно:

— Не знаете ли вы, сеньор, где теперь стоят пушки Сарагосской бригады? Там мой муж, и я его не видела уже целую неделю.

— Значит, вы не *pacíficos*?

— Ну, конечно, нет, — негодуяще ответила она, указывая на детей. — Мы из артиллерии.

Передовые позиции тянулись вдоль канала, под первым рядом деревьев. В абсолютной темноте солдаты перешептывались, ожидая, когда по приказу Вильи авангард, находившийся в пятистах метрах впереди, откроет огонь.

— А где же ваши винтовки? — спросил я.

— Нашей бригаде винтовки сегодня не нужны, — сказал кто-то. — Те, кто стоит слева, пойдут в атаку на окопы, и у них есть винтовки. А нам приказано взять Бриттингем-Корраль. Мы солдаты Контреры — Хуаресская бригада. Нам приказано добраться до стен и забросать его бомбами.

Он показал мне бомбу. Это была динамитная палочка, зашитая в кожу; с одного конца торчал запал.

Он продолжал:

— Справа от нас — *gente* генерала Роблса. У них тоже есть *granadas*², а кроме того — винтовки. Они должны атаковать. Черро де ла Пиллья...

Внезапно ночную тишину прорезали звуки частой стрельбы со стороны Лердо, где должен был наступать Макловио Эррера со своей бригадой. И почти в ту же минуту впереди нас тоже затрещали выстрелы. К нам

¹ Проходите! (*испанск.*)

² гранаты (*испанск.*).

подбежал солдат с горящей сигарой, блестящей, как светлячок, в изогнутой ладони.

— Скорей прикуривайте от нас, — сказал он, — но до тех пор не подносите их к шнурам, пока мы не будем у самых стен.

— Черт возьми, капитан! Это очень трудно. Ну, как мы узнаем, когда зажигать шнур?

В темноте раздался властный бас:

— Я вам скажу. За мной!

Солдаты вполголоса прокричали: «Вива Вилья!» Вилья, держа зажженную сигару в одной руке (он никогда не курил), а в другой бомбу, перебрался через канал и нырнул в кустарник. Солдаты последовали за ним...

Теперь уже по всей линии трещал ружейный огонь, хотя из-за деревьев я не мог рассмотреть, началась атака или нет. Артиллерия молчала. Враги были слишком близко друг к другу, чтобы в темноте прибегать к шрапнели. Я отъехал немного назад, затем вправо, где мой конь наконец сумел взобраться на крутой берег канала. Теперь мне были видны танцующие огоньки выстрелов в Лердо и почти сплошная лента огня вдоль нашего фронта. С левого фланга донеслись гулкие раскаты — это били по Торреону скорострельные пушки Бенавидеса. Я застыл, ожидая начала атаки.

Она началась с внезапного взрыва. Раздавшиеся в направлении скрытого темнотой Бриттингем-Коррала отрывистый треск четырех пулеметов и грохот непрерывных винтовочных залпов сразу заглушили все другие звуки. В небе вдруг встало багровое зарево, и я услышал оглушительные взрывы динамита. Я представил себе, как солдаты с дикими криками несутся по улице при вспышках огня, колеблясь, задерживаясь, устремляясь дальше, а во главе их Вилья, то и дело бросающий им через плечо слова одобрения, как он всегда это делал. Участвовавший огонь с правой стороны указывал на то, что части, брошенные на Черро де ла Пилля, достигли подножья горы. И вдруг в отдаленном конце кряжа, у самого Лердо, вспыхнули огни. Значит, Макловио взял Лердо! Вдруг предо мной зажглась волшебная картина. По крутому склону Черро, охватывая его с трех сторон, медленно поднималось огненное кольцо — это атакующие вели непрерывный ружейный огонь. Вершина горы

тоже вспыхивала огоньками, учащавшимися по мере того, как огненное кольцо, ставшее теперь зубчатым, подвигалось вверх. Вдруг огромный сноп света вырвался из вершины, за ним — другой. Через секунду до меня донеслись звуки орудийных выстрелов. По небольшому отряду, атакующему вершину, федералисты открыли огонь из пушек! Но он продолжал подниматься по черному склону. Огненное кольцо разорвалось теперь во многих местах, но движение его не замедлилось, и наконец оно, казалось, уже начало сливаться со вспышками страшного света на верху горы, как вдруг потухло, и теперь только отдельные светлячки скатывались вниз по склону — все, что осталось от цепи атакующих. И когда я считал уже все потерянным, удивляясь отчаянному героизму этих пеонов, которые поднимались на гору под дулами неприятельских пушек, — вверх медленно поползла новая цепь огоньков... В эту ночь конституционалисты семь раз подряд ходили в атаку на Черро, каждый раз теряя семь восьмых убитыми...

А у Корраля ни на минуту не прекращался адский гул взрывов и вспышки красных огней. На мгновенье гул вдруг затихал, но тут же возобновлялся еще с большей силой. В атаку на Корраль ходили восемь раз... В то утро, когда мы вступили в Гомес, на улицах валялось столько убитых, что с трудом можно было проехать на лошади, несмотря на то что федералисты в течение трех дней беспрерывно сжигали трупы, а на Черро можно было разглядеть семь четких валов из убитых повстанцев...

В густом мраке, окутывавшем равнину, замелькали смутные тени — это в тыл пробирались раненые. Их вопли и стоны были явственно слышны; несмотря на грохот сражения, заглушавший все другие звуки, можно было различить даже шелест кустарника, когда они пробирались по нему, и шорох передвигающихся по песку ног. Под тем местом, где я стоял, проехал всадник, отчаянно ругаясь, что ему пришлось бросить сражение из-за перебитой руки, и всхлиывая в промежутках между проклятиями. Затем у подножья холмика, на котором я стоял, сел пехотинец и принялся перевязывать раненую руку, без умолку разговаривая сам с собой о чем попало, лишь бы не свалиться от нервного потрясения.

— Какие мы, мексиканцы, храбрые, — сказал он насмешливо. — Поглядите, как мы убиваем друг друга!..

Вскоре я вернулся назад в лагерь, томимый скукой. Война самое скучное дело в мире, если она длится более или менее продолжительное время. Все одно и то же...

Поутру я отправился в штаб узнать новости. Мы овладели Лердо, но гора Черро, Бриттингем-Корраль и город все еще были в руках неприятеля. Вся эта ночная бойня оказалась напрасной!

Глава XIV

ВЗЯТИЕ ГОМЕСА

Платформа с «Эль Ниньо» находилась теперь в полумиле от города, и ремонтная бригада заканчивала исправление пути под частым шрапнельным огнем. Две пушки впереди поездов храбро отвечали на огонь неприятеля и стреляли так удачно, что, после того как шрапнель федералистов убила десятерых рабочих, командир «Эль Ниньо» вывел из строя два орудия, стоявшие на горе Черро. Тогда федералисты оставили поезда в покое и все свое внимание перенесли на Лердо, стараясь выбить оттуда отряды генерала Эрреры.

Потери армии конституционалистов были огромны. В четырехдневном сражении было убито около тысячи человек и почти две тысячи ранено. Даже великолепный санитарный поезд оказался недостаточным для того, чтобы всем им была оказана своевременная помощь. Обширная равнина, где мы находились, вся была пропитана трупным запахом. А в Гомесе, должно быть, творилось что-то ужасное. На следующий день дым двадцати погребальных костров заволок небо. Но Вилья был по-прежнему преисполнен решимости. Гомес надо взять, и взять как можно скорее. У Вильи не было ни снарядов, ни продовольствия для длительной осады, а кроме того, его имя уже давно стало легендарным в лагере неприятеля — если Панчо Вилья сам руководит боем, значит победа будет на его стороне. Нельзя было допустить, чтобы в этом разуверились его собственные солдаты. И поэтому он решил бросить свои войска еще в одну ночную атаку.

— Путь исправлен, — доложил Кальсадо, комиссар железных дорог.

— Прекрасно, — сказал Вилья. — В течение ночи подведите все поезда как можно ближе, потому что утром мы будем в Гомесе!

Настала ночь; тихая, безветренная ночь, звеневшая лягушиным кваканьем. Вдоль городских окраин залегли солдаты, ожидая сигнала к атаке. Раненные, измученные, с напряженными до крайности нервами, они шли на передовые позиции с отчаянной решимостью — взять город или умереть. По мере того как приближался час, назначенный для начала атаки — девять часов, — напряжение все возрастало, становясь уже опасным.

Девять часов! Четверть десятого — но нигде ни звука, ни малейшего движения. Почему-то сигнал не был подан. Десять часов. Внезапно справа из города раздался залп. По всему нашему фронту затрещали выстрелы, но после нескольких залпов федералисты совершенно прекратили огонь. Из города доносились лишь какие-то таинственные звуки. Электрические огни погасли, и в темноте чувствовалось тревожное движение. Наконец был отдан приказ идти в атаку, и когда наши солдаты поползли вперед по равнине, передние ряды вдруг начали что-то кричать и по всей равнине прокатился радостный рев. Федералисты ушли из Гомес Паласио! Солдаты хлынули в город. Изредка слышались выстрелы — то расстреливали оставших от своей армии федералистов, увлекшихся грабежом, федералисты, прежде чем оставить город, совершенно разграбили его. Затем принялись грабить наши солдаты. Их крики, пьяное пение и треск разбиваемых дверей доносились до нас на равнину. В некоторых местах засверкали огненные языки: это солдаты поджигали дома, где укрепились федералисты. Но повстанцы, как всегда, забирали только еду, спиртное и необходимую одежду. Домов мирных жителей они не трогали.

Старшие офицеры смотрели на это сквозь пальцы. Вилья издал специальный приказ, где говорилось, что офицер не имеет права отбирать у солдат добытые ими вещи. До сих пор в армии редко случались кражи — во всяком случае, постольку, поскольку это касалось нас, корреспондентов. Но в то утро, когда наша армия вступила в Гомес, в психологии солдат произошла странная

перемена. Проснувшись в своем лагере возле канала, я не нашел Буцефала на месте. Ночью моего коня украли, и больше я его не видел. Во время завтрака к нам подсело несколько кавалеристов, а когда они ушли, мы недосчитались револьвера и ножа. Дело обернулось так, что каждый тащил у кого мог. И поэтому и я украл то, что мне было нужно. Неподалеку от нашего лагеря на поляне пасся большой серый мул с веревкой на шее. Я надел на него мое собственное седло и поехал на передовые позиции. Это было великолепное животное, стоившее по крайней мере в четыре раза дороже Буцефала, как я скоро имел возможность убедиться. Кого бы я ни встречал по дороге, все претендовали на этого мула. Один кавалерист, пробежавший мимо меня с двумя винтовками в руках, крикнул:

— Oiga, сопранего, где ты достал этого мула?

— Нашел его на пастбище, — ответил я неосторожно.

— Так я и думал! — воскликнул тот. — Это мой мул. Слезай с него сию минуту!

— А седло тоже твое? — спросил я.

— Клянусь божьей матерью, что и седло мое.

— Значит, ты все врешь, потому что седло — мое собственное.

Я поехал дальше, а он остался на дороге и долго кричал и ругался. Затем я повстречал старика пеона, который вдруг нежно обнял мула за шею.

— Наконец-то! Мой мул, мой замечательный мул, которого я потерял. Мой Хуанито!

Кое-как я оторвал его руки от шеи мула, невзирая на мольбы заплатить ему за мула хотя бы пятьдесят песо в виде компенсации. В городе ко мне подъехал какой-то кавалерист и, преградив дорогу, потребовал, чтобы я немедленно вернул ему «его мула». Вид у него был грозный, а в руке он сжимал револьвер. Я отделился от него, назвавшись артиллерийским капитаном и заявив, что мул этот числится за моей батареей. Через каждые пять шагов я наталкивался на нового владельца мула, который спрашивал, с какой стати я разъезжаю на его собственном драгоценном Панчито, Педрито или Томасито! Наконец навстречу из казармы вышел солдат с письменным приказом своего полковника, увидевшего меня в окно, передать мула солдату. Я показал

ему пропуск, подписанный: «Франсиско Вилья», и этого оказалось достаточно...

По широкой пустынной равнине, где так долго происходило сражение, поднимая тучи пыли, змеились длинные колонны — армия стягивалась в город. А по железнодорожному пути, насколько мог охватить глаз, один за другим двигались поезда с тысячами женщин, детей и солдат. Торжествующе гудели паровозы, воздух оглашался радостными криками. В городе, с наступлением утра, установился полный порядок и спокойствие. С момента вступления в город Вильи с его штабом всякий грабеж прекратился, и солдаты опять начали относиться с уважением к чужой собственности. Тысяча человек занимались уборкой трупов; вывозили их за город и сжигали. Еще пятьсот человек несли охрану города. Первый приказ по армии гласил, что всякий солдат, появившийся на улице в пьяном виде, будет расстрелян.

В третьем поезде был наш вагон, специально отведенный для корреспондентов, фотографов и кинооператоров. Наконец мы добрались до своих коек, своих вещей и до своего любимого повара китайца. Наш вагон поставили в тупике неподалеку от станции. И когда мы, измученные жарой, пылью и усталостью, наконец удобно расположились в нем, по всем рядам стала рваться шрапнель — стреляли федералисты из Торреона. В это время я стоял в дверях вагона, но, услышав пушечный выстрел, не обратил на него никакого внимания. Вдруг я заметил в воздухе какой-то предмет, похожий на большого жука, за которым тянулся дымовой хвост. Он со свистом пронесся мимо нашего вагона и в шагах сорока с леденящим трах! — ви-и-и-я! — взорвался среди деревьев, где расположились лагерем кавалеристы со своими женами. Человек сто бросились к своим лошадям и в панике поскакали в сторону равнины, женщины кинулись за ними. Убило двух женщин и лошадь. Одежда, пищевые припасы, винтовки — все было в панике забыто. Трах! — ви-и-и-й-я! — новый взрыв по другую сторону вагона. Теперь уже совсем рядом. Позади нас, на путях, двадцать длинных поездов, наполненных визжащими женщинами, пытались одновременно выехать со станции — истерично завывали гудки. Разо-

рвалось еще два неприятельских снаряда, а потом мы услышали, как загремел в ответ «Эль Ниньо».

Обстрел оказал на корреспондентов и журналистов совсем особенное действие. Как только разорвался первый снаряд, кто-то достал фляжку с виски — совершенно по собственному побуждению, и мы пустили ее вкруговую. Никто ничего не говорил, но каждый, когда подходила его очередь, отхлебывал порядочный глоток. Всякий раз как взрывался снаряд, мы вздрагивали и пригибались, но потом привыкли. Затем мы начали поздравлять друг друга и самих себя с тем, что мы такие храбрецы: вот спокойно сидим в вагоне под артиллерийским обстрелом! Наша храбрость возрастала по мере того, как виски убавлялось, а выстрелы становились все реже и наконец прекратились совершенно. Об обеде все забыли.

Вспоминаю, что вечером два воинственных англосакса, стоя в дверях вагона, осыпали проходящих мимо солдат насмешками и самой отборной руганью. Кроме того, мы перессорились между собой, и один корреспондент чуть не задушил «слянявого дурня» с киноаппаратом. А поздно ночью мы с жаром убеждали двоих из нашей компании не ходить в разведку к занятому федералистами Торреону, раз им неизвестен пароль.

— А ну, чего тут бояться? — кричали они. — У всех этих грязных мексикашек нет храбрости ни на грош! Один американец может уложить пятьдесят мексиканцев! Вы что, не видели, как они удирали сегодня, когда в роще стали падать снаряды? А вот мы — ик! — спокойно сидели в вагоне...

Ч А С Т Ь П Я Т А Я

КАРРАНСА: ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Когда в Хуаресе был подписан мирный договор, которым закончилась революция 1910 года, Франсиско Мадеро проследовал на юг к городу Мехико. Повсюду он выступал перед толпами полных энтузиазма и торжествующих пеонов, которые приветствовали его как освободителя.

В Чиуауа он произнес речь с балкона губернаторского дворца. Когда он заговорил о тяготах, которые пришлось перенести кучке людей, навсегда свергнувших диктатуру Диаса, о принесенных ими жертвах, голос его прервался от волнения. Обернувшись назад, он притянул к себе высокого бородатого человека внушительной внешности и, обняв его за плечи, сказал со слезами на глазах:

— Вот — хороший человек! Любите и почитайте его всегда.

Это был Венустиано Карранса, человек, чья жизнь была отдана служению высоким идеалам; крупный помещик, происходивший от испанских завоевателей, унаследовавший от своих предков огромные поместья, он принадлежал к тем мексиканским аристократам, которые, подобно Лафайету и еще некоторым вельможам во времена французской революции 1789 года, душой и телом отдались борьбе за свободу. Когда началась революция Мадеро, Карранса принял в ней участие поистине средневековым образом. Он вооружил пеонов, работавших в его обширных поместьях, и отправился с ними на войну, словно какой-нибудь феодальный сеньор, а когда революция победила, Мадеро назначил его губернатором штата Коагуила.

Когда Мадеро был убит в столице и Уэрта, объявив себя президентом, разослал циркулярное письмо губернаторам штатов, требуя от них признания новой диктатуры, Карранса отказался даже ответить на письмо, заявив, что он не желает иметь дела с убийцей и узурпатором. Он обратился с призывом к мексиканскому народу взяться за оружие, объявил себя «Первым вождем» революции и призвал всех друзей свободы объединиться вокруг него. Затем он выступил из столицы штата на фронт, где принимал участие в первых сражениях у Торреона.

Спустя некоторое время Карранса перебросил свои войска из Коагуилы, где кипели события, через всю республику в штат Сонору, где не было никаких событий. Вилья вел бои в штате Чиуауа, Урбина и Эррера — в Дуранго; Бланко и другие в Коагуиле, а Гонзалес — близ Тампико. Во времена больших общественных потрясений неизбежно начинается грызня из-за будущих выгод. Среди военных руководителей, однако, таких разногласий не было; незадолго до битвы за Торреон независимые партизанские руководители единогласно избрали Вилью главнокомандующим армией конституционалистов — событие, неслыханное в истории Мексики. Но в Соноре Майторена и Пескьера уже грызлись между собой из-за вопроса, кому быть губернатором штата, и угрожали друг другу восстанием. Говорили, что Карранса двинул свои войска на запад, чтобы разрешить этот спор. Однако такое объяснение представляется маловероятным.

По другой версии, Карранса намеревался обеспечить для конституционалистов морской порт на западе и хотел разрешить земельный вопрос для индейцев йяки; а кроме того, в тихой обстановке сравнительно мирного штата ему было легче организовать временное правительство новой республики. Он оставался там шесть месяцев, по-видимому совершенно ничего не предпринимая, держа в бездействии шеститысячную боевую армию, посещая банкеты и бои быков, устанавливая и празднуя бесчисленные новые праздники и обращаясь с воззваниями к народу. Его армия, в два-три раза превосходившая численностью павшие духом гарнизоны Гайямаса и Масатлана, осаждала эти города весьма лениво. Масатлан, если не ошибаюсь, пал совсем не-

давно, и Гайямас тоже. Всего несколько недель назад временный губернатор Майторена угрожал контрреволюцией генералу Альвардо, главнокомандующему Соноры, потому что тот отказывался гарантировать губернатору безопасность — другими словами, он собирался свергнуть революционный режим, так как ему было неуютно в губернаторском дворце Эрмосильо. В течение всего этого времени, насколько мне известно, земельный вопрос ни разу не обсуждался. Индейцы племени йяки, экспроприация земель которых является самым черным пятном во всей черной истории правления Диаса, не получили ничего, кроме туманных обещаний. И все-таки это племя целиком стало на сторону революции. Однако несколько месяцев спустя большинство индейцев вернулось к своим семьям и опять начало безнадежную борьбу с белым человеком.

Карранса предавался спячке вплоть до наступления весны, когда, очевидно завершив все то, ради чего ему пришлось прибыть в Сонору, он обратил свой взор на территорию, где велась настоящая борьба за революцию.

В течение этих шести месяцев положение совершенно изменилось. Кроме северной части штата Нуэва Леон и большей части штата Коагуила, Северная Мексика была в руках конституционалистов почти от моря и до моря, и Вилья с хорошо вооруженной, хорошо дисциплинированной десятитысячной армией начинал кампанию у Торреона. Все это было осуществлено руками почти одного Вильи; Карранса только посылал поздравления. Правда, он все-таки образовал временное правительство; Первого вождя окружало огромное собрание политиков-оппортунистов, они громко выражали свою преданность делу революции, часто обращались с воззваниями к народу и были полны зависти друг к другу и к Вилье. Мало-помалу личность Каррансы была заслонена его кабинетом, хотя имя его по-прежнему пользовалось всеобщим уважением.

Создалось странное положение. Корреспонденты, все эти месяцы жившие в столице Каррансы, рассказывали мне, что в конце концов Первый вождь стал настоящим отшельником. Они его почти не видели. Им очень редко приходилось беседовать с ним. Разные секретари, чиновники, члены кабинета стояли между ними и им — вежливые, дипломатичные, хитрые господа,

которые передавали Каррансе вопросы репортеров в письменной форме и вручали им его письменные ответы, чтобы не произошло ошибки.

Но что бы ни делал Карранса, он совершенно не вмешивался в дела Вильи, предоставляя ему терпеть поражения, которых он не смог избежать, и делать ошибки. В конце концов Вилье самому пришлось вести переговоры с иностранными державами, точно он был главой государства.

Нет никакого сомнения, что политики в Эрмосильо всячески старались возбудить в Каррансе зависть к Вилье, к его все более возрастающему престижу на севере. В феврале Первый вождь не спеша отправился на север в сопровождении трехтысячной армии, якобы собираясь послать подкрепления Вилье и, когда Вилья отбудет к Торреону, сделать временной столицей Хуарес. Однако два корреспондента, приехавшие из Соноры, говорили мне, что офицеры этой огромной охраны были уверены в том, что их пошлют против самого Вильи.

В Эрмосильо Карранса был далеко от новых мировых центров. Как знать, может быть он и совершал там великие дела! Но когда Первый вождь революции стал приближаться к американской границе, мировое внимание сосредоточилось на нем, и тут же выяснилось, что мировому вниманию, собственно говоря, не на чем сосредоточиваться, и разнеслись слухи, что никакого Каррансы на самом деле нет. Так, например, одна газета заявляла, что он сошел с ума, а другая утверждала, что он вообще исчез неизвестно куда.

Я в то время находился в Чиуауа. Газета, корреспондентом которой я состоял, передала мне по телеграфу эти слухи и потребовала, чтобы я немедленно отыскал Каррансу. Это случилось как раз после убийства Бентона, когда повсюду царило необыкновенное возбуждение. Все протесты и лишь слегка завуалированные угрозы английского и американского правительств сыпались на Вилью. Но к тому времени, когда я получил распоряжение своей газеты, Карранса и его кабинет уже прибыли на границу и нарушили шестимесячное молчание самым изумительным образом. Послание Первого вождя государственному департаменту США звучало приблизительно так:

«Вы ошиблись, адресуя свое заявление по поводу дела Бентона генералу Вилье. Оно должно было быть адресовано мне, как Первому вождю революции и главе Временного конституционалистского правительства. Кроме того, Соединенным Штатам незачем было выступать ни с какими заявлениями, хотя бы даже и адресованными ко мне, так как Бентон был британским подданным. Я не получал никаких представлений от британского правительства. Пока я их не получу, я не буду отвечать на послания какого-либо другого правительства. А тем временем будет проведено тщательное расследование обстоятельств смерти Бентона, и те, на кого ложится ответственность за эту смерть, будут судимы по всей строгости закона».

Одновременно Вилья получил довольно ясное указание не вмешиваться более в международные дела, что его только обрадовало.

Так обстояли дела, когда я прибыл в Ногалес. Ногалес штата Аризона и Ногалес мексиканского штата Сонора в действительности составляют один широко раскинувшийся город. Государственная граница проходит посредине улицы, и у небольшой таможни лениво бродят несколько оборванных мексиканских часовых, с вечной папироской в зубах. Они, по-видимому, ни во что не вмешиваются и только взимают пошлину со всего, что перевозится или переносится на американскую сторону. Обитатели американской части города переходят границу, чтобы покутить, поиграть в азартные игры, потанцевать и почувствовать себя свободными; мексиканцы переходят на американскую сторону, когда за ними кто-нибудь гонится.

Я прибыл в полночь и тотчас отправился в гостиницу в мексиканской части города, где расположились кабинет Каррансы и большинство его политических приспешников, спавшие по четыре человека в комнате, на койках в коридорах, на полу и даже на лестницах. Меня ожидали. Темпераментный конституционалистский консул на фронте, которому я объяснил цель моей миссии, по-видимому, счел ее необычайно важной, так как он телеграфировал в Ногалес, что вся судьба мексиканской революции зависит от того, сможет ли мистер Рид

увидеться с Первым вождем революции немедленно по своем прибытии. Однако все уже спали, и хозяин гостиницы, извлеченный из своей комнатухи, заявил, что не имеет ни малейшего представления об именах всех этих господ и не знает, где они спят. Да, сказал он, о том, что Карранса в городе, он что-то слышал. Мы пошли по коридору, толкая ногами двери и лежавших на полу мексиканцев, пока не натолкнулись на небритого, но очень вежливого господина, который заявил, что он глава Таможенного управления в новом правительстве. Он, в свою очередь, разбудил морского министра, а тот поднял на ноги министра финансов; министр финансов вызвал министра сельского хозяйства, который в конце концов провел нас в комнату министра иностранных дел, сеньора Исидро Фабела. Сеньор Фабела сказал, что Первый вождь уже почивает и не может принять меня, но что он сам немедленно ознакомит меня с мнением Каррансы относительно бентоновского инцидента.

Я знал, что ни одной газете ничего не известно о сеньоре Фабеле. Они требовали от своих корреспондентов узнать, кто же он такой. Он, казалось, играл во Временном правительстве весьма важную роль, а между тем о его прошлом никому ничего не было известно. В разные времена он занимал в кабинете Первого вождя самые разные посты. Он оказался человеком среднего роста, державшимся с большим достоинством, любезным, внимательным, по-видимому превосходно образованным и чертами лица сильно походившим на еврея. Мы с ним долго беседовали, сидя на краешке его кровати. Он рассказал мне о целях и идеалах Первого вождя; но из его слов я совершенно не мог составить себе представления о личности Первого вождя.

— Ну, конечно, — сказал он, — на следующее утро я непременно встречусь с Первым вождем. Он меня, безусловно, примет.

Но когда мы перешли к конкретным вопросам, сеньор Фабела заявил, что Первый вождь не может сразу ответить на них. Их надо изложить письменно и сначала представить ему, Фабеле. Он отправится с ними к Каррансе и принесет его ответ. В соответствии с этим я на следующее утро написал на листе бумаги около двадцати пяти вопросов и вручил их Фабеле. Он прочитал их с большим вниманием.

— Видите ли, — сказал он, — здесь много таких вопросов, на которые Первый вождь отвечать не станет. Я советую вам вычеркнуть их.

— Ну что ж, — сказал я, — если он не ответит на них — не беда. Но мне хотелось бы, чтобы он с ними ознакомился. Он ведь может не отвечать на них.

— Нет, — сказал Фабела любезно, — лучше вычеркните их сразу. Я знаю точно, на какие вопросы он ответит, на какие нет. Видите ли, некоторые из ваших вопросов могут так настроить его, что он не станет отвечать и на остальные, а ведь этого вы не хотели бы, не так ли?

— Сеньор Фабела, — сказал я, — а вы уверены, что знаете точно, на какие вопросы дон Венустиано не станет отвечать?

— Я знаю, что вот на эти он не ответит, — сказал Фабела, указывая на четыре или пять, которые касались некоторых специфических сторон платформы конституционалистского правительства: а именно, распределения земли, прямых выборов и предоставления права голоса пеонам.

— Я доставлю вам ответы через двадцать четыре часа, — сказал он. — Сейчас мы пойдем к вождю, но вы должны обещать мне следующее: вы не станете задавать ему никаких вопросов, вы просто войдете в комнату, поздороваетесь с ним и сразу уйдете.

Я обещал и вместе с другим репортером пошел за ним через площадь к небольшой красивой ратуше. Некоторое время мы ждали во внутреннем дворике. Там сновали толпы очень важных мексиканцев с бутоньерками в петлице, с портфелями и пачками бумаг под мышкой. Время от времени, когда открывалась дверь секретариата, воздух оглашал треск пишущих машинок. Офицеры в парадных мундирах стояли на террасе, ожидая распоряжений. Генерал Обрегон, командующий армией штата Сонора, громким голосом излагал свои планы о продвижении на юг в районе Гвадалахары. Он начал поход в сторону Эрмосильо три дня спустя и за три месяца продвинулся со своей армией на четыреста миль, проходя по дружественной территории. Хотя Обрегон не выказал особенных полководческих талантов, Карранса назначил его главнокомандующим армией на северо-востоке, в чине, равном чину Вильи. Сейчас он беседовал с толстой рыжей дамой в черном шелковом

платье, расшитым черным стеклярусом. На боку у нее висела шпага. Это была полковник Рамона Флорес, начальник штаба конституционалистского генерала Карраско, ведущего операции в Тепике. Ее муж, офицер, принимавший участие в первой революции, был убит, оставив ей золотые прииски, которые она продала и на вырученные средства создала собственный полк и отправилась с ним на фронт. У стены лежали два мешка, наполненные золотыми слитками, которые она привезла на север, чтобы приобрести на них оружие и обмундирование для своих солдат. Вежливые американцы, добивавшиеся здесь получения концессий, переступали с ноги на ногу, держа шляпу в руке. Всюду сновали агенты военных фирм, расхваливая тем, кто соглашался их слушать, свои пушки и пули.

У входа во дворец стояли на часах четыре солдата, а по дворику бродило еще несколько солдат. Кроме того, двое часовых стояло по обе стороны маленькой боковой двери. У этих солдат вид был культурнее, чем у других. Они пристально оглядывали каждого, кто проходил мимо, а тех, кто останавливался у двери, они подвергали подробному допросу. Каждые два часа эта охрана сменялась; смена производилась генералом и сопровождалась долгими переговорами.

— Что это за комната? — спросил я сеньора Фабелу.

— Это кабинет Первого вождя революции, — ответил он.

Мне пришлось ждать около часа, и я заметил, что в течение всего этого времени никто не входил в кабинет, кроме сеньора Фабелы и тех, кого он приглашал с собой. Наконец он подошел ко мне и сказал:

— Все в порядке. Первый вождь сейчас вас примет.

Мы последовали за ним. Часовые загородили вход винтовками.

— Кто эти сеньоры? — спросил один из них.

— Это друзья, — ответил Фабела и открыл дверь.

Внутри было так темно, что вначале мы ничего не могли разглядеть. Шторы на обоих окнах были спущены. У одной стены стояла кровать, все еще не убранная, а у другой — небольшой стол, заваленный бумагами, на которых стоял поднос с остатками завтрака. В углу виднелось жестяное ведро, наполненное льдом,

с двумя-тремя бутылками вина. Когда наши глаза привыкли к темноте, мы увидели в кресле гигантскую фигуру, одетую в хаки, — это был дон Венустиано Карранса. В его позе было что-то странное: он сидел, положив руки на подлокотники, как если бы его посадили сюда и приказали не двигаться. По его виду нельзя было заключить, что он о чем-то думает или что он недавно работал, — трудно было себе представить его сидящим за этим столом. Создавалось впечатление, будто перед вами громадное инертное тело, — статуя.

Карранса встал нам навстречу — великан, не менее семи футов роста. С удивлением я заметил, что, несмотря на царивший в комнате полумрак, он носил очки с темными стеклами; и, хотя на вид он был полный и краснощекий, чувствовалось, что он нездоров, — так бывает, когда смотришь на больного туберкулезом. Эта крохотная темная комната, где Первый вождь революции спал, ел и работал и из которой он почти никогда не выходил, казалась страшно маленькой и напоминала тюремную камеру.

Фабела вошел вместе с нами. Он по очереди представил нас Каррансе, и тот, улыбнувшись невыразительной улыбкой, слегка кивнул головой и пожал нам руки. Мы все сели. Указав на моего сотоварища, который не умел говорить по-испански, Фабела сказал:

— Эти господа пришли приветствовать вас от имени влиятельных газет, представителями которых они являются. Этот господин говорит, что он хочет выразить вам свои искренние пожелания успеха во всех начинаниях.

Карранса опять слегка кивнул и приподнялся, как только Фабела встал, показывая, что интервью кончилось.

— Разрешите мне заверить вас, господа, — сказал Первый вождь, — что я с благодарностью принимаю ваши добрые пожелания.

Снова мы пожали друг другу руки; но когда я взял протянутую руку Каррансы, я сказал по-испански:

— Сеньор дон Венустиано, моя газета — ваш друг и друг конституционалистов.

Карранса и бровью не повел: передо мной, как и раньше, была маска вместо человеческого лица. Но когда я произнес эти слова, он перестал улыбаться. На его

лице не появилось никакого выражения, но он вдруг заговорил:

— Соединенным Штатам я заявил, что дело Бентона их не касается. Бентон был британским подданным. Я дам ответ посланцам Великобритании, когда они явятся ко мне с представлением от их правительства. Почему их ко мне не присылают? Англия в настоящее время имеет своего посла в Мехико, который принимает приглашения Уэрты на обед, снимает перед ним шляпу и пожимает ему руку! Когда был убит Мадеро, иностранные державы сразу слетелись сюда, как коршуны на труп, и стали выслуживаться перед убийцей, потому что у них была здесь горсточка подданных, мелочных торгашей, занимавшихся грязной коммерцией.

Первый вождь закончил свою речь так же внезапно, как и начал, с тем же застывшим выражением на лице, но он все время сжимал и разжимал кулаки и кусал усы. Фабела поспешно направился к двери.

— Господа очень благодарны вам за прием, — нервно сказал он. Но дон Венустиано не обратил на него внимания. Он вдруг заговорил опять, и голос его стал громче и резче.

— Эти трусливые державы думали обеспечить себе преимущества, поддерживая правительство узурпатора. Но быстрое наступление конституционалистов показало им, что они ошиблись, и сейчас они очутились в затруднительном положении.

Фабела явно нервничал.

— Когда начнется кампания у Торреона? — спросил он, пытаясь переменить тему разговора.

— Убийство Бентона произошло из-за злобного нападения врага революционеров на Вилью, — рывкнул Первый вождь, говоря все громче и быстрее, — и Англия, эта мировая зачинщица ссор и драк, не находит возможным иметь с нами дело, боясь унижить себя посылкой своего представителя к конституционалистам, и вот она попыталась использовать Соединенные Штаты в качестве своего орудия. Позор Соединенным Штатам, — вскричал Карранса, потрясая кулаками, — что они позволили себе вступить в союз с этими бесчестными державами!

Несчастный Фабела сделал еще одну попытку запрудить опасный поток. Но Карранса шагнул вперед и, подняв руку, закричал:

— Вот что скажу я вам: если Соединенные Штаты решатся на интервенцию, воспользовавшись этим ничтожным поводом, их интервенция не даст им того, на что они рассчитывают, но вызовет войну, которая, помимо других последствий, породит глубокую ненависть между Соединенными Штатами и всей Латинской Америкой, ненависть, которая подвергнет опасности все политическое будущее Соединенных Штатов!

Его речь прервалась на высокой ноте, как если бы что-то внутри него внезапно ее оборвало. Я попытался убедить себя, что слышал речь пробужденной Мексики, обрушивающейся на своих врагов, но нет — это говорил дряхлый старик, уставший и раздраженный.

Мы вышли на солнечный свет, и сеньор Фабела взволнованно стал убеждать меня не писать о том, что услышал, или, во всяком случае, показать ему то, что я напишу.

Я оставался в Ногалесе еще два дня. На следующий день после интервью лист бумаги, на котором были напечатаны на машинке мои вопросы, был мне возвращен; ответы были написаны пятью различными почерками. Корреспонденты пользовались в Ногалесе большим почтом. Члены кабинета Временного правительства обходились с ними весьма любезно, однако им почему-то никак не удавалось добраться до Первого вождя. Я неоднократно пытался получить от членов кабинета хотя бы малейшее разъяснение того, как они собираются разрешить те важные вопросы, которые привели к революции, но у них, казалось, не было никаких планов, кроме образования Временного правительства. Во время многочисленных бесед с ними я ни разу не подметил хотя бы проблеска сочувствия к угнетенным пеонам или понимания их положения. Время от времени мне приходилось быть свидетелем ссор из-за постов в новом правительстве Мексики. Имя Вильи почти никогда не упоминалось, а если и упоминалось, то следующим образом:

«Мы не сомневаемся в лояльности Вильи и его готовности выполнять приказы».

«Как военный, Вилья сделал многое, этого отрицать нельзя. Но он не должен вмешиваться в дела

правительства, потому что, как вы знаете, Вилья всего лишь невежественный пеон».

«Он часто говорит глупости и делает много ошибок, которые нам придется исправлять».

И редко проходил день без того, чтобы Карранса не выступил с заявлением, вроде следующего:

«Между мною и генералом Вильей не существует никаких разногласий. Он безоговорочно выполняет все мои приказы, как простой солдат. Немыслимо, чтобы он поступал иначе».

Я часто бродил по ратуше, но увидеть Каррансу мне довелось еще только один раз. Солнце уже садилось, и большинство генералов, коммерческих агентов и политических деятелей ушло обедать. Сидя на краю фонтана посреди внутреннего двора, я болтал с солдатами. Внезапно дверь маленького кабинета распахнулась, и на пороге появился Карранса. Руки его бессильно висели, великолепная седая голова была откинута, и он смотрел невидящими глазами поверх наших голов и поверх стены на огненные облака на западе.

Мы встали и поклонились, но он не заметил нас. Медленно волоча ноги, он пошел по террасе ко входу в ратушу. Двое часовых взяли на караул. Когда он прошел мимо, они вскинули винтовки на плечо и последовали за ним. У входа он остановился и долго стоял на одном месте, глядя на улицу. Четверо часовых вытянулись в струнку. Солдаты, следовавшие за ним, остановились, опустив винтовки на землю. Первый вождь революции заложил руки за спину, — пальцы его судорожно дергались. Затем он повернулся и, пройдя между часовыми, возвратился в маленькую темную комнату.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

МЕКСИКАНСКИЕ НОЧИ

Глава I

Эль Космополита — модный игорный притон в Чиуауа. Владелец его раньше был Якоб Латуш — «турок», тучный, неуклюжий человек, который двадцать пять лет тому назад пришел босиком в Чиуауа с ученым медведем и успел с тех пор стать миллионером. На Пасео Боливар он построил себе роскошный особняк, который прозвали «Дворцом слез», так как он был построен на доходы с игорных притонов «турка», разоривших не одну семью. Однако старый негодяй бежал с отступающей армией Меркадо, и Вилья, заняв Чиуауа, конфисковал Эль Космополиту, а «Дворец слез» преподнес генералу Ортега в качестве рождественского подарка.

Когда у меня заводилось несколько лишних песо, мы с Джонни Робертсом заглядывали в Эль Космополиту. Зайдя на минуту в китайский бар, где хозяйничал седой монгол Чи Ли, мы небрежной походкой русских великих князей в Монте-Карло проходили к игорным столам.

Сначала вы попадаете в длинный зал с низкими потолками, освещенный тремя коптящими фонарями, где идет игра в рулетку. На стене огромный плакат:

«Пожалуйста, не взбирайтесь с ногами на рулеточный стол».

Колесо этой рулетки не горизонтальное, а вертикальное, усаженное гвоздиками, которые при вращении цепляются об эластичную стальную пластинку, в конце концов останавливающую колесо против того или другого номера. По обе стороны колеса протянулся шестиметровый

вый стол, у которого всегда толпятся по меньшей мере пять рядов мальчишек, солдат и пеонов, отчаянно возбужденных, жестикулирующих, швыряющих кредитки на номера и цвета и отчаянно спорящие и ругающиеся из-за выигрышей. Проигравшие, глядя на то, как крупье сгребает их деньги, непременно раздражаются ужасными криками и бранью, и колесо нередко стоит без движения тридцать — сорок минут, пока какой-нибудь игрок, проигравший десять центов, не выпустит весь заряд своей цветистой ругани по адресу крупье, владельца игорного дома, и всех его предков и потомков до десятого колена включительно, а также по адресу бога и всего святого семейства за то, что они допустили подобную несправедливость. Наконец, бросив многозначительное: «А ver!» (посмотрим!) — проигравшийся уходит, сопровождаемый сочувственным шепотом: «Ah! Que mala suerte!»¹

На столе возле крупье в одном месте сукно протерто, и там торчит небольшая кнопка из слоновой кости. Как только кому-нибудь начинает везти в игре, крупье нажимает эту кнопку, и колесо останавливается там, где он хочет. Так продолжается, пока счастливцу это не надоест. Все присутствующие считают это вполне законным приемом, поскольку — сагамба! — не может же игорный дом работать в убыток!

Деньги ставятся самые разнообразные: серебро и медь давно уже исчезли из обращения в Чиуауа, но остались еще мексиканские банкноты, кроме того в ход идут и бумажные, ничего не стоящие деньги, выпущенные Вильей, и чеки горнорудных компаний, и векселя, и долговые расписки, и всевозможные акции, и ценные бумаги.

Но рулетка нас мало интересовала. Слишком мало получаешь действия за свои деньги. Поэтому мы протолкались в другую комнату, синюю от табачного дыма, где за столом, имеющем форму подковы и застланном бязевой скатертью, идет вечная игра в покер. В небольшом углублении сидит банкомет, напротив него полукругом располагаются игроки. Когда игрок срывает банк, банкомет сгребает десятую часть себе в ящик — комиссионные игорного дома. Если кто-нибудь из игроков

¹ Ah! Какое несчастье! (испанск.)

начинает горячиться и выкладывает кучу денег, банкомет свистит, к столу сразу подскакивают два вежливых господина, находящихся в услужении игорного дома, и получают выигрышные карты. Ставки делаются без ограничений, пока у вас есть фишки или наличные.

Строгие правила американского покера, столь ограничивающие свободу действия, здесь не в ходу. Мы с Джонни, едва получив карты, тут же показывали их друг другу. Если моя обещала больше, Джонни с вдохновенным видом придвигал свою ставку к моей, если следующая удачная карта шла Джонни, я передвигал обе ставки к нему. К тому времени, как давалась последняя карта, все фишки лежали строго посредине между нами, и тот, у кого комбинация была лучше, ставил весь наш объединенный капитал.

Разумеется, никто не протестовал, но, чтобы положить этому конец, банкомет свистел, и «казенные» игроки получали последние карты.

И все это время официант китаец метался между столом и буфетом, разнося сэндвичи и чашки с кофе. На протяжении всей игры игроки громко прихлебывали кофе и чавкали, оставляя на картах жирные и кофейные пятна.

Иногда какой-нибудь игрок, побывавший за границей, встает из-за стола и обходит вокруг своего стула, чтобы отогнать неудачу, или же надменно требует свежую колоду карт. Банкомет вежливо кланяется, быстрым жестом сметает колоду в ящик и достает другую. На все заведение существует лишь две колоды. Каждая прослужила не меньше года, и обе они испещрены следами многочисленных трапез.

Конечно, играют в американский покер. Но случается так, что иной мексиканец не знает всех тонкостей американской колоды. В мексиканской колоде, например, нет семерок, восьмерок и девяток. Однажды к игорному столу подсел вот такой мексиканец — важный, самодовольный толстяк. Прежде чем банкомет успел свистнуть, толстяк вытащил огромную пачку кредиток — всех размеров, сортов и достоинств — и купил фишек на сто песо. Я получил три черви, забрал ставку Робертса и стал прикупать к флешу¹. Мексиканец долго смотрел на свои

¹ Одна из старших комбинаций в покере: карты одной масти.

карты, точно не узнавал их. Потом, побагровев от волнения, он поставил пятнадцать долларов. Прикупив еще одну карту, он страшно побледнел и поставил двадцать пять долларов, и наконец, взглянув на последнюю карту, он опять побагровел и поставил пятьдесят долларов.

Каким-то чудом я таки набрал свой флеш. Но огромные ставки мексиканца меня напугали. Я знал, что он вряд ли мог набрать что-нибудь выше флеша, ставить мне больше было нечего, и я предложил открыться. Это вывело его из себя.

— Что это значит — «открыться»? — кричал он, потрясая кулаками.

Ему объяснили, и он немного успокоился.

— Ну, ладно! Раз у меня только и осталось, что пятнадцать долларов, а вы не позволяете мне купить еще фишек, ставлю все.

Я принял ставку.

— Ну, покажите, что тут у вас? — чуть не взвизгнул он и, весь дрожа, перегнулся ко мне. Я открыл свой флеш. Громко рассмеявшись, он хлопнул кулаком по столу.

— Стрэт!¹ — крикнул он и открыл четверку, пятерку, шестерку, десятку и валета.

Он уже протянул руку, чтобы забрать банк, как вдруг сидевшие за столом разразились криками.

— Неправильно!

— Это не стрэт!

— Гринго должен получить деньги, гринго!

Мексиканец лежал грудью на столе, обхватив руками ящик с деньгами.

— Что такое? — взвизгнул он. — Это ли не стрэт? Смотрите — четверка, пятерка, шестерка, десятка, вале-лет!

— Да, но после шестерки идут семерка, восьмерка и девятка, — вмешался банкомет. — В американской колоде есть еще семерка, восьмерка и девятка.

— Просто смешно! — фыркнул мексиканец. — Я всю жизнь играю в карты и никогда не видал ни семерок, ни восьмерок, ни девяток.

¹ Комбинация в покере, состоящая из пяти идущих по порядку карт.

К этому времени толпа от рулетки успела переключаться к нашему столу и приняла самое горячее участие в споре.

— Конечно, это не стрэт!

— Конечно, стрэт! Вот же — четверка, пятерка, шестерка, десятка, валет!

— Да, но ведь американская колода совсем другая.

— Но здесь не Соединенные Штаты, а Мексика!

— Эй, Панчо! — крикнул банкомет. — Сбегай-ка за полицией.

Положение оставалось прежним. Мой противник все еще лежал на столе, обхватив ящик с деньгами. Спор бушевал с прежней силой; кое-где спорящие перешли на личности, и руки уже тянулись к револьверам. Я громко отодвинул свой стул к стене. Вскоре явился начальник полиции в сопровождении пяти жандармов. Он был высокий, небритый и обладал усами, которые поднимались до самых глаз. На нем был свободный грязный мундир с красными плюшевыми эполетами. Не успел он войти, как все, громко крича, принялись объяснять ему, в чем дело. Банкомет, сложив ладони в трубку, ухитрился перекрыть этот шум. Лежавший на столе игрок, повернув к нему искаженное яростью лицо, визгливо утверждал, что нечего портить хороший мексиканский покер правилами, которые напридумывали гринго.

Начальник полиции слушал, покручивая усы, и весь надувался важностью, потому что имел право решить спор, возникший из-за таких огромных денег. Он взглянул на меня. Я промолчал и любезно поклонился. Он ответил поклоном. Затем, повернувшись к жандармам, он драматическим жестом указал на лежащего на столе и сказал:

— Арестовать этого козла!

Финал, вполне достойный всего предыдущего. Несчастливого мексиканца отвели, несмотря на его протесты и вопли, в угол и поставили лицом к столу.

— Деньги принадлежат этому господину, — продолжал начальник полиции. — А что касается тебя, то ты, как видно, не имеешь никакого понятия об этой игре. Я бы с радостью...

— Быть может, — любезно сказал Робертс, слегка

толкнув меня локтем, — сеньор капитан покажет этому господину, как...

— Я буду счастлив одолжить вам фишки, — добавил я, копаясь в своем выигрыше.

— Oiga! — сказал начальник полиции. — С большим удовольствием. Примите мою глубочайшую благодарность, сеньор.

Пододвинув стул, он с видом знатока воскликнул:

— Abierto! ¹

Мы сыграли. Начальник полиции выиграл. Мы продолжали играть.

— Вот видите, — сказал начальник полиции, — это совсем легко, если соблюдать правила.

Он покрутил усы, щелкнул по картам и поставил двадцать пять долларов. Он выиграл опять.

Через некоторое время к столу подошел один из жандармов и почтительно сказал:

— Простите, *mi capitán*, а что нам делать с арестованным?

— Что? — удивленно спросил начальник. — Ах да! Отпустите его, а сами возвращайтесь на свои посты, — добавил он и нетерпеливо махнул рукой.

Давно уже перестало вертеться колесо рулетки, давно потухли лампы в игорном зале, и самых азартных игроков давно уже выставили за дверь, а мы все еще сидели и играли в покер. У нас с Робертсом оставалось всего по три песо. Мы все время зевали и клевали носом. Но начальник полиции, сняв мундир, как тигр припал к картам. Теперь он проигрывал раз за разом...

Глава II

СЧАСТЛИВАЯ ДОЛИНА

Был праздничный день — фиеста, и, конечно, в Валле Аллегре никто не работал. В полдень позади кабачка Катарино Кабрера должен был состояться бой петухов — почти напротив трактира Дионисио Агирра, где отдыхают караваны ослов, отправляющиеся в далекие горные путешествия, и где погонщики за бутылкой те-

¹ Открыто! (испанск.)

quila рассказывают друг другу разные небылицы. В час дня на солнечной стороне сухого оврага, который здесь зовется улицей, в два ряда расположились пеоны и молча, мечтательно покуривая папиросы, свернутые из кукурузных листьев, терпеливо ждали. Любители выпить то и дело входили в кабачок Катарино — из открытых дверей вырывались клубы табачного дыма и крепкий запах *aguardiente*. Ребятишки играли в чехарду с огромной рыжей свиньей, а на противоположном склоне оврага привязанные за ногу петухи-противники вызывающе кукарекали. Хозяин одного из них — деловитый, вкрадчивый профессионал в сандалиях, но только в одном вишневом носке, ходил взад и вперед и, размахивая пачкой грязных кредиток, выкрикивал:

— *Diez pesos*, сеньоры, только десять песо!

Как ни странно, бедняков, готовых поставить десять песо, не нашлось. Время близилось к двум часам, а никто из собравшихся не пошевелился — только время от времени они передвигаются на новое место вслед за солнцем, уходя от надвигающейся черной тени. В тени было прохладно, а на солнце невыносимо жарко.

На границе тени лежал Игнасио, скрипач, закутавшись в рваное серапе. Он был пьян и теперь отсыпался. Выпив, он играл «Расставание» Тости, а напившись как следует, припоминал кое-что из «Весенней песни» Мендельсона. Кроме него, во всем штате Дуранго никто не умеет играть серьезные музыкальные произведения, и поэтому он пользуется вполне заслуженной славой. Когда-то Игнасио был блестящ и трудолюбив — его сыновьям и дочерям несть числа, но темперамент истинного художника погубил его.

Улица красная — жирная темно-красная глина, а площадка, где стоят мулы, — темно-оливковая. На крышах низеньких коричневых хижин желтеют кукурузные початки, алеют гирлянды красного перца. Все ветви гигантского зеленого мескитового дерева, чьи корни торчат, словно скрюченная куриная лапа, обвешаны пучками сена и кукурузных стеблей. Дальше по склонам оврага лепятся домики, их плоские крыши, похожие на огромные камни, поросли цветами и травой, из труб поднимаются струйки голубого дыма, кое-где между домами высится одинокая пальма. Хижины тянутся до самой равнины, где происходят скачки; за

равниной в пылающее зноем небо уходят голые зубчатые горы, красно-бурые, как львиная шкура, а на горизонте — голубоватые и совсем лиловые. Овраг открывается в широкую, серую, как слоновая кожа, долину, где пляшут волны зноя.

Слышится ленивый гул людских голосов, кукареканье петухов, хрюканье свиней, тяжелые вздохи ослов, шлеест кукурузных стеблей, стряхиваемых с мескита, пение женщины, крутящей ручной жернов, и плач бесчисленных младенцев.

Солнце жгло немилосердно. Мой приятель Анастасио сидел на обочине и ни о чем не думал. Его грязные ноги были обуты в сандалии, огромное сомbrero тускло-кирпичного цвета украшал потускневший золотой галун, а серапе, молочно-голубое, словно китайский коврик, пестрело желтыми солнцами. Увидев меня, он поднялся на ноги, и, сняв шляпы, мы обнялись по мексиканскому обычаю, хлопая друг друга по спине левой рукой и пожимая правую.

— Buenos tardes, amigo¹, — пробормотал он. — Как себя чувствуете?

— Очень хорошо. Благодарю. А как вы?

— Великолепно. Премного благодарен. Мне так хотелось вас видеть.

— А ваша семья? (В Мексике считается более деликатным не осведомляться о жене — слишком многие не узаконивают свой брак.)

— Очень, очень благодарен за внимание. Все здоровы и чувствуют себя прекрасно. А как ваша семья?

— Очень хорошо. Я встретил вашего сына в армии в Хименесе. Он передает вам самый горячий привет. Не хотите ли папиросу?

— Спасибо. Разрешите прикурить? Вы надолго в Валле Аллегре?

— Нет, сеньор, я приехал сюда только на время фиесты.

— Будем надеяться, что вы весело проведете время. Мой дом, сеньор, к вашим услугам.

— Очень благодарен. А почему вас не было видно на baile вчера вечером, сеньор? Вы ведь всегда так любили танцевать.

¹ Добрый день, дружище (испанск.).

— К несчастью, моя Хуанита уехала навестить свою мать в Эль Оро, и я теперь — *platonico*¹. А для молодых сеньорит я уже стар.

— О нет, сеньор. Вы еще в самом цветущем возрасте. Скажите мне, правда ли, что мадеристы заняли Мапими?

— Да, сеньор. Говорят, Вилья скоро возьмет Торреон, а тогда еще несколько месяцев — и революция будет закончена.

— Я тоже так думаю. А теперь скажите мне, — я очень ценю ваше мнение, — на какого петуха мне лучше держать пари?

Мы подошли к петухам и начали их разглядывать, а их хозяева на все лады расхваливали своих бойцов. Они сидели на обочине, лениво поглядывая, чтобы петухи вдруг не напали друг на друга. Было уже около трех часов.

— Будет ли сегодня петушиный бой?

— *Quien sabe*, — протянул один.

Другой пробормотал, что, быть может, бой состоится *тапапа*². Оказывается, хозяева петухов забыли захватить стальные петушинные шпоры, и теперь за ними в Эль Оро поехал на муле мальчишка. До Эль Оро — шесть миль по горам.

Все спокойно ждали, мы тоже стали ждать. Из кабачка вышел его хозяин Катарина Кабрера, *jefe politico*³ Валле Аллегре. Он был очень пьян и шел под руку с доном Присилиано Сауседес, бывшим *jefe* при правительстве Диаса. Дон Присилиано — красивый седовласый кастилец, прежде одалживал пеонам деньги, беря с них двадцать процентов. Дон Катарина — бывший учитель, ярый революционер; теперь он одалживает деньги все тем же пеонам, а проценты берет лишь немногим меньше. Дон Катарина не носит воротничка, но зато при нем всегда револьвер и две патронные ленты. У дона Присилиано в начале первой революции городские мадеристы отобрали почти все имущество, самого раздели догола, привязали ремнями к спине лошади и избили саблями плашмя.

— Ох, уж эта революция! — говорит он, отвечая на мой вопрос. — Я на своей спине познал, что это такое!

¹ на холостом положении (*испанск.*).

² завтра (*испанск.*).

³ политический руководитель (*испанск.*).

Пошатываясь, оба направляются к дому дона Присиано — Катарино ухаживает за красивой дочерью своего приятеля.

Раздается громкий стук копыт. По улице скачет веселый красавец Хесус Триано, служивший капитаном в армии Ороско. Но Валле Аллегре находится в трех днях езды от железной дороги, и политикой здесь интересуются мало — поэтому Хесус безнаказанно разъезжает по улицам на своей краденой лошади. Это рослый молодец, со сверкающими белыми зубами, винтовкой и широким кожаным поясом, в кожаных брюках, застегнутых сбоку блестящими пуговицами величиной с долларовую монету, а его шпоры в два раза больше пуговиц. Говорят, что его щеголеватый вид и великолепная выправка, а также то, что он убил Эметарио Флореса, выстрелив ему в спину, помогли ему получить руку Долорес, младшей дочери Мануэля Паредеса, угольного подрядчика. Галопом проносится он по улице, и из рта его лошади, разорванного жестким мундштуком, бьет кровавая пена.

Из-за угла выходит Адольфо Мелендес, капитан армии конституционалистов, облаченный в новенький вельветовый зеленый мундир; на боку у него блестящая, позолоченная шпага, некогда принадлежавшая какому-то рыцарю Пифии. Адольфо приехал в отпуск на две недели, но он отсрочил свое возвращение в часть на неопределенное время, так как должен был отпраздновать свой брак с четырнадцатилетней дочкой деревенского богача. Говорят, его свадьба была обставлена с необыкновенной пышностью, венчание совершали два священника, и церемония длилась на целый час дольше обычного. Но Адольфо, пожалуй, не просчитался — ведь у него есть еще жена в Чиуауа, другая — в Парале и третья — в Монтерес, и ему надо было умиловить родителей невесты. Он покинул полк три месяца назад и, как он простодушно объяснил мне, считает, что о нем там уже давным-давно забыли.

В половине пятого взрыв радостных криков возвестил о том, что вернулся мальчишка, ездивший за петушиными шпорами. Выяснилось, что в Эль Оро он сел

играть в карты и на время позабыл о данном ему поручении.

Конечно, никто не стал ругать его за это, — он все-таки привез шпоры, а остальное не имело значения. Мы встали широким кругом на площадке, где дремали ослы, и хозяева петухов начали «бросать» своих бойцов. Но при первом же столкновении тот петух, на которого все мы поставили свои деньги, взмахнул крыльями и, к удивлению всех присутствующих, с громким хлоптаньем перелетел через дерево и скрылся в направлении гор. Десять минут спустя хозяева петухов совершенно спокойно поделили на наших глазах свою прибыль, а мы побрели домой, вполне довольные.

Мы обедали с Фиденчио в гостинице китайца Чарли Чи. Повсюду в Мексике монополия на гостиницы и рестораны находится в руках китайцев. Чарли и его двоюродный брат Фу женаты на дочерях зажиточных мексиканцев. Никому здесь это не кажется странным — мексиканцы не знают, что такое расовые предрассудки. Капитан Адольфо, уже в ярко-желтом суконном мундире и с другой шпагой на боку, привел сюда свою молодую жену — не очень хорошенькую смуглянку с челкой и подвесками от люстры вместо серег. Чарли со стуком поставил перед каждым из нас квартовую бутылку *agua-diente* и, усевшись за стол, начал галантно ухаживать за сеньорой Мелендес, а его брат Фу подавал обед, все время весело болтая на ломаном испанском языке.

В этот вечер дон Присилиано давал *baile*, и Чарли любезно предложил жене Адольфо показать ей новое па «индюшиного танца», которое он видел в Эль Пасо. Он учил ее до тех пор, пока Адольфо, насупившись, не заявил, что не пойдет на *baile* дона Присилиано, поскольку молодым женам неприлично часто показываться в обществе. Чарли и Фу, выразив свое сожаление, сказали, что они тоже не пойдут к дону Присилиано, так как ожидают гостей из Парраля — своих земляков. И, конечно, будут веселиться на свой китайский лад.

Наконец мы с Фиденчио ушли, обещав непременно вернуться после танцев, чтобы присутствовать на китайском празднике.

Яркий лунный свет заливал всю деревню. Крыши в беспорядке разбросанных хижин и верхушки деревьев сверкали серебром. Овраг расстился перед нами,

словно замерзший водопад, а огромная долина в конце его была окутана нежным серебристым туманом. Мрак был пронизан журчанием жизни: взволнованный смех молодых девушек; прерывистое дыхание женщины, замороженной страстным потоком слов своего кавалера, прислонившегося к решетке ее окна; звон десяти гитар; позвякивание шпор молодого щеголя, спешащего на свидание. Было холодно. Когда мы проходили мимо кабачка Кабреры, на нас пахнуло горячим воздухом, запахом табака и алкоголя. Затем, перейдя по камням, на которых женщины стирают белье, на другой берег ручья, мы увидели ярко освещенные окна дома дона Присилиано и услышали отдаленные звуки оркестра Валле Аллегре.

Открытые двери и окна были забиты мужчинами, по самые глаза закутанными в серапе, — высокими, смуглыми, молчаливыми пеонами в огромных сомбреро.

Фиденчио только что вернулся в Валле Аллегре после долгого отсутствия, и едва мы подошли к группе мужчин у дверей, как какой-то высокий молодой человек, взмахнув своим серапе, словно крылом, бросился ему на шею и закричал:

— С приездом, Фиденчио! Мы ждали тебя столько месяцев!

Толпа закачалась и заволновалась, словно пшеничное поле под ветром, концы серапе разлетались в ночном сумраке. Со всех сторон слышались крики:

— Фиденчио! Фиденчио приехал! Твоя Карменсита здесь, в доме! Ты лучше посматривай за ней. Раз ты так долго не возвращался, не мог же ты ждать, что она останется тебе верна!

Те, кто был в доме, услышав крики, подхватили их, и только что начавшиеся танцы сразу приостановились. Пеоны расступились перед нами и, когда мы проходили по живому коридору, дружески хлопали нас по спине со словами приветствия; на пороге десятки друзей Фиденчио бросились к нам и стали обнимать, сияя от радости.

Карменсита, невысокая, коренастая девушка-индианка, одетая в кричащее голубое платье, плохо сидевшее на ней, стояла в углу возле своего партнера Паблито, шестнадцатилетнего метиса со скверным цветом лица.

Она сделала вид, что не обращает на Фиденчио, никакого внимания, и продолжала безмолвно стоять на месте, потупив глаза в землю, по обычаю всех незамужних мексиканок.

Фиденчио несколько минут стоял среди своих *sompadres*, разговаривая с ними, хвастаясь и то и дело уснащая свою речь отборными словечками. Затем важной походкой прошел через всю комнату, подошел к Карменсите, сунул ее левую руку в изгиб своей правой и крикнул:

— А ну, давайте танцевать!

Обливавшиеся потом, ухмыляющиеся музыканты закивали головами и заиграли вовсю. Их было пятеро: две скрипки, кларнет, флейта и арфа. Они начали с «*Tres Piedras*»¹, пары стали в ряд и торжественным шагом пошли вокруг комнаты. Сделав два круга, они некоторое время танцевали: женщины неуклюже подпрыгивали на неровном земляном полу, мужчины звенели шпорами; потом опять перешли на шаг, затем снова танцевали, потом опять ходили вокруг комнаты — и так в течение целого часа без перерыва.

Это была большая комната с выбеленными стенами и низким потолком из огромных балок; в одном конце ее виднелась неизбежная швейная машина, которая теперь была закрыта и превращена в алтарь: на вышитой скатерти стояла неугасимая лампадка, бросавшая тусклый свет на грубую цветную литографию богоматери, которая висела на стене. Дон Присилиано и его жена, кормившая грудью ребенка, сидели в углу и с сияющими лицами смотрели на гостей. Бесчисленное множество свечей, оплавленных с одного бока, было прилеплено к стенам, и по белой штукатурке над ними теперь зменились полосы копоти. Мужчины громко притопывали, звенели шпорами и громко перекликались; женщины не отрывали глаз от пола и хранили глубокое молчание.

Я снова увидел прыщеватого Паблито; стоя в углу, он, скрестив руки на груди, не отрывал от Фиденчио горящего взгляда. До меня донесли отрывки разговора пеонов, толпившихся у порога,

¹ «Три камня» (испанск.).

— Фиденчио не надо было отлучаться на такое долгое время.

— Саггамба! Ты только погляди, как хмурится Паблито. Он ведь думал, что Фиденчио убит и Карменсита теперь его.

Затем прозвучал чей-то голос, полный надежды:

— Без драки тут не обойдется!

Танец наконец окончился, и Фиденчио провел, как полагается, свою нареченную к ее месту у стены. Музыканты прекратили игру. Мужчины высыпали во двор, где при свете факела хозяин улетевшего петуха торговал крепкими напитками. В ночной тиши мы бурно провозглашали тосты за здоровье друг друга. Горы вокруг сверкали в лунном свете. И сразу же (перерывы между танцами здесь очень коротки) снова загремела музыка — раздались вихревые огненные звуки вальса. В сопровождении свиты из двадцати восторженных и полных любопытства юнцов — ведь он повидал свет! — Фиденчио вернулся в зал. Он направился прямо к Карменсите, но когда он вывел ее на середину зала, Паблито, выхватив из кармана громадный револьвер устаревшего образца, подскочил к нему сзади. Десятки голосов огласили зал:

— Cuidado, Фиденчио! Берегись!

Быстро обернувшись, Фиденчио увидел, что прямо ему в живот направлен револьвер. На мгновение все замерло. Фиденчио и его соперник свирепо мерили друг друга глазами. Послышалось приглушенное щелканье курков — друзья Паблито собирались поддержать своего товарища. До меня донесся тихий шепот:

— Порфирио! Сбегай домой за моим дробовиком!

— Викторiano! Мою новую винтовку! Она лежит на комоде в материной комнате.

Мальчики, метнувшись, словно стайка летающих рыб, разбежались в лунном свете, торопясь за оружием. Пока сохранялось *status quo*¹, пеоны, присев так, что под подоконниками виднелись только их глаза, — кто знает, куда полетит шальная пуля, — с живейшим интересом наблюдали за происходившим. Музыканты тихонько пятились к ближайшему окну, все, кроме арфиста, который скорчился за своим инструментом.

¹ прежнее положение (лат.).

Дон Присиллиано и его жена, все еще кормившая ребенка, встали и величественно проследовали во внутренние комнаты. Их все это не касалось; да притом они не хотели мешать молодежи веселиться.

Одной рукой Фиденчио слегка оттолкнул Карменситу, а другую поднял, словно для удара. При гробовом молчании он сказал:

— Эй, козел! Ну, чего ты целишься, будто боишься стрелять? Спускай курок, пока я безоружен! Я не боюсь умереть даже от руки дурачка, который не знает, когда нужно пускать в ход оружие!

Лицо Паблито передергивалось от ненависти, и мне казалось, что он вот-вот выстрелит.

— А-а! — бормотали пеоны. — Сейчас, сейчас!

Но Паблито не выстрелил. Через несколько секунд его рука дрогнула, и, выругавшись, он сунул револьвер обратно в карман. Пеоны выпрямились и разочарованно столпились у дверей и окон. Арфист вынырнул из-за арфы и начал ее настраивать. Револьверы, зашуршав, опустились в кобуры, и снова начались шумные разговоры. К тому времени, когда появились мальчишки с целым арсеналом винтовок и дробовиков, танцы уже шли полным ходом. Тогда они свалили свою ношу в углу.

Пока ему хотелось ухаживать за Карменситой и оставалась еще возможность стычки, Фиденчио разгуливал по залу, наслаждаясь вниманием женщин и превосходя в танцах всех, — с таким пылом и шумом он отплясывал.

Но скоро все это ему надоело, и волнение, вызванное встречей с Карменситой, улеглось. Тогда он опять вышел на лунный свет и проследовал вверх по оврагу, намереваясь повеселиться у Чарли Чи.

Подходя к гостинице, мы слышали странное жалобное стенание, чем-то напоминавшее музыку. Обеденный стол был выставлен на улицу; Фу и другой уроженец «Небесной империи» кружились по комнате в «индюшном танце». В углу стояли козлы с бочонком *aguardiente*, а под ними лежал сам Чарли, потягивая через стеклянную трубочку содержимое бочонка. Стенка огромного ящика с папиросами была выломана, и пачки рассыпались по полу. У стены, завернувшись в одеяла, пьяным сном

спали еще два китайца. Танцоры распевали свой вариант некогда модной песенки «Очи нежные». С песенкой этой очень удачно сочетался «хор пилигримов» из «Тангейзера», исполнявшийся на стоявшем в кухне граммофоне. Чарли вынул стеклянную трубку изо рта, заткнул ее большим пальцем и приветствовал нас следующим песнопением:

Держи к берегу, матрос,
Держи к берегу!
Пусть вокруг ревет волна, —
Держи к берегу!

Он поглядел на нас осоловелыми глазами и сказал: — Христос сегодня с нами здесь!

И затем опять засунул трубку в рот.

Мы присоединились к веселой компании. Фиденчио предложил показать нам новый испанский fandango, как его танцуют «кузнечики» (так мексиканцы называют испанцев). Он закружился по комнате, тяжело топая ногами, рыча «La Paloma»¹ и то и дело налетая на китайцев. Наконец, совершенно запыхавшись, он свалился на ближайший стул и начал восхвалять красоту молодой жены Адольфо, которую он увидел впервые в этот день. Он считал позором, что такое юное, нежное существо оказалось связанным с человеком уже пожилым, и тут же заявил, что вот он, Фиденчио, молодой, сильный, красивый, гораздо больше ей подходит. Он заверял, что его чувство к ней растет с каждой минутой. Чарли Чи, не выпуская изо рта стеклянную трубку, понимающе кивал головой после каждого его заявления. Мне в голову вдруг пришла счастливая мысль, почему бы не послать за Адольфо и его женой и не пригласить их на наше празднество. Пинками мы разбудили китайцев, спавших на полу, и спросили их мнение. Так как они не понимали ни по-испански, ни по-английски, то очень бойко ответили нам по-китайски. Фиденчио переводил:

— Они говорят, что нужно отправить к ним Чарли с приглашением.

Все согласились с этим. Чарли встал, а его место у стеклянной трубки занял Фу. Чарли заявил, что будет

¹ «Голубка» (испанск.).

приглашать их самым настоящим образом, и, пристегнув револьвер к поясу, скрылся за дверь.

Спустя десять минут мы услышали пять выстрелов. Мы удивленно спрашивали друг друга, что за перестрелка могла быть в такую позднюю пору, и решили, что какие-нибудь молодцы, возвращаясь с baile, убивают друг друга перед отходом ко сну. Чарли не возвращался очень долго, и мы уже хотели послать экспедицию на его розыски, как вдруг он явился сам.

— Ну как дела, Чарли? — спросил я. — Придут?

— Вряд ли, — покачиваясь, ответил он с порога.

— А ты слышал стрельбу? — спросил Фиденчио.

— Да, совсем близко, — сказал Чарли. — Фу, будь так любезен, оставь в покое эту трубку.

— Так кто же стрелял? — спросили мы.

— Ну, — сказал Чарли, — я постучал в дверь к Адольфо и сказал, что у нас праздник и что мы его приглашаем. Он выстрелил в меня три раза, а я в него два...

Сказав это, Чарли оттащил за ногу Фу, а сам опять невозмутимо улегся под трубкой.

Мы веселились еще несколько часов. Насколько помню, под утро явился Игнасио и играл нам на скрипке «Прощальную» Тости, а китайцы торжественно кружились по комнате.

Часа в четыре явился Анастасио. Он распахнул дверь настежь и предстал перед нами страшно бледный, с револьвером в руке.

— Друзья, — заявил он, — случилась пренеприятнейшая история. Моя жена Хуанита, верхом на осле, возвращалась около полуночи от своей матери. На дороге ее остановил неизвестный мужчина, закутанный до самых глаз в рончо¹, и вручил ей анонимную записку с подробным описанием моих невинных походов в Хуаресе, когда я последний раз ездил туда развлекаться. Я видел эту записку. В ней все точно, прямо на удивление! Рассказывается, как я ездил ужинать с Марией, а после ужина провожал ее домой. Сообщается, как я пригласил Ану на бой быков. Подробно описывается цвет

¹ шерстяная накидка (испанск.).

лица и волос, а также характер всех остальных красоток и указывается, сколько денег я на них потратил. Sagamba! Точно все до последнего гроша! Когда жена вернулась, меня не было дома: я сидел со старым другом в кабачке Катарино за стаканом вина. И этот таинственный незнакомец явился к нам на кухню с другой запиской, в которой говорится, что у меня в Чиуауа имеется еще три жены, что, как перед богом, не верно, поскольку у меня там только одна! Мне-то, amigas, все равно, но такие новости ужасно расстроили Хуаниту. Я, конечно, все это отрицал, но — Valgame Dios! — женщину разве убедишь! Я нанял Дионисио смотреть за моим домом, но он ушел на baile; тогда я разбудил своего сынишку, чтобы он сообщил мне, в случае если мой обидчик вздумает явиться опять, а сам пришел к вам с просьбой помочь мне защитить мой дом от неслыханного позора.

Мы заявили, что согласны для Анастасио на все, — вернее на все, что обещает новые приключения. Мы сказали, что это ужасно, что таинственного злодея надо уничтожить.

— А кто бы это мог быть?

Анастасио сказал, что это, вероятно, Флорес, от которого у его жены был ребенок еще до того, как она вышла замуж за него, Анастасио, но который так и не мог добиться от нее полной взаимности. Мы чуть не силой заставили Анастасио выпить стакан aguardiente, и он подчинился с мрачным видом. Мы оторвали Чарли Чи от стеклянной трубки, под которую немедленно улегся Фу, и послали его за оружием. Через десять минут он вернулся с семьёю заряженными револьверами различных калибров.

И почти в ту же минуту раздался страшный стук в дверь, и в комнату ворвался малолетний сынишка Анастасио.

— Папа! — вскричал он, протягивая бумажку. — Вот еще! Какой-то мужчина постучал в кухонную дверь, и когда мама вышла посмотреть, кто бы это мог быть, она увидела лишь огромное красное серапе, в которое этот человек был закутан до самых волос. Он подал ей записку, схватил с окна ковригу хлеба и убежал.

Дрожащими руками Анастасио развернул записку и прочитал вслух:

— «Ваш муж — отец сорока пяти детишек в штате Коагуила.

Тот, кто его знает».

— Матерь божия! — вскричал Анастасио, вскакивая на ноги в припадке отчаяния и злобы. — Это ложь! Я никогда не связывался с кем попало! Вперед, друзья! На защиту наших семейных очагов!

Схватив револьверы, мы устремились в ночь. Тяжело дыша, взобрались мы на крутой холм, где стоял дом Анастасио, держась поближе друг к другу, чтобы не принять приятеля за таинственного незнакомца. Жена Анастасио лежала на кровати и истерически рыдала. Мы рассыпались по кустам, обыскали все уголки вокруг дома, но нигде не услышали даже шороха. В углу загона лежал сторож Дионисио и крепко спал; рядом валялась его винтовка. Мы прошли дальше вверх по холму, пока не очутились на краю деревни. Уже светало. Тихину нарушал только хор неугомонных петухов, да из дома донна Присилиано доносилась чуть слышная музыка — baile предстояло продолжаться весь день, а может быть, и всю следующую ночь. Огромная долина расстилалась вдали подобно гигантской географической карте — тихая, ясно видимая, беспредельная. Каждый выступ стены, каждая ветка и каждый стебелек на крышах домов резко выделялись в чудесном прозрачном свете предутреннего часа.

Вдали на горном уступе показался человек, закутанный в красное серапе.

— Ага! — вскричал Анастасио. — Вот он!

И мы дружно принялись палить по красной фигуре. Нас было пятеро, и каждый выпустил по шести зарядов. Страшное эхо прокатилось между домов и загрохотало среди гор, повторяясь снова и снова. Из домов выпали полураздетые мужчины, женщины и дети. Они, видимо, вообразили, что начинается новая революция. Какая-то древняя старуха выползла из небольшой ветхой хижины, стоявшей на краю деревни, и, протирая глаза, закричала:

— Oiga! Чего это вы стреляете?

— Мы хотим убить вон того негодяя в красном

серапе, потому что он отравляет наши семейные очаги и скоро порядочной женщине нельзя будет жить в Валле Аллегре! — прокричал ей в ответ Анастасио и выстрелил еще раз.

Водянистые глаза старухи обратились в сторону нашей мишени.

— Да разве это плохой человек? — сказала она мягко. — Это ведь мой сын — он сторожит коз.

А тем временем закутанная в красное фигура, ни разу даже не оглянувшись, спокойно продолжала свой путь и скрылась за уступом горы.

Глава III

LOS PASTORES

Романтикой золота овеяны горы северного Дуранго, словно крепким ароматом духов. Здесь, говорят, находился тот мифический Офир, из которого ацтеки и их таинственные предшественники черпали то червонное золото, что было найдено Кортесом в сокровищницах Монтесумы. Еще на заре истории Мексики индейцы ковыряли эти голые горы тупыми ножами из красной меди. До сих пор сохранились следы их разработок. После них испанцы в ярких сверкающих шлемах и стальных доспехах добывали здесь то золото, которое их гордые галеоны везли из Вест-Индии. На расстоянии почти тысячи миль от столицы, за непроходимыми пустынями и суровыми горами среди каньонов и горных вершин, утвердилась крохотная красочная бахрома самой блестящей цивилизации в Европе и продолжала существовать, когда власть испанцев в Мексике давно исчезла. Испанцы, конечно, превратили местных индейцев в рабов, и узкие речные долины до сих пор хранят зловещие легенды. В Санта Мария дель Оро можно слышать тысячи преданий о тех временах, когда в шахтах насмерть засекали рабочих-индейцев, а надсмотрщики-испанцы жили, как князья.

Но сломить этих горцев было трудно. Они постоянно поднимали восстания против своих угнетателей. Существует легенда о том, как испанцы, в конце концов узнав, что они остались совсем одни в трехстах милях от морского побережья среди населения, ненавидящего

их лютой ненавистью, попытались однажды ночью покинуть эти горы. Но в ту же ночь на вершинах вспыхнули сигнальные костры, в деревнях тревожно затрещали барабаны. Где-то в узких горных ущельях испанцы нашли свою гибель. С той поры, вплоть до появления иностранцев, получивших здесь концессии, у этой местности была зловещая репутация. Власть мексиканского правительства почти не достигала этой округи.

Сохранились два городка, некогда столицы испанских золотоискателей, в которых и до сих пор сильны испанские традиции: Инде и Санта Мария дель Оро, обычно называемый Эль Оро. Инде получил свое название потому, что испанцы с романтическим упорством считали эти новые земли Индией; Санта Мария дель Оро был назван так по тому же принципу, по какому, когда-то пели «Te Deum»¹ после кровавой победы — благодарение небу за отыскание червонного золота, «Золотой Богоматери».

В Эль Оро до сих пор сохранились руины монастыря — теперь их называют неопределенно «Коллегией», — трогательные сводчатые кровли над глинобитными монашескими кельями, быстро разваливающиеся под действием жаркого солнца и проливных дождей. Эти руины с двух сторон окаймляют бывший внутренний двор монастыря, и огромное мескитовое дерево возвышается здесь над давно забытым могильным камнем с гордой надписью: «Донна Изабелла Гусман». Конечно, все давно забыли, кто такая была донна Изабелла и когда она умерла. На городской площади все еще стоит красивая древняя испанская церковь с потолком из тяжелых балок. А над входом крохотной ратуши еще сохранились следы герба какого-то древнего испанского рода.

Все это весьма романтично. Но местное население не чувствует никакого уважения к традициям и почти не сохранило воспоминаний о тех, кто оставил после себя эти памятники. Богатая индейская цивилизация стерла все следы, оставленные конкистадорами.

Эль Оро считается самым веселым городком в этих горах. Что ни вечер, здесь устраиваются baile, и нигде во всем штате Дуранго нет таких красивых девушек, как в Эль Оро. Праздники здесь также справляются пыш-

¹ «Тебя, боже, славим» (лат.).

нее, чем где-либо в этих местах. Угольщики, пастухи, погонщики мулов и батраки с ранчо наезжают сюда издалека, чтобы провести здесь праздник, и один праздничный день означает два-три нерабочих, которые уходят на поездку.

А какие представления устраиваются в Эль Оро! Раз в год, в праздник святого Рейеса, повсюду в этой части Мексики исполняются *Los Pastores*. Это — разновидность старинных мираклей, какие во времена Ренессанса исполнялись по всей Европе, — тех самых, которые положили начало елизаветинской драме и в настоящее время не существуют уже нигде в мире. Это представление ведет свое начало с самых отдаленных времен, передаваясь устно из поколения в поколение. Называется оно «Люзбель» — испанский вариант имени «Люцифер», и в нем изображается «Грешник, погрязший в смертных грехах, Люцифер, Великий враг человеческих Душ и Вечное Милосердие Божье, облекшееся в Плоть в Образе Младенца Иисуса».

В большинстве городишек и деревень *Los Pastores* исполняется только один раз в течение года. Но в Эль Оро представление разыгрывается раза три-четыре в день святого Рейеса, а также и в другое время года, смотря по настроению. Сига, деревенский священник, по-прежнему руководит актерами. Однако представление теперь уже происходит вне церкви. Миракль увеличивался в объеме из поколения в поколение, и в него нередко вплеталась сатира на некоторых местных жителей. Он стал слишком реалистичным, слишком светским для церкви, но он все еще содержит в себе мораль средневековой религии.

В день праздника святого Рейеса мы с Фиденчио пообедали очень рано. Потом он повел меня по улице, затем по узкому закоулку между глинобитными стенами, откуда через пролом в стене мы пролезли в крохотный дворик позади хижины, увешанной пучками красного перца. Под ногами двух задумчивых осликов бегали собаки, куры, пара поросят и целая куча голых смуглых детишек. Худая, морщинистая старуха индианка сидела на деревянном ящике, куря папиросу, свернутую из целого кукурузного листа. При нашем появлении она

поднялась и, прошамавав беззубым ртом какое-то приветствие, достала из ящика кувшин со свежеприготовленным *aguardiente*. Перегонный куб стоял в кухне. Мы заплатили ей песо и начали пить все трое, пустив кувшин вкруговую и произнося бесконечные любезные пожелания доброго здоровья и всяческого благополучия. Вечернее небо над нашими головами пожелтело, потом стало зеленым, и на нем вспыхнуло несколько огромных горных звезд. С другого конца деревни до нас доносились громкий смех, звуки гитар и оглушительные крики угольщиков, буйно заканчивавших праздник. Старуха выпила гораздо больше того, что приходилось на ее долю...

— Скажите, матушка, — спросил Фиденчио — где сегодня будут разыгрывать *Pastores*?

— Сегодня во многих местах будут *Pastores*, — сказала старуха, скривив рот в улыбку. — *Carraamba!* Какой удачный год для *Pastores*! Будут играть в школе, и позади дома дона Педро, и в доме дона Марио, и еще в доме Пердиты, муж которой, Томас Редондо, был убит в шахтах в прошлом году, — упокой господь его душу!

— А где будет лучше всего? — спросил Фиденчио, пнув ногой козла, пытавшегося проникнуть в кухню.

— *Quien sabe?* — пожалала она плечами. — Коли б не так ломило мои старые кости, то я пошла бы к дону Педро. Хотя и там неважно. Нет больше таких *Pastores*, какие бывали в дни моей молодости.

И вот по неровной улице мы отправились к дому дона Педро. Чуть не на каждом шагу нас останавливали гуляки без гроша в кармане, которые спрашивали, где можно выпить в долг.

Дом дона Педро был весьма обширен — хозяин его слыл человеком богатым. Внутренний двор, где при обычных условиях содержался бы скот, дон Педро мог позволить себе превратить в сад, и там среди душистых кустов и карликовых кактусов из старой железной трубы бил самодельный фонтан. Входом служила длинная узкая арка, в конце которой играл местный оркестр. К стене смолой был прилеплен факел, и стоявший рядом человек требовал с входящих пятьдесят центов за вход. Мы некоторое время наблюдали за ним, но не заметили, чтобы кто-нибудь платил. Его окружала шум-

ная толпа, и каждый доказывал, что имеет право войти бесплатно. Один был кузеном дона Педро; другой — его садовником, третий — мужем дочери его тещи по первому браку; одна женщина заявляла, что она мать кого-то из актеров. Были и другие входы, никем не охранявшиеся, и через них проникали все, кому не удавалось уговорить стража, стоявшего у главного входа. Мы уплатили требуемую сумму при благоговейном молчании толпы и вошли.

Яркий лунный свет заливал сад, расположенный на склоне горы; здесь ничто не мешало смотреть на огромную равнину, сверкавшую в лучах лунного света и сливавшуюся вдаль с зеленоватым небом. К низкой кровле дома был прикреплен навес из материи, закрывавший ровную площадку и поддерживаемый наклонными шестью, словно шатер бедуинского вождя. Навес отбрасывал чернильно-черную тень. Шесть факелов, воткнутых перед ним в землю, страшно коптели. Другого света под навесом не было, если не считать мерцающих огоньков бесчисленных папирос. Вдоль стены дома стояли женщины в черных платьях, с черными платками на головах; у их ног на корточках сидели мужчины, между коленями которых жались дети. И мужчины и женщины курили папиросы, время от времени опуская их вниз малышам, чтобы и те могли разок затянуться. Собравшиеся вели себя спокойно, разговаривали тихо и мало и ждали с удовольствием, поглядывая на лунные блики кругом и прислушиваясь к музыке, доносившейся из-под арки. Где-то в кустах вдруг защелкал соловей, и сразу всеми овладел экстаз безмолвия. К музыкантам послали мальчиков сказать, чтобы они не играли, пока будет петь соловей. Это было очень трогательно.

В течение всего этого времени нигде не было заметно никаких приготовлений к представлению. Не знаю, как долго сидели мы здесь, но никто не сделал никаких замечаний по этому поводу. Они собрались сюда, собственно, не ради Pastores, а чтобы смотреть и слушать, — и все, что здесь происходило, их интересовало. Но, увы, будучи беспокойным, практичным сыном Запада, я нарушил чарующее молчание и спросил женщину, сидевшую рядом со мной, когда начнется представление.

— Кто знает? — ответила она спокойно.

Только что подошедший мужчина, поразмыслив над этим вопросом и ответом, наклонился вперед.

— Быть может, завтра, — сказал он. Я заметил, что оркестр перестал играть. — Дело в том, — продолжал он, — что в доме донны Пердиты будут тоже играть Pastores. Говорят, что актеры, которые должны были выступать здесь, ушли туда посмотреть представление. И музыканты ушли вслед за ними. Я сам вот уже с полчаса взвешиваю, не пойти ли и мне туда.

Мы ушли, предоставив ему еще раз взвесить этот вопрос. Остальные зрители принялись болтать и, по-видимому, совершенно забыли о Pastores. Снаружи касир, получивший от нас песо, уже созвал своих друзей, и они дружно прикладывались к бутылке.

Мы медленно шли по улице к окраине, где оштукатуренные и хорошо выбеленные домики зажиточных горожан сменились глинобитными хижинами бедноты. Здесь кончилось даже и подобие улиц, и мы вышли на ослиную тропу, петлявшую между разбросанными в беспорядке хижинами. Миновав ряд ветхих загонов, мы подошли к хижине вдовы дона Томаса. Хижина, частично врезанная в склон горы, была построена из высушенных на солнце глиняных кирпичей и выглядела так, как, вероятно, выглядел хлев в Вифлееме. И как бы в довершение аналогии, в лунном пятне под окном лежала огромная корова, жуя жвачку и громко вздыхая. В окно и в открытую дверь, через головы толпы, мы увидели блики от свечей, играющие на потолке, и услышали визгливую песню, исполняемую девическими головами, и стук об пол пастушеских посохов, увешанных колокольчиками.

Хижина представляла собой низкую комнату с земляным полом, выбеленными стенами и балками на потолке и была похожа на любое крестьянское жилище где-нибудь в Италии или Палестине. В дальнем конце комнаты, напротив двери, стоял небольшой стол, заваленный бумажными цветами. На нем горели две огромные восковые свечи. Над столом висела хромолитография — богоматерь с младенцем. На столе, посреди цветов, стояла крохотная деревянная колыбелька, и в ней лежала свинцовая кукла, изображавшая младенца

Иисуса. Все остальное пространство, кроме небольшого местечка посредине, было заполнено народом: перед сценой, поджав ноги, сидели ребяташки, за ними на коленях стояли подростки и девушки, а позади них, до самой двери томились пеоны в серапе — головы их были обнажены, а на лицах написано оживление и любопытство. По невероятно счастливой случайности рядом с алтарем сидела женщина с открытой грудью, кормившая младенца. Другие женщины с грудными детьми стояли в ряд по обе стороны от нее, вдоль всей стены, не загораживая лишь узкий, закрытый занавесом вход в другую комнату, откуда доносились голоса и смех исполнителей.

— Уже началось? — спросил я молодого парня, стоявшего рядом со мной.

— Нет, — ответил он, — они только выходили пропеть песню, чтобы узнать, хватит ли им места на сцене.

Веселая, шумная толпа зрителей перебрасывалась через головы соседей шутками и остротами. Многие мужчины под веселящим влиянием *aguardiente* начинали вдруг напевать непристойные песенки, обниматься, а то ни с того ни с сего и ссориться, — последнее могло привести бог знает к чему, так как все они были вооружены. Но вдруг раздался голос:

— Ш-ш-ш! Начинают!

Поднялся занавес, и пред нами предстал Люцифер, свергнутый с неба за свою неукротимую гордость. Его играла молодая девушка — все актеры здесь девушки в отличие от исполнителей средневековых мираблей, в которых играли только мальчики. Костюм, который был на ней, несомненно передавался из поколения в поколение с незапамятных времен. Он был, конечно, красным (из красной кожи) — цвет, которым средневековая фантазия наградила дьявола. Однако интереснее всего было то, что костюм этот удивительно походил на традиционный панцирь римского legionera: ведь римские солдаты, распявшие Христа, в средние века считались немногим лучше черта. На девушке был свободный, расширяющийся книзу дублет из красной кожи и штаны с зубцами, доходившие до самых башмаков. Здесь как будто нет особенного сходства с одеянием римского legionera, но надо помнить, что римские legionеры в Бри-

танни и в Испании носили кожаные штаны. Шлем де-вушки был весь закрыт перьями и цветами, но и под ними угадывалось его сходство с римским шлемом. Ее грудь и спину покрывал панцирь, сделанный, правда, не из стальных пластин, а из маленьких зеркал. На боку у нее висел меч. Выхватив меч, она начала читать монолог, стараясь говорить басом и важно расхаживая взад и вперед:

Yo soy lus; ay en mi nombre se uel
Pues con la lus
Que bose
Todo el abismo encend, —

великолепный монолог Люцифера, свергнутого с неба.

— Я — свет, как гласит само мое имя, и свет моего падения ярко озарил великую бездну. За то, что я не хотел покориться, я, некогда первый среди небесного воинства, — да будет это всем известно, — теперь отвержен и проклят богом... Вам, о горы, и тебе, море, я жалеюсь горько, чтобы этим — увы! — облегчить тяжесть моего сердца... Жестокая судьба, почему ты так непоколебимо сурова?.. Я, вчера еще жилец звездной обители, сегодня отвергнут и лишен всего. Вчера еще я обитал в светлом чертоге, а сегодня брожу среди этих гор, немых свидетелей моей горькой и печальной судьбы. И все из-за моей зависти и честолюбия, из-за моей неразумной самонадеянности... О горы, как счастливы вы! Голые и мрачные иль покрытые яркой зеленью, вы счастливы равно! О вы, быстротекущие ручьи, свободные, как птицы, взгляните на меня!..

— Чудесно! Чудесно! — закричали зрители.

— Вот что запоем Уэрта, когда мадеристы доберутся до Мехико! — вставил какой-то неукротимый революционер среди всеобщего смеха.

— Взгляните на меня в минуту горя и страданий... — продолжал Люзбель.

В эту минуту из-за занавеса вышла огромная собака, весело помахивая хвостом. Очень довольная собой, она начала обнюхивать детей и лизать их лица. Какой-то малыш ударил собаку по морде, и она, обиженная и удивленная, шмыгнула между ног Люцифера в самый разгар возвышенного монолога. Люцифер пал вторично

и, поднявшись на ноги при всеобщем хохоте, начал размахивать мечом. Человек пятьдесят зрителей набросились на собаку, которая с визгом пустилась наутек, и представление возобновилось.

Лаура, жена пастуха Аркадио, с песней показалась на пороге своей хижины, то есть вышла из-за занавеса...

— О, как чудно льется тихий свет луны и звезд в эту божественно-прекрасную ночь! Природа вот-вот должна открыть какую-то чудесную тайну. Весь мир объят покоем, и все сердца преисполнены радостью и довольством. Но... кто это здесь? Какое красивое лицо и очаровательная фигура!

Люцифер прихорашивается, подскакивает к ней и с южной пылкостью клянется ей в любви. Она говорит, что ее сердце отдано Аркадио, но Сатана долго описывает бедность ее мужа, а сам обещает ей богатство, роскошные дворцы, драгоценности и рабов.

— Мне кажется, я уже начинаю любить тебя, — говорит Лаура. — Против своей воли... я не могу обманывать себя...

В этом месте среди зрителей послышался заглушенный смех.

— Антония! Антония! — повторяли все кругом, смеясь и толкая под бок друг друга.

— Вот так точно Антония бросила Энрико! Я всегда думала, что без дьявола тут не обошлось! — заметила одна из женщин.

Однако Лауру мучает совесть, Люцифер говорит ей, что Аркадио тайно любит другую, и это решает дело.

— Чтобы ты был уверен в моей любви, — спокойно говорит Лаура, — и чтобы мне навсегда избавиться от мужа, я постараюсь выбрать удобную минуту и убью его.

Такое неожиданное заявление пугает даже Люцифера. Он говорит, что лучше подвергнуть Аркадио всем мукам ревности, и в реплике, произнесенной в сторону, с радостью отмечает, что «она уже стала на путь, который приведет ее прямо в ад».

Женщинам, по-видимому, эти слова доставили большое удовольствие. Они добродетельно кивают друг

другу. Но одна девушка, наклонившись к своей подруге, говорит со вздохом:

— Ах, такая любовь — это, наверное, чудо!

Возвращается домой Аркадио, и Лаура начинает упрекать его за бедность. Аркадио привел с собой Бато — нечто среднее между Яго и Автоликом, который во время диалога между пастухом и его женой бросает в сторону иронические замечания. Аркадио, увидев у Лауры драгоценное кольцо, подаренное ей Люцифером, начинает подозревать ее в измене, и когда она гордо уходит от него, он изливает свои чувства:

— Я так был счастлив, так полагался на ее верность, а она огорчает меня своими жестокими упреками! Что же мне теперь делать?

— Подыщи себе другую, — советует Бато.

Когда Аркадио отвергает такой совет, Бато предлагает следующий скромный рецепт для разрешения всех трудностей:

— Убей ее немедленно. А когда убьешь, сдери с нее кожу, сложи ее бережно и спрячь. А если женишься опять, то пусть эта кожа станет простыней твоей невесты и научит ее добродетели. А чтобы раз и навсегда избавить ее от соблазна, скажи ей спокойно, но твердо: «Милая, эта вот простыня была когда-то моей женой. Смотри же — знай, как вести себя, иначе и тебя ожидает та же участь. Помни, что я строгий и раздражительный человек и не останавливаюсь ни перед чем».

В начале этой речи мужчины хихикали, к концу они уже покатывались со смеху. Какой-то старик пеон вдруг набросился на них.

— Это самое верное средство! — сказал он. — Если бы это делалось почаще, то не было бы столько семейных разладов.

Но Аркадио не соглашается, и тогда Бато предлагает следующее философское решение вопроса:

— Перестань горевать; пусть Лаура уходит к своему любовнику. Избавившись от такой помехи, ты разбогатеешь, будешь сладко есть, хорошо одеваться и поистине наслаждаться жизнью. На все остальное махни рукой... Воспользуйся же благоприятным случаем, не упускай своего счастья. А когда станешь богатым, не забудь попотчевать мое худое брюхо хорошим угощением,

— Стыдно тебе! — закудахтали женщины. — Враньс! Desgraciado! ¹

Но тут вмешался мужской голос:

— Напрасно, сеньоры. В этом есть доля правды. Если бы нам не приходилось содержать жен и детей, то мы все были бы хорошо одеты и катались бы на лошадях.

Вокруг этого вопроса разгорелся горячий спор.

Аркадио совсем отказался слушать Бато, и тогда тот сказал жалобно:

— Если ты хоть сколько-нибудь любишь бедного Бато, пойдем поужинаем.

Аркадио с твердостью заявил, что раньше он должен открыть свое сердце.

— Сделай милость, открывай, пока не надоест, — сказал Бато. — Что до меня, то я так завяжу себе язык, что если даже ты будешь болтать, как попугай, и то я буду нем.

Он садится на большой камень и притворяется спящим, а Аркадио в течение пятнадцати минут открывает сердце горам и звездам.

— О Лаура, непостоянная, неблагодарная, бесчеловечная! Зачем ты причиняешь мне такие страдания! Ты отняла у меня веру, опозорила меня, разбила мое сердце. Зачем насмеялась ты над моей пылкой любовью? О безмолвные звезды и высокие горы, помогите мне выразить всю боль моей души! О вы, суровые, неподвижные скалы и тихие, задумчивые леса, помогите мне облегчить мое сердце...

Зрители, охваченные состраданием, переживают вместе с Аркадио. Женщины громко всхлипывают.

Наконец Бато не выдерживает.

— Идем ужинать, — говорит он. — Страдать надо по-немножку!..

Оглушительный взрыв хохота не дает закончить фразу.

Аркадио. Тебе одному, Бато, вверил я свою тайну.

Бато (*в сторону*). И вряд ли сумею я сохранить ее! Уже мой язык начинает чесаться. Придется этому дураку понять, что «тайну и обет нельзя вверять никому».

¹ Несчастный! (*испанск.*)

С пением входит группа пастухов и пастушек. Актрисы одеты в свои лучшие праздничные наряды, на них летние шляпки, украшенные цветами; в руках у них длинные деревянные апостольские посохи, увешанные бумажными цветами и гирляндами маленьких колокольчиков.

Они поют:

Как несравненно прекрасна эта ночь —
Полна красоты и покоя, как никогда.
И счастлив смертный, что зрит ее.
Все вокруг возвещает, что сын божий,
Воплощенное слово божества,
Скоро появится на свет в Вифлееме
И роду человеческому принесет искупление.

Затем следует диалог между девяностолетним скупцом Фабио и его бойкой молодой женой о великих добродетелях женщин и великих пороках мужчин, остальные тоже принимают в нем участие.

Зрители горячо вступают в этот спор, то и дело цитируя пьесу, — мужчины и женщины разделились на два враждебных лагеря. Женщины черпают доказательства из диалога, а мужчины ссылаются на яркий пример, преподанный Лаурой. Потом спорят уже о добродетелях и пороках некоторых мужей и жен из Эль Оро. Представление на некоторое время приостанавливается.

...Брас, один из пастухов, стащил у Фабио сумку с провизией, когда тот спал. Начинаются пересуды и грызня. Бато заставляет Браса поделиться с ним содержимым сумки, в которой, когда ее открывают, они не находят того, что ожидали. Разочарованные, они заявляют, что за хороший обед согласны продать свои души. Люцифер, подслушав их, пытается поймать их на слове. Но после словесной перепалки — причем зрители как один человек возмущаются бесчестной тактикой Люцифера — пастухи и Сатана решают сыграть в кости. Сатана проигрывает, и тогда он сообщает им, где можно найти много еды. Пастухи отправляются туда. Люцифер проклинает бога, который помог каким-то недостойным пастухам. Он удивляется, что «рука более могучая, нежели рука Люцифера, протянулась спасти их». Он не понимает, почему божественное милосердие изливается на недостойного человека, который грешит вот уже

столько веков, в то время как он, Люцифер, постоянно чувствует на себе всю тяжесть божьего гнева. Внезапно раздается сладостное пение — поют пастухи за занавесом — и Люциферу приходят на память слова пророка Даниила, что «божественное слово облечется плотью». Песнь возвещает о рождении Христа среди пастухов. Люцифер, взбешенный, клянется, что он приложит все силы к тому, чтобы все смертные в то или другое время «испробовали ада», и затем приказывает аду разверзться и принять его в свои недра.

При рождении Христа зрители крестятся, женщины шепчут молитвы. Бессильный взрыв гнева Люцифера против бога встречается криками: «Богохульство! Святотатство! Смерть дьяволу за поношение бога!»

Брас и Бато возвращаются. Они заболели от обжорства и, боясь умереть, дико вопят о помощи. Тут входят пастухи и пастушки. Они поют, стуча посохами о пол, и обещают вылечить их.

В начале второго акта Бато и Брас, уже совершенно здоровые, сговорившись, решают украсть провизию, приготовленную для сельского праздника. Когда они отправляются воровать, появляется Лаура и начинает петь про свою любовь к Люциферу. Слышится небесная музыка, в которой Лаура упрекается за ее «прелюбодейные мысли», и тогда она отказывается от своей греховной любви и заявляет, что она возвратится к Аркадио.

Зрительницы улыбаются и кивками выражают свое одобрение. Слышатся вздохи облегчения. Все довольны ходом пьесы.

Но в это время раздается треск падающей крыши, и начинается интермедия — на сцене появляются Брас и Бато с корзиной провизии и бутылкой вина. При появлении этих любимых пройдох все лица оживляются, кое-кто уже заранее смеется. Бато просит Браса постоять на страже, пока он будет есть свою долю, и когда Брас соглашается, Бато съедает и его долю. Происходит ссора. Бато и Брас не успевают скрыть следы своего преступления, как входят пастухи и пастушки в поисках вора. Бато и Брас придумывают много самых нелепых причин, объясняющих появление на сцене корзины и бутылки с вином, и в конце концов убеждают всю компанию, что это подстроено дьяволом. И чтобы оконча-

тельно скрыть следы своей проделки, они приглашают других доесть то, что осталось.

Эту сцену — самое смешное место во всей пьесе — с трудом можно было расслышать из-за оглушительного хохота, то и дело прерывавшего речь исполнителей. Какой-то молодой парень, перегнувшись, толкнул своего *compadre*.

— Помнишь, как мы ловко вывернулись, когда нас поймали за доением коров дона Педро?

Возвращается Люцифер, и его приглашают принять участие в пиршестве. Он всячески старается заставить их возобновить разговор о краже и мало-помалу свалить вину на незнакомца, которого они все, по их словам, видели. Они, конечно, подразумевают под незнакомцем Люцифера, но когда им предложили описать наружность незнакомца, они изображают чудовище в тысячу раз более отталкивающее, чем есть на самом деле. Никто, конечно, не подозревает, что их приятный собеседник и есть сам Люцифер.

О том, как было открыто преступление Бато и Браса и как они были наказаны; как помирились Лаура с Аркадио, как был посрамлен Фабио за свою жадность и как он исправился, как показывали младенца Иисуса, лежащего в яслях перед лицом трех строго индивидуализированных царей с Востока, как был наконец изобличен Люцифер и ввергнут обратно в ад, — обо всем этом я умалчиваю за недостатком места.

Представление продолжалось три часа, целиком поглощая внимание зрителей. Бато и Брас — особенно Бато — пользовались исключительным успехом. Зрители сочувствовали Лауре, страдали вместе с Аркадио и ненавидели Люцифера с такой силой, с какой ненавидит галерка негодяя в мелодраме. Один только раз пьеса была прервана на минуту, когда в дом вбежал какой-то парень без шляпы и закричал:

— Приехал солдат, который говорит, что Урбина занял Мопими!

Даже исполнители прекратили пение — они как раз в эту минуту стучали звенящими посохами об пол — и на вестника обрушился ураган вопросов. Но спустя минуту интерес к нему пропал, и пастухи возобновили прерванное пение.

Мы покинули хижину донны Пердиты примерно в полночь. Луна уже скрылась за горами на западе, и во всем городке царила мертвая тишина. Только где-то лаяла собака. Когда мы с Фиденчио, обнявшись, проходили по улице, мне вдруг пришло в голову, что подобные представления предшествовали золотому веку театра в Европе — расцвету Ренессанса. Было интересно размышлять, какую форму принял бы Ренессанс в Мексике, если бы он не пришел так поздно.

Но уже вокруг узких берегов мексиканского средневековья бушуют огромные волны современной жизни — индустрия, научная мысль, политические теории. Мексиканскому театру придется обойтись без своего золотого века.



РАССКАЗЫ

КАПИТАЛИСТ

Вы знаете, какой вид имеет сквер Вашингтона в туманную ноябрьскую ночь? Серая светящаяся дымка удивительно смягчает резкие очертания голых деревьев и железной ограды, сглаживает черноту теней, окружая серебряным нимбом шары электрических фонарей. Прямые асфальтовые тротуары кажутся черным ониксом, и в каждой ямке, словно драгоценная инкрустация, отливают сталью лужицы дождевой воды. Воздух пронизан дождевой пылью, ваше лицо и руки холодны и влажны. И тем не менее вы можете три раза обойти площадь, расстегнув дождевой плащ, и нисколько не вымокнуть.

Как раз в такую ночь Вильям Бут Ренн, шедший неизвестно откуда, неизвестно куда и зачем, остановился под двумя электрическими фонарями около арки Вашингтона, чтобы сосчитать свой капитал. Было около полуночи. Вильям Бут Ренн только что получил вознаграждение за... не важно за что. Эта сумма составляла шестьдесят пять центов. И пересчитывал он ее уже в третий раз.

При беглом взгляде на мистера Ренна, если вы не обладаете особой наблюдательностью, вам могло бы показаться, что перед вами обыкновенный молодой человек, живущий самой обыкновенной жизнью — быть может, продавец в преуспевающем галантерейном магазине. На его коричневых ботинках были заметны следы недавней чистки, на голове у него была английская шляпа, его непромокаемое пальто было надлежащей длины. Создавалось впечатление, что он умеет оде-

ваться. Это впечатление еще усиливалось из-за спасительного тумана. Когда человек ищет работу в Нью-Йорке, у него непременно должен быть приличный вид.

Но если бы вы присмотрелись к мистеру Ренну поближе, вы могли бы заметить, что его высокий воротничок порядком обтрепан и довольно грязен. Если бы вы могли заглянуть под его пиджак, вы увидели бы, что этот воротничок прикреплен к какой-то тряпке без рукавов, которую никак нельзя было назвать рубашкой. Если бы вы могли осмотреть подметки его коричневых ботинок, вы увидели бы две зияющие дыры, из которых торчали промокшие насквозь носки. И можно ли было догадаться, что изнанка его непромокаемого пальто «немножко попорчена огнем»? Или же что его английская шляпа быстро разлезается от сырости?

Пересчитав свой наличный капитал, Вильям подбросил одну монету в воздух. Она упала орлом вверх. Весело позванивая монетами в кармане, он направился по правой дорожке.

Между двумя фонарями, стоящими у концов этой дорожки, тянется длинный ряд грубых деревянных скамеек. При слабом свете фонаря он заметил на скамейках две фигуры, сидевшие поодаль друг от друга. Первая оказалась осовевшим пьяницей, который в неудобной позе полувисел на железных подлокотниках, привинченных поперек сидений по приказу городских властей, чтобы бездомные бродяги не могли устраиваться там на ночлег. Его опухшее лицо с закрытыми глазами было повернуто к небу, он громко храпел. Когда его грудь поднималась и опускалась, крохотные капли воды, покрывавшие его всего, сверкали в лучах фонаря.

На другой скамейке сидела старуха. От нее сильно несло виски. Кусок зеленой марли, блестящей от дождя, перехватывал ее жидкие седые волосы и был завязан узлом под подбородком. Она пела:

Узнаю я дружка — ик! — по походке — ик!
Узнаю я — ик! — дружка да по — ик! — голосу,
Узнаю я — ик! — дружка по одежке,
И если мой дружок меня покинет — ик!..

Но тут она, по-видимому, услышала звон монет в кармане Вильяма, перестала петь и крикнула:

— Подь с-сюда!

Вильям остановился, повернулся и вежливо снял шляпу.

— Извините, сударыня. Что вы сказали?

— Я сказала: «Подь с-сюда!»

Он сел рядом с ней и с любопытством заглянул ей в лицо. Это было испитое, высохшее лицо, покрытое сеткой глубоких морщин. Такие лица бывают у старых уборщиц, моющих полы в конторах по вечерам; нижняя губа старчески дрожала. Она перевела на Вильяма остекленевшие, выцветшие глаза.

— Черт бы тебя подрал! — сказала она. — С чего это ты вздумал — ик! — звенеть деньгами под носом у этого парня и у меня?

Вильям улыбнулся.

— Но позвольте, милейшая... — начал он с изысканной вежливостью.

— Я тебе дам — ик! — «милейшую!» — перебила старуха. — Я знаю вас... богатеев. Бьюсь об заклад, что тебе за всю жизнь не пришлось поработать ни одного дня, чтоб получить эти деньги... Отец оставил тебе наследство... Что, неправда?.. Знаю я вас... — Она запнулась, подыскивая подходящее слово, — капиталистов!

Довольная улыбка расплылась по лицу Вильяма. Он самодовольно кивнул.

— А как вы догадались?..

— Догадалась? — рассмеялась старуха неприятным смехом. — Догадалась — ик! — Думаешь, мне не пришлось жить в хороших домах? Ты думаешь, за мной не увивались богатые молодчики, когда я была помоложе? Как же не догадаться, когда у тебя деньги в кармане звенят, а сам ты такой вежливый. Кто еще стал бы снимать шляпу — ик! — перед старой пьянчугой, вроде меня... если не в насмешку!

— Сударыня, уверяю вас...

— Черт возьми! Только послушать его!.. Да, в молодости у меня было много богатых любовников — ик! Они тогда снимали передо мной шляпу...

Вильям подумал, что и эта безобразная, старая развалина была когда-то красивой молодой девушкой. Его воображение разыгралось.

Когда я была молода — ик! —
Узнаю я дружка...

Знаешь, когда я услышала, как звенят деньги у тебя в кармане, я подумала... Чудно, что мы любим звенеть деньгами, когда они у нас есть. Ты звенишь, я звеню, все звенят. Я подумала, может ты пойдешь со мной — ик! — немножко развлечься.

Она наклонилась к Вильяму и растянула губы в беззубой усмешке — жуткая пародия на кокетливые улыбки ее юности. Ему в нос ударил отвратительный запах виски.

— И-дем... — ик! — дружок! — хорошо проведем времечко. Не хочешь?

— Нет, благодарю вас. Не сегодня, — мягко ответил Вильям.

— Ну, конечно, — язвительно усмехнулась старуха. — Знаю я вас... капиталистов! Даете работу, когда она нам не нужна. А когда нужна — ик! — так никогда не дадите. Вынь руку из кармана! Вздумал милостыню мне совать... Хватит с меня вашего милосердия. Я плачу работой за то, что мне дают. Понятно? — ик! — Приличная женщина не возьмет от вас милостыни... Идем, хорошо проведем времечко...

— Почему вы сидите здесь? Вы же простудитесь.

— Ах ты... Как по-твоему, почему я сижу здесь? Да просто потому, что не хочу сидеть в своем будуаре в такой прекрасный летний вечер! Если бы мне заплатили как надо за все, что я сделала за свою жизнь, то думаешь, я сидела бы здесь? Господи! — Она вдруг пришла в дикую ярость. — Ты не из городских ли служащих?

Вильям отрицательно покачал головой. Он вынул из кармана пачку дешевых папирос и открыл ее. В ней оставалось две папиросы.

— Вы разрешите мне курить? — спросил он вежливо. Старуха вытаращила на него глаза.

— Разрешить тебе курить? Ты что, белены объелся, парень? Чего ты спрашиваешь меня, можно ли тебе курить? Какое мне дело, станешь ты курить или... Конечно, я не откажусь от папиросы...

Он чиркнул спичкой.

— Ты ведь капиталист, — продолжала она, и папироса затряслась в уголке ее дряблого рта. — Больно уж ты вежлив — наверняка тебе от меня чего-то надо... Знаю я вас... Ты не из городских служащих. Хотя тебе

все равно платили бы. А мне не платят, хотя я — ик! — и из городских служащих. Погляди-ка...

Она сунула руку за пазуху и вытащила коричневую карточку. Подвинувшись к свету, Вильям прочел:

«Пропуск

Выдан миссис Саре Тримболл на право посещения своей дочери на острове Рэндолл. Действителен в течение месяца со дня выдачи.

— Это я, — сказала миссис Тримболл с пьяной гордостью. — Я работаю на острове Рэндолл: прислуживаю сиделкам и докторам — ик! Сегодня у нас получка! Я прошла пешком всю дорогу до мэрии. Пришла в пять минут четвертого и не получила денег! Понимаешь? Теперь ни гроша не заплатят до следующей пятницы — ик! Здорово, а? Доктора и сиделки — те имеют право получать жалованье до пяти часов... А почему я не могу получить свои деньги? И ведь они хорошо знают, что мне негде даже переночевать. Я говорю себе — ик! — «Переночую я в парке». Перед тем как ты пришел, здоровенный полицейский подходит ко мне и говорит: «Уходи прочь отсюда!» Город не платит мне за работу... Я иду ночевать в городской парк... Но городской полисмен прогоняет меня... Куда же мне деваться? К черту в пекло? Чего уж лучше, нечего сказать — ик!

— У вас дочь на острове Рэндолл?

— Конечно, у меня есть дочь... ей шестнадцать лет. Опять ничего понять нельзя — ик! Если бы я там не работала, моя дочь могла бы там жить бесплатно, но я там работаю и из моего заработка вычитают два доллара в неделю на ее содержание.

— А зачем вы там работаете? — возмутился Вильям. — Это преступная расточительность со стороны такой бедной женщины, как вы...

— Ишь ты, какой умник нашелся! Бездельник! — рассердилась старуха. — Ты, что же, думаешь, мне не хочется иногда повидаться с дочкой? Господи, и что только я с ней делаю! Ей бы ходить вечером по улицам и зарабатывать на хлеб своей престарелой матери.

— Конечно! Ведь смешно же...

— Не знаю, почему я держу ее там взаперти. В этом нет никакого — ик! — смысла. Вот скажи, почему я не хочу, чтобы моя дочь была такой, как я? Всегда мне было весело, всегда жида счастливо... Почему же мы не хотим, чтобы наши дети были такими, как мы? Она должна бы зарабатывать для меня, а я держу ее там, чтобы она не была такой, как я... А что толку? — ик! — Все равно, когда помру, ей придется...

Старуха вдруг закашлялась, сперва тихо, потом сильнее и сильнее, содрогаясь всем телом. Туман сгустился. Вильям чувствовал, как промозглая сырость проникает сквозь одежду. Пьяница на скамейке напротив захлебнулся храпом, чихнул и приподнялся.

— Чего мешаешь человеку спать? — пробурчал он. — Раскашлялась тут...

— О господи, — произнесла старуха чуть слышно, измученная кашлем. — Хоть бы промочить горло...

— Сколько стоит комната на ночь? — спросил вдруг Вильям.

— Двадцать пять центов. Тебе нужна комната? Я знаю хорошее местечко на Четвертой улице — совсем рядом... Нет, ты что-то заливаешь! Тебе-то комната не нужна...

— Да, но вам она нужна. Погодите минутку, пожалуйста! Это ведь не милостыня. — Он протянул ей деньги. — Я даю вам займы, а в другой раз сам у вас попрошу — отдадите, когда получите жалованье.

Он опустил монету в ее дрожащую руку. Старуха крепко сжала кулак, но монета выскользнула и со звоном покатилась по дорожке. С быстротой молнии длинная рука оборванца, сидевшего напротив, схватила монету, и он бросился бежать со своей драгоценной добычей.

Старуха приподнялась со своего места.

— Ты, пьяный босьяк! — взвизгнула она. — Отдай деньги, подлый ворюга!..

— Пускай себе, — сказал Вильям, касаясь ее руки. — У меня их еще много. Вот вам другая.

На этот раз она благополучно зажала монету в кулаке.

— Большое спасибо, — сказала миссис Тримболл с достоинством. — У друга можно взять займы — ик! — Дайте мне свой адрес, и я верну вам долг.

Она порылась в сумке и достала огрызок карандаша и конверт.

— Может быть, вы прибавили бы еще десять центов на рюмку водки, чтобы я могла согреть свои старые косточки?

Вильям колебался только одно мгновение.

— С удовольствием, — сказал он.

Затем он попытался припомнить, что ему приходилось читать в отделе великосветских новостей воскресной газеты, и наконец написал на конверте:

«Курси де Пейстер Стейвесант, отель «Plaza»

— А, что я говорила! — вскричала старуха, когда он прочитал ей написанное. — Знаю я вас — ик! — И я не желаю с тобой знаться! Ты получаешь денежки от своего папаша, а я работаю — ползаю на коленях семь дней в неделю. Хорошее имечко себе подобрал. Небось постыдишься пройти со мной, мистер Курстер ди Пустер Стойвисант?

— Нисколько, сударыня. С удовольствием.

Вильям с трудом поднялся и взял старуху под руку. Он задрожал, — пока он сидел, холод ощущался не так сильно.

— Подумать только! — заметила миссис Тримболл. — Вот все мы выбираем президента Соединенных Штатов... того самого парня, который обещает сделать все по справедливости — ик! — Значит, выбираем мы президента, а что получаем? Полицию...

Вильяму пришла в голову великолепная фраза:

— Но, сударыня, надо же охранять общество!..

Перед входом в ночлежку миссис Тримболл обернулась.

— Для капиталиста ты парень не плохой. Все бы в тебе хорошо, да только надо еще и поработать как следует...

— Если бы рабочие не были так расточительны, они могли бы откладывать достаточно, чтобы обеспечить себе спокойную старость...

Вильям Бут Ренн вернулся на сквер. Его ноги совсем онемели, вся одежда пропиталась насквозь сыростью, и у него зуб на зуб не попадал от холода. Играя в кар-

мане монетой в пять центов, он подошел к скамейке, с которой встал несколько минут назад. В сухом уголке под сиденьем, между деревом и железом, он отыскал окурочек своей папиросы. Испортив три отсыревшие спички, он наконец зажег четвертую, вспыхнувшую синим огоньком, с жадностью втянул в себя теплый дым табака и согрел пальцы над дрожащим пламенем.

И тут, помахивая дубинкой, к нему подошел упитанный, закутанный в плащ полисмен.

— Проходи, — сказал он кратко. — Здесь сидеть не разрешается!

Вильям еще раз затянулся окурком и, не двигаясь с места, сказал дерзко:

— Послушайте, а вы знаете, кто я?

Полисмен окинул взглядом грязный воротничок, дешевую шляпу, стоптанные башмаки. Глаза полисмена видят лучше, чем глаза старух. Он нагнулся и всмотрелся в лицо Вильяма.

— Да, я знаю, кто ты такой, — сказал он. — Ты тот самый парень, которого я вчера два раза прогонял отсюда. Проходи, если не хочешь отведасть дубинки!

КУДА ВЛЕЧЕТ СЕРДЦЕ

— Два! — выкрикивает великан в потертом смокинге в окошечко билетной кассы за вашими плечами. Это тучный, начинающий сидеть мужчина с лицом римского сенатора. Он грубо хватает билеты и впивается вам в лицо испытующим взглядом, стараясь определить, пьяны вы или нет. Затем вы толкаете вращающуюся дверь из цветного стекла, и сразу яркий свет, шумный водоворот танца и разухабистая музыка ошеломляют вас, как удар кулаком. Вы — в «Хеймаркете».

Билл «Вышибала», также одетый не совсем по форме, стоит, опершись на медные перила, отделяющие вас от зала, где кружатся пары, и, если вы знакомы с ним, улыбается вам, как боксер-профессионал, а если нет — ограничивается угрюмым кивком. Билл — поклонник благопристойности. Горе юному студенту, если ему вздумается вдруг громко запеть. Горе старому повесе, если он позволит себе какую-нибудь вольность. Горе танцору, который вдруг поддастся необузданному веселью; горе и женщине, осмеливающейся наперекор приличиям закурить папиросу¹ у всех на глазах. «Хеймаркет» — самый респектабельный дансинг Нью-Йорка.

Чересчур яркие огни многочисленных люстр в отражающихся зеркалах, оглушительный гром оркестра, гул металлических голосов, почему-то совсем непохожих на обычные человеческие голоса, женские туалеты, настолько модные, что смахивают на карикатуру, пары, медленно вальсирующие в неестественных позах...

¹ 1912 г. (Прим. автора.)

Между круглыми деревянными столиками — непрерывный поток входящих и выходящих мужчин в котелках.

Когда вы на минуту задерживаетесь на месте, чтобы как-то разобраться в этих впечатлениях, вы вдруг чувствуете, что на вас устремлено множество глаз со всех концов — из-за столиков, стоящих у перил, с мест на балконе на каждого вновь прибывшего смотрят женщины, женщины красивые, безобразные, безвкусно одетые, великолепно одетые — но только не бедно одетые. Они не приглашают, эти глаза, не бросают вам вызова, не проклинают. Они просто следят за вами пристально, жадно, как кот следит за мышью.

Итак, после многомесячного перерыва я снова зашел в «Хеймаркет». Все здесь было, как обычно.

— Очень рад вас видеть, Билл, — сказал я (что было правдой). — А Марта здесь?

Билл кивнул — он человек молчаливый — и большим пальцем указал на заднюю комнату. Но даже там — в комнате, увешанной пожелтевшими афишами и фотографиями давным-давно забытых эстрадных обзоров, уставленной неизбежными столиками, за каждым из которых сидела девушка, я не нашел ее. Конечно, она могла за это время измениться... Я не стал подниматься наверх, на балкон, но прошел в одну из дверей, ведущих в зал, и уселся за столик. Подошел официант, и я пошептался с ним. Спустя несколько минут я увидел, что из дальнего конца зала ко мне идет женщина. Это была Марта, стройная, в темно-синем костюме, с темно-желтым пером на шляпе.

— Здравствуй, милый! — сказала она. Это обычное приветствие в «Хеймаркете». Она протянула мне свою маленькую руку, вежливо улыбнулась и села. Я обратил внимание, что волосы у нее все еще были темные и мягкие, кожа — нежная и розовая, взгляд открытый и светлый.

Я заказал пива.

— Мы ведь встречались раньше, — сказала она вдруг.

— Года четыре назад, — сказал я ей. — Мы были знакомы с вами.

— Ах да, — в глазах ее вспыхнул радостный огонек — словно в глазах старого друга. — Еще в те времена! Тогда здесь были еще Мэй Монро, и Лаура Ше-

валье, и Бэби Тэйлор. Вся наша компания. Теперь, кроме меня, никого не осталось.

— Расскажите мне, что вы поделывали все это время.

Она пожала плечами.

— Ничего интересного. Как всегда... Ах нет, погодите! За это время, пока я вас не видала, я побывала в Европе.

— В Европе? — недоуменно воскликнул я.

Она кивнула и улыбнулась.

Танцы на время прекратились, и на кричащей безвкусной эстраде двое мужчин и женщина во все горло запели «Индюшиный танец», аккомпанируя себе на барабане и цимбалах. Грохочущая какофония, сорванные визгливые голоса раздирали уши, заглушая все остальные звуки. Певцы нелепо изгибались, судорожно дергали плечами. В этом зрелище было что-то откровенно бесстыдное и в то же время притягательное — что-то гармонизировавшее с этими заученно-кокетливыми женщинами, чьи глаза были так холодны, с этими зеркалами по стенам. Они пели: «Вот медведь, медведь, медведь!»

— Это хорошая песенка, — мечтательно пробормотала Марта. — Так вот, значит, Европа... Вы когда-нибудь бывали там?

— Да, — улыбнулся я. — Наверное, вы видели «Мулен Руж», и «Аббэй», и «Глоб» в Лондоне?

— Нет, я не особенно интересовалась увеселительными заведениями. Мне они и здесь надоели.

— Марта, — сказал я, охваченный любопытством, — зачем вы ездили в Европу?

Она нахмурила брови.

— Понимаете, мне хотелось кое-что увидеть и узнать. О чем мы читали в детстве в школьных учебниках. Ну... например, лондонский Тауэр и дом Шекспира в Стратфорде. Веришь, конечно, что они где-то там существуют, но ведь надо самой увидеть, чтобы убедиться наверняка.

Я был потрясен. Но в конце концов, почему бы у женщины из «Хеймаркета», как и у любого человека, не могло появиться желание увидеть дом Шекспира.

Марта продолжала:

— Я всегда откладывала деньги. Сама не знаю, зачем — может быть, для того, чтобы когда-нибудь купить

домик в деревне и разводить кур. И я куплю, наверное, когда совсем выдохнусь. А прошлой весной меня взяло раздумье. Однажды я пошла в банк, взяла свои сбережения, сшила себе хороший костюм и купила билет на «Лузитанию» первого класса. Чем-чем, а скрягой меня не назовешь.

— И вам хватило денег...

Марта рассмеялась.

— Мне хватило денег, чтобы добраться до Лондона и прожить там неделю, как живут настоящие туристы. Нет, конечно, я не задумывалась, что будет потом. Просто надеялась на бога. На пароходе я познакомилась со старикашкой священником и его женой и в Лондон приехала вместе с ними. Они очень милые люди оказались — думали, что я студентка. Я ведь всегда одеваюсь скромно. Мне это нравится. Если девушка одевается крикливо, она сразу производит дурное впечатление. Мы остановились в «Уолдорфе» — тихом и чертовски приличном отеле, — и чего только мы не видели: и Лондонский Мост, и Вестминстер, и Хрустальный дворец; мы разделили город на части — и осматривали все подряд! Конечно, я побывала и в «Альгамбре» и «Глобе» — когда мои старички отправлялись на боковую. Только девушки в английских дансингах ужасные гордачки...

Она мечтательно задумалась.

— Я никогда не забуду эту неделю. Хорошо было! Да, я вела себя просто как двухлетняя девочка. Старалась увидеть все, о чем только ни была наслышана.

У нас за спиной оркестр залязгал «Танец дурачков». Билл «Вышибала» угрожающе перегнулся через перила. Я однажды видел, как он тащил по залу девушку, уколотившую официанта шляпной булавкой, и потом в буквальном смысле слова вышвырнул ее за дверь. За соседним столиком сидела молодая, застенчивая девушка, которая, бледнея и краснея, робко разговаривала с каким-то котелком. Новенькая... Но все мое внимание поглощали приключения Марты. Одна в Лондоне — с познавательной целью!

— Но как же вы заработали деньги на дальнейшее? — спросил я трезво.

— Сейчас расскажу. Проснувшись однажды утром, я обнаружила, что у меня осталось всего семь шиллин-

гов. И в тот же день, когда я гуляла в Гайд-парке, со мной заговорил молодой американец. И к тому же Лондон мне уже порядочно надоел. Так что вечером я поцеловала старушку, пожелала ей спокойной ночи, поднялась к себе в номер и начала укладываться. А в два часа ночи мы уехали из отеля. Хотела бы я знать, что она подумала на другое утро. Вот так я попала в Париж. Мы жили по-королевски в «Гранд-Отеле». Вы когда-нибудь сидели на тротуаре перед парижским кафе в пять часов дня и смотрели, как парижские «птички» прогуливаются взад и вперед? Вот это жизнь! Сидишь, и ничего-то тебе делать не хочется. Я истоптала три пары туфель, бродя по Лувру с каталогом в руке. Мой дружок? О, он был неплох. Купил мне пару шикарных платьев — из черного шелка. Но ничего кричащего. Много американских девушек добывают себе пропитание в Париже. Я прожила там две недели, и в один прекрасный день мой приятель смылся. Еще день, и пришлось бы мне идти на панель. Да только я встрети-лась случайно с одним англичанином... Ему было лет под шестьдесят, он был с брюшком, но мне на него жаловаться не приходится. Мы поехали в Бельгию, в Голландию — Брюссель, Гаага, Остенде, — затем совершили поездку по Германии. Я ничего интересного не упускала. В Ватерлоо я целый день читала учебник истории. Я себе покоя не находила, пока не осмотрю всего, что упомянуто в Бедекере. Но когда мы приехали в Страсбург, мой старичок начал ворчать. «Послушай, — сказал он, — дались тебе эти путеводители! Ты уж довольно всего насмотрелась...» В ту же ночь я ушла от него. Я не хотела быть чьей-то собачкой, можете мне поверить! Денег у меня было всего лишь на билет до Парижа... Но я знала, что с моим счастьем я не пропаду.

В первый же вечер по приезде в Париж я отправилась на Монмартр и познакомилась с одной американкой, и она позвала меня к себе ночевать. Мы, американки, всегда помогаем друг другу. Конечно, я начала посещать все увеселительные места. Монмартр очень похож на Нью-Йорк, только он не такой честный, — не знаю, понимаете ли вы, о чем я говорю. И тут мне опять повезло! На вторую же ночь в дансинге «Пигаль» я танцевала с мужчиной, который был желтый, как му-

лат, — только он мулатом не был. Он дал мне свою визитную карточку и предложил ехать вместе с ним в Бразилию. На карточке была коронка и надпись: «Граф Мануэль де Порталес». Я, конечно, немало слыхала о разных липовых графах и других аристократах, которые надувают бедных девушек, и потому показала карточку Мабель и спросила: жулик он или нет. «Была не была, — говорит она, — рискни!» Но этого мне было мало. Я не спала всю ночь, — ей богу. Я все думала — а вдруг он завезет меня туда, где я не буду знать их языка и где никто не говорит по-американски, да и бросит меня там. Но я положились на бога и поехала с ним. Две недели мы плыли пароходом и прибыли в Рио-де-Жанейро. Красивей Рио города в мире нет! Я там здорово повеселилась. Каждую пятницу мы отправлялись в людный клуб обедать, и каждую субботу после ужина весь город наряжался в маскарадные костюмы и разъезжал по улицам в экипажах. Я прожила там четыре месяца...

Нет, я не чувствовала себя особенно счастливой. Ведь нельзя же только и делать, что чему-то дивиться. В чужой стране все оказывается гораздо лучше, чем ты раньше себе представляла. И всегда так волнуешься, когда видишь то, о чем приходилось часто слышать. И устаешь так, что мочи нет. Я хотела прожить в Рио год, но не выдержала...

Я ясно помню, как все это было. Мы вернулись домой из клуба сильно навеселе. Мануэль сразу заснул, а мне спать не хотелось. Стоял апрель, окно было открыто, и я смотрела в небо — глубокое-глубокое, на миллионы миль глубины. Звезды там яркие, крупные... Не знаю почему, только я вспомнила Бродвей, — вдруг он так и встал у меня перед глазами: вспыхивают и гаснут рекламы, народ некультурный выходит из кино, а крахмальные белые манишки — из театров, и шарманки в этот именно момент наигрывают «Ирландский танец». И тут меня охватила жуткая тоска по милому, честному некультурному Нью-Йорку. За границей, знаете, все как на подбор культурные. Потом я представила себе «Хеймаркет», и наших девушек, и пивные пятна на столике, и дым папирос, «Суип Кэп». В это примерно время студенты съезжаются в Нью-Йорк на каникулы и, конечно, толпами валят в «Хеймаркет».

И мне вдруг захотелось повидать Большого Билла. Недолго думая, я толкнула Мануэля под бок. «В чем дело?» — говорит он. «Я получила телеграмму из Нью-Йорка, — отвечаю я, — очень важную. Кони-Айленд открывается первого мая. Когда отходит ближайший пароход? Я уезжаю».

Должна сказать, что граф оказался на высоте. Он купил мне билет первого класса. Обратное плавание было лучшим временем в моей жизни. Я была совсем одна и не позволила ни одному мужчине выйти из рамок. Я всю дорогу читала и ни с кем не разговаривала...

Едва Нью-Йорк замаячил в глубине бухты, как я совсем онемела. Даже больно сделалось.

Я не стала никого и ничего ждать. Когда мы причалили, я сдала на хранение багаж на пристани Эри и села на катер. В Нью-Йорке я села в поезд надземной железной дороги, доехала до Двадцать восьмой улицы и вбежала сюда. Старый хрыч у входа говорит мне: «Послушай-ка, сюда нельзя без билета!» Затем взгляделся попристальнее и как вскрикнет: «Черт подери, да откуда ты взялась?» А я молчу — словно вдруг онемела, оглохла и ослепла. Так и стояла дура дурой. Тут он распахнул дверь, и уж не помню, как я вошла в зал и увидела Билла и всех наших и столики! Опять я дома! Вот чем было это для меня — моим домом! Я услышала, как Большой Билл загремел на весь зал: «Марта! Ах, черт! Явилась наша чемпионша!» Черт, вам и не понять! Я припала лицом к столику и разрыдалась... Ну, идемте танцевать.

ИГРА ПРАВОСУДИЯ

Как только сумерки окутывают город, мимо этого угла начинают проходить молодые женщины; неуклюжие и с жестким взглядом, «дешевые» — похожие на серых птиц, которым тесно в их оперении. Они идут с Четырнадцатой улицы к Ирвинг-сквер, поворачивают обратно к Юнион-сквер на Шестнадцатой, идут по Пятнадцатой, опять проходят мимо этого угла, направляясь к Третьей авеню, и, таким образом, совершают круг, всегда возвращаясь к этому углу. Словно какой-то таинственный магнит, притягивает их к себе этот угол — угол Пятнадцатой улицы и Ирвинг-сквер. Быть может, в этом именно месте их ждет Приключение, Счастье или даже Любовь. Почему этот угол приобрел такое значение? Мужчины хорошо его знают: вечером здесь в каждом темном уголке скрывается шляпа-котелок; некоторые из этих котелков настолько смелы, что стоят прямо под уличными фонарями. Задевая их локтями, маня покачивающимися бедрами, нашептывая неподвижными губами пугающе-нежные слова, заимствованные Коммерцией у Любви, мимо них проходят женщины.

В этом квартале есть свой неизбежный фараон. Он следует по тому же пути, что и женщины, но идет он медленно, величественной походкой и гонит женщин вперед, не позволяя им ни на минуту остановиться, — и кажется, что они куда-то направляются. Общество не дает пороку отдохнуть. Если бы женщины останавливались, что случилось бы тогда со всеми нами?

Когда полицейский показывается на этом углу, жен-

шины, задержавшиеся здесь, мгновенно рассеиваются, как стая рыб, и, пока он не отойдет, прячутся в темных переулках. Что ждет ту, которую он задержит? Остров! А там пойманных на улице женщин стригут.

Но полицейский играет честно. Он не прибегает ни к каким предательским уловкам, он просто на минуту останавливается, гордо помахивая дубинкой, и затем проходит дальше, по направлению к Четырнадцатой улице. Ему доставляет огромное удовольствие наблюдать, как женщины разбегаются при его появлении.

Его широкая спина скрывается во мраке, и женщины тотчас же возвращаются; не зная усталости, они шагают взад и вперед то по одной стороне улицы, то по другой.

Стоя там, я наблюдал за этой комедией, и до моих ушей доносился заглушенный шепот женщин и тихое шарканье их ног. Одни ругали меня, другие заигрывали со мной, смотря по тому, обедали они сегодня или нет. В это время показался полицейский.

Его внушительные плечи вынырнули из мрака Четырнадцатой улицы. Величественные и надменные, как плечи абсолютного монарха. Женщины бесшумно исчезли, и на углу осталось лишь три живых существа: шипящий фонарь, фараон и я.

Минуту он стоял на месте, жонглируя своей дубинкой и мрачно поглядывая по сторонам. Казалось, он чем-то был недоволен; быть может, его мучила совесть. Затем его взгляд упал на меня, и он строго нахмурил брови.

— Проходите! — приказал он, властно кивнув головой.

— Почему? — спросил я.

— Не важно, почему. Потому, что я так сказал. Уходите отсюда.

Он медленно двинулся в мою сторону.

— Я ничего дурного не делаю, — сказал я. — И я не знаю законов, запрещающих гражданину стоять на углу, если он не мешает движению.

— Хватит! — загремел фараон, многозначительно помахивая дубинкой. — Проходите, а не то угощу как следует!

Мимо проходил какой-то пожилой мужчина со свертком под мышкой.

— Извините, — обратился я к нему, — мне очень неприятно вас затруднять, но не согласитесь ли вы быть свидетелем того, что здесь происходит.

— С удовольствием, — весело сказал он. — А в чем дело?

— Я спокойно стоял вот на этом углу, когда ко мне подошел вот этот блюститель порядка и приказал уйти отсюда. Но я не понимаю, почему я должен уйти. Он угрожает избить меня дубинкой, если я не подчинюсь. Я прошу вас засвидетельствовать, что я не оказываю никакого сопротивления. Если я сделал что-нибудь противозаконное, я требую, чтобы меня арестовали и препроводили в Ночной суд.

Полицейский снял шлем и задумчиво почесал затылок.

— Это вполне резонно, — ухмыльнулся незнакомец. — Хотите записать мое имя?

Однако фараон заметил его усмешку.

— А ну, пошли, — прорычал он, хватая меня за руку. Незнакомец пожелал нам спокойной ночи и пошел своей дорогой, все еще ухмыляясь. Мы с фараоном двинулись по Пятнадцатой улице, храня глубокое молчание. Я заметил, что он смущен и, очевидно, взвешивает, не отпустить ли меня. Однако он только стиснул зубы и продолжал свой путь.

Мы вошли в темное помещение Ночного суда и через боковой коридор подошли к двери, которая ведет в камеру с барьером, где арестованные предстают перед судьей. Дверь была открыта, и я увидел на скамейках по ту сторону барьера несколько человек — обыкновенных зевак, любителей острых ощущений, и старую еврейку в рыжем парике, устремившую пристальный, исполненный напряженного ожидания взгляд на дверь, через которую вводят арестованных. Под высоким потолком мерцало несколько лампочек; темные безобразные панели на стенах, имитирующие красное дерево, которые должны были бы придавать помещению внушительность, только увеличивали мрак. Казалось, что Правосудие боится света.

Я должен был предстать перед судьей вторым после маленькой худенькой девушки, чья голова едва дохо-

дила до плеча полицейского, державшего ее за локоть. Ее измятая юбка какого-то неопределенного цвета слишком туго обтягивала бедра; ее потрескавшиеся лакированные туфли были ей велики, шляпу увенчивало огромное обтрепанное перо.

Судья, облаченный в черную мантию, поднял руку. Я не расслышал, что он сказал.

— Приставала к прохожим, — послышался хриплый голос полицейского, — на Шестой авеню, около Двадцать третьей улицы.

— Десять дней на Остров!.. Следующий!

Девушка откинула голову и вызывающе захохотала.

— Ах ты... — взвизгнула она и опять захохотала. Но полицейский грубо толкнул ее, и они скрылись за дверью.

Я сделал шаг вперед. Смех девушки еще звучал у меня в ушах.

Судья что-то писал на листке бумаги. Не поднимая глаз, он бросил:

— В чем обвиняется арестованный, офицер?

— В оказании сопротивления, — мрачно буркнул полисмен. — Я сказал, чтобы он проходил, а он сказал, что не желает...

— Гм! — рассеянно пробормотал судья, продолжая писать. — Не желает, а? Ну-с, что вы скажете в свое оправдание?

Я молчал.

— Не желаете отвечать, а? А раз так, мы вам дадим...

Тут он поднял глаза, кивнул и радостно улыбнулся.

— Здорово, Рид! — воскликнул он. Потом, смерив полицейского уничтожающим взглядом, проговорил многозначительно:

— Если вы еще раз сцапаете моего приятеля... — и, не dokonчив угрозы, повернулся ко мне. — Хочешь посидеть рядом со мной?

1913

ЕЩЕ ОДИН СЛУЧАЙ НЕБЛАГОДАРНОСТИ

Проходя поздно вечером по Пятой авеню, я заметил его впереди себя в полосе теней между двумя фонарями. Было страшно холодно. Втянув голову в поднятые плечи, засунув руки в карманы, он медленно подвигался вперед, тяжело волоча ноги. Когда я приблизился к нему, он повернулся, как лунатик, и прислонился к выступу в стене здания, где можно было укрыться от ветра. Сперва я подумал, что он хочет немного согреться, но, подойдя ближе, увидел, что он стоит неподвижно, прижавшись щекой к холодному камню; ноги его были как-то неестественно напряжены; впалые глаза закрыты. Человек спал! Резкий ветер пронизывал насквозь его скудное одеяние, проникал в дыры потерявших всякий вид башмаков, а он продолжал стоять, опершись о каменную стену, и ноги его одеревенели, как у эпилептика. Было что-то животное в этом жадном желании спать.

Я потряс его за плечо. Он медленно открыл один глаз, весь съежился, точно его не раз уже трясла рука погрубее, и устремил на меня бессмысленный взгляд.

— Что с вами? Вы больны? — спросил я.

Он чуть слышно пробормотал что-то и сразу отошел от стены, намереваясь двинуться дальше. Нагнувшись почти к самым его губам, я попросил его повторить, что он сказал.

— Две ночи не спал, — произнес он глухо. — Три дня ничего не ел.

Он покорно стоял передо мной, слегка покачиваясь, глядя на меня невидящими глазами, которые то открывались, то закрывались.

— Идемте со мной, — сказал я. — Зайдем в кафе, я закажу вам чего-нибудь поесть, а потом устрою вам ночлег.

Он послушно последовал за мной, спотыкаясь на ходу, как во сне, покачиваясь так, что казалось, вот-вот упадет. Время от времени он что-то бормотал хриплым голосом.

— Приходится спать на ходу, — повторил он несколько раз. — Они ведь не дают остановиться...

Я взял его под руку и привел в слабо освещенное почное кафе. Там я усадил его за стол, и он мгновенно заснул мертвым сном. Я поставил перед ним бифштекс с картофельным пюре, два сэндвича с ветчиной, чашку кофе, хлеб, масло и большой кусок пирога и разбудил его. Он посмотрел на меня просветленным взглядом. Чувство благодарности, любви, преданности засветилось в его глазах, — в этом взгляде было что-то собачье. Я почувствовал прилив христианской любви к ближнему и, откинувшись на спинку стула, принялся смотреть, как он ест.

Он принялся за еду неловко, словно уже забыл, как это делается. Его движения выдавали, что ему когда-то объясняли, как следует держать себя за столом, — может быть, его мать. Он переложил нож и вилку с правой стороны на левую, взял тоненький кусочек хлеба в левую руку, вынул ложечку из чашки, перед тем как начать пить кофе, и аккуратно намазал хлеб тончайшим слоем масла. Его движения напоминали движения лунатика, и меня начало мучить странное ощущение, что передо мной не человек, а призрак.

Но по мере того как еда на столе убывала, с моим гостем начала происходить необыкновенная перемена. Теплота и пища согрели и сгустили жидкую кровь, возбуждали нервные центры истощенного тела: щеки моего гостя быстро покрылись краской, он весь словно встрепенулся, глаза загорелись. Умение себя держать исчезло, словно его и не было. Он бесцеремонно макал хлеб в соус и жадно уничтожал картофельное пюре прямо с ножа. Чашку кофе он осушил двумя-тремя

глотками. Тень обрела плоть и кровь, в звере проснулась душа — предо мной был человек!

Перемена показалась мне столь разительной, что я не мог дожидаться, когда он кончит есть, чтобы расспросить его подробнее. Когда последний кусок пирога исчез в его желудке, я вынул пачку папирос и положил перед ним; он взял папиросу и закурил от протянутой мною спички.

— Благодарствую! — сказал он.

— Сколько нужно заплатить за постель в ночлежном доме? — спросил я. — Двадцать пять центов?

— Угу, — сказал он. — Благодарствую!

Он нервно поглядывал на стол, жадно втягивая в себя табачный дым. Я решил, что теперь можно начать разговор.

— Как вы дошли до этого? Работы нет?

Он посмотрел мне в глаза — первый раз за время обеда — с некоторым удивлением. Меня поразило, что глаза у него оказались серыми, хотя сначала я решил, что они карие.

— Ага, — ответил он кратко.

— А чем вы занимаетесь?

Он ответил не сразу.

— Каменщик, — буркнул он наконец.

Я не мог понять, что на него вдруг нашло.

— А откуда вы?

Та же игра.

— Олбэни.

— Давно в Нью-Йорке?

— Послушайте, — сказал мой гость, наклоняясь через стол. — Что я вам — граммофон?

На секунду я онемел от изумления.

— Да ведь я только так... чтобы поддержать разговор... — смущенно пробормотал я.

— Как бы не так! Небось думаете, что за кормежку я поплачу вам в жилетку. Какое у вас право лезть ко мне с вопросами? Знаю я вас! Только потому, что у вас есть деньги, вы уж решили, что купили меня этой жратвой...

— Вздор! — вскричал я. — Я сделал это только из человеколюбия. Какую пользу, по-вашему, я могу извлечь из того, что накормил вас?

Он закурил еще одну мою папиросу.

— Вы извлекаете все, что вам надо, — улыбнулся он. — Скажите-ка начистоту, небось не нарадуетесь на себя, что спасли жизнь голодному бродяге? Черт! Теперь целую неделю будете ходить чистеньким, что твой ангелок!

— Странный вы человек! — сердито сказал я. — Очевидно, вы и понятия не имеете, что такое благодарность.

— Благодарность! Еще чего захотели! — не задумываясь, сказал он. — Да с какой стати? Я благодарен своей удаче, а не вам, понятно? Вместо меня вы могли бы подобрать кого-нибудь другого... Ведь если бы вы не натолкнулись на меня, вам пришлось бы искать еще какого-нибудь несчастного бродягу. Все дело в том, — продолжал он, наклоняясь ко мне через стол, — что вам нужно было сегодня кого-нибудь спасти. Я вас понимаю. Меня тоже иногда на это тянет. Но только я предпочитаю женщин.

Тут я расстался с неблагодарным каменщиком и отправился будить Друзиллу. Одна она понимает меня!

УВИДЕТЬ — ЗНАЧИТ ПОВЕРИТЬ

Для Джорджа до сих пор остается тайной, говорила девушка правду или нет. Обычно это можно определить после пятиминутного разговора, — по крайней мере Джордж на это способен. А случай, о котором идет речь, тем более важен, что у Джорджа была твердая точка зрения на подобные вещи. Джордж очень симпатичный молодой человек с очень добрым сердцем, и порой он проявляет свойственную всем нам слабость, когда дело касается женщин, но тем не менее никогда не забывает о месте, отведенном для подобных созданий на общественной лестнице. Остается только добавить, что он сразу чувствует, когда его пытаются разжалобить или когда покушаются на его карман, и что он стреляный воробей и на мякине его не проведешь.

Однажды он вышел из своего клуба на Сорок четвертой улице, как раз когда мимо проходила какая-то девушка. Это было миниатюрное создание с пушистыми волосами. Она была одета в дешевый синий костюм, а на голове ее красовалась маленькая круглая шляпка, украшенная торчавшим вверх пером. Конечно, по Сорок четвертой улице гуляют женщины, но вряд ли это подходящее место для прогулок, когда дело касается тоненьких, бедных девушек, одетых в готовые костюмы. Непонятно, как ее не задержал полицейский.

Но как бы то ни было, девушка прогуливалась именно там. Когда Джордж вышел из вращающейся двери клуба, она вдруг замедлила шаг и улыбнулась ему. И самое

удивительное, что Джордж сразу зашагал с ней в ногу, и дальше они пошли рядом. Вам, может быть, это не покажется таким уж странным, но это потому, что вы не состоите членом клуба на Сорок четвертой улице. У нас не принято завязывать знакомство с девицами, проходящими мимо клуба. Да и с Джорджем этого никогда раньше не случалось, и теперь он говорит, что девушка его, наверное, сразу загипнотизировала.

— Гуляете или идете куда-нибудь? — произнес Джордж общепринятую фразу.

Она открыто взглянула ему в лицо, и он заметил, что ее глаза удивительно простодушны и наивны.

— Ну, я иду с вами, — сказала она, хихикнув... и вдруг умолкла, а Джордж в первый раз испуганно подумал, что может попасться на глаза кому-нибудь из приятелей. — Я весь вечер сегодня брожу по улицам — правда, мне удалось поспать часок в дамской комнате, в «Мэси», пока меня не обнаружили.

— А что вам нужно от меня? — спросил Джордж, засовывая руку в карман и уже стыдясь, что идет с ней рядом. Девушка не ответила, и он, повернув голову, заметил в ее глазах слезы. Она остановилась прямо посреди тротуара и повернулась к нему лицом.

— Нет, — сказала она, покачивая своей маленькой головкой, — нет, я не хочу, чтобы вы откупились деньгами и ушли. Я хочу поговорить с вами.

Если бы Джордж почему-то не утратил своей обычной рассудительности, он, несомненно, негодуя, приказал бы ей убраться прочь или повел бы ее в один из тех отелей, какими изобилует этот район. Они находились в нескольких шагах от Шестой авеню. Но какое-то совершенно новое чувство заставило его покраснеть (Джордж краснеет!), и вместо этого он сказал ей:

— Пойдем на Центральный вокзал. Там мы можем поговорить в зале ожидания.

Они повернули назад, прошли мимо клуба и направились в сторону Пятой авеню. Ну, слыхано ли что-нибудь подобное?

Я так и вижу, как они идут и молчат, — Джордж смущается, боится, что его могут увидеть с ней, и почему-то злится на себя за этот страх и, может быть, задумывается над тем, что она собой представляет; а она идет рядом, задрав голову, словно упиваясь свежим воздухом

и царящей вокруг суетой, устремив глаза на верхние этажи домов. Был сине-серый день начала зимы.

Джордж украдкой поглядывал на нее. Его разбирало любопытство, но он не знал, с чего начать.

— Вы живете в Нью-Йорке? — спросил он, хотя было совершенно очевидно, что она приезжая.

— Н-нет, — запнулась она. — Не совсем. Я приехала из Чиликота, штат Огайо. Но мне здесь ужасно нравится. Эти небоскребы так щекотятся!

— Щекотятся?

— Ну, как бы вам это объяснить? Когда стоишь и смотришь на их золотящиеся башни там в небе, куда не долетит и птица, то по телу как будто ползают мурашки, что-то растет и ширится в груди, и начинаешь смеяться. — И она восторженно засмеялась, словно птичка чиркнула.

— Понимаю, — пробормотал Джордж, еще более теорясь.

— Ради этого я и приехала сюда, — продолжала она. — И еще ради миллионов людей.

— То есть вы хотите сказать, что приехали в Нью-Йорк только затем, чтобы посмотреть его толпы и небоскребы? — спросил Джордж саркастически. Дело в том, что Джорджа нелегко одурачить такими разговорами.

Она кивнула.

— Мне казалось, что кругом меня ни о чем, кроме Нью-Йорка, не говорят. Когда к мистеру Саймонду, — Саймонд — это хозяин магазина, где я работала, — заезжал коммивояжер или когда мистер Петти ездил в Нью-Йорк закупать осеннюю партию товара, то только и разговоров было, что о надземной железной дороге, о метро, о небоскребах и о Бродвее. И они так рассказывали обо всем этом, что я не спала по ночам и думала о всех этих башнях, о шумных толпах и о залитых электричеством улицах. Вот я и приехала...

— Но каким же образом?..

— Я знаю, вам покажется странным, что у меня нашлись средства для этого, — сказала девушка, по-птичьи кивая своей маленькой головкой, — но, видите ли, мне теперь семнадцать лет, а я начала копить деньги с одиннадцати. Я накопила пятьдесят долларов.

В эту минуту они через восточный подъезд прошли в главный зал вокзала. Джордж грубо бросил ей:

— А сколько у вас осталось?

— Ни гроша, — сказала она; и тут мраморный балкон, и изящная лестница, и огромный потолок, изображающий звездное небо, с таинственным золотым кругом Зодиака, поразили ее взор.

— Ах! — вскричала она, вцепившись в мраморную балюстраду коротенькими пальцами. — Такой красоты я в жизни не видала!

— Ладно, ладно! — сказал Джордж, беря ее за локоть. — Идемте. Я хочу поговорить с вами.

Но ее трудно было увести оттуда. В своем восхищении она, казалось, забыла обо всем. Ей хотелось знать, что это такое. Что здесь делают все эти люди, куда они направляются, почему они мечутся по залу, толкаются и ничего не говорят? Если это вокзал, то почему он так красив и где тут поезда? Что такое Зодиак и почему его не видно, когда смотришь на настоящее небо.

Джорджу вдруг показалось странным, что девушка, приехавшая, как она говорит, из Чиликота, штат Огайо, не видала Центрального вокзала.

— Между прочим, — обратился он к ней, — разве поезд из Огайо прибывает не к этому вокзалу?

— Нет, — ответила она рассеянно. — Я переплыла Гудзон на катере.

Она таки сумела избежать ловушки.

Джордж постарался поскорее увести ее в зал ожидания. Он был очень раздражен: никогда еще, говорил он самому себе, не был он жертвой такого наглого обмана.

— Послушайте, — сказал он, когда они сели, — вы давно в Нью-Йорке?

— Скоро уже две недели, но я не успела еще осмотреть и половины...

— И, надо полагать, вы бегали по всему городу в поисках работы, — усмехнулся Джордж, — но вам ничего не удалось найти. И теперь вас выгнали из вашей комнаты на улицу и забрали ваши вещи?

— Да, — кивнула девушка грустно. — Так и было. Только в одном вы ошиблись, — я, наверное, нашла бы работу. Только я ее не искала. Видите ли, я каждый

день с утра до вечера каталась в туристских автобусах, осматривала достопримечательности города, а это ведь стоит доллар за поездку, и при этом далеко не все увидишь...

Джордж был взбешен.

— Бросьте, пожалуйста! — сказал он. — Не думайте, что я всему этому поверю. Не забывайте, что я здешний житель! (Джордж очень гордится, что он живет в Нью-Йорке.) Если вы скажете мне правду, то я, быть может, сумею помочь вам.

Девушка вдруг как-то странно хихикнула и подняла на него круглые глаза.

— Мама всегда говорила, что я ужасная лгунья. И, может быть, теперь я не сумела как следует все объяснить. Только я поняла, что вы думаете, — продолжала она мягко. — Вы думаете, что я... что я... Нет, нет, нет! — Она покачала головой. — Я знаю, что так бывает, но я честная девушка.

У Джорджа вдруг защемило сердце. И по его собственной вине. А девушка, казалось, сразу забыла об этом. Некоторое время оба молчали.

— А что вы намерены делать дальше? — наконец спросил он натянуто.

— Вот об этом я и хотела поговорить с вами, — она взволнованно повернулась к нему. — Вчера вечером, когда я вернулась домой, хозяйка не впустила меня в комнату. Даже дверь как следует не отворила, а сказала в щелку, что не отдаст мне моих вещей. Ну, я и пошла бродить по улицам, размышляя, что мне делать. Да только было так интересно гулять по тихим улицам ночью и на рассвете, что я обо всем забыла. Днем я поспала немного в «Мэси» и... и опять уже почти надумала, что мне делать, но тут увидела вас.

— И что же вы надумали? — спросил Джордж с нетерпением.

— Мне кажется, я должна увидеть и остальной Нью-Йорк. Но для этого нужны деньги. Я ведь должна что-то есть и где-то ночевать. Ну, во всяком случае, есть мне надо. — Она очаровательно нахмурила брови. — И вот об этом я и хочу посоветоваться с вами.

У Джорджа просто дух захватило от такой простодушной беззаботности. То есть захватило бы, если бы

он мог поверить, что она не лжет. И как ему хотелось удостовериться, что она лжет!

— Послушайте, — сказал он, — вы должны уехать к себе домой, — в Чиликот. Вот вам мой совет. Немедленно уезжайте домой. Вы не можете представить себе, какому риску вы подвергаетесь, оставаясь в этом ужасном городе! (Жители Нью-Йорка любят называть свой город Содомом и Гоморрой.) Здесь ничего не стоит умереть с голоду. А кроме того... ваше счастье, что вы не встретили некоторых из его обитателей. Бр-рр! (Джордж вздрогнул при мысли о страшных чудовищах, населяющих современный Вавилон.) Предположим, что вы заговорили не со мной, а с кем-нибудь другим. Вы знаете, что он подумал бы о вас?

— Знаю, — сказала она невозмутимо, — он подумал бы то же, что и вы. И он сделал бы примерно то же, что вы. Я не боюсь мужчин. Я всегда доверяю людям, и мне никто еще не причинил зла. Мне пришлось немало перенести на своем веку, и голод меня несколько не пугает. Мне непременно кто-нибудь поможет — и все оттого, что я твердо в это верю.

— Вам нужно ехать домой! — повторил Джордж грубо. — Вы сами не знаете, что говорите! Я куплю вам билет и дам денег, чтобы вы не голодали в дороге. Поезжайте домой, к вашей матери, пока вас еще не засосал этот омут. (Джордж очень гордится своими метафорами.) Я знаю, что вам не хочется уезжать отсюда, что вы очень храбрая девушка, но если вы не уедете, честное слово, я...

Он уже хотел пригрозить ей «Лигой нравственности», как вдруг увидел, что девушка закрыла лицо руками и плечи ее вздрагивают. Неужели она смеется над ним? Он бесцеремонно отдернул ее руку от лица. Она, по-видимому, вздрагивала от рыданий, хотя в ее глазах не было слез. Бедный Джордж не знал, что и думать.

— Да, — сказала она грустно. — Вы правы. Я и сама хочу домой. Я и так уж держалась из последних сил. Пожалуйста, помогите мне уехать домой.

Джордж спросил, сколько стоит билет. В конце концов выяснилось, что он обойдется долларом в двадцать, а поезд, которым она должна была ехать, отходил через четверть часа.

— Ну, хорошо, — сказал Джордж. — Идемте. Я куплю вам билет.

Девушка уже повеселела (с непонятной внезапностью, сказал Джордж) так, словно и не плакала. При этих словах она замерла, а потом положила свою запачканную лапку на его рукав.

— Нет, — сказала она. — Дайте мне деньги, я сама куплю билет. — Джордж саркастически улыбнулся. — Вы мне не верите, а если так, я попрошу кого-нибудь другого. Давайте простимся здесь.

Джордж колебался только одно мгновение. Потом подумал: «Что за беда, если она обманывает меня? Пусть берет деньги и выходит на Сорок вторую улицу через другой подъезд. Все равно я уже и так свалил порядочного дурака!»

И он дал ей двадцать долларов.

Она, казалось, прочла его мысли и пристально посмотрела ему в глаза, забавно, по-птичь, наклонив голову.

— Вы не верите людям, — сказала она. — Но все равно. Вы были добры ко мне, и я дам вам адрес квартирной хозяйки, у которой я жила в Нью-Йорке. Можете пойти туда...

Когда она ушла, оставив Джорджа в зале ожидания, он отправился домой и был так неосторожен, что рассказал нам все об этой встрече. Мы, конечно, до слез смеялись над ним, называли его «сентиментальным молокососом», и он только краснел, вспоминая свое рыцарское благородство. Особенно потому, что какой же он был рыцарь.

За обедом Бургес опять заговорил о приключении Джорджа.

— Знаю я эту породу, — сказал Бургес самоуверенно. — Она, наверно, поцеловала тебя на прощание чистым поцелуем.

— Ничего подобного, — возразил Джордж. — Это-то и странно, мне очень хотелось, чтобы она меня поцеловала. Казалось бы, уж одна благодарность...

— В таком случае, она записала твой адрес и обещала когда-нибудь вернуть тебе долг.

— Как раз наоборот. Она дала мне адрес хозяйки,

у которой остались её вещи. И я, когда опомнился, пошел туда в полной уверенности, что ничего там не найду.

— И, конечно, ничего не нашел?

Джордж пожал плечами.

— Ты видел чемодан в коридоре? Это ее. Все... все было так, как она сказала.

— Признаюсь откровенно, что это ни на что не похоже, — сказал Бургес. — Но могу сказать одно: нет такой женщины, да и мужчины тоже, которая уехала бы из Нью-Йорка, имея двадцать долларов в кармане. Объяснение всей этой истории нужно искать в том, что она просто попала в чужой район. Теперь, разбогатев, она опять вернется в свой квартал. Держу пари, что в любой вечер ты встретишь ее на Шестой авеню, где-нибудь у Тридцать третьей улицы.

И они заключили пари на пять долларов, хотя я не видел в этом никакого смысла.

Как-то вечером, спустя недели три, Джордж, войдя в комнату, направился прямо к Бургесу со словами:

— Вот твои пять долларов!

— Какие? — спросил Бургес, как и мы все, совершенно забывший о пари.

— Я встретил эту девицу, — пробормотал Джордж, отводя глаза. — На Тридцать третьей улице, вблизи Шестой авеню.

— Ну-ка, расскажи, — сказал Бургес, который всегда играл честно.

Вот так мы и слышали продолжение этой истории.

Джордж провел воскресенье на Лонг-Айленде у своих друзей и в восемь вечера уехал обратно в Нью-Йорк. Около половины десятого он вышел на Пенсильванском вокзале и решил пойти домой пешком. На углу Тридцать третьей улицы и Шестой авеню он лицом к лицу столкнулся со своей странной знакомой. Он так был занят своими мыслями, что шел, ни на что не обращая внимания, как вдруг кто-то окликнул его:

— Гуляете или куда-нибудь идете?

Он поднял глаза и сразу узнал ее. Она обогнала его и теперь остановилась перед ним, подбоченившись, как миниатюрная прачка. Джордж было рассердился, но

так как с их встречи прошло уже много времени, то решил саркастически улыбнуться.

— Ну, я иду с вами, — хладнокровно передразнил он ее и подошел поближе. — Куда мы зайдем?

Вместо ответа она подошла к нему вплотную, положила ему руки на плечи и, взглянув прямо в глаза, несколько раз кивнула.

— Я хочу есть, — сказала она просто.

Джордж пожал плечами и предложил ей пойти к Бейберу. Под ее испытующим взглядом он почувствовал себя неловко. Идя с ней рядом, он украдкой поглядывал на нее. Ему показалось, что она похудела, побледнела, стала как-то меньше, ее костюм пообносился, но ее наивно-простодушный вид остался прежним. Это было новым доказательством ее виновности. Никакая женщина не может бродить по улицам Нью-Йорка в течение пяти недель и не запачкаться. Значит, и прежняя ее чистота была мнимой. А это открытое, спокойное выражение лица — ведь любая обыкновенная девушка прежде всего нашла бы нужным объясниться (Джордж редкий знаток человеческих характеров).

— Мне повезло, что я встретила вас! — сказала она. — У меня сегодня во рту ни крошки не было.

— А почему именно меня? — язвительно спросил Джордж. — Разве кто-нибудь другой не мог бы накормить вас?

— Конечно, меня всегда кто-нибудь угощает обедом, — спокойно отвечала она. — Но сегодня мне как-то не хотелось есть. И я целый день пробыла в гавани, — глядела на корабли. Кажется, словно перед тобой весь мир. И каждое судно пахнет по-своему.

Джордж решил не упоминать о предыдущей встрече. Этим он хотел отомстить ей. Если она не совсем еще потеряла совесть, то это, конечно, будет ей неприятно.

— И еще вот что, — вдруг вспомнила она. — Вы — мой старый друг, и я не боюсь просить у вас. Мне нужно десять долларов, чтобы заплатить портному за костюм, который я заказала. Видите, я все еще в прежнем костюме, а он совсем не греет.

— Это уже просто наглость!.. — пробурчал Джордж.

— Пожалуй, заказывать себе новый костюм было с моей стороны действительно наглостью, — согласилась девушка.

Решение Джорджа не спрашивать ее ни о чём — увы! — рассеялось как дым. Когда недоверчивый метрдотель ресторана Бейбера успокоился, заметив манишку Джорджа, и они заняли столик, бедняга вдруг почувствовал, что не в силах совладать со своим любопытством. Что она скажет? Как объяснит свое поведение? Или просто сознается в обмане? А может быть, опять придумает еще какую-нибудь невероятную историю?

Но объект его размышлений спокойно сидел за столом и довольными глазами оглядывал комнату. Наконец Джордж не выдержал.

— Я думал, вы давно уже уехали в Чиликот, — сказал он с иронией.

Она взглянула на него, и ему показалось, что он подметил в ее глазах веселый огонек и чуть заметную тень печали.

— Я и не подумала, что вы прежде всего захотите узнать об этом, — ответила она. — Ну, слушайте. Когда вы ушли, я купила билет и села в поезд... — Она остановилась, еще раз пристально посмотрела ему в глаза и затем продолжала: — Я заняла место в вагоне и доехала до Олбэни. Но там в вагон вошел очень симпатичный человек, он сел рядом со мной, и мы разговорились. Он был высокий, краснолицый, а усы у него были рыжие — и гораздо старше вас. Звали его Томом. Я сидела и думала: «Вот я еду домой, и все, что у меня есть, это — единственный костюм, который на мне, а между тем я бросила чемодан с платьями, купленными мне матерью на деньги, которые она копила всю зиму. Я не должна была уезжать из Нью-Йорка, не забрав своих вещей». Я сказала об этом Тому. А он и говорит мне: «Давайте сойдем в Утике, вернемся в Нью-Йорк, и я заберу вещи у хозяйки».

— Это похлеще вашего первого рассказа, — заметил Джордж.

— Ведь правда? — сказала девушка, просияв. — Я уже говорила вам, что не могла уехать, не осмотрев остального Нью-Йорка. И вот я встретила Тома, когда он был мне нужен. Мы вернулись в Нью-Йорк, и он сделал все, как обещал. Но когда мы пришли на квартиру, где я жила, моих вещей там уже не оказалось. Мне сказали, что приходил какой-то молодой человек и взял мой чемодан. Я сразу поняла, что это вы. Но я не знала, как оты-

скасть вас, — улыбнулась она, — разве что пойти к дому, перед которым мы встретились, и начать там прогуливаться. Только Том не хотел, чтобы я это сделала. Видите ли, Том был очень добр ко мне. Он снял для меня комнату, заплатив за две недели вперед, и купил мне очень хорошие платья. И каждый день мы вместе с ним отправлялись куда-нибудь обедать.

— А где теперь этот Том? — спросил Джордж с приличным случаю цинизмом.

Но она, казалось, совершенно не обратила внимания на его тон и мягко продолжала:

— Бедный Том! Он ничего не понял. Не знаю почему, но я думаю, что он и не мог бы понять. Мне кажется, он был болен или вообще с ним было что-то не так, потому что после такого хорошего отношения ко мне он вдруг начал... Словом, вы понимаете, чего он от меня хотел. Бедный Том!

— Ну, это просто шедевр! — воскликнул Джордж, расхохотавшись.

Девушка задумчиво посмотрела на него.

— Я думаю, что и вы не понимаете, — сказала она. — Он ведь не виноват, — я это знаю. Он так хорошо ко мне относился, что не мог же оказаться негодяем. Он просто не способен был понять, но я, конечно, после этого уже не могла жить в снятой им комнате, не могла носить купленные им платья. Я опять ушла на улицу. Это было неделю назад.

— А где вы живете теперь?

— Теперь у меня совсем нет комнаты.

— Что?! — невольно вскрикнул Джордж. — Целую неделю на улице! Но ведь...

Девушка улыбнулась таинственно, а может быть, немного насмешливо.

— Когда наступает ночь, — спокойно сказала она, — я подхожу к какому-нибудь приличному дому и нажимаю кнопку звонка. Мне открывают дверь, и я говорю, что у меня нет денег заплатить за ночлег, что я очень устала и прошу впустить меня переночевать.

— И?.. — спросил Джордж, подыгрывая ей.

— И мне очень редко отказывают. А тогда я просто звоню в другой дом.

Джордж вдруг погрозил ей пальцем.

— Не знаю, почему я слушаю ваши басни, — сказал

он сурово. — Мне кажется, потому, что я вас всё-таки считаю хорошей девушкой. Но я хотел бы, чтобы вы сказали мне всю правду. Я знаю, что девушке здесь трудно получить работу, но пробовали ли вы искать?

— Пробовала ли искать работу? Я? Конечно, нет! — удивленно посмотрела она на него. — Я не хочу здесь работать. Я хочу только все посмотреть. Здесь ведь столько можно увидеть и почувствовать! Вчера я гуляла с раннего утра до самого полудня. Я прошла огромное расстояние. Я забралась на длинную блестящую улицу, проходящую поверх крыш огромных зданий, между длинными дрожащими рядами стальной паутины; под ногами у меня расстился окутанный дымом город, где все улицы кишели людьми. Подумайте только! Видеть всё это... а я ведь даже не знала, что все это существует!

Джордж говорит, что его охватило странное иррациональное чувство, — он вдруг подумал, что девушка говорит правду. Он, казалось, заглянул в мир, о существовании которого и не подозревал, — в мир, из которого он был изгнан навсегда, потому что знал слишком много! И ему было больно. Эта девушка обожгла его, словно язычок пламени. И боль заставила его сказать все это вслух. Но девушка только серьезно покачала маленькой головкой.

— Нет, — сказала она. — Это потому, что вы знаете слишком мало.

Конечно, это странное чувство жило в нем всего лишь одну минуту. Затем к нему опять вернулся здравый смысл, он высказал девушке все, что думал о ней, и ушел.

Но самым странным во всей этой истории были минуты их расставания. Джордж говорит, что она слушала его, склонив голову набок, по-птичьи, и, когда он кончил, вдруг потянулась через стол, схватила его руку обеими руками и прижала к своей груди. Ее глаза наполнились слезами, и когда он подумал, что она вот-вот расплачется, она вдруг разразилась громким смехом.

— Мы еще встретимся когда-нибудь, — вскричала она. — Мы встретимся тогда, когда вы мне будете особенно нужны!..

И тут, исполненный негодования, Джордж ушел домой из ресторана.

— Да-а, — протянул Бургес, вертя в руках пятидолларовую бумажку, когда Джордж кончил свой рассказ. — Да, эта история настолько интересна, что я согласен заплатить за нее. Я заплачу половину тех десяти долларов...

— Каких десяти? — огрызнулся Джордж.

— Тех десяти, которые ты дал ей, чтоб она заплатила портному, — сказал Бургес, протягивая кредитку.

Джордж стоял перед нами, краснея все больше и больше и переводя взгляд с одного на другого, желая удостовериться, не смеемся ли мы. Затем сказал глухим голосом: «Спасибо», — и взял деньги.

МАК - АМЕРИКАНЕЦ

Я познакомился с Маком в Мексике, в городе Чиуауа, в канун Нового года. Он был словно привет с родины — американец до мозга костей.

Когда мы вышли из гостиницы и направились в ресторанчик китайца Чи Ли, чтобы выпить коктейль, разбитые колокола древнего собора оглушительно звонили, призывая верующих к полуночной мессе. В темном небе горели жаркие звезды пустыни. По всему городу трещали торжествующие выстрелы: они доносились из домов, в которых была расквартирована армия Вильи, с улиц, где стояли часовые, с отдаленных форпостов в горах. Проходивший мимо нас пьяный офицер, перепутав праздники, крикнул: «Христос родился!» На углу вокруг костра сидели солдаты, до самых глаз закутанные в серапе. Они распевали бесконечную балладу: «Утренняя песня Франсиско Вилье». Каждый певец, когда до него доходила очередь, должен был сам сочинять четверостишие, восхваляющее подвиги Великого генерала...

Из темных улиц и переулков, примыкающих к площади, стекались к собору, чтобы очиститься там от грехов, мрачные, безмолвные фигуры женщин в черных одеждах. Из огромных открытых дверей собора лился бледно-красный свет и доносились непривычно звучащие индейские голоса — там пели гимн, который мне приходилось слышать только в Испании.

— Зайдемте в храм, посмотрим службу, — предложил я. — Это, наверное, интересно.

— Какого дьявола мне там надо! — сказал Мак слегка напряженным голосом. — Я не хочу мешать людям молиться.

— Вы католик?

— Нет. Я и сам не знаю, какой я веры. Не помню уж, когда я был в церкви.

— Молодчина! — воскликнул я. — Значит, вы человек не суеверный?

Мак косо взглянул на меня.

— Да, я не слишком-то религиозен, — сказал он, сплевывая, — но я не поношу бога, как это делают другие. Не хочу рисковать...

— Рисковать?

— Ну, знаете, на тот случай, если после смерти...

Он вдруг сердито отвернулся и умолк.

В ресторанчике Чи Ли мы встретили еще двух американцев того сорта, что всякий разговор начинают со слов: «Я уже семь лет прожил в этой стране и вижу здешний народ насквозь».

— Хуже мексиканок, — заметил один из них, — женщин в мире не найдешь. Они моются не больше двух раз в году! Представляете? А что касается добродетели, то ее у них просто нет! Они даже замуж не выходят, а просто вступают в связь с первым встречным, если он им понравится. Все мексиканки — потаскухи, вот и все!

— У меня в Торреоне есть девочка — хорошенькая индианка, — подхватил другой, — черт знает что такое! Она даже не ждет, чтобы я на ней женился. Я...

— Да, да, все они такие, — подтвердил первый. — Потаскухи, вот они кто! Я живу здесь уже семь лет.

— И знаете, — второй строго погрозил мне пальцем, — скажите все это какому-нибудь черномазому мексиканцу, так он только рассмеется! Вот какие нравы у этих вонючек!

— У них нет гордости, — мрачно заметил Мак.

— Вообразите только, — снова вступил в разговор наш первый соотечественник, — вообразите, что было бы, если бы вы сказали такое американцу!

Мак стукнул кулаком по столу.

— Да хранит бог американскую женщину! — воскликнул он. — Если бы кто-нибудь позволил себе в моем присутствии порочить честное имя американской женщины, я бы его пристукнул на месте!

Он обвел всех нас гневным взглядом, и так как никто не посмел порочить репутацию женского пола великой республики, то продолжал:

— Наша женщина — идеал чистоты, и мы должны сохранять ее такой. Хотел бы я услышать хоть одно дурное слово об американской женщине!..

Мы осушили свои стаканы с торжественной серьезностью средневековых рыцарей, пьющих за своих дам.

— Послушай, Мак, — сказал вдруг один из американцев, — ты помнишь тех двух девчонок, с которыми мы прошлой зимой крутили в Канзас-Сити?

— Помню ли? — огрызнулся Мак. — А помнишь, как ты боялся, что после них нам придется плохо?..

— Вовек не забуду!

— Да, — сказал в заключение первый, — можете расхваливать своих смазливых синьорит сколько вам угодно. Что же до меня, то подавай мне чистую американочку!..

Мак был огромный детина, больше шести футов ростом, полный сил и задора молодости. Ему было всего двадцать пять лет, но он уже порядочно поездил по свету и сменил десятки профессий: работал десятником на железной дороге, был надсмотрщиком на хлопковых плантациях в штате Джорджия, главным монтером на шахте в Мексике, ковбоем, а затем помощником шерифа в штате Техас. Родом он был из Вермонта. После третьего коктейля он начал рассказывать о своем прошлом.

— Когда я приехал в Берлингтон и стал работать на лесопилке, мне было всего шестнадцать лет. Мой брат работал там уже с год и взял меня жить к себе. Он был на четыре года старше меня — здоровенный малый, но, можно сказать, мягкотелый... Всегда надоедал мне, что драться — нехорошо, и нес разную такую чепуху. Ни разу не ударил меня, даже когда бывал сердит: говорил, что не бьет тех, кто слабее. В нашем доме жила одна девушка, за которой брат давно ухаживал. А у меня, знаете, проклятый характер, — рассмеялся Мак, — и всегда был такой. Мне захотелось во что бы то ни стало отбить девчонку у брата, и мне это удалось довольно быстро. Только, знаете, что эта чертовка сделала? Как-то раз, когда брат целовал ее, она и скажи ему: «А ты целуешься точь-в-точь, как Мак!..» Брат сразу оставил ее и пошел разыскивать меня. О том, что драться

нехорошо, он, конечно, забыл и думать. Да иначе и быть не может с настоящим мужчиной! Он побелел, как смерть, а глаза так и метали искры, что твой вулкан. «Какого черта ты лезешь к моей девушке?» — закричал он, подбегая ко мне. Парень он был сильный, и в первую минуту я испугался. Но потом вспомнил, какой он мягкотелый, и пришел в себя. «Если ты не можешь удерживать свою красотку, — ответил я ему, — то нечего и хохориться!» Драка завязалась страшная. Он хотел убить меня, а я решил убить его. В глазах у меня потемнело от злости, и я набросился на него как бешеный, изо всех сил работая кулаками. Видите мое ухо? — Мак указал на какой-то обрубок, торчавший вместо уха. — Это его работа. Но я тоже так угодил ему в глаз, что он закрылся навеки. Мы скоро бросили драться кулаками: мы царапались, душили друг друга, кусали, били ногами в живот. Говорят, что брат ревел, как разъяренный бык, а я все время кричал не своим голосом... Наконец я ударил его сапогом в самое больное место, и он повалился замертво...

Мак залпом осушил стакан. Кто-то заказал ему еще. Мак продолжал:

— Вскоре после этого я переехал на юг, а брат поступил на службу в Северо-западную конную полицию. Помните случай, когда в тысяча девятьсот шестом году индеец убил человека в Виктории? Ловить убийцу посылали моего брата, и он получил пулю в легкое. Я как раз гостил у своих стариков — первый и последний раз, — когда к ним приехал брат, чтобы умереть дома... Только он поправился. Помню, когда я уезжал, он только что встал с постели. Он провожал меня на станцию и всю дорогу умолял сказать ему хоть одно слово. На прощанье протянул мне руку, а я отвернулся и сказал: «Ты — сукин сын!» Он потом вскоре отправился к месту своей службы, но по дороге умер...

— Черт возьми! — воскликнул первый собеседник. — Северо-западная конная полиция! Вот это служба! Хорошая винтовка, хороший конь — и круглый год вольная охота на индейцев! Лучшего спорта и не придумать!

— Что касается спорта, — подхватил Мак, — то нет ничего лучше охоты на негров. Из Берлингтона, как я уже сказал, я переехал на юг. После того как убедил-

ся, что могу за себя постоять, я решил повидать свет. Черт возьми, в какие только дразги я не ввязывался!.. В конце концов в Джорджии я осел на хлопковой плантации, неподалеку от Диксвилла, — им там не хватало надсмотрщика. Как сейчас помню одну ночку. Я сидел в своем домике и писал письмо сестре. Мы с ней дружим, зато никак не можем поладить с остальными родственниками. В прошлом году она влипла в историю с одним коммивояжером, и если я когда-нибудь поймаю подлеца!.. Ну так вот: я сидел и писал письмо при свете керосиновой лампочки. Ночь была теплая, душная, и сетку на окне облепили всякие жуки. Как погляжу на них, так вся спина начинает чесаться. И вдруг я услышал звуки, от которых волосы у меня на голове встали дыбом. Это лаяли собаки-ищейки, которые гнались за кем-то в темноте. Не знаю, приходилось ли вам слышать лай ищейки, когда она преследует человека? Когда слышишь лай ищейки ночью, всегда становится жутко, но этот лай был какой-то особенный. Слушаешь его, и кажется, что ты в темной комнате и сейчас кто-то тебя задушит, и некуда бежать! С минуту был слышен только этот ужасный лай, затем кто-то перескочил через изгородь, и под самым моим окном послышался топот и прерывистое дыхание. Вы знаете, как дышит норовистая лошадь, когда ей набрасывают на шею аркан? Вот так он и дышал. Я выбежал на веранду и увидел, что ищейки прыгают через изгородь. В темноте кто-то окликнул меня осипшим голосом: «Куда он побежал?!» — «А вот туда, за дом», — крикнул я и сам побежал с ними.

Их было человек двенадцать. Я так и не узнал, в чем провинился черномазый, да и они вряд ли знали. Нам было все равно. Мы бежали как сумасшедшие по хлопковым плантациям, по лесу, где земля раскисла от недавних ливней, переплыли реку, прыгали через изгороди. И даже не замечали усталости, хотя при других обстоятельствах для такого бега не хватило бы духу и на три минуты. Вот только изо рта у меня текла слюна — и это было неприятно. Светила полная луна, и всякий раз, когда мы выбегали на открытое место, я слышал крики: «Вот он! Вот он!» — и нам казалось, что собаки сбились со следа. А они, захлебываясь лаем, бежали впереди. Приходилось вам слышать лай ищейки, когда она гонится за человеком? Гремит, словно труба! Я изодрал в

кровь лицо и руки, перепробовал головой все деревья в Джорджии, но не чувствовал никакой боли!

Мак облизал губы и отхлебнул из стакана.

— Конечно, — закончил он рассказ, — когда мы подбежали к черномазому, собаки успели растерзать его на куски!

Он удовлетворенно кивнул, отдаваясь приятным воспоминаниям.

— А письмо сестре вы кончили? — спросил я.

— Само собой! — кратко ответил Мак.

— Я бы не хотел навсегда поселиться в Мексике, — сказал мне Мак на прощание. — Люди здесь какие-то бессердечные. А я люблю людей открытых, добрых, как американцы.

ДОЧЬ РЕВОЛЮЦИИ

Вечер был дождливый и теплый, хотя на дворе стоял ноябрь. Моросил тот парижский дождик, от которого как-то не чувствуешь сырости. Мы сидели за угловым столиком на террасе «Ротонды» — Фред, Марсель и я — и пили аперитив. Из-за войны это кафе, как и все остальные, закрывалось ровно в восемь, и мы всегда оставались там до самого закрытия.

За соседним столиком сидел молодой французский офицер с забинтованной головой, обнимая одной рукой прикрытое зеленой перелиной плечо Жанны. Элис и Беатриса сидели немного поодаль, под самым фонарем. Поглядывая в просвет между оконными занавесками, мы могли видеть утопавший в дыму зал: шумную компанию каких-то мужчин и женщин, стучащих по столам и громко распевающих; двух старичков французов, благодушно играющих в шахматы; студента, который сосредоточенно писал письмо; его подружку, положившую голову ему на плечо; и, наконец, человек пять посетителей и официанта, упивавшихся рассказами солдата в измазанных грязью сапогах, только что вернувшегося с фронта.

Желтый свет фонарей заливал нас, отражаясь золотыми бликами на мокром тротуаре; мимо проносилась непрерывная вереница прохожих с зонтиками; оборванный дряхлый старик украдкой собирал окурки у нас под ногами; по мостовой мерно шаркали солдатские сапоги, но этот привычный звук почти не доходил до нашего сознания; мокрые косые полосы штыков вспыхивали, попадая в поток света, лившийся с бульвара Монпарнас.

В этом году все женщины «Ротонды» одевались одинаково. Маленькая круглая шляпка, коротко подстриженные волосы, блузка с глубоким декольте и длинная пелерина, концы которой забрасывались на плечи, по-испански.

Марсель была точной копией других. Кроме того, ее губы были ярко накрашены, щеки густо набелены; она непристойно ругалась, когда забывала о своей респектабельности, и пускалась в сентиментальные рассуждения, когда вспоминала о ней. Она уже успела рассказать нам все подробности о своей очень богатой и очень почтенной семье, а также трагическую историю о том, как ее соблазнил один герцог, упомянула о своей врожденной добродетели и с гордостью добавила, что она не какая-нибудь бульварная девка...

Теперь она, хрипловатым голосом и не стесняясь в выражениях, комментировала то, что происходило перед ее глазами, и просила денег, и мне уже казалось, что я вижу ее насквозь. Ее оценки вещей и людей были хлестки, энергичны и оригинальны, но скоро приедались. Ее беззаботность и ничем не прикрытая любовь к жизни задерживали внимание лишь немногим дольше. Марсель была уже слишком потрепана...

До нас вдруг донеслись возбужденные голоса. Из зала на террасу вышла высокая девушка в оранжевом свитере, за ней следовал официант, размахивая руками и крича.

— А заказанные вами восемь рюмок анисовки, черт возьми!

— Я уже сказала вам, что заплачу, — взвизгнула девушка через плечо. — Я иду в гостиницу напротив за деньгами. — И она побежала по блестящей от дождя мостовой. Официант угрюмо смотрел ей вслед, позванивая мелочью в кармане.

— Нечего ждать! — крикнула ему Марсель. — В гостинице есть другой выход на улицу Делаамбр.

Но официант не обратил на ее слова никакого внимания. Он подошел к кассе и заплатил по счету. Девушка, конечно, не вернулась.

— Это старый прием, — объяснила нам Марсель. — Когда нет денег, нетрудно выпить на даровщину. Официанты ведь не смеют требовать плату вперед. В военное

время, когда мужчин мало и все они так бедны, знать об этом очень полезно...

— Но официанту ведь тоже надо жить! — возразил Фред.

Марсель пожала плечами.

— И нам надо, — сказала она.

— В этом квартале жила одна красотка, — продолжала она после некоторой паузы, — которую звали Мари. У нее были прекрасные волосы, и она любила путешествовать. Вот однажды очутилась она на пароходе, отправлявшемся в Египет, и без гроша в кармане. Какой-то господин, проходя мимо, когда она стояла, облокотившись на поручни, сказал: «Какие у вас прекрасные волосы, сударыня». — «Я вам их продам за сто франков», — бросила она в ответ. Так она и отрезала свои прекрасные волосы, а когда приехала в Каир, познакомилась с одним английским лордом...

Официант тяжело вздохнул, грустно покачал головой и вернулся в зал. Мы сидели молча и думали об обеде. Дождь моросил, не переставая.

Не знаю почему, только Фред вдруг начал рассеянно насвистывать «Карманьолу». Я не обратил бы на это внимания, если бы не услышал, что кто-то начал ему подпевать. Обернувшись, я увидел раненого французского офицера, который, сняв руку с плеча Жанны, отсутствующим взглядом смотрел на мостовую и тихонько напевал «Карманьолу». Какие картины вставали перед взором этого юноши с тонким и умным лицом, одетого в военную форму и запевшего песню восставших? Когда я взглянул на него, он вдруг спохватился, смущенно и испуганно оглянулся и вскочил так резко, что потащил за собой Жанну.

В ту же минуту Марсель дернула Фреда за руку.

— Эта песня запрещена, из-за вас нас всех сапают! — сказала она, и в глазах ее мелькнуло чувство настолько более сильное, чем страх, что меня это невольно заинтересовало. — Да и вообще не надо петь эти грязные песни. Это песни революционные, их поет чернь... беднота... оборванцы...

— Значит, вы не революционерка? — спросил я.

— Я? Боже упаси! — воскликнула Марсель, энергично замотав головой. — Злодеи, которые хотят ниспровергнуть все...

Она вздрогнула.

— Послушайте, Марсель, — сказал Фред. — Разве вы счастливы вот в этом нашем мире? За что вы можете его любить — уж не за то ли, что вам приходится выходить на улицу продавать свое тело? — Фред со всем жаром бросился в кипящий поток пропаганды. — Когда придет великий день, я знаю, по какую сторону баррикады мне стоять...

Марсель рассмеялась. Это был горький смех. Впервые она перестала позировать.

— Заткнись, мой милый, — грубо оборвала она его. — Я знаю эти речи. Я слышала их, когда была еще вот такой... Уж мне ли их не знать!

Она на мгновение умолкла, чему-то тихонько засмеялась и вдруг словно не выдержала:

— Мой дедушка был расстрелян у стены кладбища Пер-Лашез за то, что во времена Коммуны нес красное знамя. — Она остановилась, взглянула на нас и криво улыбнулась. — Как видите, я родилась в семье оборванцев...

— Ваш дед! — вскричал Фред.

— А ну его, моего деда, — сказала Марсель безучастно. — Пусть старый дурак с мозолистыми руками спокойно лежит в могиле. Я не люблю вспоминать о нем и не намерена ставить свечи за спасение его души...

Фред схватил ее за руку. Он был вне себя от волнения.

— Да будет память вашего деда священна!

Профессиональное чутье подсказало Марсель, что по какой-то неведомой причине ей удалось нас заинтересовать, и она тихо запела последние строчки «Интернационала», кокетничая с Фредом:

C'est la lutte finale...¹

— Расскажите нам еще о вашем дедушке, — попросил я.

— Да что о нем рассказывать! — сказала Марсель, смущенно и весьма иронически. — Взбалмошный был человек, и бог весть какого происхождения. Никто не помнил ни отца его, ни матери. Он работал каменщиком и, говорят, хорошо знал свое ремесло. Но он больше

¹ «Это есть наш последний и решительный бой» (франц.).

просиживал за книгами, чем работал, и постоянно бастовал. Только и знал, что беситься и кричать: «Долой правительство! Долой богачей!» Ему такую и кличку дали: «Дикарь». Помню, отец рассказывал мне, как солдаты ворвались к ним в дом, чтобы увести деда на расстрел. Отец, которому в то время было четырнадцать лет, спрятал его под матрацем. Но солдаты стали колоть матрац штыками, попали ему в плечо и увидели кровь. Тогда он обратился к солдатам с речью, — он всегда произносил речи, — призывал их не губить Коммуны... Но они только посмеялись над ним...

Марсель тоже рассмеялась — все это казалось ей очень забавным.

— А мой отец, — продолжала она, — о господи! Он был еще хуже. Я помню всеобщую стачку на заводе Крезо... Погодите-ка. Это было в год Всемирной выставки. Мой отец был одним из вожakov этой стачки. Брат мой в ту пору был совсем еще ребенком — ему было всего восемь лет, но он уже работал на заводе, как и все дети бедняков. Во время демонстрации стачечников отец вдруг услышал, что из рядов его кто-то окликает тоненьким голоском — это мой братишка маршировал вместе с другими с красным флагом в руках. «Здорово, отец! — крикнул он. — «Ça ira!»¹ Во время этой стачки расстреляли много рабочих. — Марсель злобно качнула головой. — Фу! Подонки общества!..

Мы с Фредом поежились: мы слишком долго сидели неподвижно и немного озябли. Затем постучали в окно и приказали подать коньяк.

— Пожалуй, я вам довольно порассказала о моей несчастной семье, — сказала Марсель с наигранной веселостью.

— Продолжайте, — хрипло произнес Фред, глядя на нее горящим взглядом.

— Но вы ведь угостите меня обедом? — намекнула Марсель.

Я кивнул.

— Эх, черт! — продолжала она с усмешкой. — Моему отцу, конечно, так обедать не приходилось! После того как деда расстреляли, отец нигде не мог получить работы. Он голодал и ходил побираться. Жены товарищей

¹ «Дело пойдет» (франц.) — начало революционной песни.

моего дедушки захлопывали двери у него перед носом, говоря: «Не подавайте ему, негодяю. Ведь это сын Дикаря, которого расстреляли!» И отец жил тем, что бродил, как собака, у столиков кафе, подбирая брошенные корки. Это меня кое-чему научило! — воскликнула Марсель, встряхивая короткими волосами. — Я стараюсь ладить с теми, кто меня кормит. Вот почему я не позволю себе ограбить официанта, как сделала та девушка, и всем говорю, что я из хорошей семьи. Иначе мне пришлось бы страдать за грехи моего отца, как он страдал за грехи своего.

Я понял все и снова нашел объяснение загадочной подлости человеческой натуры. Вот где был ключ к душе Марсели — в ее слабости и развращенности. Не порох искалечил ее душу, а невыносимый гнет, налагаемый на человека сильными мира, — страшное наказание для тех, кто стремится к свободе.

— Я помню, — продолжала Марсель, — как по окончании стачки на заводе Крезю хозяева выгнали рабочих, проявивших себя во время стачки. Была зима, и в течение многих недель мы топили плиту щепками, — мать собирала их на пустырях и огородах, — а питались только хлебом и кофе, которые получали от союза. Мне в ту пору было всего четыре года. Отец решил перебраться в Париж, и мы двинулись в путь пешком. Я сидела у отца на плече, в другой руке он нес сверток с разным тряпьем. Мать тоже несла большой сверток. Она давно уже была больна чахоткой, и ей часто приходилось останавливаться, чтобы передохнуть. Брат шел позади... Мы шли по прямой белой дороге, слегка припорошенной снегом, между рядами высоких голых тополей. Два дня и ночь... Когда стемнело, мы забрались в заброшенную хижину дорожного сторожа, а мать кашляла, кашляла... Еще до восхода солнца мы снова пустились в путь; шагая по снегу, отец и брат выкрикивали революционные лозунги и пели:

Dansons la Carmagnole,
Vive le son, vive le son!
Dansons la Carmagnole,
Vive le son du canon!¹

¹ «Станцуем Карманьолу, станцуем Карманьолу, — да здравствует гром пушек!» (франц.)

Марсель бессознательно повысила голос, когда запела запрещенную песню; щеки ее покраснелись, глаза горели, и она притоптывала в такт ногой... Внезапно она остановилась и испуганно огляделась. Но никто ничего не заметил.

— У брата был тонкий голосок, как у девочки, и когда он, энергично шагая, выкрикивал слова ненависти, как старый забастовщик, отец, глядя на него, вдруг разражался громким смехом: «Ах ты, бродяжка! Провалиться мне на этом месте, полиция о тебе еще услышит!» И хлопал его по спине. Мать, слыша такие слова, бледнела и иногда по ночам вставала с постели, шла в угол, где спал брат, будила его и со слезами на глазах говорила ему, чтобы он был хорошим человеком, когда вырастет. Как-то раз отец, проснувшись ночью, застал ее у постели брата... Но это было позднее, в Париже..

Они опять затягивали:

Debout frères de misère!
Ne voulons plus de frontières!
Pour égorger la bourgeoisie,
Et supprimer la tyrannie,
Il faut avoir du cœur
Et de l'énergie! ¹

Отец смотрел перед собой, глаза его сверкали, и он чеканил шаг, словно шел впереди армии. А мать глядела на него и дрожала. Она знала, что опять будет схватка с полицией, кровавая стачка, и боялась за него...

Марсель вздрогнула и залпом выпила свой коньяк.

— Я ничего не понимала, пока мы не переехали в Париж, — продолжала она. — Здесь я постепенно стала взрослой. Первое впечатление моего детства — это когда отец после стычки с полицией вернулся домой с перебитой рукой: он руководил крупной стачкой рабочих угольного склада Тириона на Авеню де Мэн. Так дальше и шло: новое место — новая стачка, новое место — новая стачка, а есть в доме было нечего, и мать слабела с каждым днем и вскоре умерла. Отец женился во второй раз. Жена его была религиозная женщина, часто ходила

¹ «Вперед, товарищи, вперед! Не знаем больше мы границ! Чтоб победить буржуев гнет и деспотизм повергнуть ниц, нам нужны смелые сердца и твердость, твердость до конца!» (франц.).

в церковь и молилась за его бессмертную душу, потому что она знала, как он ненавидит бога.

Когда вечером он возвращался домой с еженедельного собрания своего союза, его глаза горели, как звезды, и он во всю глотку изрыгал богохульства. Это был ужасный человек. Он всегда был зачинщиком всякого беспорядка. Помню, как он вмешался в демонстрацию на Монмартре. Они собрались перед Сакре-Кэр — большой белой церковью на самой вершине холма, откуда виден весь Париж. Вы знаете статую шевалье де ла Барра у подножия холма? Это статуя одного юноши, который когда-то, в давние времена, отказался снять шляпу перед религиозной процессией; священник перебил ему руку крестом, который несли верующие, и затем юноша был сожжен инквизицией. Он изображен в цепях, с повисшей перебитой рукой, и голова у него поднята — гордо так... Рабочие устроили демонстрацию против церковников, а может, и еще чего-нибудь — точно не знаю. Стали говорить речи. Отец стоял на ступеньках церкви, когда вдруг вышел тамошний кюре. Отец закричал громовым голосом: «Долой попов! Эта свинья сожгла его живым, — указал он на статую. — На фонарный столб его! Повесить его!» Тут они все начали кричать и ринулись к ступеням... Да только полицейские дали по толпе залп из револьверов... Отец вернулся вечером весь в крови. Он насилу добрался домой. Мачеха встретила его на пороге и сердито спросила: «Где тебя носило, бездельника?» — «Я был на демонстрации, черт побери», — проворчал он. «Так тебе и надо, — сказала мачеха. — Может, ты теперь вылечился!» — «Вылечился? — крикнул он, раскрыв окровавленный рот, в котором недосчитывалось нескольких зубов. — Погоди до следующего раза! «Ça ira!»

И верно. Когда гильотинировали Лебефа, кирасиры врезались в рабочую демонстрацию, и отца принесли домой с головой, раскроенной сабельным ударом.

Марсель перегнулась через стол и прикурила у Фреда.

— Его прозвали «Головорез». Он был очень суровый человек... А как он ненавидел правительство!.. Однажды, придя домой из школы, я рассказала, что нас учили петь «Марсельезу». «Если я услышу когда-нибудь, что ты поешь эту подлую, предательскую песню, — закричал он, поднося кулак к моему лицу, — я расквашу тебе нос!»

Перед моими глазами, как живой, встал этот грубый, нетерпимый, старый вояка, украшенный бесчисленными шрамами — следами сотен заранее обреченных на неудачу, бестолковых схваток с полицией, и я представил себе, как он возвращался вечером домой по тесным, грязным переулкам, после собраний своего союза, охваченный пылкими мечтами о будущей жизни обновленного человечества.

— А ваш брат? — спросил Фред.

— Ах, он был еще хуже отца, — сказала Марсель со смехом. — С отцом можно было говорить почти обо всем, но с братом!.. Еще мальчиком он вел себя просто ужасно. Он, например, говорил мне: «После школы приходи к такой-то церкви. Там мы встретимся. Я хочу помолиться». Я встречаю его на паперти, мы вместе входим в церковь и становимся на колени. Когда я начинаю молиться, он вдруг вскакивает и начинает с криком бегать по церкви, опрокидывает стулья, сбрасывает на пол горящие свечи... А когда он встречал кюре на улице, он шел за ним по пятам и кричал: «A bas les calottes! A bas les calottes!»¹ Двадцать раз его арестовывали и даже сажали в исправительный дом. Но он всегда убегал. Когда ему исполнилось пятнадцать лет, он убежал из дому и целый год пропадал где-то. И вдруг однажды появился у нас на кухне, когда мы сидели за завтраком. «Доброе утро, — сказал он, как будто никуда и не уходил. — Ну и холод же сегодня!» Мачеха вскрикнула от изумления. «Мне хотелось посмотреть мир, — продолжал он. — А вернулся потому, что остался без денег и живот совсем подвело».

Отец не стал бранить его, и он остался дома. Целый день он торчал возле кафе на углу и возвращался домой только после полуночи.

А потом как-то утром он опять исчез, не сказав никому ни слова. Через три месяца голод снова загнал его домой. Мачеха заявила отцу, что он должен заставить парня работать, что трудно жить, когда в семье работает только один человек, да и то лентяй и беззаконник. Но отец только рассмеялся. «Оставь его в покое! — сказал он. — Он знает, что делает. В нем кровь настоящего борца».

¹ «Долой попов!» (франц.)

Брат то уходил из дому, то возвращался, и так продолжалось, пока ему не исполнилось восемнадцать лет. Под конец, перед тем как он окончательно осел в Париже, он устраивался на работу, чтобы поднакопить денег, а потом отправлялся бродяжить. Потом он нашел постоянное место на заводе и женился.

У него был прекрасный голос, и, когда он пел революционные песни, его слушали затаив дыхание. Вечером, вернувшись с завода, он повязывал шею большим красным платком и отправлялся в какой-нибудь мюзик-холл или кабаре. Когда на сцене появлялся певец, брат, заглушая его голос, вдруг затягивал: «Ça ira» или «Интернационал». Певец вынужден бывал прекратить пение, а все зрители поворачивали головы и смотрели на брата, сидевшего где-нибудь на галерке.

Кончив петь, он вопил: «Ну что — понравилось?» Зрители кричали «браво» и аплодировали ему. Тогда он восклицал: «Повторяйте за мной: «Долой капиталистов! Долой полицию! На фонарный столб шпиков!» Одни кричали вместе с ним, другие свистали. «Кто это там свистит? — спрашивал он. — Пусть подождет меня у входа, я ему покажу!» И потом на улице он дрался зараз с десятерыми, пока не подоспевала полиция...

Он так же, как и отец, всегда был во главе всякой стачки, но товарищи любили его за веселый характер, за храбрость... Если бы отец с молодых лет не научил его с презрением относиться к закону... он, может, был бы избран в парламент.

— А где он теперь? — спросил Фред.

— Где-то там... в окопах, — Марсель махнула рукой на восток. — Когда началась война, ему пришлось идти вместе с другими, хотя он и ненавидел армию. Когда он отбывал воинскую повинность, это было просто ужас что такое. Он отказывался подчиняться дисциплине. Почти целый год он просидел в тюрьме. Затем вдруг решил добиться повышения и через какой-нибудь месяц уже был произведен в капралы, — такой он был умный. Но в первый же день после этого он отказался командовать солдатами своего отделения. «Почему я должен приказывать этим товарищам? — сказал он. — Мне приказывают, чтобы я послал их копать окопы. Что они — рабы?»

Конечно, его сразу разжаловали. Тогда он обратился к солдатам с речью, призывая их перестрелять офицеров и поднять восстание. Но солдат это так возмутило, что они схватили его и перебросили через каменную стену... Вот как он ненавидел войну! Когда в Палате обсуждался вопрос о трехлетней обязательной воинской службе, это он организовал демонстрацию перед парламентом... А теперь он должен идти убивать бошей, как и все. Не знаю, может быть, он уже убит.. я давно ничего не слыхала о нем. — Марсель умолкла и вдруг неожиданно добавила. — Дома у него остался пятилетний сынишка...

Три поколения суровых, неутомимых борцов за смутную мечту о свободе. И теперь четвертое — еще в колыбели! Знали ли они, за что боролись? Это не имело значения. Их вело нечто более сильное, чем разум, — инстинкт, заложенный в человеке, который никакая сила, никакие доводы не могли уничтожить.

— А как вы, Марсель? — спросил я.

— Я? — улыбнулась она. — Признаться ли, что я никогда никаким герцогом соблазнена не была? — Она продолжала с горьким смешком: — Но тогда вы перестанете относиться ко мне с уважением; вы, друзья на час, любите, чтобы ваша забава была приправлена романтикой. Что поделаешь? В моей жизни не было ничего романтического. В нашей ужасной, нищенской обстановке я всегда тосковала по радостной, счастливой жизни. Мне всегда хотелось смеяться, веселиться — с самого детства. Я любила мечтать о том, как я пью шампанское, хожу по театрам; у меня прекрасные платья, драгоценности, собственный автомобиль. Отец скоро заметил мои вкусы и однажды сказал мне: «Я вижу, что ты хочешь отказаться от нашей жизни и продать себя богачам. Но знай — за первый же твой проступок я выгоню тебя из дому и откажусь признавать своей дочерью».

Жизнь дома стала невыносимой. Отец осуждал девушек, заводивших любовников. Он то и дело повторял, что я стою на скользком пути. Когда я выросла, он запретил мне выходить из дому иначе, как с мачехой. Отец решил поскорее выдать меня замуж — чтобы спасти от греха. Однажды, придя домой, он объявил, что нашел мне жениха — бледного, хромого молодого человека — сына трактирщика с нашей улицы. Я знала его; он был

не плохой парень, но я и думать не желала о замужестве. Мне хотелось быть свободной.

Мы с Фредом удивленно переглянулись. «Свободной!» Не за это ли всю жизнь боролся ее отец?

— В ту же ночь, — продолжала Марсель, — я встала с постели, надела свое праздничное платье, поверх его натянула будничное и бежала из дому. Всю ночь и весь следующий день я бродила по улицам. Под вечер я направилась к заводу, где работал мой брат, и, волнуясь, стала поджидать его. Я боялась, что он выдаст меня отцу. Вскоре он вышел со своими товарищами, они кричали и распевали во все горло. Он сразу заметил меня. «Здорово, сестренка, — сказал он, беря меня за руку. — Ты чего здесь? Что-нибудь неладно дома?» Я сказала ему, что ушла из дому. Он отступил немного назад и удивленно посмотрел на меня. «Ты, наверно, есть хочешь, — сказал он. — Идем ко мне. Познакомишься с женой. Она тебе понравится. Вместе пообедаем».

И я пошла с ним. Жена его оказалась чудесной женщиной. Она встретила меня с распростертыми объятиями. Они показали мне своего ребенка, — ему всего месяц исполнился, и он был такой толстенький! У них было так хорошо, так уютно! Жена брата сама стряпала, и я в жизни не едала обеда вкуснее! Они меня ни о чем не спрашивали, пока я не пообедала. Потом брат закурил папиросу, а другую предложил мне. Я боялась курить — махеча говорила, что женщине курить — значит погубить душу. Но жена его улыбнулась и сама взяла папиросу. «Ну, а теперь скажи, что ты собираешься делать?» — сказал брат. «Сама не знаю, — отвечала я. — Я хочу быть свободной. Я хочу веселиться, хорошо одеваться. Хочу ходить по театрам, пить шампанское».

Жена брата печально покачала головой.

«Я не знаю такой работы, за которую женщина могла бы получить все это», — сказала она. «А ты думаешь, я хочу работать? — воскликнула я. — Ты думаешь, я стану потеть на фабрике за десять франков в неделю или чахнуть над чужими платьями где-нибудь в мастерской мод на Рю де ла Пе? Думаешь, я позволю кому бы то ни было командовать мной? Нет! Я хочу быть свободной!»

Брат долго смотрел на меня серьезным взглядом, затем сказал: «У нас с тобой — одна кровь. Я знаю, тебя не уговорить... и принудить тебя тоже нельзя. Каждый

человек имеет право устраивать свою жизнь по-своему. Можешь идти, куда хочешь, и делать, что пожелаешь. Только помни, если будешь голодать, если падешь духом, останешься совсем одна — мой дом всегда открыт для тебя и тебе здесь всегда будут рады».

Марсель вытерла глаза тыльной стороной руки.

— Я заночевала у них, а на другой день пошла бродить по городу, разговаривала с девушками в кафе — такими, какой я стала теперь. Они посоветовали мне найти работу, говоря, что так легче завести постоянного любовника. Я нанялась на месяц в универсальный магазин. Вскоре у меня уже был любовник — аргентинец, который возил меня по театрам и дарил дорогие платья. Это была самая счастливая пора в моей жизни!

Как-то вечером, когда мы ехали в театр, нам пришлось проезжать мимо дома, в котором жил брат. Мне вдруг захотелось зайти к нему и рассказать, как хорошо я устроилась. На мне было чудесное голубое платье, туфли с тонкими, высокими каблучками и пряжками, унизированными драгоценными камнями, белые перчатки, шляпа с огромными полями, украшенная черным страусовым пером, и вуаль. К счастью, вуаль была спущена: когда я подошла к дому, где жил брат, у входа стоял мой отец! Он взглянул на меня. Я остановилась. Сердце мое замерло. Но я поняла, что он не узнал меня.

«Убирайся! — закричал он. — Таким тварям нечего делать в доме рабочего! Зачем ты пришла сюда? Оскорблять нас своими шелками и перьями, выжатыми из пота рабочих, изнывающих на фабриках, из их чахоточных жен и умирающих от голода детей? Уходи отсюда, потаскуха!»

Я до смерти боялась, что он узнает меня.

С тех пор я видела отца еще только один раз. Мой любовник бросил меня. У меня были другие любовники... Брат с женой переехали в предместье Сен-Дени, чтобы жить поближе к отцу. Я иногда заходила к ним посидеть и поиграть с ребенком, который рос не по дням, а по часам. Это были действительно счастливые минуты. Иногда я оставалась у них ночевать, но уходила еще до рассвета, чтобы не встретиться с отцом.

Однажды, выйдя от брата на рассвете, я увидела отца, который шел на работу, — в руке у него был узелок с завтраком. Он не видел моего лица. Мне ничего

не оставалось, как идти впереди него в ту сторону, куда шел он. Было около пяти утра, и на улицах только изредка встречались прохожие. Вскоре я заметила, что он прибавил шаг. Потом он негромко окликнул меня:

«Мадемуазель, подождите! Ведь нам по дороге, а? — Я пошла быстрее. — Вы очень красивы, мадемуазель. А я еще не старик. Может, поищем, куда зайти вместе?»

Я совсем потеряла голову от ужаса. Мне казалось, что он вот-вот узнает меня. Я не осмеливалась свернуть куда-нибудь в переулок, чтобы он не увидел меня в профиль. Я шла все вперед и вперед... многие мили... многие часы... Я не заметила, когда он отстал... Не знаю, жив ли он теперь... Брат говорил, что он никогда не заговаривал обо мне...

Марсель замолчала, и мы снова слышали шум улицы, который не замечали так долго. Фред был страшно взволнован.

— Чудесно, клянусь богом! — вскричал он, ударяя кулаком по столу. — Та же кровь, тот же дух! Но с каждым поколением взгляды становятся шире, благороднее! Сын уже понимал свободу совсем по-другому, чем его отец!

Марсель удивленно подняла на него глаза.

— Я что-то не понимаю, — спросила она.

— Ваш отец, всю жизнь боровшийся за свободу, выгнал вас из дому только потому, что вы хотели своей свободы.

— Вовсе нет, — сказала Марсель, — я сама была виновата. Я сбилась с пути. Если бы у меня была такая дочь, я тоже выгнала бы ее.

— Но поймите же, ваш отец хотел свободы для мужчин, но не для женщин! — сказал Фред.

— Естественно, — пожала она плечами. — Мужчины и женщины — это не одно и то же. Отец был прав. Женщина должна быть нравственной.

— Очевидно, нужно еще одно поколение женщин! — печально вздохнул Фред.

Я взял Марсель за руку.

— А вы не жалеете о своей жизни? — спросил я.

— Жалеть о своей жизни? — бросила она в ответ, гордо тряхнув головой. — Нисколько! Я свободна!

ПРАВА МАЛЫХ НАЦИЙ

Я зашел в болгарское консульство в Бухаресте, чтобы получить визу, и столкнулся там с Фрэнком, которому тоже нужна была виза. Я сразу признал в нем американца. В его жилах текла кровь многих поколений иммигрантов, от которых он унаследовал свой нос и свою нижнюю челюсть; у него было открытое, простодушное лицо, походка уверенная и твердая. Он был совсем юн, белокур и свеж; под его суконным костюмом подчеркнуто английского фасона, излюбленного румынскими портными, угадывалось здоровое, сильное тело университетского спортсмена, еще не заплывшее жиром, мускулистое и собранное, как у дикого животного.

И, как дикое животное, Фрэнк инстинктивно, — особой наблюдательностью он не отличался, — почувствовал во мне земляка и произнес: «Здравствуйте», — с той особенной, надменной интонацией, с какой один англосакс приветствует другого в присутствии иностранцев — людей неполноценных. Он оказался очень общительным юнцом, который так давно не бывал на родине, что все американцы казались ему друзьями и единомышленниками. Если я собираюсь ехать в Софию поездом тринадцать тридцать, сказал он, то мы можем отправиться туда вместе. Он служил в Румыно-американской нефтяной компании — замаскированный филиал «Стандарт Ойл» — и уже два года работал на промыслах в районе Плоешти. Когда мы вышли из консульства, он сообщил мне, что уезжает в Англию, чтобы вступить добровольцем в армию.

— Зачем? — вскричал я удивленно.

— Видите ли, — начал он, тревожно глядя на меня и качая головой, — в Плоешти живет много англичан, и они мне на многое открыли глаза. Не знаю, может быть, я поступаю глупо, как говорят мои приятели из американской колонии, но иначе я не могу. Я должен это сделать. Я считаю нарушение нейтралитета Бельгии гнуснейшей подлостью.

— Нейтралитет Бельгии! — воскликнул я, потрясенный возможностями, которые таит в себе человеческая душа.

— Да, — продолжал Фрэнк страстно, — меня просто в жар бросает, как подумаю, что сделала огромная свирепая Германия с маленькой Бельгией. Это позор! Англия сражается за права малых наций, и только трус может остаться в стороне от схватки.

Несколько часов спустя я увидел Фрэнка на вокзале. Он разговаривал с худой некрасивой девушкой в желтом ситцевом платье, которая плакала и одновременно пудрила нос. Фрэнк был красен, он хмурил брови и говорил отрывисто, как подобает сильному человеку, сердящемуся на свою собаку, своего слугу или свою жену. Девушка безутешно плакала, иногда робко касаясь его локтя, но он всякий раз отталкивал ее руку.

Заметив меня, он повернулся к девушке спиной и смущенно подошел ко мне. Он был взволнован и раздражен.

— Я сейчас приду, только отделаюсь от этой проклятой бабы, — сказал он с прямолинейностью сильного мужчины. — Вот всегда так — пристанут к человеку, не знаешь, как от них отвязаться.

Закурив папиросу, он неторопливо направился к девушке, которая, устремив невидящий взгляд на рельсы, кусала носовой платок, стараясь удержать рыдание. На ногах у нее были туфли на необыкновенно высоких каблуках, какие носили в том году румынские проститутки, в руках она держала кожаную сумочку. Вид у нее был очень потрепанный: грудь была плоской от вечного недоедания, волосы, подколотые пучком на затылке, — жидкими и тусклыми. Я знал, что только уж совсем уродливая девушка не сможет прожить в Бухаресте, где на одного мужчину проституток в среднем приходится больше, чем где-либо.

Она невольно посмотрела ему в глаза и вся задрожала. Фрэнк сердито сунул руку в карман, вынул пачку кредитных билетов и вытащил две бумажки. Девушка вся напряглась, побледнела, глаза ее вспыхнули. Он держал эти деньги в протянутой руке, словно целясь в нее заряженным револьвером. Вдруг багровый румянец залил ее лицо, она схватила протянутые ей деньги и зарыдала. В конце концов ей надо было как-то жить.

Мой соотечественник бросил на меня взгляд, исполненный комического отчаяния, и снова гневно уставился на нее.

— Что тебе еще надо? — закричал он по-румынски, с режущим акцентом. — Я тебе ничего не должен. Ну, чего ты реवेशь? Ступай домой. Прощай.

С неловкой шутливостью он подтолкнул ее. Она сделала два-три шага и остановилась, словно у нее не было сил идти дальше. И тогда интуиция, а может быть, воспоминание о прошлом подсказали ему, как поступить. Он вдруг подошел к ней, обнял и поцеловал в губы.

— Прощай! — сказала девушка тихо и убежала.

Поезд с грохотом несея на юг по плоской, раскаленной равнине, мимо жалких деревушек с глинобитными хижинами, крытыми грязной соломой, подолгу останавливаясь на маленьких глухих станциях, где худые, как щепки, румынские крестьяне, одетые в рваные домо-тканые рубахи, тупо смотрели на вагоны. Богатый чистый Бухарест, в котором жизнь бьет ключом, сразу точно сквозь землю провалился, и мы попали в какой-то совершенно другой мир, где люди живут в нужде и голоде, терпеливо снося свою судьбу.

— Не понимаю женщин, — начал Фрэнк. — От них никак нельзя отвязаться, хоть они и знают, что все кончено. Эта девушка прожила со мной около девяти месяцев. Она жила в прекрасной квартире, ела такую пищу, какой раньше и в глаза не видала, получала деньги, — да, она потратила за это время на свои наряды и почтовые марки не меньше ста пятидесяти долларов. И вы думаете, она мне благодарна? Как бы не так! Когда она мне надоела, я никак не мог втолковать ей, что она мне больше не нужна. Она вообразила, что устроилась у меня навсегда. Мне пришлось ее попросту выгнать. Тогда она начала писать мне слезливые письма — одно притворство, чтобы выманить у меня денег. Но меня так

легко не проведешь. Не такой уж я доверчивый идиот! И вот сегодня я натолкнулся на нее, когда подъезжал к вокзалу, и пришлось-таки порядочно повозиться, прежде чем я от нее отделался. Знай ревет — брр!

— А где вы с ней познакомились? — спросил я.

— Где? А просто подобрал на улице в Плоешти... Ну, конечно, я был у нее первым. Иначе ведь это очень опасно!

Он взглянул на меня и, почувствовав какое-то смутное беспокойство, продолжал доказывать свою правоту.

— Видите ли, на нефтяных промыслах у каждого служащего — свой домик. Значит, кто-то должен готовить обед, стирать белье и убирать комнаты. И вот каждый берет девушку, которая бы готовила, стирала, убирала дом, ну и жила бы с ним. И, конечно, очень трудно подыскать подходящую. Я переменял трех, но некоторые из наших перепробовали и шесть и семь: поддержат месяц — и вон, поддержат неделю — и вон!

...Платить? Им ничего не платят. Во-первых, они ведь у вас на содержании. А кроме того, они имеют возможность жить в хорошем доме, пользоваться хорошим столом, и их к тому же одевают. Какое же еще жалование? Дай такой деньги — только ее и увидишь! А так она будет вести себя прилично. Стоит ей начать своевольничать, вы отказываетесь покупать ей одежду, и все тут.

Я спросил, долго ли длятся эти связи.

— Как когда, — сказал Фрэнк. — Вот, к примеру, Джордан. У него лучший дом во всей нашей колонии — стоит посмотреть. Но он ведет очень обособленную жизнь, потому что только молодежь заходит к нему, женатые мужчины бывают у него изредка, и то без жен. Джордан живет с румынкой уже одиннадцать лет — он ее в свое время подобрал, как мы своих, и из-за этого все его сторонятся. Он самый знающий среди всех служащих нашей компании, но он не получает повышения и не получит, пока будет жить так, как теперь. Человек, занимающий здесь видный пост, должен ведь показывать другим пример. Вот уже сколько лет люди, не стоящие его мизинца, делают карьеру, а его все обходят.

— Почему же он не женится на ней?

— Что?! — вскричал Фрэнк изумленно. — На подобной женщине? После того как прожил с ней одина-

дцать лет? Никто ее к себе и на порог не пустил бы. С таким-то прошлым!

— А вашей карьере не мешает то, что вы живете с разными женщинами?

— Ну, мы — другое дело. Это считается в порядке вещей, лишь бы мы не показывались с ними вместе на людях. Мы же — молодежь. Когда человеку стукнет тридцать, ему уже пора обзаводиться женой, а мне еще двадцать пять...

— Значит, лет через пять...

Он кивнул белокурой головой.

— ...я начну подумывать о женитьбе. Но ведь это чисто деловой вопрос. Какой смысл жениться, — нет, конечно, настоящему мужчине нужна женщина, но я не о том, — какой смысл связывать себя, если не извлечешь из этого пользы. Я найду себе красотку с незапятнанной репутацией и со связями в обществе, которые помогут мне сделать карьеру. В южных штатах таких невест много. Приданое мне не нужно — годика через два я буду получать солидное жалованье, и, кроме того, если у жены есть собственные деньги, она считает себя независимой и поступает так, как ей заблагорассудится. Как вы полагаете?

— Я полагаю, что все это — низость, — сказал я горячо. — Если бы я жил с женщиной — в браке или вне брака, — я считал бы ее равной себе в материальном и во всяком другом отношении.

Фрэнк расхохотался.

— Что же касается ваших планов относительно будущего брака, то неужели вы можете жениться без любви?

— Что? Любовь? — Фрэнк пожал плечами и отвернулся к окну. — Ну, если вы решили пуститься в чувствительные рассуждения...

ПОТЕРЯННЫЙ МИР

Сербский городок Обреновиц — гроздь красных черепичных крыш и белых приземистых башен, скрытых меж зеленых деревьев, — расположен в широкой излучине реки Савы. Позади зеленые холмы, нагроможденные друг на друга, постепенно повышаясь, сливаются с голубой цепью гор, на вершинах которых среди пней, оставшихся от скошенных пулеметным огнем деревьев, все еще лежат непогребенные тела, и голодные собаки дерутся с коршунами из-за добычи.

В полумили оттуда, на берегу мутной реки, сербские мужики-солдаты стоят в окопах, затопленных водой, и стреляют по австрийским позициям, расположенным на том берегу шагах в трехстах. К западу, словно застывшие океанские валы, тянутся холмы Боснии, скрывающие огромные орудия, наведенные на Обреновиц. Сам городок стоит на возвышенности, окруженной болотами, по которым среди камышей с важным видом разгуливают священные аисты, презрительно не замечая войны. Холмы одеты зеленою молодых листьев, белой дымкой цветущих слив. Над самой землей слышится множество радостных шорохов: вырываются на свет молодые побеги, лопаются почки; природа дышит весной. И с монотонной регулярностью в неподвижном воздухе раздается треск отдельных выстрелов, он раздается вот уже девять месяцев и давно стал неотделимой частью великого хора природы.

Мы пообедали со штабными офицерами: добродушными великанами-крестьянами и сыновьями крестьян. Ординарец, опускавшийся на колени, чтобы почистить

наши башмаки и стоявший навтыжку, когда поливал нам воду на руки, денщики, так ловко прислуживавшие за обедом, сели вместе со всеми пить кофе и были нам формально представлены. Это были близкие друзья полковника.

После обеда кто-то вытащил бутылку коньяку и коробку настоящих гаванских сигар, которые, как со смехом сообщил нам Иованович, были захвачены у австрийцев две недели тому назад. Затем мы отправились осматривать батареи.

На западе, над холмами Боснии, бледное весеннее солнце висело уже низко в зеленовато-голубом небе. Легкие гряды облачков на беспредельном куполе небес были окрашены багрянцем, пурпуром, киноварью, переходившими в бледно-розовые и серые тона. Чирикали сонные птицы, с запада потянуло свежим ветерком.

Иованович повернулся ко мне.

— Вы хотели поговорить с сербским социалистом? — сказал он. — Сейчас вам представится такой случай. Капитан, командующий батареей, которую мы посетим, — один из руководителей социалистической партии Сербии — по крайней мере так было до войны... Нет, я не знаю, какова его доктрина; я сам — младорадикал. — засмеялся он. — Мы верим в великую сербскую империю.

— Если бы все социалисты были вроде Такица, — сказал полковник, с наслаждением попыхивая сигарой, — я не стал бы возражать против социализма.

В глубоком окопе, который полумесяцем прорезал угол поля, под защитой молодых ив притаились четыре шестидюймовых орудия. Над ними, почти на уровне земли, была сделана кровля, замаскированная пластом дерна, травой и кустами, чтобы скрыть орудия от аэропланов.

Полковник ответил на резкий окрик часового и позвал:

— Такиц!

Из ямы, где стояли орудия, вылез человек в брюках, измазанных до колен грязью, с непокрытой головой. Он был высок и широкоплеч; полинявший мундир висел на его фигуре мешком: очевидно, человек этот прежде был гораздо полнее; его лицо до самых скул покрывала

густая, всклокоченная борода. Взгляд его был открыт и спокоен.

Мои спутники что-то сказали ему по-сербски, и он рассмеялся.

— Так, значит, — пряча в глазах веселую улыбку, обратился он ко мне по-французски, неуверенно выговаривая слова так, словно давно уже не объяснялся на этом языке. — Так, значит, вы интересуетесь социализмом?

Я ответил утвердительно.

— Мне сказали, что вы были одним из руководителей социалистической партии вашей страны.

— Да, был, — сказал он, подчеркивая прошедшее время. — А сейчас...

— А сейчас, — прервал полковник, — он патриот и примерный солдат.

— Просто говорите: хороший солдат, — сказал Такиц с некоторой горечью. — Извините, что я так плохо говорю по-французски. Мне давно уже не приходилось разговаривать с иностранцами, хотя когда-то я произносил речи на французском языке...

— Но социализм? — спросил я.

— Хорошо, я расскажу вам, — медленно начал он. — Пройдемтесь немного...

Он взял меня под руку и угрюмо уставился в землю. Внезапно, быстро и озабоченно обернувшись, он крикнул, обращаясь к кому-то в яме:

— Петр! Смажь замок орудия номер первый!

Мои спутники пошли вперед, смеясь и бросая замечания через плечо, как делают люди, хорошо пообедавшие и всем довольные. Ночь быстро наползала на запад, гася пылающие облака, окутывая небо огромной ризой, усыпанной звездами. Где-то в дальних окопах солдаты пели протяжную македонскую песню о величии империи царя Стефана Душана, и аккомпанирующая скрипка гнусавила и визжала под смычком музыканта цыгана. За рекой на скрытом сумерками склоне холма блестел дрожащий огонек костра.

— Видите ли, наша страна не похожа на вашу, — начал Такиц. — У нас нет крупных капиталистов, нет рабочего населения, и поэтому мне кажется, мы еще не подготовлены к тому, чтобы, сплотив рабочих в мощный

союз, повести борьбу против концентрации капитала в руках нескольких лиц...

Он остановился на минуту и усмехнулся.

— Вы не можете себе представить, как это странно — опять говорить таким языком... Наша партия ставила своей целью приложить принципы социализма к особым условиям нашей страны, где каждый крестьянин владеет собственным клочком земли. Мы, сербы, коммунисты по природе. В каждом селе вы можете встретить зажиточные семьи, живущие задругами, — общинами, складывающимися из многих поколений одной семьи... Мы не желали зря тратить время на возню с Интернационалом. Это задержало бы наше развитие, шло бы вразрез с нашей программой, ставящей своей целью, чтобы те, кто производят продукты и владеют средствами производства, могли бы и распределять эти продукты. Наша политическая программа была еще проще: мы стремились добиться истинной демократии посредством всеобщего избирательного права, законодательной инициативы народа, референдумов и права отзыва депутатов. Видите ли, на Балканах огромная пропасть отделяет честолюбивых политиканов, стоящих у власти, от народных масс, их избирающих. Политика стала как бы профессией, привилегией интриганов-юристов. Этот класс мы хотели уничтожить... Мы не верили во всеобщую стачку, не могли надеяться на помощь огромной массы угнетенного рабочего класса западных государств, который может только использовать нас для проведения своей собственной экономической программы, не имеющей ничего общего с особенными условиями жизни сербского народа...

— Вы боролись против войны?

Он кивнул.

— Да, мы были против войны... — начал было он, но вдруг остановился и громко рассмеялся. — Вы знаете, я уже забыл обо всем этом... Мы думали, что крестьяне, народ Сербии, могут в любую минуту прекратить войну, просто отказавшись воевать. Бог мой! Нас было мало — мы не были похожи на сплоченный рабочий класс Германии и Франции, — и все-таки мы верили, что это возможно.

— А теперь... во что вы верите теперь?

Такиц медленно повернулся ко мне. В глазах его читались боль и горечь.

— Я не знаю... не знаю... Тот, кто говорил сейчас с вами, — это я до войны. Как странно звучат теперь в моих ушах все эти старые, истертые слова!.. Сейчас они не имеют никакого смысла. Я начинаю думать, что нам придется начинать все сначала, — создавать цивилизацию заново. Опять мы должны учиться возделывать поля, подчиняться единому правительству, устанавливать дружеские отношения с народами по ту сторону границы, которые опять кажутся нам лишь злобной, враждебной силой, людьми, говорящими на чуждых нам языках. Мир снова погрузили в хаос, как в мрачные дни средневековья, но мы, несмотря на это, продолжаем жить, работать, радоваться погожему дню и грустить из-за ненастья. Теперь это главное. А потом наступит длительный период перехода от варварства к тому времени, когда человечество начнет мыслить и станет разумно организовывать свою жизнь... Но это будет уже не в наше время. Я умру, не увидев того мира, который мы любили и потеряли.

В страшном волнении он глядел на меня потемневшими горящими глазами, крепко сжимая мою руку у локтя.

— Вот где трагедия... Когда-то я был юристом. Третьего дня наш полковник спросил меня о каком-то хорошо известном принципе законодательства, а я забыл его. Когда я сейчас рассказывал вам о своей партии, я снова заметил, что все это стало туманным, неясным. Вы тоже, наверно, заметили, как все это обще, схематично? Дело в том, что я забыл свои убеждения и утратил свою веру.

Вот уже четыре года я служу в сербской армии. Вначале я ненавидел войну, хотел бороться с ней, мучился неразумностью всего этого. А теперь война стала моей работой, моей жизнью. Весь день напролет я думаю об этих орудиях, по ночам лежу с открытыми глазами и думаю о солдатах моей батареи — хорошо ли будут такой-то и такой-то стоять на часах, достану ли я свежих лошадей вместо охромевших, как ослабить слишком сильную отдачу орудия номер три. Эти заботы, еда, ночлег, погода — вот вся моя жизнь. Когда я уезжаю в отпуск, к жене и детям, их жизнь кажется мне пресной,

далекой от реальности; она быстро мне надоедает, и я испытываю облегчение, когда подходит время возвращения сюда, на фронт, к моим друзьям, моей работе, моим пушкам... Это и есть самое страшное...

Такиц кончил, и дальше мы шли молча. Аист, медленно взмахивая огромными крыльями, опустился на кровлю хижины, где было его гнездо. Откуда-то с реки донесся внезапный треск ружейных выстрелов, затем сразу наступила тишина.

НОЧЬ НА БРОДВЕЕ

Он стоял на углу Бродвея и Сорок второй улицы — аккуратно одетый человек с седеющими бакенбардами, благодушным ртом и очками, добродетельно поблескивающими на самом кончике носа. Больше всего он походил на священника, порицающего гонку вооружения во имя любви к человечеству. Но на его котелке с высокой тульей была прикреплена газета, озаглавленная: «Брачные известия», другая такая же газета висела у него на груди, третью он держал в вытянутой вперед правой руке, а через левую у него была перекинута целая пачка их.

Время от времени его рот открывался, и он возглашал нараспев, как священник:

— «Брачные известия»! Покупайте «Брачные известия». Если вам требуется жена или муж. Пять центов номер. Всего пять центов за супружеское блаженство, за счастье на всю жизнь!

Он произносил это без всякого выражения, мягко улыбаясь снующим мимо прохожим.

Потоки электрического света — белого, зеленого, медно-желтого, огненно-красного — заливали его. Над его головой девятифутовый котенок играл с огромной катушкой красных ниток. Гигантский орел лениво взмахивал крыльями. В небе, словно зловещие знаменья, то вспыхивали, то погасали колоссальные зубные щетки. Зелено-красно-сине-желтый шотландец, величиной с дом, отплясывал национальный шотландский танец. Рядом два великана в одном белье боксировали перчатками в ярд величиной. Искрящееся пиво лилось из бутылок в кружки,

увенчанные шапками пены. Невидимые пальцы огненными буквами чертили набившие оскомину слова рекламы на черном, как тушь, небе. И повсюду между этими рекламами сверкали разноцветные виньетки и заставки.

— Если вам требуется жена или муж! Только пять центов за супружеское счастье! — раздался звучный голос.

Он стоял неподвижно, как скала среди ревающего водопада. Начался театральный разъезд. словно бревна взорванного залома по горной реке, двойной поток визгливо сигналящих, окутанных дымом автомашин мчался по Бродвею, Седьмой авеню и Сорок второй улице, то останавливаясь, то снова устремляясь вперед. Яркие освещенные трамваи, попав в затор, застыли длинной змеей и непрерывно звонили.

Тротуары напоминали реку во время ледохода, когда льдины, толкаясь и налетая друг на друга, идут одним сплошным потоком от берега до берега. Худошавые мужчины с лицами, напоминающими морду хорька, бледные, худошавые женщины, блеск белых манишек, цилиндры, широкополые шляпы, украшенные цветами, серебряные сетки поверх темных волос, маленькие черные шляпки с ярко-красными перьями, атласные туфельки, мелькающие подола нижних юбок, лакированные ботинки, пудра, румяна и мушки. Клубы папиросного дыма, голубеющие в золотом сиянии рекламы. Музыка, доносящаяся из кафе и ресторанов, — еле слышная, ритмичная. Огни, звуки, лихорадочная погоня за удовольствиями... Сперва — небольшая рябь, затем полная приливная волна: меха, богаче чем в России, шелка, ярче чем на Востоке, драгоценные камни, дороже чем в Париже, лица, глаза, фигуры, красивее которых нет в мире; наконец — быстрый отлив, и на улицах появляются прости-тутки.

— Пять центов номер! Только пять центов за счастье на всю жизнь!

— Вы это гарантируете? — спросил я.

Он бросил на меня спокойный добродушный взгляд, взял мою монету и только после этого ответил:

— Взгляните на вторую страницу, — сказал он. — Видите эту фотографию? Читайте: «Красивая молодая женщина двадцати восьми лет, обладающая прекрасным здоровьем, наследница пятисот тысяч долларов, желает

вступить в переписку с холостым мужчиной. Цель — брак, если отыщется человек, обладающий необходимыми достоинствами». Тысячи людей обрели семейное счастье благодаря этой газете. Если вы останетесь недовольны, — он серьезно посмотрел на меня поверх очков, — если останетесь недовольны, мы возвратим вам ваши пять центов!

— А вы сами не пробовали прибегнуть к услугам вашей газеты?

— Нет, — ответил он задумчиво. — Я буду откровенен с вами, не пробовал. — Он отвернулся, чтобы воззвать к прохожим: — Покупайте «Брачные известия»! Если вам требуется жена или муж!.. Нет, я не пробовал, — повторил он. — Мне уже пятьдесят два года. Жена моя умерла пять лет назад. Я испытал все, что можно испытать в жизни, так зачем мне пробовать?

— Вздор! — воскликнул я. — Жизнь не кончается в пятьдесят два года. Вспомните Уолта Уитмена и Сусанну Антони!

— Я не имею чести быть с ними знакомым, — сказал брачный газетчик самым серьезным тоном. — Но я скажу вам, молодой человек, что время, когда кончается жизнь, определяется тем, жили вы по-настоящему или нет. А я, слава богу, пожил.

Он снова отвернулся от меня и выкрикнул:

— Пять центов номер! Только пять центов за супружеское блаженство! — и затем продолжал: — Мои родители были рабочие люди. Отца убило маховиком на водокатке Центрального парка. Мать умерла от чахотки, которую она нажила, работая сдельно на дому. Я сначала служил посыльным в галантерейном магазине, затем лифтером в гостинице, потом развозил в фургоне «Ивнинг Джорнэл», пока меня жестоко не избили в драке, — я был слабосильным юнцом. Тогда, подучившись немного в вечерней школе, я сделался клерком. Переменил несколько мест и наконец поступил на службу в банкирскую и маклерскую контору «Смит, Телфер и К^о», Брод-стрит, 6. И здесь я начал познавать жизнь.

Спокойно, не торопясь, он еще раз перечислил все добродетели «Брачных известий», а затем продолжал:

— В двадцать семь лет я впервые влюбился, и со временем мы поженились. Не стану распространяться

о наших первых жизненных затруднениях, не стану рассказывать, как родился и умер наш первый ребенок, — главным образом оттого, что наши средства не позволяли нам поселиться в таком районе, где хватало бы воздуха и света для болезненного младенца. Но потом дела пошли лучше. Я был назначен главным клерком конторы «Смит, Телфер и К^о». К тому времени, когда появился второй ребенок — девочка, мы уже купили в рассрочку небольшой домик в «Белых полянах», — благодаря строжайшей экономии мне удавалось аккуратно выплачивать ежемесячные взносы. — Он сделал небольшую паузу. — Впоследствии я часто задумывался, стоит ли вообще экономить? Мы с женой могли бы жить гораздо лучше, а в конце концов все свелось бы к тому же самому.

Он, казалось, глубоко задумался о чем-то. В небе лихорадочно метались яркие снопы электрических лучей. Две женщины в белых туфлях на высоких каблуках прошли мимо, поглядывая через плечо на мужчин, смущенно отводивших глаза в сторону. Мой приятель опять начал расхваливать свой товар.

— Впрочем, это к делу не относится. Наша девочка подрастала. Мы решили учить ее музыке, чтобы она со временем стала знаменитой музыкантшей и ее имя засверкало бы огнями вот здесь. — Он указал рукой на Бродвей. — Когда ей исполнилось пять лет, у нас родился еще мальчик. Мы прочили ему военную карьеру — он должен был стать генералом. На седьмом году девочка умерла. Городской водопровод строили подрядчики-взяточники, и разразилась эпидемия тифа.

Итак, она умерла, моя маленькая Мертл. Жена так и не оправилась от этого горя. К несчастью, вскоре она заметила, что опять ждет ребенка. Мы знали, что здоровые жены не позволяют ей рожать, и пытались принять какие-нибудь меры. Я слышал, что можно было бы что-то сделать, но доктор не захотел... Ребенок родился мертвым. Жена умерла сразу после родов.

Я остался один с Гербертом — сынишкой, который, помните, должен был стать генералом. В это время фирму возглавил молодой мистер Телфер, сменивший своего отца. Он только что окончил колледж и был полон разных идей о рационализации и производительности. И прежде всего он выбросил на улицу меня,

так как мои волосы уже поседели... Мне удалось добиться у Строительно-кредитной ассоциации отсрочки взносов за домик на полгода, пока я буду искать новое место. Герберту было уже четырнадцать лет. И никак нельзя было допустить, чтобы он бросил школу, ведь ему предстояло готовиться к экзамену в Вест-Пойнт¹, — я все еще не оставлял мысли об этом.

Найти место клерка мне больше не удалось, хотя я обегал весь город. В конце концов я вынужден был стать ночным сторожем в магазине москательно-скобяных товаров. Жалованье мое, конечно, было меньше половины прежнего. Я снова стал выплачивать долг за дом, но не смог платить аккуратно, и дом у меня отобрали.

Мы с Гербертом переехали в Нью-Йорк. Он начал ходить в городскую школу. А когда ему исполнилось шестнадцать лет — ровно год тому назад, — он умер от скарлатины. В скором времени мне удалось найти это занятие, которое дает мне возможность безбедно существовать.

Он умолк и, повернувшись к прохожим, стал взывать кротким голосом:

— Покупайте «Брачные известия». Только пять центов за супружеское блаженство. Только пять центов за счастье на всю жизнь!..

Пылающие имена любимцев публики, фейерверк огней, сияющие ноги танцовщиц над театральными подъездами — все это гасло одно за другим. Потухли огни в витринах ювелирных магазинов, где продаются поддельные драгоценности, — ведь жены и невесты разошлись по домам, а содержанки, актрисы, знаменитые кокотки танцуют танго и пьют шампанское в залитых огнями кабаре. Рекламы косметических товаров и кухонных принадлежностей все еще металась в ночном небе, но Бродвей уже потускнел, стал спокойнее; и разряженные женщины, гуляющие в одиночку и парами, бросая по сторонам осторожные, быстрые взгляды, то выходят на свет, то скрываются в тени, и это делает их как-то особенно привлекательными. В темноте шныряют мужчины. Они проходят по улице с поднятыми воротниками, нахлобучив шляпы на глаза, пожирая женщин

¹ Военная академия США.

алчными взглядами; во рту у них сухо, они дрожат, как в лихорадке, возбужденные охотой.

— Дай-ка одну! — послышался голос, скрипучий, как ржавая дверная петля.

Толстуха в широкой короткой юбке, в серых, на высоких каблуках, ботинках, зашнурованных сзади, и розовой шляпке, величиной с пуговицу, протянула газетчику пятицентовую монету пухлыми пальцами, обтянутыми несвежей белой перчаткой. На расстоянии трех кварталов и в сумерках ее со спины можно было бы принять за молодую. Но вблизи в ее крашенных волосах легко заметить серебристые нити; под глазами у нее мешки, а на лице, несмотря на косметику, ясно видны морщины.

— Добрый вечер, сударыня, — сказал мой приятель, почтительно приподнимая шляпу. — Надеюсь, вы здоровы? Как ваши сегодняшние успехи?

— Неважно. Когда я только начинала работать на Бродвее, дела шли лучше, — ответила женщина, качая головой. — Хулиганы и разные молокососы — вот кто здесь теперь шляется. Два каких-то нахала возле ресторана Шенли пригласили меня поужинать. Ну и что же вы думаете? Оказалось, они просто решили посмеяться надо мной. В свое время я и не в таких ресторанах бывала. Нужен мне их Шенли! Потом я встретила одного на Сорок пятой улице. Он и говорит мне: «Ну, куда же мы пойдем?» А я говорю: «Я знаю местечко на Седьмой авеню». — «Седьмой? — говорит он. — Это для меня несчастливое число. Спокойной ночи!» — и ушел. Нужен он мне очень!

Она добродушно расхохоталась и тут заметила меня.

— Что это с вами за приятель, Билл? — спросила она. — Познакомьте-ка нас. — Она понизила голос. — Послушай, миленок, хочешь немножко развлечься?.. Нет? — Она зевнула, блеснув золотыми зубами. — Ну ладно, пора спать. Пойду-ка я домой, да на боковую.

— Подыскиваете себе мужа? — спросил я, указывая на «Брачные известия».

— А что? Какая девушка об этом не думает? Если у вас найдется приятель-миллионер, сообщите мне через Билли. Мы видимся с ним каждый вечер.

— Но «Брачные известия» вы покупаете только по субботам, — вставил Билл.

— Чтобы читать ее в воскресенье, — ответила она. — В воскресенье я всегда отдыхаю. В день господен я не работаю и никогда не работала. — Она гордо подняла голову. — Да, не работала, хоть иной раз и сидела без гроша. Я воспитана в строгой, набожной семье и уважаю религию.

Покачивая необъятными бедрами, она ушла.

Агент «Брачных известий» сложил свои газеты.

— Мне тоже пора спать, — сказал он. — Спокойной ночи, молодой человек. Наверное, вы еще зайдете куда-нибудь выпить и повеселиться с женщинами. — Он печально покачал головой. — Ну что ж! Это ваше дело. Я теперь уже никого и ни за что не осуждаю.

Я пошел дальше по улице, пестревшей светом и тенями, усыпанной тряпками и обрезками бумаг, украшенной ожерельями и диадемами огней, взрытой для постройки метрополитена, патрулируемой женскими пикетами. Я пошел за высокой худой девушкой. Лицо ее было смертельно бледно, губы — красны, как кровь. Я видел, как она три раза заговаривала со встречными мужчинами: становилась у них на дороге и, ястребиным движением наклонив голову, что-то быстро бормотала, почти не шевеля губами.

Я прибавил шаг и догнал ее. Когда я поравнялся с ней, она взглянула на меня холодно, со злобным призывом.

— Здравствуйте, — сказал я, замедляя шаги. Но она неожиданно остановилась, смерила меня — такого чужого — презрительным взглядом и гордо выпрямилась.

— За кого вы меня принимаете? — сказала она хриплым голосом.

— Вот это — сказал я, — и называется естественным отбором...

Со следующей было не так трудно. Она стояла на углу Тридцать седьмой улицы и словно поджидала меня. Мы приблизились друг к другу, как сталь к магниту, и взялись за руки.

— Идем куда-нибудь и выпьем, — сказала она.

Эта была крепкая, молодая, ярко крашенная брюнетка, брызжащая весельем. В ресторане, куда мы зашли, никто не танцевал так, как она. Все оборачива-

лись и глядели на нее, — наглые, с ничего не выражающими лицами официанты, узкогрудые мужчины, кусавшие сигары, деланно веселые, неудовлетворенные женщины, сидевшие с таким видом, как если бы все окружающее было только специально для них подобранным фоном. В своей черной соломенной шляпке с голубым пером, в поношенном шерстяном костюме, моя спутница ворвалась в тепличную атмосферу позолоты, зеркал, джаза, словно буйный порыв шального ветра.

Мы сидели у стены, смотрели на раскрасневшиеся лица, на точеные белые плечи, слушали слишком громкий смех, вдыхали запах табачного дыма и другие ароматы, которые опьяняли, как шампанское. Два оркестра попеременно лязгали, гремели и завывали. Сначала танец для посетителей, затем для профессиональных танцоров и певцов, судорожно выкрикивающих пошлые, бессмысленные слова под быструю музыку. Внезапно все огни погасли — только в середине зала в луче света кружилась танцовщица, — и в пьяном мраке наши горячие губы встретились. Щелк! И снова горят люстры, раздаются громкие невеселые взрывы смеха. Выкрики, выкрики, выкрики, пары, выбегающие на середину зала, синкопированная, бессмысленная музыка и тела, покачивающиеся в унисон и дико дергающиеся...

Ее имя Мэй. Она написала его вместе с адресом и номером телефона на карточке и, желая рассеять мои сомнения, сослалась на южно-африканских дипломатов, вкусивших от ее прелестей. Мэй в жизни не читала газет и даже как следует не сознавала, что где-то идет война. Зато она хорошо знала Бродвей между Тридцать третьей и Пятидесятой улицами и превосходно ориентировалась в своем мире.

Она приехала в Нью-Йорк из Галвестона, штат Техас. С гордостью заявила она мне, что мать ее — испанка, и неохотно призналась, что отец — цыган. Она стыдится этого и никому не говорит об отце.

— Но он не из тех цыган, которые бродят по большим дорогам и воруют, что под руку попадет, — добавила Мэй, вступаясь за честь своих предков. — О, совсем нет! Он из очень почтенной цыганской семьи!

ГЛАВА РОДА

На площадке-веранде салон-вагона я сел возле маленького человечка с куриной грудью, выпуклыми зелеными глазами и скошенным подбородком. На нем был готовый костюм, какие носят на побережье Тихого океана, башмаки «бульдог» и порыжевший котелок фасона 1913 года, из-под которого выбивались жидкие слипшиеся пряди волос. В общем, он производил впечатление жалкого неудачника, и слабая, хоть и дружелюбная, улыбка, которой он встретил меня, только подтверждала это.

— Извините, — сказал он, тщательно выговаривая слова, и мне в нос ударил запах виски, — не знаете ли вы, когда отходит из Нью-Йорка пароход линии Кунард?

— Не знаю.

— Очень странно, — пробормотал он. — Удивительное дело. Раньше дни отплытия пароходов линии Кунард и Уайт-Стар публиковались в сан-франциской газете «Экзаминер». Но за последние три недели об этом ни слова. Возможно, — он обеспокоенно заглянул мне в глаза, — возможно, что Херст не желает помещать объявлений... он ведь сторонник немцев... и всякое такое... как по-вашему? Или же пароходные компании не желают более помещать объявлений в его газетах. — Он улыбнулся какой-то кривой улыбкой. — Простите мне мой акцент — *Cyvis Romanus sum*¹.

¹ Я — римлянин (лат.).

— Кончили Кембридж? — спросил я. — Впрочем, нечего и спрашивать, — только там преподают подобную латынь.

Это было ему приятно.

— Да, — сказал он, — Крайст-Колледж.

— Возвращаетесь на родину?

Он кивнул.

— Воевать?

— Да. То есть я принадлежу к медицинскому персоналу. Я — доктор.

Он вынул пачку писем и начал рыться в них, бормоча:

— Не мог дальше откладывать, понимаете ли. Два моих брата давно уже на фронте. Губерт даже был ранен. Я самый старший... Трудно было решить. У меня где-то тут есть письмо. — Опять он порылся в письмах, но снова безрезультатно. — Черт подери! А впрочем, все равно. Но я написал своему старому учителю — Сарджент его фамилия — и попросил его совета. Он ответил так: «Бросайте все и приезжайте немедленно. Англии нужен каждый ее сын». И вот я еду.

Мне показалось, что он ищет моего одобрения.

— Конечно, — сказал я, — если вы чувствуете, что иначе нельзя. Вы женаты?

— Да.

— Есть дети?

— Дети? — повторил он и слабо улыбнулся. — Нет, слава богу. Я не такая уж дрянь. Я не оставляю на земле мне подобных.

Он мрачно посмотрел на свои трясущиеся руки.

На это нечего было ответить. Несколько минут мы молчали. Рельсы, вырываясь из-под нас, блестящими полосами уходили вдаль, мимо плыла холодная пустыня, серая под пепельным небом.

— Вы давно в Америке? — спросил я наконец.

Он, казалось, на минуту забылся.

— Два с половиной года. Я объездил все ваши штаты, но нигде не мог устроиться. Наконец мы отправились в Калифорнию, и там я получил место врача на лесопильне. — Помолчав немного, он продолжал: — Господи! Что это я разболтался? Я не сказал бы ни слова, если бы не успел наглотаться виски. — Он остановился, затем добавил тихим голосом: — Я имею дипломы

Кембриджского и Лондонского университетов, а работаю врачом на лесопильне.

Я родился и вырос на Западе и потому вполне мог оценить значение его слов. Доктор, находящийся на службе у лесопромышленной компании, занимает такое же положение, как доктор на пароходах, плавающих по реке Фолл, или же врач при отеле, имеющем право торговать спиртными напитками по воскресеньям. Компания не платит ему жалованья: он получает доллар в месяц за каждого рабочего, причем этот доллар вычитается из заработка последнего — за эту сумму «док» и должен их лечить. Работа на лесопильнях крайне опасна, а компании не принимают почти никаких мер по охране труда. Так что становится понятным, почему один мой знакомый доктор, проработав на лесопильне только три месяца, отказался от места, хотя и был должен более четырехсот долларов. Ни один добросовестный, принципиальный врач не станет работать на лесопильне.

— Когда кончится война, — продолжал он, и краска залила его щеки при какой-то новой мысли, — в церкви в Энсинхеме над семейной скамьей появится новая медная дощечка. Сейчас они все стоят перед моими глазами.

Роджер Левеллин, убит в бою на борту королевского военного судна «Виктория», Трафальгар,
1805 год.

Капитан Томас Левеллин, умер от ран, Севастополь, 1856 год.

Тревор Левеллин, убит в бою, Ледисмит, 1900 год.

— И затем, — воскликнул он звенящим голосом, хлопая меня по плечу и глаза его засверкали, — и затем новая блестящая дощечка:

Мортимер Левеллин, убит на войне, Фландрия,
1916 год.

— Я вижу, — продолжал он, — как мой отец входит в церковь в воскресенье утром с опозданием на несколько минут, как всегда глава семьи Левеллинов входит в семейную церковь Левеллинов, и священник почтительно прерывает чтение библии, пока он не уся-

дется. Отец медленно окидывает взглядом ряд медных дощечек, хранящих память о членах нашей семьи, павших в боях, пока его взгляд не останавливается на дощечке: «Мортимер Левеллин». И на нашем роде нет ни одного темного пятна! Ни одного темного пятна! Ну разве ради одного этого не стоит пожертвовать жизнью? Как по-вашему?

Он вытер платком потный лоб.

— А ваша жена? — спросил я. — Ей, должно быть, очень тяжело, что вы уезжаете на войну?

Он пожал плечами.

— А какое ей дело? — спросил он с горечью, махнув рукой. — У нее хватит денег платить за квартиру на ближайшие три месяца, а потом она будет получать пенсию. Так что все разрешается как нельзя лучше. Не надо больше беспокоиться о завтрашнем дне. Не надо стыдиться. Не надо скрывать от соседей свое положение. Три года мы бедствовали — целых три года! — Он на минуту задумался. — Жена говорит, что все было зря и не нужно. Может быть, она и права. Может быть. Трудно решить впоследствии, прав ты был или неправ. Если бы мне можно было начать все сначала, не знаю...

— Жалеть о совершенных ошибках — напрасная трата времени, — сказал я, не совсем его понимая.

Но он, казалось, не слышал меня.

— Она — дочь девонширского скотовода. Мои родители были против. Я — старший сын и когда-нибудь должен был стать главой рода. И вот мы с ней, — тут в его глазах отразилась целиком жалкая, измученная душа, — уехали в Америку. А теперь я возвращаюсь домой. Понимаете?

— Нет, не понимаю! — горячо воскликнул я, хотя прекрасно понял его. — Однажды вы порвали эти дьявольские тенета, почему же вы не идете до конца? Создайте себе новый дом, установите новые семейные традиции, если вам так будет угодно, в Новом Свете, и пусть этот старый, сгнивший эшафот рухнет под ногами его глупых, сильных сынов.

Он покачал головой и улыбнулся — лукаво и насмешливо.

— Вы — американец. Вам этого не понять. Никогда. Приехав в Америку, я думал, что здесь обрел свободу. Война встряхнула меня. Война привела меня в чувство.

Я понял, что семейные традиции — великое дело. Это в нашей крови. Мы не можем уйти от этого. Да вы знаете, что чистую, ничем не запятнанную летопись нашего рода можно проследить вплоть до тринадцатого столетия! В 1591 году, при королеве Елизавете, Ричард Левеллин был верховным судьей графства Англии — Левеллин Энсинхемский! Моего отца также зовут Ричардом. Когда я пишу ему, я адресую конверт «Ричарду Левеллину, мировому судье, Карнарвоншир». Вот что мы такое для Англии!

— А почему вы едете в Англию без жены?

Ему, по-видимому, не понравился мой вопрос — он быстро начинал трезветь, — но все-таки он ответил на него.

— У нас не было денег на два билета. Даже на один, если на то пошло. Мне пришлось телеграфировать отцу, чтобы он выслал деньги на билет до Ливерпуля. Кроме того, я не могу привезти жену в Энсинхем. А отослать ее к родным в Девоншир и одному явиться домой — этого я тоже не могу.

Он гордо вздернул голову и затем вдруг холодно поклонился мне.

— Извините меня за непростительную фамильярность! — сказал он и исчез.

Я видел его еще несколько раз, когда он беспокойно переходил из вагона в вагон или сидел на своем месте, согнувшись над статьей в медицинском журнале, который, как я заметил, назывался «Патология военной хирургии». Даже в сильно натопленном пульмановском вагоне он не снимал своего потрепанного пальто и порыжелого котелка. Он не брился уже несколько дней. При встрече со мной он кланялся мне холодно и сдержанно.

Проходя как-то мимо него по пути в вагон-ресторан, я спросил, не хочет ли он позавтракать вместе.

— Благодарю, — холодно ответил он. — Я завтракаю позже.

В обеденное время я опять обратился к нему с тем же вопросом.

— Очень жаль, но я только что пообедал.

Однако я ни разу не видел его в вагоне-ресторане и узнал потом, что он туда никогда не ходил. Как он питался и где, для меня остается тайной.

Вечером мы остановились на десять минут в Хеллине, и я стал прохаживаться по платформе, вдыхая острый морозный воздух. Левеллин тоже вышел из вагона, и мы то встречались, то расходились, а затем он исчез.

Когда поезд двинулся, я направился в уборную вымыть руки и по пути увидел Левеллина. Он лежал пластом на диване, широко раскрыв рот, и оглушительно храпел; его шляпа валялась на полу, пальто расстегнулось. Большая фляжка, которую он прижимал к груди расслабленными руками, подпрыгивала в такт стуку колес, капли вонючего виски медленно сползали на диван. Я положил фляжку в багажную сетку и встряхнул его.

— Ч-что-о? — начал он, поперхнулся и с трудом принял сидячее положение. — А, здравствуйте, здравствуйте! — Он внимательно оглядел меня с головы до ног и улыбнулся с большой сердечностью. — Так и думал, что это вы. Садитесь. Я хватил лишнее сегодня.

— А как себя чувствует будущий глава рода Левеллинов? — спросил я шутливо.

— Да, я порядочная дрянь, — сказал он с какой-то беззаботной веселостью. — Но не до такой степени. Главой семьи будет Губерт. Губерт... он всегда умеет быть на высоте, — да притом он помолвлен с высокородной Мэри... Но теперь, когда они будут вспоминать меня, они смогут говорить обо мне, не краснея. Нет, дружище, нет! Они будут говорить: «Мортимер был старший в семье, но он убит во Фландрии». Как по-вашему?

Секунду он глядел прямо перед собой, о чем-то мечтая. Его безвольное лицо с выпуклыми глазами, покрытое грязными пятнами, заросшее редкой черной щетиной, преобразилось.

— Я сойду в столовую в Энсинхеме к обеду. Брукс, старик Брукс, отец которого был дворецким моего дедушки, заплачет от радости, что я вернулся. За столом будут сидеть только отец и мать. Я вижу своего старика, словно он сейчас передо мной. Он не станет спрашивать, почему я вернулся; он просто будет смотреть на меня из-под своих косматых бровей. А мать, вся в черном, будет сидеть в конце стола с ничего не выражающим лицом, точно кожаная спинка этого кресла. Я слышу, как она говорит своим спокойным, мертвым голосом: «Губерт со своим полком в Салониках. Дик проходит военную подготовку в Уитчерче. А что ты

намерен делать, Мортимер?» — Тут Левеллин встал, лицо его приняло суровое выражение. «Завтра утром я уезжаю на фронт, матушка!»

И, не говоря больше ни слова, он, пошатываясь, направился к двери и вышел. Немного позже я увидел, как ухмыляющийся проводник и носильщик укладывают вялое, безжизненное тело на верхнюю полку — на полку Левеллина.

Каждый вечер после этого он регулярно напивался и начинал болтать. Передо мной вставали яркие картины его прошлой жизни, которую он любил. Он рассказывал о званных обедах в Энсинхеме, когда в графство приезжал верховный судья; о том, как его мать навещала больных фермеров и их домашних, подобно средневековой владелице замка, об эле, текущем рекой на кухне в сочельник, которым щедро угощали арендаторов, о студенческом клубе в Кембридже. Однажды он принялся бессвязно рассказывать о том, как был практикантом в лондонской больнице, о попойках, которые устраивали студенты-медики, о бесконечных возлияниях, о дрожи в руках, о неприятностях в больнице и дома. Потом — любовь, принесшая нравственное возрождение, исцелившая его, — казалось, он в отчаянии ухватился за нее, как за единственное средство к спасению. Непреклонная враждебность семьи... брак без согласия родителей... Америка.

Конечно, мне пришлось самому соединять воедино эти обрывки воспоминаний, так как он никогда не рассказывал связно. Но в целом получилась импрессионистская картина человеческой жизни.

В Чикаго мы пересели на разные поезда, и я потерял его из виду.

Спустя пять дней раздался стук в дверь моей нью-йоркской квартиры, и передо мною предстал Левеллин. Он побрился, но его шляпа и пальто приобрели еще более жалкий вид, а воротничок находился на последней стадии белизны. От моего неожиданного гостя пахло виски.

— Извините меня, — сказал он, смущенно входя в комнату. — Помните, вы дали мне адрес в поезде и сказали, что будете рады, если...

— Но я думал, что вы уже уехали. За эти дни отошло два парохода.

— Да, я знаю, — сказал он рассеянно. — Но... это немножко унинительно... Я послал две телеграммы — и никакого ответа. Или ждать ответа еще рано?

Я сказал ему, как мог убедительнее, что телеграммы могли задержаться в связи с военной обстановкой, и затем спросил, чем могу ему помочь.

— Мне страшно неприятно просить об этом, — начал он, запинаясь. — И поверьте, я никогда не рискнул бы обратиться к вам с подобной просьбой, если бы, если бы вы, как и я, не кончили университета, — и это нас как-то объединяет — своего рода братство, так сказать. Как по-вашему? Я хочу еще раз телеграфировать отцу, но... но... я в настоящую минуту временно нахожусь в стесненных обстоятельствах. Не можете ли вы...

Я сказал, что оплачу его телеграмму. Он просиял.

— Огромное спасибо. Я, конечно, отдам вам долг, когда получу деньги. Если даже не вышлет отец... я уже телеграфировал жене, чтобы она перевела мне двадцать долларов из тех денег, которые отложены на квартиру.

— Как это — «если не вышлет отец»? — воскликнул я. — Разумеется, он вышлет...

— Нет, не разумеется. — Левеллин улыбнулся и с сомнением покачал головой. — Он очень своенравный старик. Ведь он указал мне на дверь в свое время. А в нашей семье все очень упрямы.

— Но что вы будете делать, если он не вышлет денег? — спросил я. — Возвратитесь в Калифорнию?

— Нет, — сказал он задумчиво, — вряд ли. Скорее, останусь здесь. С тем покончено. Ей без меня будет лучше.

— Но как вы можете остаться здесь? У вас нет денег. У вас нет...

Я хотел сказать, что у него нет никаких шансов найти работу. Англии был нужен каждый из ее сынов, но не Америке.

— Один город не лучше и не хуже другого, — пробормотал Левеллин загадочно.

— Ну, хорошо, — сказал я, пожимая ему руку, — если вы не получите ответа, дайте мне знать. Быть может, я сумею вам помочь...

Спустя неделю я получил по почте пять долларов, не сопровождавшиеся никакой запиской. Я позвонил в несколько пароходных контор, но мне ответили, что ни на одном пароходе, отплывшем в Англию, в списке пассажиров не значился доктор Мортимер Левеллин... Наконец после долгих поисков я отыскал отель, в котором он жил, — древнюю гостиницу на окраине города, где останавливаются провинциальные торговцы.

— Левеллин? — переспросил портье. — Послушайте, вы, может быть, его приятель? Он исчез шесть дней тому назад, не оплатив счета. Мы забрали его чемодан, но в нем не оказалось ничего, кроме грязного белья.

И теперь я думаю, не написать ли мне в Англию его брату Губерту, будущему главе рода Левеллинов, Энсингем, графство Карнарвоншир?

«ТАБ ПРИНЯТО»

Я возвращался с побережья Тихого океана экспресом «Лукулл», являющимся, как известно, гордостью огромной железной дороги, игрушкой всемогущего совета директоров, поездом, каждый рейс которого приносит огромные убытки. Ибо он гарантирует все удобства отеля и клуба: парикмахерскую, ванную, стенографистку, пылесосы, читальню и чай в салон-вагоне. Около половины пятого величественные негры официанты, торжественно внося туда чайники и чашки, просят испуганную жену какого-нибудь мясного короля разливать чай для совершенно незнакомого общества. И тут происходит классовое деление. Жена мясного короля издает смущенное: «Что?» — и убегает. Ее муж, громко храпевший в кресле, в то время как дети забавлялись тем, что дергали его за подтяжки, вдруг просыпается, торопливо натягивает пиджак и гонит свое потомство в курительную.

Тем временем почтительные официанты успевают отыскать председательницу дамского клуба Уиллоу-Сити штат Вайоминг, и та, правда не без замешательства, соглашается взять на себя роль хозяйки. Случайно устремив взгляд на сидящего в углу ковбоя, облаченного в парадный костюм, она громко спрашивает: «Со сливками или с лимоном?»

Тот никак не может собраться с духом, чтобы ответить, и наконец, побагровев, выдавливая из себя: «Мне они без надобности!»

Негодую, люди утонченные и благовоспитанные бросаются на выручку. Просто приятно смотреть, с каким

изяществом берут они свои чашки, соблюдая все тонкости высокотожественного ритуала с той подчеркнутой непринужденностью, которая сразу ставит на место всех непосвященных. Объединенные узами высшей культуры, эти чаевники вскоре начинают болтать с такой же легкостью и отсутствием всякого смысла, как если бы сидели в собственной гостиной. И с этой минуты классовые различия устанавливаются окончательно, и те, кто не решился подвергнуться испытанию, обречены в дальнейшем на общение лишь с себе подобными.

Именно тогда я и обратил внимание на этого англичанина. Обычно мужчины уклоняются от участия в этом чаепитии, ибо мы, американцы, народ нецивилизованный и боимся стать посмешищем, и чем дальше на Запад вы отправитесь, тем более робкий народ вы встречаете. Так вот, когда закончилась предварительная церемония и жена отставного полковника взяла на себя обязанности хозяйки, англичанин отложил журнал, который он читал, и повернулся к ней со скучающим и покорным видом. Это был хорошо сложенный молодой человек, с прекрасным цветом лица, аккуратно подстриженными усами, в безупречном костюме, в ботинках, которые были ему велики, — типичный, безукоризненный, корректный англичанин.

Жена полковника умоляюще взглянула на него.

— Один или два куска? Со сливками?..

Мясные короли, хлебные бароны, их жены и дети, ковбои, коммивояжеры — все, открыв рты, уставились на англичанина, боясь упустить хоть слово. Все жаждали узнать, что следует говорить при подобных обстоятельствах.

— Благодарю вас, — невозмутимо сказал англичанин, совсем не меняясь в лице. — Один кусок. И, пожалуйста, со сливками.

Среди присутствующих пронесся шепот облегчения и восхищения. Все перевели дыхание. Некоторые из детей испуганно хихикнули. Непосвященные почувствовали себя лишними, но все-таки не ушли, желая посмотреть, что будет делать англичанин, когда возьмет чашку. После этого они исчезли — кто вышел в коридор, кто на открытую площадку-веранду, предоставив место избранным, которых благодаря примеру англичанина теперь набралось целых восемь.

Жена полковника говорила потом, что он был страшно мил. Но я уверен, что он вовсе не старался быть милым. Он взял чашку потому, что это был один из нерушимых законов, управляющих его миром...

После этого я видел его еще несколько раз. Он почти ни с кем не разговаривал. Казалось, в отличие от всех нас, он не чувствовал потребности общаться с себе подобными. И это объяснялось не застенчивостью и не тем, что он считал себя выше других, просто он был вполне и совершенно доволен своей собственной персоной. Он почти не читал. Ему не надо было читать. Он часами просиживал в курительной, помахивая трубкой и предаваясь размышлениям.

Когда я встречался с ним в коридоре или на станционных платформах во время минутных остановок поезда, он вынимал трубку из рта, наклонял голову по диагонали, деланно улыбался и произносил: «Доброе утро!»

Дня через три я даже застиг его за разговором с женой полковника — с ней он мог разговаривать, так как взял из ее рук чашку чая.

— О чем он говорит? — спросил я ее с любопытством.

— Ах, о крикете и о Швейцарии! — восторженно воскликнула она. — Он бывал в Швейцарии. Но мне просто доставляет наслаждение слушать, как он произносит слова! И он так благотворно действует на нервы! Всегда можно угадать наперед, что он сейчас скажет.

Меня удивило, что он говорил о Швейцарии, ибо англичане считают признаком дурного тона говорить о местах, которые они когда-либо посетили. Так же, как говорить о своих знакомых или на отвлеченные темы. В сущности, настоящий английский джентльмен, не роняя своего достоинства, может говорить с незнакомым человеком только о погоде.

Но в курительной, особенно в курительной такого поезда, как экспресс «Лукулл», англосакс иногда может снизойти до того, что позволит себе выразить мнение о предметах, только ему одному известных. И вот как-то вечером я задал этому англичанину несколько вопросов о войне в Европе, в которую Англия только что ввязалась.

— Какова причина войны? — спросил я.

Он невозмутимо оглядел меня, словно взвешивая мое социальное положение.

— Не имею об этом ни малейшего понятия, — сказал он наконец безучастным тоном.

Я осмелился высказать мысль, что это война между славянами и тевтонами за господство в Европе.

Он с улыбкой покачал головой.

— Это война, — объяснил он терпеливо, — между Австрией и Сербией.

— Да, но совершенно очевидно, что за спиной Сербии стоит Россия, а за спиной Австрии — Германия.

— Да, но лишь потому, что некоторые европейские державы благородно остаются верны своим обязательствам.

Несколько секунд я ломал голову над его словами. Возможно, в них был скрытый смысл, которого я не мог сразу уловить.

— А действия Англии в отношении Бельгии?

— Англия вынуждена была вступить в войну потому, что, вторгнувшись в Бельгию, Германия начала угрожать Франции.

— А попутно и Англии?

— Нисколько, — ответил он и умолк.

Я с удивлением посмотрел на него.

— Но я говорю о скрытых причинах войны!

— Кроме указанных мною, других причин не существует, — спокойно сказал он.

— Но на чем базировался договор, обеспечивавший Бельгии нейтралитет?

— Договор! — воскликнул он. — Вздор! Договора, который обеспечивал бы Бельгии нейтралитет, не существует. Англия не заключает договоров. Я полагаю, даже американцы не настолько легковыжны, чтобы думать, что между великими европейскими державами существует что-либо, кроме тайного взаимопонимания.

— Прекрасно! — сказал я с нетерпением. — Но к чему они стремятся? Что скрывается за всем этим?

— Международная политика, — последовал замечательный ответ, — не по моей части. Я не имею о ней ни малейшего представления. Все это теоретические рассуждения, и больше ничего.

Он презрительно отвернулся и стал задумчиво глядеть в окно.

— Но не думаете ли вы, что результатом этой войны могут быть народные восстания?

— Нет, не думаю.

— Революционные, антивоенные настроения среди рабочих настолько сильны, что продолжение войны может повлечь за собой уничтожение их патриотизма.

— Рабочие партии в Европе? — вопрос был задан с таким высокомерным удивлением, что я ответил с некоторой горячностью:

— И даже в Англии. И вам тоже грозит революция, особенно когда Англия оказалась вовлеченной в агрессивную войну.

— Вздор! — сказал он резко, словно читал нотацию маленькому мальчику. — Вы, по-видимому, не имеете никакого представления о моей родине. Пожалуйста, ограничьтесь рассуждениями о собственной стране.

— А вы помните стачку горняков и стачку железнодорожников? — спросил я. — Я думаю, даже человек, окончивший Итон и Оксфорд, не может быть настолько твердолоб, чтобы не замечать знамения времени!

— Кембридж, — поправил он невозмутимо. — И мне пришлось выполнить свой долг во время обеих стачек.

— В качестве полицейского? — спросил я.

— Нет, — сказал он, бросив на меня укоряющий взгляд. — Нет, в качестве лейтенанта территориальных войск, конечно...

— И вы не поняли настроения стачечников?

— Нет. Я понял лишь, что их было в сто раз больше, чем нас, но они не посмели вступить с нами в схватку. И, кроме того, — да будет вам известно, — революции бывают только там, где народ угнетен.

— Да... — начал было я.

— А британские рабочие никем не угнетаются. Их труд прекрасно оплачивается, если принять во внимание, что они только рабочие.

Он продолжал методично, спокойно попыхивать трубкой — символом его жизни и класса.

— А вы, — спросил я, осененный внезапной мыслью, — а вы, случайно, возвращаетесь в Англию не затем, чтобы вступить в армию?

— Да, — кратко ответил он.

Он никогда не сказал бы мне об этом сам, но я видел, что моя догадка не была ему неприятна.

— А зачем вам идти на войну? — спросил я.

— Извините, я вас не понял, — он даже не пытался скрыть своего изумления.

— Почему вы хотите драться с немцами? Сочувствуете французам?

— И вы говорите это англичанину! Сочувствую французам? Боже упаси!

— Так почему же? Вы ненавидите немцев?

— Нисколько. Я люблю немцев. Я иду на войну потому... потому что в моей семье — все военные...

И тут он замкнулся в своей раковине. До конца нашего путешествия мне не удалось вытянуть из него ни слова, если не считать вежливых односложных ответов. Он, вероятно, считал, что и эта его откровенность выходила за все рамки приличия.

Что касается его мнения обо мне, то жена полковника сообщила мне, что на другой день после нашего разговора он спросил у нее, джентльмен ли я.

Мы расстались с ним в Чикаго, откуда он должен был уехать в Англию. Он был великолепен, когда шел по платформе, — воплощение английской мужественности, квинтэссенция того знаменитого правящего класса, который создал величайшую в мире империю... без малейшего представления о том, что он создает. Он шел к славе или к могиле, бесстрашный, красивый, невозмутимый, сто шестьдесят фунтов костей, мускулов и аристократической крови, а содержимое его черепа напоминало гостиную ранней Викторианской эпохи: множество безделушек, набитая волосом плюшевая мебель, спущенные шторы. И у меня на минуту явилась преступная мысль, что, быть может, тот дух, который завоевал Индию, является тем самым, который заставит его обладателя пройти сквозь огонь и кровь, чтобы принять холодную ванну поутру, и только потому, что так принято.

ЭНДИМИОН, ИЛИ НА ГРАНИЦЕ

Пресидио (штат Техас) — это двухэтажный бревенчатый склад и десяток глинобитных лачуг, разбросанных в кустарнике посреди тоскливой песчаной равнины, протянувшейся вдоль Рио Гранде. На севсре пустыня, холмясь, поднимается к яростной синеве неба — спаленная, безмолвная земля. Медленная коричневая река извивается среди отмелей, словно ленивая змея, всего в ста метрах от Пресидио. На том берегу лепится по холму мексиканский городок Охинага: белые стены, плоские крыши, купола старинной церкви — настоящий восточный город, только без минарета. На юге за городком — безжизненные просторы песчаных плато, мескитового кустарника, полыни, переходящие на горизонте в зубчатую линию невысоких конических гор.

В Охинаге, у дружественной границы, остатки армии федералистов, бежавшей из Чиуауа перед победоносным продвижением Панчо Вильи, апатично ожидали его прихода. Тысячи жителей, напуганных ужасными легендами о Тигре Севера, прошли за отступающими солдатами все страшные четыреста миль раскаленной равнины. Беженцы разбили лагерь в кустарнике вокруг Пресидио: не обремененные никаким имуществом, они существовали подачками комиссариата американской кавалерии, разместившегося в городке. Днем они спали, а по ночам распевали песни, ухаживали за красавицами и дрались.

Прихоть войны сделала Пресидио знаменитым. Он упоминался в сводках, которые сообщались внешнему миру по единственному прямому проводу. От железной

дороги, проходящей в семидесяти пяти километрах на север, к нему, нарушая первобытную тишину, по грунтовой дороге с ревом неслись автомобили, серые от пыли пустыни. Горсточка военных корреспондентов, проклиная на чем свет стоит унылые пески, дважды в день стряпала свои сообщения на двести слов, красочные и негодующие. Богатые асиендадо, бежавшие за границу, задержались здесь, ожидая сражения, которое решит судьбу их поместий. Тайные агенты конституционалистов и федералистов вели здесь бесчисленные интриги и контринтриги. Представители американских монополий давали задатки и посылали бесчисленные шифрованные телеграммы. Коммивояжеры оружейных компаний предлагали поставки вооружения оптом и в розницу всем, кто занимался или только думал заняться революцией. А кроме того — как пишется в театральных программах — граждане, конные полицейские, помощники шерифа, американские солдаты, офицеры-уэртисты, проводящие здесь отпуск, таможенные служащие, ковбои с соседних ранчо, старатели и т. п.

Немец Шиллер, хозяин склада, говорил теперь зычным голосом, и на поясе у него болтался огромный револьвер. Старый Шиллер богател. Только у него во много раз выросшее население форта могло покупать продукты и одежду, инструменты и медикаменты. У него была монополия и на доставку товаров в форт. Ходили слухи, что в задней комнате своего склада он устроил игорный клуб с баром; а кроме того, на полу и прилавках спало шестьдесят человек, плативших ему по двадцати пяти центов с головы.

Я свел тесную дружбу с кривоногим, веснушчатым ковбоем по имени Бьюкенен, который работал на ранчо Санта-Росалия и пережидал в форту конца беспорядков, прежде чем снова уехать туда. Бьюкенен — или попросту Бак — прожил в Мексике три года, но это никак на нем не отразилось, если не считать раздражения, которое в нем вызывали мексиканцы, почему-то не умеющие говорить по-английски. А все его познания в испанском языке исчерпывались десятком слов, помогавшим ему удовлетворять насущные нужды. Но он частенько упоминал Дейтон, Огайо, откуда бежал на товарном поезде, когда ему было двенадцать лет.

Казалось, он ничем не отличался от обыкновенного техасского ковбоя: крепкое, ладно сбитое тело, суровое мужество — и никаких высших потребностей. Однако не успел я провести в его обществе и нескольких часов, как он начал рассказывать о докторе. По его словам, док был самым почетным гражданином городка, чудесным хирургом, и даже больше — одним из лучших музыкантов мира. Однако самым замечательным мне показались та гордость и нежность, которые появились в голосе Бака, когда он заговорил о своем друге.

— Док вправит вам сломанную кость одной деревяшкой и обрывком лассо, — увлеченно сообщил Бак. — И от укуса тарантула ему вылечить — раз плюнуть. А играет-то как! И ведь может сыграть все что угодно. Вот провалиться мне на этом месте! Да если бы какой-нибудь молодчик из Нью-Йорка или Кливленда услышал его игру, так он не торчал бы сейчас здесь в этих песках, а играл бы в опере.

Я был заинтересован.

— Его зовут доктор..? — спросил я.

Бак удивился.

— Просто док — и все, — ответил он.

После ужина, в тот же вечер, я уже брел по песку к глинобитной хижине доктора. Было очень тихо, и в небе горели крупные яркие звезды. За рекой редко-редко потрескивали выстрелы. Кругом в кустах пылали костры беженцев. Женщины гнусавыми голосами звали детей домой; во мраке слышался девичий смех; позвякивая шпорами, проходили по песку мужчины. И как басовый аккомпанемент ко всем этим звукам, раздавался неясный говор тайных агентов, устраивающих заговор на веранде шиллеровского склада. Задолго до того, как я приблизился к хижине, до меня донеслись звуки знакомой мелодии увертюры «Тангейзера», исполняемой на кастрированной фисгармонии; у самого дома я чуть было не свалился на сидевших двумя рядами мексиканцев, которые, по самые глаза закутавшись в серапе, напряженно слушали музыку.

Внутри, в единственной выбеленной известкой комнате, сидели два американских кавалерийских офицера. Закрыв глаза, они усердно изображали восторг перед «серьезной музыкой». Вот уже восемь месяцев они находились на границе, вдали от цивилизации, и, слушая

подобную музыку, чувствовали себя необыкновенно культурными.

Бьюкенен, покуривавший трубку из кукурузного початка, полулежал в кресле, задрав ноги на печь. Его сияющие глаза с искренним восхищением следили за пальцами доктора, бегающими по клавишам. Доктор сидел спиной к нам — маленький, обрюзгший, жалкий, седовласый. Некоторые клавиши фисгармонии не издавали вообще никакого звука, другие — лишь слабый хрип, а остальные фальшивили. Доктор сипло подпевал себе и раскачивался взад и вперед, весь поглощенный своей игрой.

Это была удивительная комната. В одном ее конце стоял выдавший лучшие дни стеклянный операционный стол. За ним — шкафчик с ржавыми хирургическими инструментами, на верхней полке которого теснились пузырьки с лекарствами, и книжный шкаф, в котором стояло пять книг: сборник оперных отрывков в переложении для рояля, один том симфоний Бетховена, аранжированных для исполнения в четыре руки, два тома «Практической диагностики» и рваный томик поэм Джона Китса в сафьяновом тисненном переплете. Рядом стоял письменный стол, заваленный бумагами. А все остальное пространство занимали музыкальные инструменты, большая часть которых давно уже вышла из моды: концертина, скрипка, гитара, французский рожок, кларнет, арфа. Мексиканская гладкошерстная собачонка, с бельмом на глазу, сидела в ногах доктора и, подняв морду к потолку, протяжно подвывала хозяину.

Доктор играл все более и более темпераментно, его пение становилось все громче, а скрюченные пальцы прыгали по клавиатуре. Вдруг, в середине оглушительного аккорда, он остановился, обернулся к нам и, растопырив пальцы, пробормотал:

— Мои пальцы слишком коротки! Всегда у меня что-нибудь да не так! О-х! — Он вздохнул.

— У Франца Листа тоже были короткие пальцы. Хе-хе! Но не как у меня. В голове у него коротких пальцев не было... — Его речь перешла в неясное бормотание.

Бак с грохотом опустил ноги на пол и хлопнул себя по колену.

— Черт подери, — закричал он, — если бы тебе, док, еще и длинные пальцы, я уж не знаю тогда, чего бы ты только не смог!

Старик смотрел в пол тусклым взглядом. Собачонка, жалобно заскулив, положила передние лапы к нему на колени, и он начал гладить ее дрожащей рукой. Офицеры, неловко распрощавшись, ушли. Вскоре доктор, ругаясь и что-то бормоча про себя, закурил большую трубку и весь окутался дымом, который, казалось, выходил из его носа, глаз, ушей.

Бак почтительно представил меня. Доктор кивнул и взглянул на меня маленькими, поблекшими глазами, которые, казалось, ничего не видели. Его круглое, одутловатое лицо было покрыто седой щетиной, хотя рыжеватые обвислые усы еще носили следы бывшего ухода. От него сильно несло виски.

— О-ох!.. Вы ведь не из этих... не из песчаных блох, — произнес он, моргая. — Оттуда... из широкого мира. Скажите им, что имя мое написано на воде... бу-бу-бу...

Никто ничего не знал о нем, если не считать некоторых намеков, которые вырывались у него, когда он бывал пьяным. Казалось, он забыл свое прошлое. Мексиканцы, его основные пациенты, горячо его любили и доказывали свою любовь делом, оплачивая его счета. У него на все была одна такса: и за лечение перелома, и за ампутацию, и за прием новорожденного, и за прописывание микстуры от кашля он брал двадцать пять центов. Однако он упоминал о Лондоне, о Лондонской консерватории, об Индии и Египте, и о Галвестоне, где он был директором больницы.

Но кроме этого — только названия мексиканских городов и фамилии неизвестных людей. В форте знали только, что во время революции Мадеро он пришел сюда из-за мексиканской границы, пьяный и безымянный, да так и остался здесь пьяным и безымянным.

— На майдане, — вдруг сказал доктор. — В их экипажах! А я — вот здесь... — Он пробормотал что-то совсем невнятное и икнул. — Да, это убило ее, но ведь я не...

Я старался завязать разговор, надеясь наткнуться на какой-нибудь ключ к загадке его жизни.

— Я слышал, что вы были как-то связаны с Лондонской консерваторией.

Он вскочил, стинув кулаки, и злобно оглянулся по сторонам.

— Кто это вам сказал? — закричал он и снова сел. — А теперь я нищий доктор в Пресидио, — закончил он с почти веселым смешком.

Я заговорил о Египте, и доктор сказал:

— В те дни на рейде в Александрии был настоящий лес из мачт...

Я перешел на Индию, но он только пробормотал:

— В Дарджилинге — у огромного кедра на лугу... Господи... бу-бу-бу.

— Галвестон, — вскрикнул он и выпрямился. — Да, я был в Галвестоне, когда наводнение... Моя жена утонула... — Он произнес это совершенно спокойно, встал, пошатываясь, направился к книжному шкафу, вынул один из томов «Практической диагностики» и протянул его мне, словно хвастливый ребенок. На форзаце было написано: «Галвестон, 18 сентября, 1901», а внизу криво наклеена вырезанная из газеты заметка о наводнении. Я поставил книгу назад в шкаф и, рассеянно вытащив томик Китса, начал его листать.

На внутренней стороне переплета было написано давно выцветшими чернилами:

*Июнь 1878 года
Эндимиону
и душу мою и тело
А. де Г. К.*

Он — Эндимион! Какой женщине эта старая развалина казалась Эндимионом? 1878-й год — ему было лет двадцать пять — красавец мечтатель...

Я услышал не то стон, не то рык: доктор снова вскочил на ноги и, наклонившись, устремил на меня пристальный, странный взгляд.

— Что у вас в руках? Что у вас в руках? — визгливо крикнул он. — Поставьте ее на место...

Шатаясь, он двинулся ко мне, и я быстро сунул книгу обратно в шкаф. Доктор схватил мои руки, поднес их к глазам, опустил и отвернулся,

— Ничего, — пробормотал он. — Я забыл... Я потерял ее в Монтерее... — Он застыл, что-то бормоча про себя: — Почему она вдруг вернулась... утонув тридцать лет назад? Так утопите ее снова!

Доктор отошел в угол комнаты, взял черную бутылку и приложил ее к губам. Затем он потянулся за старым аккордеоном, лежавшим среди других инструментов, вытащил его и, снова усевшись в кресло, вдруг начал играть — несомненно, Третью симфонию Бетховена. Я вздрогнул от неожиданности.

Но он играл только одну минуту. Потом бросил играть, покачал головой и вздохнул.

— «Егоіса»!¹ — произнес он. — «Егоіса»... Бу-бу-бу... Что вы, песчаные блохи, знаете о высокой трагедии? Я старею, но всю свою жизнь я искал и так и не нашел...

Чего он не нашел? Славы? Богатства? Любви? Истины?..

На следующий вечер мы — Бьюкенен, доктор и я — ужинали в мексиканском ресторанчике, состоявшем всего лишь из одной комнаты, хозяин которого был когда-то владельцем маленького ранчо за рекой, которую Энрике Крил продал Вильяму Рандольфу Херсту, прикарманив все деньги. Высокие загорелые люди в сапогах со шпорами, входившие в ресторан, непременно останавливались перед нашим концом стола, чтобы сказать: «Здорово, док! Как поживаешь?» Официант мексиканец кинулся обслуживать доктора, и когда богатый скотовод, подкативший к ресторану на автомобиле, попробовал возмутиться, сидевший возле рядовой конной полиции наклонился к нему и похлопал его по руке.

— Первым ест док, заруби себе это на носу, парень, а потом и ты можешь сунуть морду в кормушку.

В этот день доктор встал поздно, мучимый палящей жаждой, и хотя он уже успел выпить около кварты местной водки, она еще не произвела на него никакого действия. Он мрачно молчал и отвечал на приветствия лишь невнятным бормотанием.

Рядом со мной сидел низенький энергичный человек со срезанным подбородком — типичный городской житель. Он оказался агентом фирмы «Увеличение и ретушь

¹ «Героическая» (итал.) — название Третьей симфонии Бетховена.

портретов на дому» из Канзас-Сити, штата Миссури, и был в полном восторге от обилия заказов, — все мексиканцы в форте желали сняться у него или увеличить свои старые фотографии. Соседи агента слушали его пискливые самодовольные разглагольствования, сохраняя полную серьезность и еле удерживаясь от смеха. Как объяснил мне после Бак, мексиканцы любят фотографироваться и готовы заказать что угодно, подписаться под чем угодно, но платить они не будут.

— Снимать мексиканцев — одно удовольствие, — восторгался агент. — Они могут позировать, не шевелясь в течение пятнадцати минут.

Неожиданно доктор поднял голову, пробормотал что-то и отчетливо произнес:

— Вот почему мой портрет и не был закончен. Позировать Фредди Уоттсу¹ было нелегко... бу-бу-бу...

— Он писал вас в Лондоне? — быстро спросил я.

— В Хэмпстеде, — ответил доктор рассеянно. — Его студия была в Хэмпстеде...

Значит, если бы доктору в свое время не надоело позировать, его портрет, возможно, висел бы сейчас в Национальной галерее рядом с портретами Вильяма Морриса, Россетти, Джорджа Мередита, Суинберна и Брунинга?

— А вы были знакомы с Вильямом Моррисом? — спросил я, задыхаясь от волнения.

— Самовлюбленный педант! — неожиданно крикнул доктор, ударив кулаком по столу.

Я стал расспрашивать его о других знаменитостях, но он продолжал есть, как будто ничего не слыша.

— Дилетанты... эпоха бездарных любителей, — под конец проворчал он и больше не сказал ни слова.

Агент фирмы «увеличение и ретушь» многозначительно постучал себя по лбу, а затем указал большим пальцем на доктора.

— Не все дома, — заметил он с усмешкой, — мозга за мозгу зашла, а?

Ответом ему были презрительные и негодующие взгляды. Молчаливый ковбой, сидевший на другом конце стола, ткнул в агента коркой и коротко заметил:

¹ Английский художник (1817—1904).

— Эй ты, дурья башка, заткнись лучше. Док — мой друг, и тебе, дураку, в жизни не узнать и половины того, что он успел забыть.

Доктор, казалось, ничего не заметил. Но когда мы вышли из ресторана, я услышал, как он бормотал что-то о «песчаных блохах». Мы двинулись по направлению к лагуге, в которой была устроена бильярдная, и по дороге я попытался установить, когда он покинул «широкий мир».

Оказалось, что ему знакомо имя Пастера, но имена Эрлиха, Фрейда и других известных мне современных медицинских светил ему ничего не говорили. Из композиторов Сен-Санса он знал лишь как подающего надежды юнца, а о Штраусе, Дебюсси, Шэнберге, даже Римском-Корсакове он ничего не слышал. Брамса он за что-то ненавидел.

Когда мы вошли, партия была в самом разгаре, но кто-то крикнул: «Доктор пришел!», и игроки положили кии. Доктор и Бьюкенен подошли к шаткому столу, а я сел и стал смотреть на их игру. Старик был великолепен. Он бил без промаха, как бы ни останавливались шары, которые с трудом различали его подслеповатые глаза. Баку оставалось только мелить кий. Вдоль стен на полу сидели плечом к плечу мексиканцы в высоких широкополых сомбреро, умопомрачительных, но выцветших серапе, в сапогах, украшенных огромными пряжками и шпорами величиной с доллар. Когда доктор забивал очередной шар, раздавались негромкие одобрительные возгласы. А когда он выронил из рук свою трубку, десяток рук зашарило по полу, добиваясь чести вернуть ее ему...

Была уже глубокая ночь, бархатная, спокойная, когда мы заковыляли домой по пескам. Едва мы отошли от бильярдной, как доктор вдруг остановился.

— Сюда, Тоби; сюда, Тоби, сюда, — закричал он, покачиваясь и вглядываясь в темноту, — я потерял своего песика. Куда это делся мой песик? Наверно, он остался в бильярдной. — Тоби, сюда! Придется вернуться и найти его.

— Да черт с ним, док, — сказал Бак нетерпеливо. — Ничего твоему псу не сделается. Дай-ка я схожу и найду его. Ты и так устал.

Доктор покачал головой, бормоча:

— Я должен отыскать собачку — мне никто ничего не может найти... Каждый должен искать... один... бу-бу-бу... — И он поплелся назад.

Бак и я сели на землю у тропы и закурили. Жаркий, душный мрак вокруг был полон звуков и ароматов.

Бак неожиданно нарушил молчание:

— Я о своем отце только одно и помню, — сказал он, — что был он сукин сын. И я думал, что все старики похожи на него. Да что старики — в жизни не встречал я настоящего человека, такого, который бы жил не только для себя — пока не встретил дока. Все эти христианские разговорчики никогда прежде для меня ничего не значили. А вот док — он сразу и доброты необыкновенной и мучается, как в аду, все время, пока... Ну, в общем, я... я его люблю. Он большой — да нет — великий человек. Насквозь великий. Есть тут дураки, которые говорят, что он свихнулся. А мне иной раз кажется, что свихнулись мы все, остальные... Вот он всегда пьян, а все, что он говорит, самые даже дикие его слова, доходят мне до самого сердца, словно истина господня.

Бак замолчал, — из темноты к нам, пошатываясь, приближалась невысокая сгорбленная фигура доктора, по пятам за ним брел Тоби. Мы молча поднялись и пошли рядом с доктором. Казалось, он нас не замечал и что-то про себя бормотал, пьяно икая. Но вдруг он громко вздохнул, простер обе руки к небу и, устремив ввысь подслеповатые, тусклые глаза, воскликнул:

— Э-гей! Ночь — для язычников, и день — для детей Израиля!

КОБ — ОТВАЖНЫЙ КАПИТАН

— Эй, там, стоп! — проревел голос, который, казалось, наполнял собой весь необъятный небосвод. — Поворачивай! За кого ты себя принимаешь? За миноносец?

Этот голос мог принадлежать только одной паре легких в мире. Я посмотрел вверх, на лодку, над бортом которой маячило широкое красное лицо и огромные плечи.

— Сопатый Билл! — вскричал я.

— А, да это ты, — прогрохотал он. — Сигай через борт! — И я, как тюлень, перевалился через планшир. Одним легким движением своих больших рук Билл послал лодку по волнам вдоль оградительного каната.

— Эй вы! — гремел его голос, покрывая пронзительные крики купающихся и грохот волн. — Убирайтесь за канат! Разве вы не знаете, что этот океан — частная собственность? А ну, за канат, пока я не раскрыл вам голову веслом!

Он обернулся ко мне со смущенной улыбкой.

— Эта спасательная работа определенно действует человеку на нервы!

— Что ты делаешь на Бас-Биче? В последний раз, когда я тебя видел...

— Да, я знаю, — пророкотал Сопатый Билл на умеренных нотах. — Но с тех пор как я тебя видел в последний раз, утекло много воды. — Его большие кроткие глаза задумчиво блуждали по своим подопечным, резвящимся в прибое. — Нет, сударыня, это вам не аквариум. Ступайте за канат, пока вас не укусила акула!

— Но не кажется ли тебе, — сказал я, — что это м-м-м... несколько лакейское занятие?

— Я приехал сюда, чтобы удалиться от людей. Мне опротивел род людской, — отозвался он, сплевывая.

Я промолчал. Вдоль берега тянулась полоса пляжа с кишевшими на ней людьми. За купальнями возвышались безвкусные башенки и купола увеселительного парка. Сквозь шум ветра и людской гомон до нас доносились звуки шарманки.

— Человеческая натура — чертовски обескураживающий набор различных качеств, — продолжал Билл, — и чем больше человек, тем хуже натура. У толстяков она, по-видимому, хуже, чем у всех остальных. Не попался на моем пути один толстяк, я был бы теперь капитаном хорошей шхуны и получил бы куш при разделе миллиона долларов. — И на его лице отразилась глубокая грусть, когда он мысленно представил себе это недосягаемое блаженство.

— Я всего лишился, — продолжал Сопатый Билл со вздохом, напоминающим первое ворчание северного ветра, — по вине самого большого подлеца на свете. А ведь план-то был превосходный. Ты не слышал о нем? Так послушай. Один парень, по имени Эльмира Д. Питерс, владел шхуной «Дамская арфа», — начал свой рассказ Билл. — Ей было сорок с лишним лет, и она передавалась его семье по наследству. Ну, так, значит, этому парню Питерсу пришла в башку хорошая мысль: покупать ранней весной лед в штате Мэн, перевозить его на Ямайку, где круглый год стоит тропическая жарница, и продавать местным жителям. Это, по его расчетам, сулило шестьсот процентов прибыли. Ведь лед в Мэне ранней весной стоит дешевле, чем женские оправдания.

Врешь! — внезапно завопил он. — Вовсе ты не тонешь! Держись за веревку, пират! Цепляйся за нее руками!

— Так ты говоришь, что этот Питерс был самый большой негодяй на свете? — спросил я, не в состоянии сдержать своего любопытства.

— Ну, вот еще, — загремел Сопатый Билл раздраженно, совсем как нетерпеливая мать, которая успокаивает расхныкавшегося ребенка. — Я сейчас все объясню. Когда ты сказал, что эта работа совсем не подходит для такого человека, как я, ты попал в точку. Ведь я недаром считаюсь лучшим в нью-йоркском порту помощником капитана. Питерс это знал и поэтому по-

обещал мне, если я возьмусь провести «Дамскую арфу» на юг; сделать меня в следующий рейс капитаном.

В эту минуту один из купающихся рискнул выплыть за канат. Билл безжалостно направил свою лодку на пловца и в зловещем молчании несколькими энергичными гребками загнал его обратно. Затем мы снова застыли на глади безмятежного моря.

— Значит, так, — продолжал Билл. — Мы бросили якорь в устье Кеннебека. Погода была прекрасная. Но именно это и внушало мне сильное беспокойство. «Слишком везет, — говорил я себе, лежа на койке. — До сих пор хорошая погода не приводила ни к чему путному». Старик Питерс сам был капитаном, и я часто давал при нем волю своим предчувствиям. «Капитан, — говорил я, — мы несемся навстречу беде, прямо к черту в пасть. Ветер все время хороший, команда не брыкается, и похоже на то, что мы заработаем кучу денег. Что до меня, то мне все это не по душе. Помяни мое слово, на борту этого судна есть Иона»¹. Но он и внимания не обращал. А кок всякий раз, когда приходил в каюту и приносил еду, откровенно выставлял напоказ свое недоверие и презрение. Он почти открыто смеялся надо мной, этот негодяй!

Ну что ж, я терпеливый человек и могу смеяться шуткам над собой не хуже окружающих. К счастью, их было немного. Но зато не было такой каверзы, которой не сыграл бы со мной этот кок. Такой уж у него был подлый характер. «Капитан, — говорю как-то я, — мне еще ни разу не приходилось плавать с таким попутным ветром без того, чтобы не кончилось плохо. На этом судне есть Иона», — говорю. «Хи-хи», — фыркает кок. Тут пришел мой черед. «Я знаю, кто этот Иона», — сказал я твердо, и, встав из-за стола, я дал коку такого тумака, что он свалился под койку.

Сопатый Билл сжал кулак, смахивающий на окорок, и любовно посмотрел на него.

— После этого дела пошли, на мой взгляд, веселее. Мы попали в полосу плохой погоды, и у нас сорвало ветром форстаксель. Многие ребята, которые плавали до этого только на паромах, заполучили морскую болезнь. Дня два я простоял у руля, ругая на все лады этих из-

¹ И о н а — по поверью моряков, человек, приносящий несчастье,

возчиков. И тут этот кок выказал похвальное мужество, подмешав зеленой краски в мой суп. Я с подлинным уважением проташил его взад и вперед по палубе шесть раз, буксируя на конце фала.

Сопатый Билл улыбнулся своим воспоминаниям.

— После этого он, казалось, смирился. Но в действительности негодяй замышлял самое подлое предательство, про какое мне приходилось слышать.

Тень мировой скорби о несовершенстве человеческого рода на миг омрачила физиономию Билла.

— Значит, так. В первых числах февраля мы поплыли вниз по Кеннебеку в открытое море с грузом льда. Многие из команды дезертировали, но это только показывало, что дисциплина, которую я установил, была крепка. Пятеро из них убежали без жалованья, и это понравилось старику. Когда пробило четыре склянки, мы уже были в открытом море, в десяти милях от берега, и шли курсом на юг — юго-восток; волны плескались у самого фальшборта. Я пошел вниз пообедать. И тут нам открылась страшная истина. Этот кок сбежал, ускользнул на берег где-то в устье реки. В каюте посреди стола мы обнаружили записку, приклеенную зеленой краской. В ней говорилось: «Я не желаю быть мальчиком на побегушках у пары мошенников. Предпочитаю стать призовым борцом. Надеюсь, что на этой работе хоть немного отдохну и успокоюсь. Я взял лампы из каюты, брюки капитана и башмаки помощника в возмещение части моего жалованья и захватил бы оба медных вентилятора и медный компас, только не смог их отвинтить».

Это имело очень важные последствия. — Сопатый Билл назидательно помахал пальцем, формой своей напоминающим болт. — Вентиляторы и компас были в ужасающем виде. Выправить компас нам так и не удалось. Этим и объясняется, почему мы приплыли в Саргассово море, думая все время, что идем прямо на Ямайку. Но самой страшной бедой было то, что мы лишились кока: «Капитан, — заявляю я, — недаром я твердил вам, что этот проклятый анархист — Иона. А вы мне не верили. Если бы вы позволили мне поступить по-своему, — говорю я, — я бы каждый день после обеда гонял его палками от полубака до нактоуза. Тогда у нас не было бы никаких хлопот», — говорю.

— Вот ты живешь в городе, и все такое, — продолжал Сопатый Билл с чувством, — и небось не понимаешь, что в море желудок человека играет самую важную роль. Я был выброшен на необитаемый остров и прожил там три месяца в обществе одних только песчаных блох; я терпел крушение в Ледовитом океане, где каждая волна, прежде чем удариться о судно, превращается в лед и разбивает его на куски; я проплыл полмили наперегонки с двумя акулами в Индийском океане; на меня напали людоеды в Южных морях, и я был вынужден в порядке самозащиты слопать несколько из них. Ты можешь называть меня человеком слабым, бабой, но говорю тебе, когда я услышал, что кок дезертировал с корабля, я побледнел и зашатался. Я сразу же подумал об ужасах, грозящих нам, если будет готовить боцман, — он был итальянец. Меня бросило в дрожь при одной мысли, что, может быть, придется готовить мне самому. «Капитан, говорю, если мы не вернемся назад, чтобы взять кока, я посажу этот корабль на первую подходящую скалу, только чтобы заняться чем-нибудь и отвлечь свой ум от еды».

Дело кончилось тем, что мы отправились обратно в Портленд за коком.

— Я был достаточно глуп, чтобы полагать, что с уходом кока мы избавились от старухи заботы, — продолжал Билл с горечью. — Наверное, я был не в себе. Ведь смешно — переменять одного Иону на другого, не так ли? Но именно это мы и сделали. Потому что, хотите верьте, хотите нет, в Портленде не оказалось коков — никого, кроме толстяка, по имени Флиндерс, который пришел на корабль и сказал, что обожает море.

«Что вы подразумеваете под словом «обожаю»? — спросил я этого Флиндерса. — Ступала ли ваша нога на корабль за все время вашей никчемной жизни?» — «Конечно, нет, — говорит он холодно. — Но я учусь на капитана на заочных курсах. Я уже могу изобразить на бумаге любой узел, и если только мне удастся заполучить в руки секстет, говорит, держу пари, что вынюхаю и широту и долготу, если только они окажутся поблизости. Кроме того, — говорит он, — нет такого течения или мели во всех морях и океанах, которых я не знал бы наизусть. Вопрос тридцать три: «В каком направлении, если оно вообще есть, движется полулинейное эквато-

риальное североатлантическое течение во время зимнего солнцестояния?» Ответ: «Направляясь на запад через юг, огибая перед тем Мыс Ближнего Света в одной линии со старым сикомором и проходя на полтора румба севернее Подветренных островов». — Я посмотрел на него свирепо, и он осекся и съежился. «И еще я могу перечислить все румбы компаса...» — окончил он тихим и слабым голосом.

«Помолчи, Билл, — приказал мне старик. — Послушай ты, невежественный мешок с кишками, — продолжал он кротко, — на этой шхуне капитаны нам не нужны». — «О-о-о», — протянул разочарованно Флиндерс. «А вот готовить ты умешь?» — «В ходе моих усилий обеспечить себя достаточными средствами для пополнения образования, — чирикает Флиндерс, — я занимался приготовлением пищи в лагере лесорубов. Говоря правду, я прямо оттуда...» — «Очень хорошо, — говорит старик. — Тащи свою подстилку на борт. Мы отплываем через полчаса». — «Кок! — с презрением произносит толстяк. — Кок! И это я, который понимает в навигации, быть может, больше, чем кто-либо другой на этом судне!»

Капитан знаком снова заставил меня сесть на свое место. Некоторое время Флиндерс задумчиво смотрел на пол. «А почему бы и нет, — сказал он наконец, обращаясь к самому себе. — Ведь это все-таки удобный случай. Я мог бы дослужиться до капитана. Скажите, быстро ли идет продвижение?» — «Более чем быстро, — говорю я. — С того места, где вы сидите, вас можно продвинуть через световой люк под нактоузом на рубку на полубаке, стремительно провести через кучу всякого хлама в форпике и вдвинуть в камбуз. И все за один час». — Говоря это, я сделал пару недвусмысленных движений. Тут Флиндерс встал.

«Капитан! — закричал он, весь бледный. — Эта личность, совершенно мне незнакомая, угрожает мне, очевидно, физическим насилием. Я требую извинений!»

Сопатый Билл выразительно понизил голос, как того требовало сделанное им затем поразительное признание.

— Капитан Питерс извинился, — сказал он тихонько. — Но не это было самое худшее. «Билл, вспомни о желудке», — сказал мне старик. И я, я тоже извинился! Но про себя я подумал: «Ну, погоди, как только мы окажемся в открытом море, сам Георгий и все святые

отцы не смогут спасти тебя от уготованного тебе персонального ада!»

После этого я занимался некоторое время посвящением нескольких новичков в их обязанности и не сталкивался с Флиндерсом до того, как пробило восемь склянок и я спустился вниз завтракать. Я человек не злопамятный и поэтому не имел против него никаких дурных намерений. Но что же вы думаете? Вхожу и вижу: за столом сидит наш капитан, около жабер у него выступили такие пурпурные пятна, а на столе ни тарелок, ни вилок.

«Что за дьявольщина?» — спрашиваю я его.

«Пусть меня обмажут дегтем, если я знаю, — говорит тот с недоумением в голосе. — Я тут сижу один и голодаю. Когда я сошел вниз, здесь торчал кок с пятью или шестью раскрытыми перед ним книгами и *занимался арифметикой!* «Где, черт возьми, мой завтрак!» — взревел я. Он вроде вздрагивает и говорит: «О простите, капитан, я так увлекся тригонометрией», — и отправляется на камбуз».

«Флиндерс!» — реву я совершенно вне себя от голода и разочарования. Он появляется в дверях, мурлыкая песенку, вроде этой:

На белокрылом
Маленьком челне
Я поплыву
По голубой волне.

«Ах ты, поганая акулья глотка, — говорю я, — ты почему не приготовил мне обед?» — «Ну-ну, — отвечает он таким нахальным голосом. — Незачем подымать такой шум. Если вы хотите, чтобы я готовил для вас, вам лучше всего повесить на кухне маленькое расписание: завтрак — с семи тридцати до девяти тридцати; второй завтрак — с двенадцати тридцати до двух ноль-ноль, обед — с шести ноль-ноль до восьми тридцати и т. д. В лагере лесорубов второй завтрак бывал у нас рано. И было бы гораздо полезнее, если бы и вы съедали его, скажем, на час раньше. Кстати, не знаю, по какому праву *вы* вмешиваетесь в чисто личное дело между мною и моим работодателем?»

Дружище, — сказал мне Билл, — ты не представляешь, какие усилия я должен был приложить, чтобы сдерживать себя. Но это было перед завтраком, и если бы я

ударил его, мы остались бы без пищи. «Ну, подожди, пока я позавтракаю», — повторял я про себя. И ограничился тем, что сказал ему: «Эй ты, ничтожная частица адского огня, я — первый помощник. Понятно? Пове-рещи-ка у меня еще немного, и школьницы Глочестера бросят в волны еще один венок в память неизвестного мертвеца. И вот что: каждый раз, как будешь впредь открывать глотку, произноси «сэр». — «Ах так, — говорит Флиндерс, — теперь вы нанесли мне оскорбление. За это вы не получите обеда». — «Что!» — воскликнул я. «Вы оскорбили мои чувства, — повторяет он. — Я не буду служить вам. Я привык готовить джентльменам, так и знайте».

Тут я лишь немного встряхнул его и дал ему разок по уху. А он, поверишь ли, упал, как мешок с моллюсками, и еще разразился громким плачем, совсем как ребенок. Так он и сидел, загораживая сходной трап, готовый лопнуть от пронзительного крика. При этом все его тело дрожало, как обвисший парус, когда ветер меняется. Я просто не знал, что делать.

«Вставай немедленно, — проревел я наконец, — и убирайся, пока я не дал тебе снова!»

Но он не двинулся с места, а лишь продолжал всхли-пывать и причитать: «Никогда, никогда меня так не уни-жали. Что бы подумала моя бедная матушка? О гос-поди, господи!» Я ругал его на всевозможные лады — как только мне приходило в голову — и даже пытался ударить. Эх, черт! Да разве можно ударить медузу — в ней ведь нет ничего человеческого!

К этому времени весь мой аппетит пропал. И в до-вершение всего команда прислала делегацию узнать, по-чему им не дают обеда. Тут внезапно начался шквал, и стало слышно, как скрипят грузовые стрелы и трещат паруса. Я сгреб в охапку этого толстяка, который да-вился от слез, чтобы оттащить его в сторону и выйти на палубу, но, клянусь богом, я не мог сдвинуть его с ме-ста. Он, должно быть, весил четыреста фунтов. Тогда я вышел из себя, начал бить и толкать его, но он все-таки не двигался.

«Я буду сидеть здесь, — сказал он, — пока этот гру-биян не попросит у меня прощения!»

В результате мне пришлось выползти из каюты че-рез световой люк...

Сопатый Билл погрузился в грустные воспоминания. Он вздохнул, и волны вокруг покрылись белыми башками.

— Когда я вышел, шкипер задал Флиндерсу нахлебучку. Он сказал ему, что высадит его посреди океана, если тот не будет повиноваться приказаниям. Судя по всему, аргументы такого рода были доступны пониманию этой горничной мужского рода. Во всяком случае, через полчаса обед был на столе, а сам он двигался по каюте с обиженным видом и бледный, огромный, как гора. Кстати, следует сказать, что обед он приготовил первоклассный.

Но прошло немного времени, и Флиндерс снова начал заноситься. День или два спустя я стоял на вахте у штурвала, когда мы увидели пару китов. Как раз в эту минуту на палубу вываливается наш бочонок-кок, вытирая руки передником. Он направляется на корму, куда ни один кок на моем корабле не осмеливался до сих пор ступить ногой, и при этом весело кивает головой.

«А, киты! — говорит он. — Я на втором курсе выучил все про китобойное дело. Думаю, говорит, что вы не очень-то много знаете про китов». — «В свое время я был помощником капитана на трех китобойных судах», — отвечаю я с горечью и сарказмом. Но он этого даже не заметил.

«Есть три породы китов, — начал он, — морские лисицы, собственно киты и кашалоты. Первая порода не имеет абсолютно никакой коммерческой ценности. Вторая — собственно кит — дает подчас от сорока до пятидесяти бочек китового жира. Но больше всего охотятся за кашалотами. Ареал его распространения теперь ограничен почти исключительно арктическими районами. Однако ранее он водился в морях умеренного климата. Одно такое животное дает иногда сотни бочек китового жира. Помимо жира, из кита добываются другие продукты — китовый ус, амбра, которая...» — «Эй, убирайся прочь на камбуз! — заорал я. — И если ты только выставишь свою башку наружу, я запущу в тебя румпелем!»

В другой раз капитан измерял высоту солнца, а я определял место корабля. Вдруг сзади тихо подходит Флиндерс, наклоняется над моим плечом и обдает меня запахом лука.

«Боже мой, — говорит он, словно ему меня жалко. — Все это устарело и просто смешно! Почему бы вам, дружище, не воспользоваться логарифмами? Поймите, что с вашим условным горизонтом вы никогда не получите строго научных данных. Дайте я покажу вам...» И он выхватил у меня из рук бумагу! Я приказал вахтенным стать к кабестану, прицепил кока к грузовой стреле, и мы искупали его в водах Северной Атлантики. Как он кричал и брыкался!

Но даже это, казалось, не выучило его уму-разуму. Ему ничего не стоило в разгар обеда войти в кают-компанию с подносом в руках и сказать: «Знаете ли вы, капитан, что это за ветер? Это хвост северо-восточного пассата, который в течение февраля дует с Карибского моря через Флоридский пролив и отклоняется сначала током теплого воздуха, образованным Гольфстримом, а затем струей холодного воздуха, порожденной Лабрадорским течением». И так до бесконечности. В конце концов мое терпение лопалось, и я давал ему по зубам. Тогда он усаживался прямо на пол у сходного трапа и плакал, и вы не могли ни обойти, ни сдвинуть его с места. Частенько я сидел там часами, ожидая, когда Флиндерс уйдет, так как мы не решались открыть световой люк.

Я рассказываю обо всех этих фактах лишь для того, чтобы ты понял, до какого раздражения мы дошли. То же самое чувствовала и команда. Неуверенность в том, получают ли они обед, и покровительственный тон кока, потому что они — простые матросы, а он — будущий капитан, привели к тому, что все они ненавидели кока жгучей ненавистью. Они завели обыкновение подбрасывать ему на койку тараканов, а потом нашли еще лучший способ расчитаться с ним — перестали его замечать. Когда он заговаривал с кем-нибудь из них, они вели себя так, как если бы его не было. Разумеется, тут уж ему беситься не приходилось, но такое отношение ужасно оскорбляло его. Вскоре с Флиндерсом совсем перестали разговаривать, но все равно нельзя было заставить его задрать глотку. Всякий раз за едой он сообщал нам какие-нибудь сведения, да так, что в животе у нас все переворачивалось.

Впервые мы заметили неладное через три дня после выхода в открытое море. Наблюдения, производимые в полдень, неизменно указывали на отклонение

от курса по меньшей мере на три румба. Мы соответственно изменяли курс, но на завтра происходило то же самое. Я подумал было, что причиной тому небрежность рулевого, и, действуя на основании этой теории, чуть не вышиб из него душу. Несмотря на это, судно по-прежнему отклонялось от курса. Это обстоятельство, а также переменный ветер да еще этот Флиндерс, презирующий наше невежество в навигации, все это вместе взятое заставило меня немало попотеть в те дни. Кончилось тем, что в один прекрасный день я сказал ему: «Независимо от того, удастся ли мне совершить еще что-нибудь в моей грешной жизни, я увековечу себя в истории тем, что заткну твой клюз, Флиндерс, — и добавил: — Если ты еще раз откроешь в моем присутствии свою пасть, кроме как для удовлетворения законных стремлений плоти, то я тебя задезмоню изюмовым пудингом. На это раз я говорю серьезно». После этого некоторое время было тихо.

При скорости, с какой мы шли, нам следовало прибыть в Ямайку через одиннадцать дней. Выправление курса и тому подобное должны были, по моим расчетам, отнять у нас еще день или два. Но в течение шести дней небо было затянуто тучами, и мы не могли производить наблюдений. Поэтому мы должны были идти по компасу, а компас, как я уже говорил, был неисправен, хотя мы этого не знали. Так вот. Небо все время затянуто облаками, а мы день за днем идем по ветру. Проходит пять дней, потом еще пять, а земли все не видать, и облачность не уменьшается. Погода становится все жарче.

«Не беда, — говорит старик, — во всяком случае, мы идем на юг. Не обязательно же нам прийти на Ямайку, годится любой остров с жарким климатом. В чем мы нуждаемся, так это в тропиках. Тропик Рака или тропик Носорога — не все ли равно».

Так прошло десять дней, а мы все плыли и плыли. Температура с каждым днем повышалась, а ветер слабел. Ужас как было жарко! Скоро мы стали замечать, что в море больше не видно кораблей. Я забеспокоился. Все говорило за то, что мы прошли мимо Ямайки. Уж очень долго мы плыли. Удивляло меня также и то, что мы не встретили на пути никаких островов. Вода, которую брали за бортом для мытья палубы, была так горяча, что можно было обжечься. У нас не было запасов на случай длительного рейса, и питьевая вода стала под-

ходить к концу. В довершение всех бед ветер спал до полного штиля, и однажды утром, выйдя на палубу, я обнаружил, что мы запутались в каше из густых водорослей, простиравшихся, насколько хватал глаз, на восток.

Затем показалось солнце, и впервые за две недели или больше нам удалось произвести расчеты. *Мы оказались на четыреста миль южнее и на восемьсот миль восточнее Ямайки!* Флиндерс как раз подавал нам обед и слышал наш разговор. Он так взволновался, что опрокинул суп на пол каюты. «Капитан! — закричал он. — Я знаю, в чем дело. Об этом говорится в уроке 654 «Экваториальные штили и район их распространения». Мы попали в Саргассово море! Оно образовано соприкосновением круговых движений Канарского течения и Гольф-стрима. Множество покинутых судов...» Тут я скорчил страшную гримасу, и он закрылся, как актиния. Но он был прав. Мы были именно там, в пятистах морских милях от судоходных линий, при полном штиле, почти без воды и с небольшим запасом продовольствия.

И как раз в эту минуту вбегают матрос и орет: «В трюме четырнадцать футов воды!» Этот Флиндерс только было открыл рот, чтобы заговорить, но я гаркнул: «Заткнись!» — И он заткнулся. Правда, он тут же начал очень некстати чему-то улыбаться, этот подлый изменник!

Итак, открываем мы крышку главного люка и видим: внизу плещется лишь черная масса воды, а сверху плавает ледяное крошево. «О господи! — заорал Питерс. — Мы получили ужасную пробоину. К помпам!» И мы бросились к помпам как одержимые. Мы откачивали воду весь день и всю ночь и потом измерили уровень воды снова. Воды было на восемнадцать футов, и все льдинки растаяли. К этому времени палуба была почти на уровне моря. Было ясно, что нам следует покинуть корабль, если мы не хотим утонуть. Питерс кружил по судну, как большой краб во время отлива. Он никак не мог примириться с этой мыслью. К довершению всех бед резервуары с пресной водой были почти пусты, а съестные припасы иссякли.

За эти тридцать шесть часов я очень многое обдумал. Нас занесло на сотни миль от пароходных линий и еще дальше от земли. Воды и пищи оставалось очень мало. Мы наверняка останемся без еды, так как даже в лучшем случае нельзя погрузить в лодку провизии на пла-

вание в пятьсот миль. Весьма вероятно, что нам придется слопать одного из своих спутников. Я мысленно искал себе наиболее подходящего спутника, и мой взор упал на Флиндерса. На девять десятых этот человек состоял из жиров, а об его отсутствии пожалеют разве лишь заочные курсы.

И вот я причалил к нему и говорю: «Флиндерс, когда мы будем покидать судно, вы должны сесть в мою шлюпку». — «Почему? — спрашивает он удивленно. — Большое вам спасибо, но я поеду с боцманом». — «Вам не следует ехать с боцманом, — говорю я ему ласково. — Он лишь простой матрос. Вы должны ехать со *старшим помощником*». — «Весьма признателен, — говорит он. — Но боцман сказал, что мне не придется грести в его лодке. Я, говорит, *ненавижу* физические упражнения».

Тут я понял, что боцман, этот двуличный интриган, думает о том же, что и я. «Ладно, говорю, в моей лодке вам тоже не нужно будет грести. Больше того, я буду выдавать вам полный рацион, пока хватит провизии». — «Гм, — говорит он и смотрит озадаченно. — Не понимаю, почему все так добры ко мне. Должен сказать, что я с большим облегчением замечаю эту перемену в людях с тех пор, как мы находимся здесь. Все так милы со мной, что я не в состоянии отблагодарить их за доброту. Я *знал*, что когда-нибудь меня оценят». («Эге, — подумал я, — как видно, все на него точат зубы».)

Примерно около двух часов подходит ко мне Флиндерс и говорит: «Мне очень, очень жаль, но я не могу ехать в вашей шлюпке. Штурман предложил мне, помимо всего, половину имеющейся воды и обещал держать надо мной зонтик, чтобы защищать меня от солнца».

Тут я потерял терпенье: «Ты поедешь в моей шлюпке, понятно?! — закричал я. — А то я пробью дыру на твоей ватерлинии». Как раз в эту минуту из люка вылезает старина Питерс. «Что за шум?» — спрашивает он. Флиндерс немедленно начинает жаловаться. «Все эти джентльмены приглашают меня ехать с ними в шлюпке, — говорит он, — потому что у меня такие познания в навигации. Я и не подозревал, что у меня столько друзей. И вдруг этот помощник приказывает мне ехать с ним и угрожает физическим насилием. Ну, а я говорю, что не поеду, не поеду, и все!»

И вот я вижу по глазам Питерса, что он начинает понимать. Мысленно он прикидывает, сколько бифштексов, отбивных, ветчины и котлет выйдет из этого человека. «Вы совершенно правы, — говорит он. — Мистер помощник, мне стыдно за вас, сэр! Что же касается вас, мистер Флиндерс, то я буду счастлив, если вы поедете в моей шлюпке!» — «Я, конечно, очень польщен, — говорит Флиндерс, — но штурман предложил мне...» — «Я буду счастлив предложить вам то же, что и штурман, и, кроме того, все, что вы еще захотите». — «Ладно, — заявляет Флиндерс, — вы ведь знаете, что я мечтаю когда-нибудь стать капитаном. Так вот, если я смогу быть капитаном на первом судне, владельцем которого вы станете...» — «Согласен, — говорит шкипер, который пока не собирался обзаводиться другим судном. — Договорились. Поедете в моей шлюпке».

Тут я заметил, что он прикидывает в уме, через сколько дней этот кок исчезнет из списков кандидатов в капитаны любого флота мира. Меня охватил страх, и я с ужасом подумал, что же будет со мной.

«Капитан, — говорю я, — вы же не захотите, чтобы в вашей шлюпке было слишком много народу. Возьмем ялик: вы, я, добрый старина Флиндерс — и все». — Питерс и я заговорщически посмотрели друг на друга, и в наших голодных глазах отразилось полное взаимопонимание.

«Ладно, — говорит он. — А теперь давайте отчаливать. Через какой-нибудь час мы пойдем ко дну, вода быстро прибывает».

В этом месте рассказа Сопатый Билл сильно скосил глаза, словно стараясь подыскать подходящие слова, чтобы передать картину, вставшую перед его мысленным взором.

— Не буду останавливаться на том, — прогремел он, — как отчалили наши шлюпки и какой вопль вырвался из глоток боцмана и штурмана, когда они увидели, что рыбка соскользнула у них с крючка. Их вопль замер в отдалении, а шлюпки одна за другой отчалили от «Дамской арфы» и скрылись за горизонтом. Мы со шкипером устроили на корме удобное ложе из подушек, укрепили над ним раскрытый зеленый зонтик Питерса и уложили поудобнее эту никчемную тушу. Затем мы отчалили, оставив шхуну покачиваться на волнах, и на-

легли на весла. Питерс плакал, не таясь. Флиндерс, он тоже лил слезы: из чистого сочувствия, как он заявил. Итак, мы двинулись в путь по зеркальной глади моря. Солнце палило немилосердно, от водорослей подымалась такая вонь, какой я не встречал за все свои путешествия. В тишине слышался только крик альбатроса, с нетерпением и надеждой ожидавшего мертвечины, да тихое всхлипывание этих двух идиотов.

Очень скоро Флиндерс вытер глаза и говорит: «Ладно уж, что толку плакать о прошлогоднем льде. Чтобы отвлечь вас от этого печального события, — говорит он, — я оживлю томительные часы сообщением вам полезных сведений, почерпнутых во время моих занятий. Итак, это Саргассово море своеобразно во многих отношениях. Различные водоросли и водяные растения, которые несут два главных океанских течения Южной Атлантики, под действием сил, создаваемых вихревыми течениями, отклоняются к их внутренней окружности и собираются в центре, где нет течений. Это место и называют Саргассово море. Это море, подобно ступице колеса, постоянно вращается справа налево, с севера на запад, юг, восток, и так далее, и ужасна судьба покинутого командой судна, которое будет следовать по этому курсу без конца».

В этом роде он продолжал часа два, так что я чуть не начал кричать. Но я сдержал свои чувства, утешаясь мыслью, что скоро внутренний механизм, производящий всю эту болтовню, будет перевариваться в моих кишках. Потом Флиндерс стал клевать носом и преспокойненько уснул. А я и капитан обливались потом и до головокружения работали веслами под палящим солнцем.

Мы думали, что находимся в южной части Саргассова моря, и, вместо того чтобы прокладывать себе опасный путь через водоросли в центре моря, мы взяли курс на юго-восток, намереваясь обойти его по краю и двигаться вместе с течением к африканскому побережью до Канарских островов.

Вечером на закате мы съели сухарь, запили его глотком воды и некоторое время отдыхали. На севере еще виднелись мачты «Дамской арфы». Затем мы снова взялись за весла.

Очень скоро Флиндерс проснулся и уничтожил пять сухарей и целую пинту воды. Это было ужасно. Но мы

не решались ничего сказать, ведь мы обещали ему полный паек. Поев, он закурил трубку и сказал, глядя на небо: «В старину моряки ночью прокладывали себе путь по морю при помощи Полярной Звезды и Южного Креста. Конечно, Полярная Звезда в этих широтах не видна, но если вы взгляните внимательнее, говорит, вы увидите в северо-западной части небосвода ковш Большой Медведицы. Две звездочки на конце рукоятки называются стрелкой, потому что указывают прямо направление на Полярную Звезду, иначе называемую Арктур, а выше расположено созвездие под названием Кресло Кассиопеи. Прямо над нашими головами находится так называемый Южный Крест, значение которого было понятно морякам еще в глубокой древности. Он...» — Да, к счастью для этого толстяка, он вновь захрапел. Я сдержался, потому что хотел съесть его свеженьким, когда настанет время.

Проснулся он опять на рассвете, проглотил полдюжины сухарей, две жестянки ветчины и полторы пинты воды. Я попробовал возразить. Он обиженно посмотрел на меня и оглядел себя со всех сторон. «Что мне две жестянки ветчины?» — спросил он. Питерс прошепел: «Оставь его. Мы должны сохранить его в хорошем виде».

Вскоре на востоке показалось солнце, как раскаленная докрасна печь, и мы вновь стали грести до изнеможения. Пока мы гребли, этот Флиндерс растянулся во всю длину, устроился поудобнее и начал: «Я, говорит, больше всего интересовался курсом предварительных лекций, посвященных важнейшим вопросам строения моря. Он назывался: «Океаны, их «почему» и «отчего», и был чрезвычайно полезен для моряков вообще. А вы, говорит, когда-нибудь изучали этот предмет?» — Мы не осмеливались голову поднять. «Ну, — продолжал он, — океан содержит растворы различных химических веществ, из которых главное — натрий, поваренная соль. Этот натрий приносят стекающие сюда реки вместе с мельчайшими частицами других компонентов земли. «Как вы полагаете, отчего океан такой соленый?» — Мы ничего не ответили. «Вы не знаете, — говорит он с насмешкой. — Это из-за постоянного испарения морской воды солнцем. Это испарение не уничтожает химических веществ, которые остаются в непрерывно концентрирующемся растворе при постоянно уменьшающемся коли-

честве H_2O , говорит, которая непрерывно пополняется испарившейся жидкостью, выпадающей на землю в виде дождя и достигающей океанов в виде речной воды, которая в свою очередь несет новые порции химических веществ».

Я хочу сказать в связи с этим, — заметил Сопатый Билл, — что страдания первых христианских мучеников — детская забава по сравнению с тем, что было с нами. Мы до того наслушались этой чепухи, что я не знал, куда деваться от бешенства. Правда, большую часть времени Флиндерс спал на подушках под зонтиком, а Питерс и я работали веслами. Мы гребли весь этот день, теряя сознание от зноя, и всю следующую ночь, и следующий день, и следующую ночь. Но к чему все это? Вскоре стало казаться, что жизнь — это не что иное, как бесконечные утомительные взмахи веслами, когда мышцы так устали, что ты вскрикиваешь каждый раз, как делаешь гребок, а голова идет кругом от палящего солнца, и голос Флиндерса доходит словно издалека: «Семь восьмых поверхности земного шара находится под водой».

А иногда он начинал петь отвратительным хриплым голосом, чтобы подбодрить нас, как он говорил, песенки, вроде этой:

Славный удался денек!
Дружно гребите, без лени!
Голову ниже к коленям!

Это как раз подходило к нам с Питерсом, так как мы изнемогали от гребли и уже готовы были разреветься. На второй день Флиндерс проснулся, съел обильный завтрак и пил из бочонка так долго, что я думал, он уж и не оторвется.

«А знаете, — говорит он, ставя на место бочонок. — Он пуст». — «Что?!» — закричали мы, не веря своим ушам.

Так и было. Этот кок выпил всю воду, а мы думали, что нам ее хватит еще на пару дней.

Мы с Питерсом сидели ошеломленные, в ужасе от того, что слышали. Но вот Флиндерс опять заснул, и старик обернулся ко мне. Глаза у него кровожадно блестели. «Пора, — говорит он. — Дела идут слишком плохо, чтобы мы могли сохранить его на еду. Лучше мы его укокошим и напьемся его крови». Я как раз начал

освобождать весло, когда Флиндерс неожиданно проснулся.

«Эх, — начал он сонно, трогая себя за шею, — кажется, у меня вскочил чирей. Это все от бездействия, говорит, и от нерегулярного питания. Не думаю, что кровь у меня хорошая. Не найдется ли у вас в лодке случайно немного серы и железа», — говорит.

Я совершенно взбесился. Прыгая взад и вперед по лодке, я вопил: «К черту серу и железо. Ах ты, дьявольская губка! Ты знаешь, что ты сделал? Взял и вылил всю пресную воду! Ах ты, водоналивная баржа с углем. Вот что ты наделал!» — «Ладно, — говорит он, — я считаю, что было очень неосмотрительно с вашей стороны не захватить побольше воды. Если бы уж я назвался моряком, говорит, я бы не допустил такой небрежности». — «Побольше! — заорал Питерс, побелев от бешенства и разочарования. — Держите меня! Побольше! Что ты, не знаешь, что ли, что больше в баках не было?» — «Тогда почему же вы не зачерпнули в трюме? — говорит Флиндерс. — Вам надо было только опустить туда ведро». — «Не тронь его, — говорит Питерс. — Он сошел с ума. Сейчас он испустит дикий вопль и прыгнет за борт, а мы будем иметь удовольствие наблюдать, как он медленно уйдет под воду». — «С ума сошел кто-то другой, а не я, — говорит Флиндерс с горячностью. — Вы хотите убедить меня, что вы, морские волки, не знали, что вода в трюме — это растаявший в теплом море лед».

Казалось, мы с Питерсом уже часа два сидим, вытирашив глаза друг на друга.

«Но почему, почему же ты ничего не сказал?» — прошипел шкипер. «Я пытался, — говорит Флиндерс, — но вот этот невежественный помощник капитана, вот он, грубо приказал мне заткнуть пасть».

То, что произошло дальше, можно назвать только одним словом: светопреставление. — Сопатый Билл провел дрожащей рукой по лицу, и рука его стала мокрой от пота. Наконец он продолжал: — Мы оба схватили по веслу и приготовились сделать из Флиндерса котлету. Но он вдруг воскликнул: «Не смейте меня бить, или я предоставляю вас вашему жребию здесь, в открытом море. Никто, кроме меня, не знает течений Саргасова моря, и никто не сможет вновь разыскать корабль,

если я не скажу, как это сделать». — «Боже мой, — говорит Питерс со вздохом. — А ведь верно, Билл! Садись». Я повиновался в отчаянии.

«Вспомните о своем обещании, — говорит Флиндерс, неожиданно поднявшись. — Я ведь капитан на этой посудине и буду капитаном «Дамской арфы» тоже, если мы найдем ее! В путь, веселее! Мы находимся к северо-востоку от нее, на один румб на север. Помните, что я рассказывал вам о центробежном выталкивающем течении? Так вот, это течение выталкивает корабль нам навстречу каждую минуту, и к завтрашнему утру мы его увидим».

Мы были в его власти, так что пришлось его слушаться. Господи, вот был позор — два сильных здоровых моряка со способностями выше среднего подчинялись приказаниям толстопузого кока, который никогда и на море-то не бывал.

Но я думал, что не все еще потеряно. Как только мы доберемся до шхуны, мы сможем безнаказанно разmozжить этому коку голову болтом — ведь команды там не будет и никто ничего не увидит. Однако я не принял в расчет предательства Эльмира Д. Питерса. Он был зол как черт, просто вне себя от стыда и от бешенства. Себя винить ему не хотелось, ну, он и искал, на ком бы сорвать злость. И этим кем-то оказался я. На закате, когда Флиндерс уснул, я наклонился к нему и выложил свой план, как избавиться от этого кока.

«Отстань, — говорит Питерс в бешенстве. — Не смей никогда обращаться ко мне с этим, ты, чертов негодяй! Если бы ты не затыкал рот Флиндерсу, нам бы не пришлось переживать всех этих несчастий».

И вот от этого-то, — простонал Сопатый Билл, — я навсегда потерял веру в людей.

Конец всей истории — это длинный рассказ о низости и неблагодарности. К утру мы действительно увидели «Дамскую арфу». Она была погружена не больше, чем когда мы ее покидали, а к полудню мы уже сосали через шланг воду из трюма. Чудесная пресная вода, именно такая, как говорил этот лживый паршивец! Затем вдруг поднялся легкий бриз. «К помпам! — командует Флиндерс, становясь у руля. И пришлось нам качать воду, хоть мы были и так совсем измучены. На следующий день мы подобрали шлюпку боцмана, а еще через день и шлюпку штурмана. И поверишь ли? Ни

один из них и слышать не хотел о том, чтобы убить кока. Но все набросились на меня, как собаки, потому только, что я попал в беду, и сказали, что расквитаются со мной за строгость, в которой я их держал.

Но что окончательно сокрушило мне сердце, — сказал Сопатый Билл, задыхаясь от волнения, — это когда Питерс и Флиндерс заставили меня заняться стряпней...

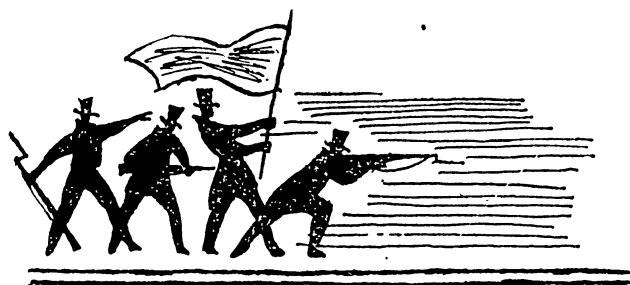
Конечно, я не мог этого долго выдержать. Однажды ночью, когда мы держали курс на северо-запад, я заметил огни парохода. Я незаметно спустил на воду ялик и постарался, чтобы меня подобрали на корабль...

Билл устремил свой блуждающий взор на купальщика, весело резвившегося как раз за канатом, и на лице его, пока он молча греб к нему, появилось выражение свирепой радости, как у тигра, готового броситься на свою жертву.

— И это еще не все, — проговорил он отрывисто. — Этот дьявол Флиндерс приказал перестать выкачивать воду и повел корабль на север, пока не наткнулся на айсберг, плывший из Гренландии. Он поставил шхуну бортом к айсбергу и пришвартовался к нему, продержавшись так до тех пор, пока вода в трюме не замерзла и не превратилась опять в бруски льда. Тогда он взял курс на юго-запад и пришел на Ямайку, где, как я слышал, они заработали миллион долларов чистой прибыли...

Незаметно подкравшись к ничего не подозревающему пловцу, Билл неожиданно испустил несколько ужасающих воплей и со злостью погрозил ему веслом.

— Убирайся за канаты, — загремел его голос, перекрывая крики купающихся и шум прибоя. — Забирай себя и свои бесстыдные голые конечности из этого океана! И не подумай еще крутиться здесь, беспокоить меня и мутить мой океан, ты, несчастное оправдание существования пляжа!



ОЧЕРКИ

ВОЙНА В ПАТЕРСОНЕ

В Патерсоне, штат Нью-Джерси, разгорелась война, но война своеобразная. К насилию прибегает лишь одна сторона — владельцы фабрик. Их слуги — полицейские — избивают дубинками беззащитных мужчин и женщин, топчут лошадьми послушных закону граждан. Их наймиты — вооруженные сыщики — расстреливают ни в чем не повинных людей. Принадлежащие владельцам фабрик газеты «Патерсон пресс» и «Патерсон колл» печатают подстрекательские статьи, призывают к преступлениям, к насильственным действиям против руководителей стачки. Их ставленник Керролл, главный судья города, выносит суровые приговоры мирным пикетчикам, арестованным во время полицейских облав. Полиция, печать, суд — все в бесконтрольном распоряжении хозяев фабрик.

Их противники — двадцать пять тысяч рабочих шелкоткацких фабрик. Из них в активной борьбе участвуют не более десяти тысяч. Единственное их оружие — линии пикетов.

Позвольте мне рассказать вам о том, что я увидел в Патерсоне, и вы сами решите, которая из борющихся сторон «анархисты», действующие вразрез с «американскими идеалами».

В шесть часов утра моросил дождь. Мрачные и холодные улицы Патерсона были безлюдны. Но вот появилась группа — около двух десятков полицейских. Они медленно брели по улице с дубинками под мышкой. Мы обогнали их и направились к фабричному району. Затем мы стали нагонять идущих туда же рабочих; во-

ротники их пальто были подняты, руки засунуты в карманы.

Мы свернули на длинную улицу, по одну сторону которой тянулись здания шелкоткацких фабрик, а по другую — деревянные многоквартирные дома. Люди высывались из окон и дверей домов, весело смеясь и непринужденно болтая, как в праздничный день после завтрака. В их поведении не чувствовалось ни ожидания какой-либо беды, ни напряженности или страха. Тротуары были почти безлюдны, только у фабричных зданий медленно прогуливались взад и вперед под дождем человек пятьдесят. Они ходили парами: мужчины, молодые парни, кое-где мужчина с женщиной.

С наступлением дня потеплело. Многие вышли из домов и стали расхаживать по улице, собираясь небольшими группами на углах. Они энергично жестикулировали, но разговаривали вполголоса, часто поглядывая на боковые улочки.

Неожиданно появился полицейский, размахивая дубинкой.

«А-а-а...» — тихо прокатилось по толпе.

Шесть мужчин укрылись от дождя под навесом у входа в пивную. «Проходите! Нечего здесь стоять!» — гаркнул полицейский, надвигаясь на них. Они спокойно повиновались. «Освободите улицу! Немедленно расходитесь по домам! Не стойте здесь!» Все молча расступились перед ним, но вновь вернулись на прежнее место, как только он прошел. Появились еще полицейские. Грубо, с бранью расталкивали они народ, но это ни к чему не приводило. Никто им не отвечал. Злые, небритые, с мутными глазами, эти полицейские за девять недель непрекращающейся борьбы со стачечниками, очевидно, дошли до полного изнеможения.

На тротуаре у фабричных зданий пикетчиков насчитывалось уже примерно четыреста человек. Несколько полицейских продирались сквозь толпу, выискивая, к чему бы придраться. Под охраной двух сыщиков прошел рабочий, держа в руке ведро с завтраком. «Вон! Вон отсюда!» — раздалось с разных сторон. Двое молодых итальянцев, которые стояли, прислонившись к фабричной ограде, выкрикнули насмешливую ирландскую угрозу: «Скэб, поди-ка сюда, я тебе голову оторву!» Поли-

цейский грубо схватил парней за плечо. «Проваливайте к черту отсюда!» — закричал он, оттаскивая их к перекрестку и награждая пинками. Толпа хранила молчание, и никто не шелохнулся.

Несколько далее по улице мы увидели, как толстый полицейский вдруг остановился перед молодой женщиной с зонтиком, стоявшей в пикете. «Какого черта вам-то здесь нужно? — рявкнул он. — А ну, убирайтесь домой!» — И он поднес дубинку прямо к ее носу. «Не пойду я домой! — пронзительно закричала она со сверкающими от гнева глазами. — У, ты, толстая морда!»

Пикетчиков становилось все больше. Собирались молча. Группами, парами забастовщики патрулировали вдоль тротуаров. Никто уже не смеялся. В глазах у всех горела ненависть. Ведь забастовщики в большинстве своем были пылкие итальянцы, а полицейские — жестокие, тупые звери, которые вот уже девять недель оскорбляли и избивали их. И я подумал, надолго ли хватит их терпения.

Дождь полил сильнее. Я попросил у одного мужчины разрешения постоять на крыльце его дома. Перед крыльцом стоял полицейский. Звали его, как я узнал позже, Маккормак. Мне пришлось обойти его, чтобы подняться на ступеньки.

Вдруг он обернулся и грозно спросил владельца дома: «Они все живут в этом доме?» — Мужчина указал на себя и еще трех забастовщиков, а затем отрицательно мотнул головой, указывая на меня.

— Тогда убирайся отсюда к дьяволу! — заорал полицейский, ткнув в меня дубинкой.

— Этот джентльмен разрешил мне стоять здесь. Дом принадлежит ему.

— Ничего не значит, делай, что я тебе приказываю. Убирайся отсюда, да поскорее, черт возьми!

— И не подумаю!

Тогда он подскочил ко мне, схватил за руку и силой стащил на тротуар. Второй полицейский схватил меня за другую руку, и они дали мне пинка.

— Ну, теперь убирайся с этой улицы, — заявил полицейский Маккормак.

— Не желаю уходить ни с этой, ни с какой другой улицы. Если я нарушил закон — арестуйте меня.

Маккормак был ужасно смущен моим требованием. Он не собирался меня арестовывать и заявил об этом с множеством проклятий.

— Ваш номер я заметил, — сказал я любезно, — не скажете ли вы мне теперь ваше имя?

— А я раскусил твой номер, — проревел он. — Ты арестован.

Он положил мне руку на плечо и повел по улице.

Полицейский был явно недоволен тем, что ему пришлось меня арестовать, так как он не мог предъявить мне никакого обвинения. Я ровным счетом ничего не сделал. Он чувствовал, что должен заставить меня сказать хоть что-нибудь, что можно было бы выдать за нарушение закона. Чтобы добиться этого, он проклинал меня, осыпая ругательствами и непристойными словами, грозил своей дубинкой и цедил сквозь зубы: «Ты... болван!.. Хотел бы я выбить из тебя дубинкой всю дурь!»

На все эти угрозы я отвечал веселыми шутками.

Двое других полицейских пришли ему на помощь и осыпали меня новыми ругательствами. Но вскоре я заметил, что они повторяются, и немедленно сообщил им об этом. «Стоило мне проделывать весь путь до Патерсона, чтобы взять верх над каким-то фараоном!» — заявил я. Эврика! Наконец-то они уличили меня в преступлении. Когда я был доставлен к судье, именно это мое замечание было поставлено мне в вину.

Меня втиснули в полицейский фургон и повезли под яростный звон колокола вдоль линии пикета. Мы ехали под крики «вон!» и иронические приветствия. Толпа с воодушевлением махала нам руками.

После допроса в главном управлении меня заперли в камеру. Она была около четырех футов в ширину и семи футов в длину, а потолок был всего на фут выше человеческого роста. В ней помещались железная койка, подвешенная на цепях к боковой стенке, и грязная параша в углу. В подобные камеры три дня назад бросили большую партию пикетчиков. Их сажали по восемь, девять человек в камеру и держали без пищи и воды в течение двадцати двух часов. Среди них была молодая девушка лет семнадцати, которая, идя во главе процессии рабочих, подошла вплотную к сержанту полиции и предложила ему арестовать их всех.

Несмотря на ужасные условия, усталость и жажду, эти заключенные *не переставали весело что-то выкрикивать и петь весь день и всю ночь напролет.*

Примерно через час наружная дверь с лязгом открылась и полицейские втокнули в коридор около сорока пикетчиков, смеявшихся и перебрасывавшихся шутками. Их заперли в камеры, по двое в каждую. Вскоре поднялся адский шум. Заключенные, не сговариваясь, разом приподнимали тяжелые железные койки и с грохотом ударяли ими о металлические стены. Это напоминало пальбу целой батареи.

— Да здравствует ИРМ! — выкрикнул кто-то. И сейчас же все в один голос откликнулись: «Ура!»

— Да здравствует главарь бездельников! (По адресу начальника полиции Бимсона.)

— Долой! — заорали сорок глоток. В этом крике чувствовалась ненависть.

— К черту Макбрайда!

— Доло-о-о-й! — В железной коробке тюрьмы звуки разносились очень гулко, и этот крик был ужасен и грозен.

— Да здравствует Хейвуд!¹ Да здравствует Единый Профсоюз! Ура! Да здравствует стачка! К черту полицию! Долой! Долой! Ура!

— Музыку! Музыку! — кричали итальянцы. В ответ на это какой-то голос запел, подражая гитаре: «Трень-брень, трень-брень», — а другой, сочный тенор, затянул первый куплет итало-английской песенки, написанной и положенной на музыку одним из участников забастовки. Песенка предназначалась для собраний забастовщиков. Запевала обращался к хору:

«Нравится ли вам мисс Флинн?»²

Хор: «Да! Да! Да! Да!»

«Нравится ли вам мэр Макбрайд?»

Хор: «Нет! Нет! Нет! Нет!»

¹ Уильям Д. Хейвуд («Большой Билл») — руководитель Западной федерации горняков, один из основателей ИРМ и организатор многих рабочих выступлений. Впоследствии вступил в коммунистическую партию. (Прим. ред. американск. изд.)

² Елизабет Гэрли Флинн — в то время одна из руководителей ИРМ. Позднее активная участница рабочего движения и руководящий деятель коммунистической партии США. (Прим. ред. американск. изд.)

«Ура! Да здравствует ИРМ!»

Хор: «Ура! Ура! Ура!»

— Бис! Бис! — закричали все, хлопая в ладоши, гремя койками. Появился полицейский и потребовал прекратить шум. Его встретили криками «долой!» и насмешливыми возгласами. Кто-то попросил воды. Полицейский налил полную жестяную кружку и поднес ее к двери камеры. Вдруг из-за двери просунулась чья-то рука и вышибла кружку из его рук. «Скэб! Убийца!» — пронзительно закричали отовсюду. Полицейский ретировался. Шум продолжался.

Приближалось время судебного разбирательства у главного судьи города, но, очевидно, в управление сообщили, что в окружной тюрьме нет больше свободных мест, так как неожиданно появились полицейские и стали отворять двери камер. Забастовщики с радостными возгласами покинули тюрьму. Их голоса доносились до меня с улицы, откуда освобожденные, смешавшись с ожидавшей их у ворот тюрьмы толпой, направились обратно на линию пикетов.

Вскоре я предстал перед главным судьей Кэрроллом. У мистера Кэрролла было умное, жестокое, неумолимое лицо, как у большинства чиновников полицейского суда. Но он хуже большинства таких чиновников. Он приговаривает нищих к шести месяцам заключения в окружной тюрьме, не дав им сказать ни слова в свою защиту. Он также посылает маленьких детей туда, где они оказываются в обществе наркоманов и бродяг, людей с открытыми гноящимися язвами на теле. Он заключает их в окружную тюрьму, где не хватает спертого воздуха, где в похлебке плавают мухи и тараканы, а взрослые сходят с ума.

Мистер Кэрролл прочел обвинительный акт против меня. Затем мне разрешили рассказать, что со мной произошло. Полицейский офицер Маккормак преподнес такое хитросплетение лжи, которое, я уверен, он сам никогда не сумел бы состряпать. «Джон Рид, — заявил главный судья, — двадцать дней». Этим все и ограничилось.

Так я попал в окружную тюрьму. В приемной тюрьмы меня вновь допросили, обыскали, чтобы проверить, нет ли у меня оружия, и отобрали деньги и ценные вещи. Затем распахнулась огромная железная решетчатая дверь, я спустился на несколько ступенек и оказался

в огромном пустом помещении, куда выходило три яруса камер. Около восьмидесяти заключенных бродили вдоль стен, разговаривали, курили, ели переданные с воли продукты. Более половины заключенных составляли забастовщики. Все они были в собственной одежде.

Как не внесшие залога в пятьсот долларов, они вынуждены были в тюрьме дожидаться Большого жюри, которому предстояло решить их дело.

В центре помещения, окруженный тесной толпой низкорослых людей со смуглыми лицами, возвышался «Большой Билл» — Хейвуд. Он что-то объяснял столпившимся вокруг него людям, и его огромные руки двигались в такт словам. Широкое, с резкими чертами лицо Хейвуда, испещренное рубцами и шрамами, было словно высечено из камня. Оно излучало спокойствие и силу. Арестованные забастовщики — один из многих маленьких отрядов, отчаянно сражавшихся в авангарде трудящихся — оживали и набирались сил при одном лишь взгляде на Билла Хейвуда, при звуке его голоса. Они смотрели на него с нескрываемой любовью. Вялые лица, помертвевшие от разъедающей рутины повседневной работы на лишенных солнца фабриках, озарялись надеждой и пониманием. На лицах, покрытых рубцами и кровоподтеками от ударов полицейских дубинок, появлялись улыбки при одной мысли, что они вернутся обратно на линию пикетов. У некоторых забастовщиков лица покрылись морщинами и исхудали от девятинедельного голодания и нищеты. На них были видны следы глубокого страдания и знаки страшной жестокости полиции. Но ни на одном лице не было заметно разочарования, колебания или страха. Один итальянец сказал мне, сверкая глазами: «Мы все — единый большой союз. Слово «ИРМ» запечатлено в сердцах народа».

— Да! Да! Верно! ИРМ! Один союз! — заговорили наперебой все тихими, но полными чувства голосами, толпясь вокруг.

Я обменялся с Хейвудом рукопожатием.

— Ребята, — сказал Хейвуд, указывая на меня, — этот человек хочет разобраться в событиях. Расскажите ему все.

Они окружили меня, пожимали мне руки, улыбались, приветствовали меня.

— Как плохо, что ты попал в тюрьму, — говорили они с сочувствием. — Мы все расскажем. Да. Да. Ты славный парень.

И они рассказали мне все, что могли. В большинстве своем они были еще очень слабы и истощены после ужасной ночи в камере предварительного заключения. Некоторых забастовщиков арестовали, когда они, пикетируя, ходили взад и вперед вдоль фабричных зданий. Их поставили в ряд у стены, а затем отправили в тюрьму за участие в «незаконном сборище». Других дубинками загнали в полицейский фургон, обвинив в «бунте», в то время как они, возвращаясь домой после пикетирования, спокойно переживали на путях, когда пройдет поезд. Они должны были предстать перед тем же Большим жюри, которое ранее признало виновными Хейвуда и Гэрли Флинн. *Четверо присяжных были владельцами шелкоткацких фабрик, один — главой местного отделения компании Эдисона (рабочих которой Хейвуд пытался поднять на забастовку). Среди них не было ни одного рабочего.*

— Мы не внесли залога, — сказал один из забастовщиков, покачивая головой. — Мы останемся здесь. Пусть набивают проклятую тюрьму. Скоро здесь не будет свободного места, и они не смогут продолжать арестовывать пикетчиков.

В этот день в тюрьму пускали посетителей. Я подошел к двери, чтобы поговорить с другом. За дверью находилась приемная; она была полна женщин и детей, державших свертки, картонные коробки и ведерки, — любовно приготовленные лакомства и всякие мелочи, их принесли голодные, оборванные жены и дети, чтобы облегчить своим мужьям и отцам пребывание в тюрьме. В комнате слышались рыдания, по изможденным лицам текли слезы. Дети через решетку разглядывали небритые лица отцов и старались коснуться их руками...

Надзиратель приказал мне идти в «отделение для осужденных», где меня заставили влезть в ванну и надеть арестантскую одежду. Не буду и пытаться описывать все ужасы, которые я наблюдал в этом помещении. Достаточно сказать, что более сорока человек бродили по длинному коридору, с одной стороны которого были расположены двери камер, что свежий воздух и свет проникали сюда через единственное маленькое воронко-

образное отверстие в потолке, что у одного заключенного на ногах были сифилитические язвы, а тюремный врач лечил его пилюлями с сахаром от «нервов», что семнадцатилетний мальчик без приговора суда оставался в этом коридоре, лишенном солнца, в течение более девяти месяцев; что сидевшего здесь наркомана кто-то из тюремных служащих регулярно снабжал кокаином и что день и ночь в коридоре звучали страшные монотонные крики человека, лишившегося рассудка в этом аду; но продолжавшего оставаться среди нас.

В этом отделении для «осужденных» было около четырнадцати стачечников: итальянцев, литовцев, поляков, евреев, был и один француз и один «свободнорожденный» англичанин. Этот англичанин был чудесный парень. Он был единственным англосаксом среди арестованных пикетчиков, не считая руководителей, и, пожалуй, единственным, кто был арестован действительно за пикетирование. Его осудили за то, что он оскорбил хозяина, который вышел из ворот фабрики и приказал ему сойти с тротуара. «Подождите, вот я выйду отсюда, — говорил он мне. — Если только чертовы рабочие, говорящие по-английски, не пойдут в пикеты, я им покажу!»

Был здесь и один поляк, обладатель аристократических манер, чрезвычайно чуткий человек, член местного стачечного комитета, прирожденный борец. Он занимался чтением курса лекций Боба Ингерсолла, переводя их всем остальным. Похлопывая рукой по книге, он сказал с улыбкой: «Мне все равно. Могу оставаться здесь хоть целый год...»

Весело смеясь, забастовщики рассказывали мне, как духовенство города Патерсона пыталось со своих кафедр убедить их выйти на работу, вновь вернуться к подневольному труду, отдаться на милость владельца фабрики — и все во имя веры! Они рассказали о постыдных и смешных переговорах между духовенством и стачечным комитетом, в которых духовенство сыграло роль Иуды. Было трудно поверить этому, пока я не прочел в газете проповедь, произнесенную накануне в пресвитерианской церкви преподобным Уильямом А. Литтлом. У него хватило бесстыдства поносить руководителей стачки, советовать рабочим быть почтительными и покорствовать своим хозяевам, внушать им, что причиной их бедствий являются пивные, говорить об ужасной ис-

порченности тех рабочих, которые развлекаются в воскресенье, и нести прочий вздор подобного рода. И это в то время, когда люди боролись за самое свое существование и торжественно воспевали братство человечества.

Был в тюрьме и штрейкбрехер — толстяк с отвислыми щеками. Судья засадил его сюда по ошибке. Забастовщики подвергли его полнейшему ostracismu. Они вставали и уходили, если он подсаживался к ним. Никто с ним не разговаривал, все словно не замечали его присутствия, поэтому он находился в полнейшем и печальнейшем одиночестве.

— Мне это послужит уроком, — жалобно простонал он. — Никогда, никогда больше я не буду скэбом!

Ко мне подошел молодой итальянец с газетой и показал подряд три статьи. Одна была под заголовком «Американская федерация труда надеется на следующей неделе прекратить забастовку», другая — «Виктор Берчер заявил: «Я — член Американской федерации труда и не питаю особой любви к ИРМ в Патерсоне» и третья — «Социалисты Нью-Арка отказываются помогать забастовщикам Патерсона».

— Я не понимаю, объясните мне, — спрашивал он, глядя на меня жалобно. — Я — социалист, я состою в профсоюзе. Я бастую вместе с ИРМ. Социалистическая партия говорит: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» АФТ говорит: «Все рабочие, сплотитесь!» Каждая из этих организаций говорит: «Я защищаю рабочий класс». Хорошо, говорю я, я и есть рабочий класс. Я объединяюсь, я бастую. Тогда они мне говорят: «Нет, ты не должен бастовать». Что это? Я не понимаю. Объясните мне.

Но я не мог ему ничего объяснить. Все, что я мог сказать ему, это то, что значительная часть Социалистической партии и Американской федерации труда забыла о классовой борьбе и, как видно, увлеклась забавной игрой по всем правилам капиталистического общества под названием: «Чур, чур, кто имеет право голоса!»

Когда срок моего заключения окончился, я попрощался со всеми этими добрыми, жизнерадостными, мужественными людьми, облагороженными участием в высоком деле. Именно они являлись душой стачки, а не Билл Хейвуд, Гэрли Флинн или какая-либо другая лич-

ность. И если они даже потеряют всех своих руководителей, из их рядов выйдут новые вожди, так как *сами массы* поднялись на борьбу, и стачка будет продолжаться. Нет вы представьте себе это! Двенадцать лет они терпели поражение в стачечной борьбе, двенадцать долгих лет разочарований и неисчислимых страданий. Они не должны опять проиграть, они не могут проиграть.

Когда я проходил через переднюю общую камеру, все вновь столпились вокруг меня, теребили за рукав, пожимали руку, дружески, горячо, доверчиво и красноречиво. Хейвуд был взят на поруки.

— Вы выходите на волю, — твердили они приветливо. — Вот хорошо. Мы рады, что вы уходите. Скоро и мы будем свободны и обязательно вернемся в пикеты.

ВОЙНА В КОЛОРАДО

Херрингтон (юрисконсульт «Колорадо фьюэл энд айрон компани»): Я не знаю, что имелось в виду под термином «социальная свобода».

— Понимаете ли вы, мистер Уэлборн, что подразумевал под этим свидетель?

М-р Уэлборн (президент «Колорадо фьюэл энд айрон компани»):

— Не понимаю.

(Из материалов следственной комиссии Конгресса Соединенных Штатов.)

Я прибыл в Тринидад примерно через десять дней после массовых убийств в Ладлоу. По главным улицам города расхаживали сотни рослых горняков с мужественными лицами, в праздничных костюмах, собираясь небольшими группами на перекрестках улиц. То и дело кто-нибудь входил и выходил из здания стачечного комитета. Горняки спокойно и непринужденно прогуливались взад и вперед, переговариваясь через улицу на разных языках, словно толпа фермеров, собравшихся на сельскую ярмарку. Бросалось в глаза только отсутствие среди них женщин. Женщины еще несколько дней прятались в подвалах...

День был ясный, солнечный. Магазины и кинотеатры открыты. По улицам двигались трамваи, автомобили, мелькали скотоводы верхом на лошадях. Полицейские стояли на перекрестках, вертя в руках дубинки. Ничто не напоминало о том, что три ночи назад по улицам мчалась разъяренная толпа вооруженных людей, готовых к отчаянной схватке на этих улицах с войсками

милиции. На востоке возвышалась господствующая над городом снежная вершина Фишерс-пик. С севера и востока город окаймляют крутые скалистые предгорья, поросшие карликовой сосной, где в каньонах лежат угольные поселки, которые в настоящее время заняты вооруженной охраной, установившей здесь пулеметы и прожекторы.

В помещение стачечного комитета ворвался человек и сообщил:

— По улице идут три «пастуха скэбов».

Все сразу бросились к дверям. Я увидел, что на тротуарах прохожие остановились, словно замерли; все глаза обратились в одну сторону. Жизнь города вдруг словно оборвалась. В наступившей тишине топот копыт проскакавшей лошади прозвучал неестественно громко.

Три солдата милиции¹ торопливо шагали по направлению к станции. Они шли по мостовой, не глядя по сторонам, громко и нервно перебрасываясь шутками; шли как сквозь строй между двух рядов толпившихся на тротуаре людей, в глазах которых горела ненависть. Стачечники молчали, никто даже ни разу не свистнул. Все только смотрели на солдат, замерев, как охотничья собака, делающая стойку, и, лишь только солдаты проходили, толпа инстинктивно, молча смыкалась позади них. Город словно затаил дыхание. Трамваи остановились, ничего не было слышно, кроме тяжелых шагов тысячи безмолвных рабочих и резких голосов солдат милиции. Затем подошел поезд, и солдаты вошли в вагон. Мы вернулись назад. Город вновь ожил. В здании профсоюзов, где кормили женщин и детей, как раз окончились школьные занятия. Дети распевали одну из песен стачечников:

В Колорадо идет борьба за свободу горняков,
Чтобы низвергнуть тиранию злых денежных мешков.
Они попирают твою и мою свободу.

Но право побеждает.

Славьте, ребята, славьте дело Союза,
Колорадского Союза горняков!
Слава, слава нашему Союзу,
Наше дело побеждает!

¹ М и л и ц и я — вооруженные формирования отдельных штатов, предназначенные для «поддержания внутреннего порядка». Регулярные силы милиционной армии называются национальной гвардией, которая подчинена не только правительству штатов, но и федеральному правительству.

На школьной доске кто-то написал: «Если благочестивый лицемер раздает в трущобах Нью-Йорка милостыню во имя Христа, а в Колорадо расстреливает горняков, то где же здесь духовный прогресс? Если в Нью-Йорке он ратует за уничтожение торговли белыми рабынями, а в другом месте создает для нее благоприятные условия, получит ли он воздаяние на том свете?»

Я спросил, кто это написал, и мне сообщили, что слова эти написаны одним тринидадским доктором, не имеющим никакого отношения к Союзу. Эта стачка особенно замечательна тем, что девять десятых служащих и специалистов в районе горнозаводских поселков являются ее горячими сторонниками.

После событий в Ладлоу к борющимся забастовщикам присоединились с оружием в руках врачи, священники, шоферы, аптекари и фермеры. Их жены организовали Федеральный рабочий альянс даже среди тех женщин, чьи мужья не были членами профсоюза. Они стремились обеспечить участников стачки едой, одеждой и медикаментами. А ведь это те самые люди, которые при подобных обстоятельствах обычно образуют «Лиги охраны закона и порядка». Они считают себя выше рабочих и думают, что их интересы совпадают с интересами предпринимателей, к тому же многих лавочников Тринидада стачка разорила. А тут одна очень почтенная женщина, жена священника, сказала мне: «Я не понимаю, зачем стачечники вообще заключили перемирие, не перестреляв предварительно всю охрану на шахтах и милицию и не взорвав динамитом шахты». Ее слова очень знаменательны, так как именно этот круг людей отличается наибольшей ограниченностью и самодовольством.

В этой стачке нет ничего особо революционного. Стачечники — не социалисты, не анархисты и не синдикалисты. Они не собираются конфисковать шахты, уничтожать существующую систему наемного труда; производственная демократия для них — пустой звук. Хозяина-босса эти люди почитают как бога. Они неприятельны, терпеливы, их легко прибрать к рукам, но они впали в такую отчаянную нищету, что сами не знают, что им предпринять. В Америку они приехали, страстно желая того, что, казалось, обещала им статуя Свободы в нью-йоркской гавани; приехали из стран, где

закон считают почти священным, а тут, думали они, закон еще справедливее, они от души желали подчиняться ему. Но скоро они обнаружили, что босс, которому они доверяли, самым бессовестным образом нарушает законы.

Профсоюз казался им главным залогом счастья, гарантией того, что они получают свободу распоряжаться своей жизнью. Деятели профсоюза убеждали их, что если они объединятся и будут стоять друг за друга, то смогут заставить босса платить им заработную плату, достаточную для того, чтобы не умереть с голоду, и обеспечить им безопасность на шахте. В Союзе они сразу встретили тысячи товарищей-рабочих, не прекращающих борьбы и готовых им помочь. Это море человеческой симпатии было абсолютно неожиданным для колорадских стачечников. Один мексиканец сказал мне: «Мы были в отчаянии и вдруг почувствовали безграничную дружбу наших братьев, которых раньше и не знали».

Значительная часть рабочих, принимавших участие в этой стачке, была привезена сюда в качестве штрейк-брехеров в 1903 году во время большой забастовки. В то время более семидесяти процентов горняков в Южном Колорадо говорили на английском языке: американцы, англичане, шотландцы и уэльсцы. Требования у них фактически были те же самые, что и теперь. До этого — начиная с 1884 года — каждые десять лет устраивались подобные стачки. Милиция и охрана шахт безжалостно убивали, арестовывали и высылали за пределы штата сотни горняков. За два года до стачки 1903 года шесть тысяч человек наперекор законам штата были занесены в черные списки и уволены с шахт за то, что были членами профсоюза.

Несмотря на закон о восьмичасовом рабочем дне, никто не работал менее десяти часов. А когда горняки подняли забастовку, генеральный адъютант Шерман Белл, командовавший милицией, приостановил действие права *habeas corpus*¹, заявив при этом: «К черту конституцию!» После подавления стачки десять тысяч человек оказались занесенными в черные списки. Администрация шахт, установив, кто более терпеливо пере-

¹ Право арестованного требовать судебного рассмотрения в течение суток вопроса о законности его ареста.

носит гнет, стала умышленно ввозить для работы на шахтах иностранцев, тщательно подбирая на каждой шахте людей, говорящих на разных языках, чтобы рабочим труднее было объединиться. В рабочих поселках за порядком следила военная охрана, имевшая право за любой проступок чинить на месте суд и расправу.

Для того чтобы разобраться в ходе стачки, надо иметь представление о топографии района Южного Колорадо. Из Денвера прямо на юг, на Тринидад, проходят две линии железной дороги. На восток простирается огромная плоская равнина, которая продолжается и за границей Канзаса. На западе находятся предгорья Скалистых гор, тянущихся (грубо говоря) с севера на юг, а позади них возвышаются великолепные снежные вершины кряжа Сангре де Кристо. Большинство шахт разбросано в каньонах, между отрогами гор, а вокруг шахт расположены поселки: дома для рабочих, лавки, пивные, шахтные постройки, школы, почтовые отделения — все это расположено на земле частных лиц, повсюду укрепления и патрули, как в государстве, находящемся на военном положении.

Три огромные угольные компании: «Колорадо фьюэл энд айрон компани», «Рокки маунтен фьюэл компани» и «Виктор америкен фьюэл компани» — производят шестьдесят восемь процентов всего добываемого в шахте каменного угля, а в рекламе указывают, что представляют девяносто пять процентов всей добычи. Естественно, что они контролируют цены на рынке и политику всех остальных угольных компаний штата. Из этих трех компаний «Колорадо фьюэл энд айрон компани» добывает сорок процентов всего получаемого здесь угля, а мистер Рокфеллер владеет сорока процентами акций этой компании. Таким образом, Рокфеллер полностью контролирует политику всей горнодобывающей промышленности в штате Колорадо. На суде он заявил, что безоговорочно доверял знаниям и способностям служащих «Колорадо фьюэл энд айрон компани». Он показал, что ничего не знал об условиях, в которых работали горняки, и все передоверил президенту Уэлборну и председателю правления Бауэру. Они же в свою очередь торжественно заявили, что тоже ничего не знали об условиях труда горняков и во всем полагались на своих подчиненных. Они даже не знали, сколько у мистера Рок-

феллера акций. Тем не менее эти господа осмелились выступить в качестве свидетелей и заявить, что у горняков нет оснований для недовольства, что они живут, «как счастливая семья».

Немало велось разговоров о высоком заработке горняков, однако установлено, что в большинстве своем продавцы универсальных магазинов зарабатывают больше. Забойщик, то есть рабочий, который непосредственно добывает уголь, получает плату за тонну чистого угля, погруженного в вагонетки и выданного на-гора. Пустая порода в счет не принимается. Администрация шахт составляет блестящие отчеты о горняках, зарабатывающих пять долларов в день. Но в среднем в Колорадо горняк работает на шахте 191 день в году, и средний заработок забойщика составляет 2,12 доллара в день. Во многих местах он еще ниже. Те, кто в «контакте» с компанией, получают высокую заработную плату. Но остальные, как известно, и за восемь дней не могут заработать на взрывчатку, которую оплачивают из своих денег. Каждый месяц они должны вносить по доллару на медицинское обслуживание, а в некоторых местах — за лечение сломанной ноги или руки — еще на десять долларов больше. Обычно доктор посещает шахту раз в две недели или около этого, и поэтому, если он понадобится в другое время, больной должен платить за внеочередной визит.

Многие шахтерские поселки принадлежат компании, поэтому мэром города является управляющий шахты. Школьный совет состоит из служащих компании. Единственная лавка в городе — лавка компании. Все дома принадлежат компании и лишь сдаются ею в аренду горнякам. Налога на недвижимость нет, вся она принадлежит компании...

По сообщению члена Государственной комиссии по труду, с 1901 по 1910 год число погибших в угольных шахтах Колорадо относилось к числу убитых во всех остальных штатах, вместе взятых, как 2 : 1, а если взять период с 1910 года до настоящего времени, то отношение составит 3¹/₃ : 1. Было установлено, что угольные компании не принимали мер по охране безопасности рабочих, пока их не принудили к этому специальным законом, но и после этого они не выполняли предписаний государственного горного инспектора...

Следственный судья округа Лас-Анимас одновременно возглавляет похоронное бюро, к которому официально обращаются угольные компании. До недавних пор служащие по крайней мере двух угольных компаний владели акциями этого бюро. Присяжные следственного суда набираются из служащих компаний по назначению управляющих шахт. За пять лет, во время которых было особенно много несчастных случаев, только один раз вердикт присяжных округа Лас-Анимас возложил ответственность на компанию. Понятно, что для администрации шахт эти вердикты были особенно ценны, так как они избавляли ее от опасности предъявления иска о возмещении убытков. В этом округе за десять лет не было возбуждено ни одного иска о возмещении убытков.

Все это является еще далеко не полной картиной того, как угольные компании подчиняют себе всю жизнь в округах Лас-Анимас и Уэрфано. Окружные прокуроры, шерифы, члены комиссий округа и судьи — все фактически назначаются «Колорадо фьюэл энд айрон компани». Даже для того чтобы послать делегата на съезд, созываемый для выборов мирового судьи, нужно было созвониться по телефону с Денвером и испросить разрешения у Кэсса Херрингтона — политического директора «Колорадо фьюэл энд айрон компани»...

После стачки 1903 года профсоюз горняков был вытеснен из этой местности. В 1911 году он восстановил свое отделение в Тринидаде. После этого стали распространяться слухи о готовящейся стачке, и только с тех пор администрация начала хоть частично подчиняться законам. Но злоупотребления не прекращались, и горняки поняли наконец, что, для того чтобы обеспечить постоянное выполнение законов их хозяевами, они должны вести переговоры с ними коллективно.

Профсоюз горняков предпринимал все, что было в его силах, чтобы предотвратить стачку. Он обратился к губернатору Эммонсу с просьбой созвать конференцию представителей компаний, чтобы обсудить с ними требования рабочих. Но те отказались встретиться с рабочими, продолжали отказываться от этого и в дальнейшем. Затем в Тринидаде был созван съезд рабочих и служащих шахт и было выработано обращение ко всем предпринимателям с просьбой встретиться со своими рабочими и выслушать их претензии. В ответ на это хо-

злева компании начали готовиться к открытой войне. Они пустили в ход мощную машину по борьбе с забастовками. Эта беспощадная машина за тридцать лет победоносных боев с горняками достигла полного совершенства. Из Техаса, Нью-Мексико, Западной Виргинии и Мичигана были привезены вооруженные бандиты — штрейкбрехеры, охранники, имевшие большой опыт подавления волнений среди рабочих, искатели наживы, дезертиры из армии и бывшие полицейские. В. Ф. Рено, начальник сыскного отдела «Колорадо фьюэл энд айрон компани», учредил в подвале денверского отеля пункт по вербовке. Всем, кто умел стрелять, он раздавал винтовки и патроны и посылал их на шахты. Был заключен договор со знаменитым сыскным агентством «Болдуин-Фелтс» на поставку штрейкбрехеров. Многие его агенты, которые в других штатах привлекались к ответственности за убийство, теперь были назначены «помощниками шерифов» в южные округа штата. Кое-где на шахты доставили по двенадцать — двадцать пулеметов и передали в их распоряжение...

Шестнадцатого сентября на съезде в Тринидаде делегаты всех шахт этого округа единогласно проголосовали за объявление стачки двадцать второго сентября. Они выработали следующие требования: официальное признание профсоюза, повышение заработной платы на десять процентов, восьмичасовой рабочий день, оплата непроизводительного труда и простоев, контроль за весовщиками, право покупать продукты в любом магазине, жить в любом доме и обращаться к любому врачу, проведение в жизнь колорадских законов о труде шахтеров и отмена системы вооруженной охраны шахт...

Профсоюз горнорабочих объявил, что для забастовщиков будут устроены палаточные лагеря. Откровенные угрозы администраций шахт и охраны повторить избивание и высылку рабочих, как в 1903 году, заставили самих горняков подумать о вооружении.

Двадцать третьего сентября шел дождь со снегом и град. Было страшно холодно. Рано утром охранники стали обходить шахтерские поселки, спрашивая у горняков, намерены ли они идти на работу. Когда они отвечали «нет», им предлагали убираться прочь. В Табаско охранники врываются в дома, выгоняли женщин и детей на снег, сваливая их вещи и одежду прямо на землю.

В Терцио рабочим предоставили час времени на то, чтобы покинуть город. Их домашний скarb был выброшен на улицу, а их самих охранники выгнали с шахты, угрожая винтовками и осыпая бранью. Повсюду в радиусе пятидесяти миль к выходу из каньонов брели по снегу группы мужчин, женщин с младенцами на руках и детей. У некоторых были повозки. Длинные вереницы кляч и разбитых телег, доверху нагруженных имуществом нескольких семейств, двигались по дорогам по направлению к открытой равнине.

В Прайоре компания, чтобы привлечь побольше рабочих, предоставляла им возможность строить на земле компании собственные дома. Теперь их выбросили из этих домов. Женщинам охранники говорили: «А ну, убирайтесь, а то мы вас выкурим!» В свое время в Западной Виргинии компания дала горнякам четыре дня срока. В Колорадо же было дано лишь двадцать четыре часа. Никто не был к этому подготовлен. Рабочих гнали без отдыха по горным каньонам, без вещей и одежды, а когда они прислали телеги за своим скарбом, им не позволили забрать его. Так было в Примеро и целом ряде других мест.

Палаток на месте не оказалось. Сотни беженцев расположились на открытой равнине, под непрекращающимся дождем и снегом; мужчины, женщины и дети собрались туда, куда велели им прийти их руководители. Но палаток все не было. Многие по два дня ночевали под открытым небом. Они рыли в земле ямы и прятались в них, как дикие звери. Им нечего было есть и пить. Тогда был проведен этот безумный налет на склады палаток в Денвере, и вдоль предгорий на протяжении пятидесяти миль начали возникать палаточные поселки, белевшие на фоне снега. Это было похоже на переселение народов. Из тринадцати тысяч горняков Колорадо, имевших перед стачкой работу, забастовало одиннадцать тысяч. Палаточные лагеря были размещены по особому стратегическому плану. Они нарочно располагались у входа в каньоны, ведущие к шахтам, чтобы караулить дороги, по которым могли быть доставлены штрейкбрехеры. Кроме огромного поселения в Ладлоу, были и другие: в Старквилле, Грей-Крике, Саффилде, Эйгьюлере, Уолсенбурге, Форбсе и пяти-шести других местах.

Матушка Джонс¹ все время появлялась в разных местах округа; она произносила речи, уговаривала горняков стоять за свои интересы, заботилась о детях, помогала устанавливать палатки, ухаживала за больными. А компания в это время призывала на помощь войска милиции. Она утверждала, что скоро начнутся насильственные действия, что матушка Джонс — опасный агитатор и что ее следовало бы выслать из штата. Губернатор Эммонс ответил, что если местные власти не справятся со стачкой, то войска милиции, конечно, будут посланы, но они ни в коем случае не будут использованы для того, чтобы обеспечить доставку штрейкбрехеров или какими-нибудь мерами запугать горняков.

«Я намерен, — заявил он, — положить конец поджигательским речам матушки Джонс. Я позабочусь о том, чтобы ей создали такие условия, в которых она не сможет апеллировать ко всей стране. Ей не позволят популяризировать требования стачечников за пределами штата в тех несдержанных выражениях, какие она употребляла в угольных районах».

Эмма Ф. Лэнгдон, местный секретарь социалистической партии, публично заявила: «Если хоть один волос упадет с головы матушки Джонс, я брошу клич всем честным женщинам Колорадо и призову их организовать и, если нужно, идти на Тринидад, чтобы освободить ее».

С тех пор и поныне социалистическая партия Колорадо хранит молчание, хотя вскоре после этого матушка Джонс была арестована и ее девять недель продержали в заключении в Тринидаде.

Первым делом, всех охранников и сыщиков произвели в «помощников шерифа». Управляющие шахтами сообщили шерифу по телефону, сколько «помощников шерифа» им нужно, и шериф выслал им почтой чистые бланки удостоверений. Руководители союза попросили шерифа Грисхэма назначить «помощниками шерифа» нескольких забастовщиков. Он ответил: «Я никогда не вооружаю обе стороны...»

Шериф Джефф Фарр сообщил, что забастовщики

¹ Мэри (матушка) Джонс — известная деятельница рабочего движения, не раз играла видную роль в борьбе рабочих, особенно горняков Западной Виргинии и Колорадо. (Прим. ред. американск. изд.)

укрепились на холме в пятьсот футов высотой, господствующем над шахтой Оуквью, и произвели тысячу выстрелов по постройкам (однако газетчики, расследовавшие это дело, нашли только три отверстия от пуль, да и те были пробиты в горизонтальном направлении). Затем завязалась ссора между забастовщиком греком и лагерным инспектором Бобом Ли из Сегундо (известным убийцей, некогда связанным с бандой Джесси Джеймса) — и грек выстрелил первым.

Повсюду охрана шахт старалась затеять беспорядки. В Соприсе они бросили динамитную бомбу в один из домов компании и пытались свалить вину на забастовщиков. Но на их беду один из заговорщиков рассказал обо всем этом. Содержание охраны обходилось компаниям очень дорого. Поэтому они хотели, чтобы это грязное дело осуществлялось войсками милиции за счет штата. Кроме того, палаточные лагеря забастовщиков серьезно препятствовали ввозу штрейкбрехеров на шахты.

Самым большим лагерем был лагерь в Ладлоу, расположенный на перекрестке двух дорог: из Бervина и Табаско на Гастингс и Делагоа. В лагере жило более тысячи двухсот человек двадцати одной национальности, и они познавали чудесную истину: что между людьми из различных стран нет никакой разницы. В течение двух недель совместной жизни мелкие расовые предрассудки и взаимное недоверие, которые в течение долгих лет прививали им угольные компании, начали исчезать. Американцы начали постигать, что славяне, итальянцы и поляки не менее их добросердечны, веселы, приветливы и храбры. Женщины ходили друг к другу в гости, болтали о своих детях и мужьях, носили заболевшим нехитрые лакомства. Мужчины играли вместе в карты или в бейсбол...

— До приезда в Ладлоу я недолюбливала иностранцев, — говорила одна женщина. — Но они во всем похожи на нас, только не говорят на нашем языке.

— Конечно, — отвечала другая. — Я всегда думала, что греки очень темный, невежественный, грязный народ. Но в Ладлоу они вели себя очень благородно. Не советую кому-нибудь дурно отзываться о них в моем присутствии.

Все стали изучать язык друг друга. А по ночам в Большой палатке устраивались танцы. Итальянцы обес-

печивали музыку, а остальные танцевали. Это было настоящее смешение народов. У этих измученных тяжелым трудом, забитых людей никогда раньше не было времени узнать друг друга...

Трудно поверить, что этому мирному лагерю охранники с шахт грозили разрушением. Однако они не были закоренелыми злодеями, а только черствыми людьми, действовавшими по приказанию других. А приказ был такой: стереть с лица земли лагерь в Ладлоу. Он стал поперек дороги мистеру Рокфеллеру в его погоне за прибылями. Ведь если рабочие будут так хорошо понимать друг друга, как это было в Ладлоу, конец кровавой эксплуататорской системы станет неизбежным.

Через неделю после основания лагеря в Ладлоу вооруженные банды стали угрожать, что они спустятся в каньон и уничтожат всех его жителей.

Взаимные посещения, игры и танцы прекратились. Лагерь объял страх. У рабочих не было ни организации, ни руководителей. Раздобыли всего-навсего семнадцать ружей и пистолетов и очень немного боеприпасов. Вооруженные мужчины долгие холодные ночи напролет несли караул, охраняя своих жен и детей, а по палаткам скользил луч прожектора, установленного на холме над Гастингсом.

В течение всей последней недели сентября по каньонам прибывали в лагерь все новые толпы людей. Они рассказывали о том, как их выгнали на снег из их домов, как поломали их мебель, а мужчин, избив, гнали по дороге под дулами винтовок. Всю эту неделю забастовщиков, отправлявшихся в горняцкие поселки за почтой, избивали и обстреливали. Им отказывали в праве передвигаться по дорогам. Распространился слух, что обитатели лагерей в Эйгьюлере опасаются за свою жизнь и вооружаются для защиты. Четвертого октября вооруженная охрана ворвалась на улицы поселка Олд Соприс, который расположен не на земле компании, и, угрожая револьвером, разогнала митинг забастовщиков, собравшихся в зале клуба. Повсюду по палаткам забастовщиков всю ночь скользили лучи прожектора, не давая спать женщинам и детям и заставляя мужчин по двадцать раз за ночь вскакивать, чтобы отразить атаку, которую они каждую минуту ожидали. Седьмого октября нападение было совершено.

Несколько забастовщиков направились в Гастингс за почтой. Их осыпали оскорблениями и не пустили в почтовое отделение. Когда они шли назад по дороге, какой-то охранник в Гастингсе выстрелил два раза им вдогонку. Пули пролетели у них над головой и попали в палатки. Через несколько минут на дороге, у подножия гор, остановился автомобиль. В нем сидел управляющий «Колорадо фьюэл энд айрон компани». По палаткам было сделано еще двадцать выстрелов. Из лагеря выбежала толпа разъяренных, громко кричащих людей. Только у семнадцати были ружья, остальные вооружились камнями, кусками угля и палками. Они бежали на равнину, но у них не было ни руководителя, ни плана действий. Появление забастовщиков послужило сигналом для нового залпа. Стреляли с холма, возвышающегося над Гастингсом, и из каменного дома, расположенного рядом с выходом из Гастингского каньона. Женщины и дети в ужасе выбежали из палаток и оказались под пулями. Охранники отступили перед бешеным натиском разъяренных забастовщиков. Борьба прекратилась, и забастовщики удалились в бешенстве, клянясь, что этой ночью они вернутся в горы и разнесут в пух и прах весь поселок Гастингс. Но руководители уговорили их отказаться от этого намерения.

На следующее утро ко времени завтрака кто-то опять начал палить по палаткам с проходящего мимо товарного поезда, а ночью луч прожектора, не переставая, скользил по лагерю, пока в четыре часа утра один из забастовщиков выстрелом не разбил вдребезги стекло прожектора. В это утро забастовщики, как всегда, прогуливались по дороге, ходили за почтой и поджидали прихода поезда. Некоторые играли в мяч на бейсбольном поле к востоку от железнодорожной станции. Вдруг с Гастингского холма раздался выстрел, и пуля попала как раз в самую гущу играющих. Человек сто с криком бросились бежать по полю за ружьями. Но не успели они добежать до палаток, как их начали обстреливать со стороны железнодорожного моста.

Забастовщики бросились толпой вдоль дороги к мосту. Человек сорок или пятьдесят невооруженных бежали впереди всех, а остальные рассеялись по равнине, поспешно заряжая свое устаревшее оружие патронами неподходящего калибра и пытаясь разобрать, откуда

стреляют. Затем они залегли за грудой наваленного около станции угля, не зная, что предпринять, не понимая, откуда раздаются выстрелы. Все это время стрельба со стороны моста продолжалась. Первый ряд забастовщиков приблизился к водокачке. Бросившись на землю, они открыли бешеный огонь. Вдруг кто-то закричал: «Милиция! Милиция подходит! Это ловушка! Назад в лагерь, назад к палаткам!» Толпясь и толкаясь, в панике, на бегу отстреливаясь через плечо, забастовщики устремились назад по полотну железной дороги. Но не успели они скрыться, как выстрелом с моста был убит проезжавший мимо верхом фермер Мак-Пауэлл; он не принадлежал ни к одной из сторон и просто возвращался домой.

Стрельба с моста продолжалась. Вскоре в Ладлоу прибыл поезд, двигавшийся на север, и Джек Маккари, специальный агент Колорадской и Южной железной дороги, сообщил газетным репортерам, что «здесь на железнодорожной ветке находилась группа помощников шерифа, пытавшихся что-то затеять». Небезынтересно отметить, что отряд милиции был погружен в Тринидаде в вагоны еще за час до того, как началась перестрелка, и что при первом выстреле поезд направился в Ладлоу.

Трое забастовщиков были ранены. Во второй половине дня обитатели лагеря начали с остервенением рыть окопы, так как с прибытием войск на станцию Ладлоу охранники и помощники шерифа спустились с холма и с моста, хвастливо уверяя, что Ладлоу они уже захватили, а до ночи овладеют и палаточным лагерем. Для забастовщиков наступила вторая ночь страха и ужаса. Никто не спал. До самого рассвета около двухсот мужчин пролежали в окопах. Из них только у семнадцати было огнестрельное оружие, а остальные запаслись только ножами, бритвами и топорами. Но на следующий день охранники вернулись в предгорье, крича, что в ближайшую ночь они вернутся на равнину и перережут всех этих скотов.

Два дня спустя три охранника промчались на автомобиле мимо палаточного лагеря в Соприсе, стреляя из своих пистолетов прямо по палаткам. Еще через четыре дня «Колорадо фьюэл энд айрон компани» водрузила на холме над Сегундо прожектор и пулемет. В городе был

избит пьяный охранник, оскорбивший женщину, и в ту же ночь город десять минут обстреливали из пулемета.

На следующий день было арестовано сорок восемь забастовщиков, мирно пикетировавших шахту в Старквилле, принадлежавшую Джеймсу Мак-Лафлину, шурину губернатора Эммонса. Им пришлось пройти пешком под конвоем вооруженных охранников все девятнадцать миль до Тринидада. Там их бросили в тюрьму.

Насилия продолжались. В Сегундо сыщики агентства «Болдуин-Фелтс» вторглись в Старый город, расположенный на земле, не принадлежащей компании, и под предлогом поисков оружия взломали топором дверь в доме частного лица. В Эйгьюлере охранники под угрозой расстрела произвели обыск в штабе забастовщиков, а в Уолсенбурге известный бандит Луи Миллер, имевший на своем счету пять доказанных убийств, и еще шесть вооруженных молодчиков разгуливали по улицам и избивали членов профсоюза. А. С. Фелтс, управляющий сыскным агентством «Болдуин-Фелтс», самолично явился к месту действий и немедленно заказал на сталелитейном заводе «Колорадо фьюэл энд айрон компани» в Пуэбло броневую машину, вооруженный пулеметом.

Слишком поздно руководители союза предприняли попытки раздобыть для забастовщиков оружие. Все склады боеприпасов были уже очищены администрацией шахт. Таким образом, к пятнадцатому октября, например, у двадцати пяти мужчин в Форбском лагере было всего семь ружей и шесть револьверов — все разных марок. А боеприпасов к ним было совсем мало. Лагерь в Форбсе был расположен вдоль дороги у входа в каньон, ведущий к Форбсской шахте. Это место несколько раз обстреливалось снайперами с вершины холмов. Особенно усилился обстрел после того, как забастовщики преградили штрейкбрехерам дорогу на шахты. Забастовщики, опасаясь за жизнь своих жен и детей, построили для них отдельный лагерь в стороне, на расстоянии трехсот ярдов.

Утром семнадцатого октября отряд вооруженных всадников спустился галопом по дороге на Ладлоу и спешил к железнодорожной ветки возле лагеря. Одновременно с ними со стороны Тринидада появился бронированный автомобиль Фелтса, сделал разворот и сейчас же навел свой пулемет на палатки. Удивленные

и испуганные забастовщики выскочили, держа винтовки наготове, но один из охранников, по имени Кеннеди (впоследствии он стал офицером милиции), приблизился, размахивая белым флагом и крича:

— Все в порядке, ребята! Мы из Союза. — Забастовщики опустили винтовки, а он продолжал: — Я хочу вам кое-что сообщить.

Они окружили его, чтобы услышать, что он хочет сказать. Он же вдруг выкрикнул:

— Я хотел вам сказать, что мы сейчас проучим вас, скоты.

И, опустив белый флаг, бросился на землю. В ту же секунду спешившиеся всадники дали залп по группе забастовщиков, убив одного из них наповал. Забастовщики в панике бросились назад к палаткам и через поле побежали к узкому ущелью, в котором они еще раньше решили укрыться в случае нападения. Пока они бежали, их все время поливали огнем из пулемета. Маленькому мальчику, бежавшему между палатками, прострелили в нескольких местах ноги, и он упал. Забастовщики сейчас же начали отстреливаться. Сражение продолжалось с двух часов дня до темноты. За это время раненый мальчик несколько раз пытался поползти до палаток, но на него всякий раз направляли пулемет. Его ранило девять раз, если не больше. Палатки были изрешечены пулями, мебель в них разбита на куски. Маленькая девочка, дочь жившего по соседству фермера, возвращалась в это время из школы. Она была ранена в лицо. В сумерках стрельба прекратилась, и нападающие отошли, но всю эту ночь забастовщики не отваживались вернуться в свои палатки...

Страх, который вселило в забастовщиков жестокое нападение «отряда смерти», почти уже утих, когда пять дней спустя забастовщики, проснувшись утром, увидели, что они опять окружены, что сеюший смерть пулемет вновь направлен на лагерь и что еще три пулемета наведены на них с расстояния примерно в двести ярдов. Когда взошло солнце, со всех сторон с предгорий хлынули на лагерь вооруженные люди. Их было более сотни. Под прикрытием винтовок помощник шерифа округа Лас-Анимас Зик Мартин подошел к палаткам и приказал всем мужчинам построиться гуськом и идти к линии железной дороги. Там их выстроили и оставили

стоять под дулами пулеметов. По дороге их избивали и осыпали бранью. Затем начались повальные обыски в палатках. Все оружие забастовщиков было отобрано, чемоданы открыты, кровати поломаны, деньги и ценности украдены. Солдаты ворвались в расположенный поблизости дом фермера, ветерана Гражданской войны, ни в какой степени не связанного с забастовщиками, и разграбили его, а жене фермера пригрозили, что, если она еще когда-нибудь приютит людей из Союза, от ее дома ничего не останется.

В ту же ночь в Тринидаде толпа возмущенных горняков окружила одного из сыщиков «Болдуин-Фелтс» и грозила линчевать его...

К этому времени во всех лагерях от Старквилля до Уолсенбурга было решено не полагаться больше на честное слово или обещание посредников, но обязательно раздобыть винтовки и всеми доступными способами защищать своих жен и детей от жестоких набегов охранников. Это был жест отчаяния; ведь только немногие из стачечников видели когда-либо ружья, еще меньшее число когда-нибудь стреляло из них. К тому же большинство забастовщиков приехало из стран, где закон чтут, как бога.

Ежедневно забастовщикам в письмах или по телефону угрожали расправой, а вооруженные стражники кричали с предгорий, что в ближайшую ночь охранники всех шахт спустятся по каньонам и разрушат палаточные лагеря. В Ладлоу население лагеря жило в постоянном страхе. Забастовщики отправились в Тринидад и ходили от дома к дому, выпрашивая старые ружья, заржавленные пистолеты — любое оружие, лишь бы из него можно было стрелять. В палаточном лагере составилась своеобразная коллекция старого и вышедшего из употребления оружия. По указанию руководителей, колонисты вырыли под своими палатками ямы, куда в случае атаки могли бы прятаться женщины и дети. Необходимость усиленной охраны по ночам, непрерывные оскорбления, а иногда и обстрел со стороны охранников, избиение членов профсоюза каждый раз, как они осмеливались выйти ночью в одиночку за пределы лагеря, и непрекращающиеся рассказы о насилиях, творимых повсюду наемниками компаний, — все это довело забастовщиков до белого каления, и только уговоры

руководителей удерживали их от того, чтобы напасть на охрану и перебить всех. На угрозы рабочие отвечали угрозами, и поэтому в лагерях при шахтах тоже царил страх.

Двадцать шестого октября плотина гнева и возмущения прорвалась. В течение последних дней колонисты в Ладлоу не переставали ожидать нападения, и поэтому вооруженные патрули день и ночь обходили лагерь. В субботу утром, двадцать пятого, несколько забастовщиков, ходившие на станцию, донесли, что вместо уничтоженного девятого октября прожектора привезен новый. Несколько человек закричали, что нельзя допустить, чтобы был установлен новый прожектор, с помощью которого за ними опять начнут шпионить.

Но руководители стачки настаивали, чтобы прожектор не трогали, и поэтому он уцелел. Около полуночи зазвонил телефон, и какой-то голос сообщил: «Я говорю из Гастингса. Будьте настороже. Отсюда выехал большой отряд. Они что-то затевают. И еще больший отряд укрылся у выхода из каньона, чтобы наброситься на вас при первом выстреле». Почти в ту же минуту примчался один из караульных.

— Они идут! Помощники шерифа спускаются в каньон — огромная банда!

Мужчины стали бегать по лагерю в поисках своего оружия.

— Не стреляйте! — кричали руководители. — Это ловушка! Они пытаются что-то затеять!

— Хорошо. Они кое-что получают! — отвечали забастовщики.

— Они ведь не нападают на нас, — уговаривал кто-то еще. — Оставьте их в покое, ребята! Они идут, чтобы снова установить в Гастингсе новый прожектор.

— Ну нет, дудки! — закричал кто-то. — Я вовсе не желаю, чтобы луч прожектора всю ночь ползал по моей палатке. Пошли, ребята!

Но пока они колебались — начинать атаку или нет, — вопрос разрешился сам собой. Из каньона выехали двадцать вооруженных всадников и направились к станции. Вдруг один из них медленно поднял ружье и выстрелил. Этого было достаточно. Забастовщики, стреляя на ходу, бросились бежать к железнодорожной ветке и к руслу пересохшего ручья, чтобы отвлечь огонь охранников от палаток. Немедленно из каньона

выскочил укрывшийся там резервный отряд, и завязалась битва, продолжавшаяся до темноты. Под натиском численно превосходящего и лучше вооруженного противника забастовщики медленно отступали на северо-восток. На мосту Колорадской и Южной железной дороги они задержались. Охранники попытались выбить их и отсюда, но стемнело, и они отступили в предгорья; некоторые забастовщики кинулись их преследовать. В эту ночь почти все забастовщики двинулись в горы. Утром в воскресенье, двадцать шестого, шахту в Табаско осадили забастовщики, укрепившиеся на вершинах холмов. В эту ночь из палатки в палатку всех семи тысяч забастовщиков передавалась весть о том, что наконец-то ребята захватили охранников там, где хотели их захватить, и всю ночь напролет в Ладлоу в лагерь приходили люди с винтовками на плече, прошедшие подчас двадцать пять миль.

Охранники позвонили по телефону в Тринидад и попросили помощи. Дважды в Тринидаде формировали поезд для отправки в Табаско «помощников шерифа» и отрядов милиции, но оба раза поездная бригада отказывалась вести состав. Тридцать шесть «помощников шерифов» Уолсенбурга поспешно выехали в Тринидад специальным поездом и по пути обстреляли палатки в Ладлоу. В отеле «Коронадо» их немедленно произвели в «помощники шерифа» округа Лас-Анимас. Но забастовщики, не имевшие организации и руководства, скоро устали от битв и направились по равнине в палаточный лагерь. Они шли с пением и возгласами, торжествуя победу. В эту ночь был устроен торжественный ужин и танцы. Всем гостям был оказан теплый прием, участники сражения рассказывали обо всех приключениях. Дело, конечно, не обошлось без хвастовства и лести. Но в разгар веселья распространился слух, что охранники установили на повозке пулемет и по каньону пробираются вниз к лагерю. Танцы прекратились, началась паника, всю ночь никто не сомкнул глаз. Однако на равнине до самого рассвета ни с чьей стороны не было сделано ни одного выстрела. Только по отдельным выстрелам в горах можно было судить, что бродившие там отряды все еще стреляют в охранников.

Утром же все началось сначала — охранники открыли с холмов огонь. По телефону из Тринидада со-

обшили, основываясь на сведениях, полученных из авторитетных источников, что приближается бронепоезд из трех бронев вагонов, оснащенных пулеметами, такой же, какой в прошлом году был пущен через Кэбин-Крик, чтобы осыпать стальным дождем палатки стачечников Западной Виргинии.

Пятьсот человек устремились через равнину, чтобы устроить поезду достойную встречу. Они не обращали внимания на выстрелы с холмов. Когда поезд был на расстоянии полумили от Ладлоу, его встретил такой град пуль, что он вынужден был отойти к шахте Форбса.

Ночью все застлала пелена снежной бури, надвинувшейся с северо-востока. В темноте около семисот забастовщиков вышли из палаток и двинулись в горы. В ночь на двадцать восьмое на рассвете они открыли частый огонь по городкам Бервинд и Гастингс. Было убито свыше десяти человек охраны и помощников шерифов. Чем ближе подходили забастовщики, тем ожесточеннее становилась стрельба. Телеграфные и телефонные провода были перерезаны, и был послан специальный отряд взорвать железную дорогу из Ладлоу. В Табаско забастовщики также принудили охранников спрятаться с семьями в стволе шахты. Если бы им позволили закончить так решительно начатое дело, они, безусловно, перестреляли бы на этих трех шахтах всю охрану. Но в этот момент из лагеря в Ладлоу прибыли, несмотря на метель, специально посланные люди. Последовала команда: «Прекратить сражение и быстрее возвращаться в палатки. Губернатор вызвал национальную гвардию!»

И вот рабочие потянулись с гор на равнину, обсуждая новое обстоятельство, осложнившее дело. Что все это означает? Будут ли солдаты соблюдать нейтралитет? Разоружат ли забастовщиков? Защитят ли их от наемников компании? Те, кто уже участвовал в больших стачках, были смертельно напуганы, но руководители на некоторое время успокоили их. В тот же вечер мужчины из других лагерей отправились к себе, а забастовщики Ладлоу отдали оружие своим руководителям, с тем чтобы его можно было утром сдать солдатам. Наступило утро, но ни солдат, ни известий о них не было. Зато кто-то позвонил из Тринидада и сообщил, что в Ладлоу выехали семь грузовиков с вооруженными

помощниками шерифа и что все они клялись отомстить за нападение на Гастингс и Вервинд. А днем начали распространяться еще худшие слухи.

— Нас предали, — кричали поверившие этим слухам. — Солдаты прибыли, только чтобы отобрать у нас оружие. Они всех нас перестреляют. Это они всегда делают во время забастовок, и первым делом, конечно, к ночи явятся охранники. Надо отослать куда-нибудь женщин и детей.

И вот жены, матери и дети были посажены на три-нидадский поезд, а мужчины остались в опустевшем лагере.

— Покажем им, что мы мужчины, — говорили они. — Отомстим охранникам, прежде чем явятся солдаты и убьют нас. По крайней мере повоюем по-настоящему.

Теперь вооруженных людей осталось не более сотни. Без определенных намерений, без руководителей, вышли они перед рассветом из лагеря. Вокруг бушевала снежная буря. Но охранники были теперь настороже и числом намного превосходили стачечников. Около семи часов утра забастовщики вернулись усталые и повалились спать прямо на пол.

— Это сообщение о войсках оказалось ловким трюком, чтобы оставить нас без защиты, — говорили они. — Никаких солдат нет и в помине. Возвратите нам оружие и патроны. Мы будем здесь поджидать охранников.

Все словно оцепенели в немом отчаянии, в ожидании развязки.

Но утром тридцать первого октября воинский поезд с отрядом милиции подошел с севера к Ладлоу на расстоянии трех миль и остановился, а генерал Чэйз с белым флагом направился к лагерю в Ладлоу. Он сообщил его руководителям, что губернатор Эммонс приказал обезоружить обе стороны и установить мир и что войска не будут использованы ни для доставки штрейкбрехеров, ни для запугивания стачечников.

Руководители передали это остальным. Все радовались, что кончилось время страха. Сейчас же собрали ружья, чтобы вручить их солдатам, и с легким сердцем послали за женами и детьми. Забастовщики чувствовали такое облегчение и так были благодарны солдатам, что решили устроить им торжественный прием.

По просьбе забастовщиков, милиция вступила в лагерь в парадной форме. Все его обитатели, в самых лучших праздничных нарядах, вышли их встречать за милю на восток по снежной, залитой солнцем равнине. Впереди всех шла, танцуя, тысяча детей, собранных со всех лагерей. Все они были одеты в белое и пели песни забастовщиков. За ними следовал сдвоенный оркестр, а затем тысяча двести мужчин с американскими флагами в руках. Все расступились и стали в две плотные шеренги, весело и сердечно приветствуя солдат. Очень довольные таким приемом, национальные гвардейцы двинулись через этот живой коридор к своему лагерю.

Чэйз учредил свой штаб в Ладлоу. Лагерь милиции находился напротив лагеря забастовщиков за линией железной дороги и был расположен между ним и шахтами. Чэйз объявил, что немедленно приступит к разоружению обеих сторон. Чтобы показать забастовщикам, что на его слово можно положиться, он сперва разоружил охрану шахт. Затем потребовал ружья и у забастовщиков. Те сдали свыше тридцати двух ружей — две трети всего огнестрельного оружия, имевшегося в лагере. Остальное оружие задержали, так как в Тринидаде распространился слух, что ружья, отобранные у забастовщиков, раздают охранникам в Соприсе и Сегундо. На вопрос руководителей стачки капитан милиции в Тринидаде ответил: «Да. Я передал их туда. Видите ли, в нашем распоряжении нет достаточного количества солдат, чтобы обеспечить безопасность на тех шахтах, а нам сказали, что ваши люди там сильно возбуждены». Из Эйгюлера тоже поступило известие, что отобранные у охраны и у сыщиков «Болдуин-Фелтс» ружья вручены им обратно по той же причине. Вскоре после этого ружья из Ладлоу были переданы охранникам в Делаве, Гастингсе, Бервинде и Табаско. Но забастовщики не подняли из-за этого шума.

Отношения между лагерем в Ладлоу и милицией были вполне дружеские. Команды солдат и горняков играли на снегу в бейсбол и вместе охотились за кроликами. Забастовщики устроили в честь милиции бал в Большой палатке, а солдаты посещали палатки и принимали участие в жизни лагеря. Их всегда приветливо приглашали обедать. Со своей стороны, и забастовщики свободно разгуливали по лагерю милиции. Среди заба-

стовщиков были греки и черногорцы — участники Балканской войны. Иногда офицеры разрешали им стрелять из винтовок и восхищались их меткостью.

Но такое положение продолжалось только около двух недель. Главным доводом администрации шахт, когда она просила прислать милицию, было то, что многие забастовщики из палаточных лагерей охотно вернулись бы к работе, если бы были уверены, что их сумеют защитить. Она утверждала, что, как только здесь будут расквартированы войска, поток забастовщиков устремится назад, на шахты. Но с прибытием национальной гвардии ничего подобного не произошло. Почти никто не дезертировал. Тогда администрации пришлось прибегнуть к другой тактике.

Поведение солдат вдруг резко изменилось. Генерал Чэйз без всякого предупреждения объявил, что забастовщики в Ладлоу укрывают оружие и что они должны сдать его в течение двадцати четырех часов. Солдатам милиции было приказано держаться подальше от лагеря. Двенадцатого ноября войска милиции вместе с охранниками неожиданно произвели обыск в домах забастовщиков в Старом Сегундо. Искали спрятанное оружие. Во время обысков солдаты взламывали сундуки и похищали ценности. Из Тринидада сообщили, что три самых отчаянных охранника из агентства «Болдуин-Фелтс» были зачислены в войска штата. Генерал Чэйз теперь разъезжал на автомобиле «Колорадо фьюэл энд айрон компани». Чтобы предотвратить столкновения между забастовщиками и штрейкбрехерами, отправлявшимися на работу в шахту, первым запретили подходить на близкое расстояние к железнодорожной станции и к общественным дорогам.

На содержание национальной гвардии штат не выделил никаких ассигнований. Угольные магнаты предложили предоставить деньги, но губернатор Эммонс счел это неудобным. Однако он разрешил, чтобы Денверский расчетный банк предоставил через своего президента Митчелла аванс в сумме двухсот пятидесяти тысяч долларов. Косвенным путем это позволило угольным компаниям оплачивать расходы по содержанию милиции, так как Митчелл являлся одновременно президентом Денверского национального банка, который грозил опротестовать векселя Хэйдена, президента Джу-

ниперской угольной компании, в случае если он заключит соглашение с Союзом.

Вскоре выяснилось, какого курса собирается придерживаться милиция. Хотя в штате не было официально объявлено военное положение, генерал Чэйз опубликовал в Тринидаде приказ о создании военного округа Колорадо под его личным командованием. Затем он заявил, что милиция будет арестовывать «военных преступников». Первым «военным преступником» оказался один горняк, который подошел на улице Тринидада к солдату и спросил, где он может вступить в союз...

Чэйз открыто начал проводить кампанию террора и запугивания. Так же как и во время предшествующих стачек, за этим последовали повальные аресты. Мужчин и женщин группами в тридцать пять — сто человек заключали в тюрьму на неопределенный срок как «военных преступников». Арестовывали забастовщиков, направлявшихся в Ладлоу на почту за своей корреспонденцией. Если членов союза заставляли за разговором с штрейкбрехерами, их избивали и бросали в тюрьму. Представитель социалистической партии в профсоюзе горнорабочих Адольф Джермер был арестован, как только он сошел с поезда в Уолсенбурге, а его жена подверглась оскорблениям со стороны пьяных офицеров в своем собственном доме. Охранники, ободренные явным расположением милиции, возобновили свои налеты. Ночью пятнадцатого ноября они дали несколько залпов по домам забастовщиков в Пиктоне. Один солдат не разрешил жене забастовщика Рэдлиха пойти за письмами на почту в Ладлоу, а когда она отказалась ему повиноваться, сшиб ее с ног прикладом. Лейтенант Линдерфельт, встретив на станции Ладлоу семнадцатилетнего парнишку, обвинил его в том, что он пугает лошадей милиции, и так избил, что тот не мог стоять на ногах.

Но даже эти меры были, по мнению угольных магнатов, недостаточно суровыми. Корреспонденты газеты слышали, как в здании правительства штата видные чиновники компаний укоряли губернатора Эммонса. «Вы трус, черт вас побери! — говорили они ему. — Мы не собираемся дольше терпеть все это. Вы должны что-то предпринять — и поскорее, а не то берегитесь!» А «олицетворение воли народа суверенного штата

Колорадо» отвечал: «Не будьте со мной слишком суровы, джентльмены. Я делаю все, что могу». Тут дверь захлопнулась.

Вскоре после этого разговора генерал Чэйз издал второй приказ, в котором всем желающим идти работать на шахты гарантировалась защита. В нем говорилось также, что он намерен создать тайный военный суд для наказания всех нарушителей законов, изданных им как командующим военным округом Колорадо. Кажется, именно в эту ночь неизвестный забастовщик, выведенный из себя невыносимыми оскорблениями сыщика Белчера из агентства «Болдуин-Фелтс», выстрелом убил его на улице Тринидада. Немедленно тридцать пять «военных преступников» были брошены в вонючие камеры окружной тюрьмы. Их держали там долгое время в холодных камерах, на голодном пайке. Пятеро из них предстали перед военным судом по обвинению в убийстве. Когда они отказались признать себя виновными во вменяемом им преступлении, их подвергли пыткам. В течение пяти дней и ночей их окатывали ледяной водой, кололи штыками и избивали дубинками так, что они не могли заснуть. К концу этого времени один итальянец, Дзанканелли, не выдержал и подписал «признание», составленное офицерами. Но впоследствии он отказался от него, и было доказано, что оно фальшивое.

Профсоюз предпринял последнюю отчаянную попытку созвать конференцию шахтовладельцев и забастовщиков, но шахтовладельцы категорически отказались внять этому призыву. Генерал Чэйз заявил, что терпение милиции истощилось. Забастовщики с изумлением узнали, что в штат прибыл состав с несколькими сотнями штрейкбрехеров, которых под охраной милиции отправили на шахты. Они послали Чэйзу делегацию. Чэйз заявил, что губернатор Эммонс в разговоре по телефону изменил свой приказ о запрещении доставки штрейкбрехеров из других штатов — но забастовщики лишь теперь впервые услышали об этом.

Вслед за этим с востока стали доставлять тысячи рабочих. Этим рабочим уверяли, что в Колорадо нет никакой забастовки. Им обещали бесплатный проезд и высокую заработную плату. Одни нанимались работать на шахтах, других привлекала возможность получить землю на западе. Некоторые из этих рабочих были

членами профсоюзов. И никто из них не желал стать скэбом, но им всем сказали, что их не отпустят, пока они не отработают за проезд и содержание. Один итальянец в Примеро попытался бежать с железной дороги, но был убит выстрелом в спину. Другого рабочего в Табаско убили за отказ идти на работу. Тех же, кто действительно хотел сохранить работу, заставляли в течение недель работать бесплатно. Один рабочий, у которого были деньги, заплатил за проезд наличными, но, хотя он и проработал двадцать дней и в книгах компании за ним было записано такое количество угля, за которое он должен был бы получать по три с половиной доллара в день, в конце этого срока ему заявили, что он заработал только пятьдесят центов. Милиция, по указанию администрации, никому не разрешала уходить с шахты без получения от компании полного расчета. Без пропуска нельзя было ни войти на территорию шахты, ни выйти оттуда. Сотни штрейкбрехеров ускользали по ночам через снежные сугробы и находили убежище и защиту в лагерях забастовщиков. Там им выдавали пособие от Союза и предоставляли палатки для жилья.

Солдаты бесчинствовали все больше и больше. Два милиционера, солдат и офицер вломились в дом какого-то фермера, когда ни его самого, ни его жены не было дома, взломали сундуки, украли все ценное и приставали с гнусными предложениями к его двум маленьким детям. Хотя на них была подана жалоба, они остались безнаказанными. В палаточном лагере Прайор хорват забастовщик Андрей Колнар написал письмо одному из своих соотечественников — штрейкбрехеру, уговаривая его вступить в Союз. Милиция арестовала Колнара, доставила его в лагерь и заставила рыть яму под присмотром вооруженной охраны. Ему сказали, что он роет себе могилу и будет расстрелян на рассвете. Удивленный и испуганный, несчастный попросил позволения в последний раз взглянуть на свою семью. Ему ответили, что этого сделать нельзя и что, если он не будет рыть себе могилы, его расстреляют немедленно. Колнар лишился чувств и упал в вырытую им яму, а когда выбрался из нее, его осыпали бранью и избили. Подобные поступки стали любимым развлечением милиции. Том Иванич, поляк, ехавший в Тринидад, был

в Ладлоу снят с поезда. Ему приказали рыть себе могилу. Против него не было никакого обвинения, и впоследствии солдаты милиции говорили, что это была шутка. Однако во время этой «шутки» ему разрешили написать свое последнее письмо. Вот оно:

«Дорогая моя жена!

Твой супруг шлет самые лучшие пожелания тебе, моему сыну, сестре Мэри и маленькой Кэт и моему брату Джо. Я арестован, но ни в чем не виноват, а сейчас я рою себе могилу. Это мое последнее письмо, дорогая моя жена. Не оставьте наших детей, ты и брат мой Джо. На меня уже рассчитывать нечего, если бог мне не поможет. В этом мире, где люди без вины должны уходить в могилу, да благословит бог землю, где я буду лежать. Мы копаем себе могилу между палатками и улицей. Дорогая жена и брат Джо, я прошу вас позаботиться о моих детях. Наилучшие пожелания тебе, детям, и брату Джо, и теще, невестке Мэри Смирфанли, и всем, кто жив. Если я не доберусь сегодня ночью до Тринидада, чтобы повидать руководителей и подумать, нельзя ли что-нибудь для нас сделать, я думаю, что будет уже слишком поздно. Я не знаю, что еще вам написать, чтобы передать свое «прости» навсегда. Я уверен теперь что меня ожидает могила. На все воля божья. Я достал пять долларов, ты получишь их в письме, если кто-нибудь не украдет. От Доминика Смирчича я получил двадцать три доллара тридцать центов. Так, как записано в книге. Пусть их возьмет Джо. Привет всем знакомым, если они еще живы.

Твой муж *Том Иванич*.

Со скорбью и разбитым сердцем жду я последней минуты. Когда получите на детей деньги от общества, разделите их поровну».

А вот письмо одного итальянца, которого заставили выполнять ту же работу:

«Дорогая Луиза!

Привет от убитого горем Карло. Это мое последнее письмо. Вот и все, говорить больше нечего. Очень грустно. Прощай, прощай».

Двадцать третьего января жены и дети забастовщиков устроили в Тринидаде демонстрацию в знак протеста против заключения в тюрьму матушки Джонс, которая находилась до этого в больнице Сан-Рафаэль. Они шли всю дорогу довольно весело, смеясь и распевая, пока не свернули на Главную улицу. Там неожиданно путь им преградил отряд конной милиции.

— Расходитесь по домам! — закричали солдаты. — Разойдитесь! Назад! Здесь не пройдет!

Женщины в нерешительности остановились, а затем хлынули вперед, а отряд кавалерии медленно двинулся на них с саблями наголо. Вся ненависть к милиции, которая так долго накапливалась у забастовщиков, вдруг вырвалась. Женщины начали насмехаться над солдатами, выкрикивать:

— Эй вы, пастухи скэбов! Болдуин-фелтсы!

Солдаты въехали прямо в толпу, оттесняя женщин. Солдатами руководил сам генерал Чэйз, выкрикивавший самые грубые ругательства. Генералу попалась на пути молоденькая девушка, лет шестнадцати. Он подъехал к ней вплотную и со всего размаху ударил в грудь. В бешенстве она крикнула ему, чтобы эй подумал о том, что делает. Затем подскочил солдат и ударил ее саблей. Из толпы женщин вырвался стон и пронзительный крик. Лошадь генерала Чэйза от неожиданности бросилась в сторону, генерал грохнулся на землю. Женщины разразились хохотом.

— Топчите их конями, наезжайте на них! — закричал генерал.

И солдаты повиновались. Они поскакали на женщин. Сам генерал Чэйз раскроил одной женщине голову своей саблей. Удары лошадиных копыт сбивали с ног женщин, детей. В ужасе толпа бросилась бежать по улице, солдаты помчались за ними, нанося удары и крича как одержимые. Соскакивая с лошадей, озверевшие солдаты набрасывались на женщин с кулаками, избивали их и волокли по мостовой. В этот день тюрьма наполнилась более чем сотней «военных преступников».

В конце февраля в Тринидад прибыл для ознакомления с ходом стачки подкомитет Комиссии по шахтам и горному делу палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов. Среди прочих обнаружившихся

фактов в показаниях свидетелей содержались самые тяжелые обвинения против милиции. Правда, капитан Дэнкс, юрисконсульт милиции, заявил, что он представит уйму свидетелей, которые могут опровергнуть эти обвинения, но до конца слушания дела так и не вызвал ни одного из них.

В последний день расследования, девятого марта, около лагеря в Форбсе был обнаружен мертвый штрейкбрехер. На следующий день милиция под командованием полковника Дэвиса прибыла в Форбс и до основания разрушила лагерь забастовщиков. Они снесли палатки, переломали утварь, а забастовщикам приказали в течение сорока восьми часов покинуть территорию штата. Полковник сказал, что генерал Чэйз приказал ему «уничтожить палаточный лагерь», так как забастовщики из Форбса были главными свидетелями в комиссии Конгресса по делу о зверствах милиции. Более пятидесяти забастовщиков и их семьи были выгнаны прямо на улицу, несмотря на лютую зимнюю стужу. Они остались без жилья и пищи, и два грудных ребенка умерли, не выдержав холода.

Несколько дней спустя милиция выгнала из лагеря в Ладлоу десять человек, выступавших против нее в качестве свидетелей. Их отправили под конвоем в Бервинд. Там их избили и заставили стоять навтыжку у каменной стены перед наведенной на них пушкой. Им не давали шелохнуться и при малейшем движении кололи штыками. В таком положении их продержали четыре часа, каждую минуту угрожая расстрелом, а затем раздобыли бич из сыромятной кожи и погнали их ударами бича по каньону, шпоря лошадей. Старый горняк, по фамилии Файлер, совсем выбился из сил и не мог больше бежать. Он остановился. Тогда четверо солдат набросились на него и избили так, что ему пришлось ползком добираться до Ладлоу.

Казалось, было сделано все, чтобы довести забастовщиков до белого каления. Четыре раза милиция обыскивала лагерь Ладлоу якобы в поисках оружия. Каждый раз они устанавливали два пулемета на железной дороге и направляли их на лагерь. Затем, обрушившись на палатки, выгоняли всех мужчин и выстраивали их в открытом поле, на расстоянии мили от лагеря, под дулом третьего пулемета. А в это время солдаты обхо-

дили весь лагерь и разворовывали все, что попадало им под руку, распарывали полы палаток, срывали двери, оскорбляли женщин.

Я не собираюсь утверждать, что забастовщики не оказывали никакого сопротивления террору, но я знаю, что сами они не чинили насилия по отношению к милиции, если не считать насмешек и грубой брани. Однако их довели до такого ожесточения, что руководители опасались, как бы они окончательно не вышли из-под контроля. Дома их разрушали или учиняли в них погром, жены их подвергались насилию, самих их постоянно грабили, избивали и оскорбляли. Они решили, что дальше терпеть не будут. Генерал Чэйз запретил восстанавливать палаточный лагерь в Форбсе. Тогда стачечники стали грозить, что сделают это наперекор всему. На этот раз, говорили они, они будут сопротивляться так, что милиция не сумеет разрушить их жилища, не перебив предварительно их всех до единого. Затем забастовщики начали лихорадочно скупать оружие повсюду на пятьдесят миль в окружности. И вдруг двадцать третьего марта милиция была отозвана.

Двести пятьдесят тысяч долларов, предоставленные Денверским расчетным банком для содержания солдат, были уже давно израсходованы. Более того, государственный ревизор Кенехан произвел расследование и обнаружил такие ужасающие случаи взяточничества и злоупотреблений со стороны как офицеров, так и солдат, что отказался санкционировать выплату по векселям. Среди солдат стало расти недовольство, так как они не получали жалованья. Одетые в форму охранники скитались по округе, занимая деньги и подписывая векселя, оплатить которые должен был штат. Дисциплина, таким образом, ослабела повсюду. Офицеры не могли заставить своих людей слушаться приказаний. Но перед тем как милиция покинула район, были набраны новые две роты: рота «В» — в Уолсенбурге и отряд «А» — в Тринидаде. Эти части состояли почти исключительно из охранников с шахт и из сыщиков «Болдуин-Фелтс». Издержки по их содержанию оплачивали угольные компании.

Наиболее упорные штрейкбрехеры из других отрядов были собраны в новый отряд, в шутку прозванный

«рота Q». Его штаб разместился в Ладлоу. Эти три отряда и остались в районе стачки. Многие из этих людей были профессиональными штрейкбрехерами. Они выходили на работу в шахты в своей милицейской форме и оставляли ружья у входа в шахту...

Девятнадцатого апреля, воскресенье, было первым днем православной пасхи, и греки из лагеря Ладлоу праздновали ее. Все праздновали вместе с ними, так как греков в колонии любили все забастовщики. Их было около пятидесяти — все молодые и неженатые. Некоторые из них участвовали в Балканской войне. Луис Тикас, окончивший Афинский университет, был самым милым и храбрым и пользовался наибольшей любовью — поэтому он стал вождем забастовщиков.

День был чудесный: земля просохла, солнце ярко светило. На рассвете все население Ладлоу уже встало и веселилось возле своих палаток. Греки начали танцевать, как только взошло солнце. Они отказались идти в большую палатку и вместо этого украсили флагами залитую солнцем площадку утрамбованной земли. Вытащив со дна своих сундучков национальные костюмы, они все утро танцевали на этой площадке греческие национальные танцы. На бейсбольной площадке шли соревнования мужских и женских команд. Две женские команды отважились принять участие в игре, и греки преподнесли женщинам в качестве пасхального подарка спортивные костюмы. Так весь лагерь со смехом и шумом отмечал праздник. Повсюду видны были дети, игравшие в поле, на молодой травке.

Как раз в самый разгар игры в бейсбол через линию железной дороги перешли четыре милиционера с винтовками. Солдаты частенько приходили сюда и смотрели, как играют забастовщики, но они никогда раньше не захватывали с собой оружия. Они медленно вышли на площадку и с наглой усмешкой направили ружья прямо на толпу. Забастовщики некоторое время не обращали на них внимания, но вот они заметили, что солдаты стоят как раз на черте. Один из игроков попросил их отойти в сторону, чтобы не мешать играющим. Он сказал также, что нет никакой необходимости направлять на толпу винтовки. Милиционеры грубо ответили ему, что это не его дело — черт возьми! — и что если он скажет еще хоть слово, то они немедленно

устроят кое-что. Тогда мужчины спокойно перешли на другое место и продолжали играть. Но милиционеры искали повода для ссоры и поэтому пошли туда, где играли женщины. У женщин, однако, оказалось меньше выдержки, чем у мужчин. Они стали смеяться над охранниками, называя их «пастухами скэбов», крича, что ружей они не боятся и что две женщины с хлопущей могут напугать солдат до смерти. «Ладно, девчонки, — ответил один из милиционеров. — Сегодня веселье у вас, а завтра будет у нас». Вскоре после этого они удалились. Когда игра в бейсбол окончилась, греки устроили для всей колонии завтрак. Старая палатка для собраний показалась им недостаточно хорошей для их большого праздника. Они решили для полного великолепия послать в Тринидад купить ради этого случая новые палатки. Мужчинам было подано пиво, женщинам — кофе. И каждый раз когда кто-нибудь из греков пил, он вставал и вместо тоста исполнял греческую песню. Все были очень веселы и наслаждались этим первым весенним днем. Вечером был устроен бал. Вдруг около десяти часов появился какой-то человек и сообщил потихоньку мужчинам, что по лагерю тайком разъезжает отряд милиции и подслушивает, что делается в палатках.

Танцы прекратились. Уже в течение нескольких дней до забастовщиков доходили слухи и даже прямые угрозы, что милиция собирается уничтожить их. В темноте все, у кого было оружие, собрались в большой палатке. Там оказалось сорок семь человек. Они решили ничего не говорить женщинам и детям, во-первых, потому, что, если придется сражаться, милиция, конечно, не станет атаковать палатки, а позволит забастовщикам уйти в открытое поле и сражаться там, как было осенью. Во-вторых, потому, что таких угроз было уже много, но из них ничего не выходило. На всякий случай забастовщики в эту ночь расставили вокруг лагеря часовых, но до самого рассвета все было спокойно, они вернулись в палатки и улеглись спать. Около 8.45 утра те же милиционеры, что накануне помешали игре, опять явились в лагерь. Они заявили, что пришли, чтобы увести человека, которого забастовщики задерживают против воли. Их встретил Тикас. Он заверил их, что в лагере такого человека нет, но они настаивали, говоря, что

Тикас лжец и что, если он немедленно не представит этого человека, они вернутся с отрядом и устроят в лагере обыск.

Вслед за этим майор Хэмрок вызвал Тикаса к телефону и приказал ему явиться в лагерь милиции. Тикас ответил, что готов встретиться с майором на железнодорожной станции, на полпути между лагерями, и Хэмрок согласился. Но когда Тикас явился туда, он увидел, что солдаты милиции надевают патронные ленты и разбирают винтовки, что повсюду ведется подготовка к военным действиям, а у водокачки установлены два пулемета, наведенные на лагерь. Неожиданно в лагере милиции взорвалась сигнальная бомба. Забастовщики тоже заметили пулеметы и услышали разрыв бомбы. Когда Тикас добрался до железнодорожной станции, он увидел, что сорок семь вооруженных людей вышли из лагеря и направились к железнодорожному тупику и руслу ручья. «Боже мой, майор! Что это значит!» — воскликнул Луис. Хэмрок казался сильно взволнованным. «Отзовите своих людей, — сказал он растерянно, — а я отзову своих». — «Но мои люди ничего не делают, — ответил Луис. — Они просто напуганы установленными на холме пулеметами». — «Ладно, тогда заставьте их вернуться в лагерь!» — закричал Хэмрок. Луис бросился бежать к палаткам, размахивая белым носовым платком и крича, чтобы забастовщики вернулись назад. Взорвалась вторая бомба. Луис пробежал уже полдороги, и забастовщики замедлили шаг. Раздался третий взрыв бомбы, и вдруг, без предупреждения, оба пулемета застрочили прямо по палаткам: та-та-та-та-та...

Это было беспощадное и заранее обдуманное истребление забастовщиков. Милиционеры рассказывали мне, что им было приказано разрушить лагерь, уничтожить в нем все живое. Взрыв трех бомб послужил сигналом для охраны шахт, сыщиков агентства «Болдуин-Фелтс» и штрейкбрехеров на соседних шахтах. По этому сигналу все они толпой сбежались сюда из-за холмов в полном вооружении. Их было человек четыреста.

Ураганный пулеметный огонь разорвал на куски покрытия палаток, и началась паника. Часть женщин и детей устремились на равнину, подальше от лагеря. Их расстреливали на бегу. Другие вместе с безоружными мужчинами искали спасения в русле высохшего

ручья, к северу от него. Миссис Файлер повела группу женщин и детей под огнем к глубокому колодцу возле железнодорожной насосной станции, куда они спустились по лестнице. Другие забились в вырытые для них ямы под палатками. Вооруженные забастовщики, напуганные всем происходившим, бросились к лагерю, но град пуль заставил их повернуть назад. Теперь в дело вмешались охранники. Они стреляли разрывными пулями, и между палатками стоял такой треск, словно там стреляли из шестизарядных револьверов. Пулеметы не замолкали. Тикас бросился бежать вместе с греками, но вернулся обратно в тщетной надежде спасти хоть кого-нибудь из тех, кто прятался в лагере. Он оставался там весь день. Он, миссис Джолли — жена американца забастовщика, Бернабо — лидер итальянцев, Доменицкий — руководитель славян, доставляли тем, кто прятался в подвалах, воду, еду и бинты для перевязки. Со стороны палаток не было сделано ни одного выстрела. Ни у кого из мужчин в колонии не было винтовок. Когда раздался треск разрывных пуль, Тикас подумал, что это стреляют откуда-нибудь из-за палаток, и словно безумный метался между ними, чтобы заставить этого дурня немедленно прекратить стрельбу. И только через час он понял, в чем было дело.

Миссис Джолли надела белое платье, а Тикас и Доменицкий прикололи ей на грудь и рукава огромные красные кресты. Но для милиции это была лишь хорошая мишень. Ее платье было прострелено в двенадцати местах, каблук от туфли оторвало пульей. Куда бы она ни приближалась, огонь становился так ужасен, что люди вынуждены были просить ее держаться от них подальше. Но она и трое мужчин мужественно продолжали готовить бутерброды и доставлять воду женщинам и детям.

В тот день рано утром в Тринидаде был снаряжен бронепоезд, в который посадили сто двадцать шесть милиционеров из отряда «А». Но машинист и его помощник отказались их везти, и только в три часа дня наконец удалось найти поездную бригаду, чтобы доставить поезд к месту назначения. В Ладлоу солдаты прибыли около четырех часов и своими двумя пулеметами поддерживали ураганный огонь, направленный на палаточный лагерь. Одно подразделение медленно вытесняло забастовщиков

с их позиций в русле ручья, а другое тщетно пыталось рассеять тех, кто засел у железной дороги. Лейтенант Линдерфельт, командовавший восемью милиционерами, палившими из окон железнодорожной станции, приказал своим людям «стрелять по всему, что движется». Капитан Кэрсон подошел к майору Хэмроку и почтительно напомнил ему, что в их распоряжении до наступления темноты осталось лишь несколько часов на то, чтобы сжечь лагерь. «Подожгите их! Выкурите их оттуда!» — закричали офицеры. И солдаты, обезумев от жажды крови, стреляли и стреляли по палаткам.

Темнело. Милиция окружила палаточный лагерь тесным кольцом. Приблизительно в 7. 30 вечера один из солдат милиции, держа в руках ведро с керосином и кисть, подбежал к ближайшей палатке, обильно смочил ее керосином и поднес спичку. Пламя взметнулось, освещая все вокруг. Остальные солдаты бросились к другим палаткам, и в минуту весь северо-западный участок лагеря был охвачен пламенем.

Как раз в этот момент прибыл товарный поезд и остановился на запасном пути, возле водокачки. Женщины и дети, прятавшиеся в колодце, под его прикрытием выбрались оттуда и поползли по канаве вдоль железной дороги, стремясь укрыться в русле высохшего ручья. Они громко кричали и плакали. Дюжина солдат вскочила в паровозную и, угрожая машинисту расстрелом, приказала двигаться дальше. Он повиновался. И при мерцающем свете горящих палаток милиция принялась вновь и вновь обстреливать беглецов.

Когда показался первый язык пламени, забастовщики, растерявшись, прекратили стрельбу. Но милиция не перестала стрелять. Солдаты, охваченные жаждой разрушения, ломали открытые сундуки и расхищали все, что попадалось под руку.

Когда начался пожар, миссис Джолли стала ходить от палатки к палатке. Она заставляла женщин и детей вылезать из погребов и собирала их всех в одно место на равнине. Вдруг она вспомнила, что миссис Петруччи с тремя детьми осталась в погребе под своей палаткой. Она решила спешно вернуться, чтобы вызвать их оттуда. «Нет, — сказал Тикас. — Вы идите вперед с этой группой, а я вернусь за семьей Петруччи». И он направился к горевшим палаткам. Там его и захватили сол-

даты милиции. Он пытался объяснить им свое намерение, но они обезумели от пролитой ими крови и не желали его слушать. Лейтенант Линдерфельт ударил грека по голове и сломал об нее свою винтовку. Он раскроил ему голову до кости. Пятьдесят человек схватили веревку и перекинули ее через телеграфный провод, чтобы повесить Тикаса. Но Линдерфельт с циничной улыбкой передал его под охрану двух милицейских и сказал, что они отвечают за жизнь Тикаса. Пять минут спустя Луис Тикас был убит тремя пулями в спину. А позднее из погреба миссис Петруччи были извлечены обуглившиеся трупы тринадцати женщин и детей.

Файлера они тоже захватили и убили — на его теле было пятьдесят четыре раны. Среди рева бушевавшего пламени слышались вопли женщин и детей, заживо горевших в подвалах под палатками. Одних солдаты вытаскивали, избивали и арестовывали; других оставляли заживо гореть, не предприняв ничего для их спасения. Один американец забастовщик, по фамилии Снайдер, в тупом отчаянии лежал в палатке на полу рядом с телом своего одиннадцатилетнего сына, которому разрывной пулей снесло затылок. В палатку вошел солдат милиции, смочил ее керосином и поджег. Ударив Снайдера по голове прикладом, он приказал ему поскорее убираться. Снайдер указал ему на тело своего сына. Тогда солдат вышвырнул труп на улицу, крикнув: «Дальше можешь сам нести эту падаль!»

Известие о случившемся распространилось с быстрой молнии. Через три часа каждый забастовщик в радиусе пятидесяти миль знал, что милиция и охрана шахт заживо сожгли женщин и детей. В понедельник ночью все они выступили в Ладлоу, где разыгрались эти события, с ружьями, какие только оказались у них под рукой. Всю ночь дороги были забиты толпами оборванных вооруженных людей, направляющихся к Блэк-Хиллс. Шли не только забастовщики. В Эйгьюлере, Уолсенбурге и Тринидаде чиновники, извозчики, шоферы, школьные учителя и даже банковские служащие взяли за винтовки и направились к месту побоища. Казалось, что зажженное в Ладлоу пламя охватило всю страну. По всему штату профсоюзы рабочих и лиги граждан в порыве возмущения собирали митинги и

голосовали за покупку оружия для забастовщиков. В Колорадо-Спрингсе, Пуэбло и других городах произошли многолюдные митинги, посылавшие к губернатору требование просить президента прислать федеральные войска. Тысяча семьсот горняков из Вайоминга вооружились и передали по телеграфу руководителям стачки, что готовы выступить им на помощь. Профсоюз получал письма от ковбоев, железнодорожников, местных организаций ИРМ, представляющих тысячи рабочих. Все они предлагали двинуться к ним на помощь. Пятьсот горняков из Крипл-Крика бросили работу в шахтах и отправились на восток — в Блэк-Хиллс...

В это время в Ладлоу солдаты совсем обезумели. Весь день они продолжали стрелять из пулеметов по сожженному, обуглившемуся лагерю. Стреляли в кур, лошадей, скот, кошек. По проселочной дороге подъехал автомобиль. В нем сидели муж с женой и дочерью, совершавшие путешествие из Денвера в Техас. Они и понятия не имели, что здесь идет бой. Когда автомобиль был еще в двух милях, солдаты навели на него пулемет, пулями пробili у него крышу и изрешетили радиатор. Газетному репортеру Линдерфельт с пеной у рта кричал: «Мы убьем всех проклятых забастовщиков в этом районе и разделаемся со всеми негодьями в этом округе, сочувствующими профсоюзам». Фургоны, высланные профсоюзом из Тринидада за телами убитых женщин и детей, подверглись такой жестокой атаке, что пришлось вернуть их обратно. Милиционеры швыряли трупы в еще горящие палатки.

Забастовщики тоже пришли в ярость. Профсоюз горняков призвал всех к оружию. Днем все больше и больше забастовщиков прятались за вершинами холмов и стреляли из винтовок. Ночью они рыли траншеи, подбираясь все ближе и ближе к позициям солдат милиции. В среду майор Хэмрок позвонил по телефону охране шахт в Эйгьюлере: «Ради бога, предпримите что-нибудь! — попросил он. — Они надвигаются на нас со всех палаточных лагерей. Все забастовщики из Эйгьюлера здесь у нас, и вы должны принять меры, чтобы они вернулись». Тогда охранники стали обстреливать палатки в Эйгьюлере из окон гостиницы «Импайр-Майн». Результат оказался потрясающим. Триста возмущенных забастовщиков вместе с жителями города

двинулись на шахты. С дикими воплями бросились они прямо на ружья охранников. Сопrotивляться им было совершенно бесполезно. На шахтах «Ройл» и № 9 охранники и штрейкбрехеры убежали в горы. Забастовщики овладели поселком, разрушили дома, сожгли надшахтные постройки, разбивая машинное оборудование прикладами своих винтовок. На шахте «Импайр» главный помощник управляющего компании спрятался вместе с охранниками в шахте. Забастовщики заперли его там, взорвали надшахтную постройку и так основательно разрушили пятьдесят домов, что нельзя было и узнать, где они стояли раньше.

Повсеместно происходило то же самое.

В Кэньон-Сити охранники изрешетили пулеметным огнем дома забастовщиков. Забастовщики захватили шахты «Санни-сайд» и «Джексон» и разбили пулемет на мелкие кусочки, чтобы сделать из него брелоки к часовым цепочкам, но никакого другого ущерба не причинили. В Раузе и Рэгби четыреста забастовщиков совершили нападения на шахты.

Через два дня после поджога лагеря в Ладлоу милиция позволила одному репортеру, нескольким сестрам милосердия из Красного креста и священнику Рандольфу Куку из Тринидада произвести розыски среди обуглившихся остатков лагеря. Борьба еще кипела, и солдаты забавлялись тем, что стреляли по развалинам, стараясь попасть поближе к тем, кто был занят розысками. Из подвала под палаткой миссис Петруччи, до которого так упорно хотел добраться Луис Тикас, производившие розыски извлекли тела одиннадцати детей и двух женщин. Одна из женщин перед смертью родила ребенка. В погребке не видно было следов огня, хотя было много сильно обгоревших трупов. Дело в том, что они сгорели в своих палатках, а солдаты побросали их в яму вместе с теми, кто задохнулся в дыму. Некоторые солдаты милиции признались мне, что ужасающие вопли женщин и детей продолжались все время, пока они грабили лагерь.

Но когда спасательные партии вернулись в Тринидад, им сказали, что осталось еще много трупов, а один забастовщик сообщил им, что на северо-восточном участке лагеря находился подвал, в котором погибло восемнадцать человек. Поэтому в субботу они снова

отправились в лагерь. К этому времени милиция под командой генерала Чэйза возобновила свои действия. Он сердечно приветствовал прибывших и спросил, уполномочило ли их общество Красного креста действовать под его флагом. Они ответили утвердительно. Генерал Чэйз вежливо попросил их минуточку подождать, пока он снесется с Денвером и выяснит это. Вскоре он вернулся. «Все в порядке, — заявил он. — Я звонил по телефону в Денвер, и вы можете идти туда». Когда они направились в лагерь, Чэйз следил за ними в полевой бинокль из своей палатки, когда же они приблизились к тому месту, где, как они думали, лежали трупы, он послал за ними двух солдат, чтобы вернуть их назад. Генерал был страшно разгневан. Без объяснения причин он продержал их два часа под арестом. После этого их привели к генералу. Генерал сидел за письменным столом. «Вы — банда обманщиков! — вопил он, размахивая телеграммой. — Меня только что известили из Денвера, что вы не имеете полномочий действовать под флагом Красного креста. Чего вы добиваетесь, черт возьми, явившись сюда и пытаясь обмануть меня?!» Священник Кук пытался протестовать против таких выражений в присутствии женщин. «Сводники, священники и проститутки — для меня все одинаковы, — ответил генерал. — Отправляйтесь к дьяволу обратно в Тринидад и никогда не смейте и близко подходить к этому месту». И действительно, общество Красного креста в Денвере, боясь оскорбить угольных магнатов, позвонило в Тринидад, после того как спасательная партия направилась в Ладлоу, и лишило ее права действовать от имени общества Красного креста. В эту ночь управление Колорадской и Южной железной дороги доставило в лагерь милиции груз негашеной извести, а в окрестности было открыто несколько давно заброшенных колодцев. В результате забастовщики не могли установить, сколько же людей было убито в Ладлоу...

Правительство штата Колорадо не смогло справиться с создавшимся положением. Примечательно, что созванная губернатором чрезвычайная сессия Законодательного собрания штата, которая должна была заняться решением этой проблемы, прервала свои заседания, не предприняв ни малейших шагов к решению вопроса. Аппарат угольных компаний в палате предста-

вителей и в сенате пресек все попытки предложить какое-нибудь средство с целью исправить положение. Зато он провел под сильным давлением билль о выпуске акций на миллион долларов, для того чтобы заплатить милиции и охране шахт за их «блестящую работу» по расстрелу рабочих и сожжению заживо их жен и детей...

Для тех, кто полагает, что мистер Рокфеллер и администрация шахт ни в чем не повинны и введены в заблуждение, я хочу привести лишь один очень знаменательный факт. Рассказывают, что на заключительном заседании сессии Законодательного собрания, прошедшем с таким триумфом, миссис Уэлборн, жена президента «Колорадо фьюэл энд айрон компани», рассказала своим друзьям, что ее муж получил от Джона Д. Рокфеллера-младшего «очень милую телеграмму». Она гласила, по словам мисс Уэлборн: «Сердечные поздравления с победой над забастовщиками. Искренне одобряю все ваши действия и высоко ценю блестящую работу Законодательного собрания...»

ВОЙНА ТОРГОВЦЕВ

Австро-сербский конфликт — совершенный пустяк, как если бы Хобокен объявил войну Кони-Айленду. Тем не менее в него оказалась втянутой вся Европа.

Подлинная война, в которой этот неожиданно начавшийся разгул смерти и разрушения является лишь эпизодом, разгорелась давным-давно. Она свирепствовала уже десятилетия, но об ее битвах так мало говорили, что они проходили незамеченными. Это была война торговцев.

В этой связи не мешает напомнить, что образование Германской империи началось с торгового договора. Первой победой Бисмарка был Zollverein (Таможенный союз) — тарифное соглашение множества мелких германских государств. В результате военных успехов этот таможенный союз консолидировался в могущественное государство. Поэтому вполне понятна уверенность германских дельцов в том, что развитие их торговли зависит от военной силы. «Ohne Armee — kein Deutschland» («Без армии нет Германии») — это девиз не одного только кайзера и военной касты. Успех милитаристской пропаганды Морского союза и других подобных ему шовинистических организаций объясняется тем, что девять десятых немцев придерживаются такого же взгляда на свою историю.

После франко-прусской войны наступило «Gründerzeit» — время быстрого роста промышленности. Германия стремительно развивалась. Только после исчезновения германского торгового флота с морей мы смогли

оценить его мировое значение. А ведь все эти огромные флотилии океанских пассажирских пароходов и торговых судов появились лишь после 1870 года. Столь же быстрым и удивительным было развитие сталелитейной, текстильной промышленности, горного дела и торговли — всех современных отраслей промышленности и коммерции, а также рост населения в Германии. Но расширяться ей было некуда. В дни, когда еще не было ни немецкой армии, ни единой Германии, англичане и французы прибрали к рукам весь мир с его богатствами...

Англия и Франция с опаской смотрели на развитие Германии и выступали со лживыми заверениями в своем миролюбии. «Мы не стремимся к захвату новых территорий. Сохранение мира в Европе требует поддержания *status quo*».

Не успели эти слова сорваться с уст английских политиков, как Англия захватила Южную Африку, при этом она даже выразила свое величайшее изумление и недовольство по поводу того, что Германия не рукоплескала этому закрытию для нее еще одного рынка.

В 1909 году король Эдуард VII, великий миротворец, после долгих тайных переговоров возвестил о создании *Entente cordiale* (Антанты) — соглашения, по которому Франция обещала поддерживать Англию в захвате Египта, а Англия предложила Франции помощь в марокканском конфликте.

Известие об этом тайном «джентльменском соглашении» вызвало бурю. Кайзер в пылу негодования вопил: «В Европе ничто не должно происходить без моего согласия».

Миролюбцы из Лондона и Парижа признавали, что так открыто грозить войной — грубо и невоспитанно. Сами они рассчитывали добиться своего, не запачкав рук в крови, и потому согласились на созыв дипломатической конференции в Альхесирасе. Франция торжественно обещала не аннексировать Марокко, а главное — поклялась придерживаться политики «открытых дверей». Каждый должен был иметь равные возможности в торговле. Гроза прошла стороной.

О том, как французы держали свое слово в отношении проведения политики «открытых дверей» в Марокко, можно судить хотя бы по такому факту, как организация поставок сукна для марокканской армии. В соот-

ветствии с Альхесирасским соглашением, предусматривавшим, что все контракты должны заключаться на международном аукционе, было официально объявлено, что султан решил закупить большую партию сукна цвета хаки для обмундирования солдат. Подробные условия контракта должны были быть опубликованы в определенный этим соглашением день. Фабриканты сукна всех стран приглашались к участию в аукционе.

В «условиях» было сказано, что сукно должно поступить не позднее, чем через три месяца, и должно быть определенной ширины — три ярда, если не ошибаюсь. «Но, — запротестовали представители немецкой фирмы, — во всем мире нет ткацких станков такой ширины. Придется затратить месяцы, чтобы их построить». Вскоре выяснилось, что один дальновидный — или давно предупрежденный — лионский фабрикант уже несколько месяцев назад установил необходимые для выполнения этого заказа станки. Он и получил контракт.

Послу в Танжере пришлось нанять еще несколько секретарей для пересылки в Берлин жалоб немецких торговцев на невозможность практически использовать французскую политику «открытых дверей».

Но, пожалуй, самое большое возмущение вызвал скандал, связанный с постройкой Багдадской железной дороги. Группа германских капиталистов получила привилегию на строительство железной дороги через Багдад к Персидскому заливу, открывающее доступ в Малую Азию. Этот экономически слабо развитый район был для них тем выгодным рынком сбыта, в котором они так нуждались. Англия воспрепятствовала осуществлению этого проекта под тем предлогом, что кайзер может при помощи этой дороги послать свою армию на тот край света, чтобы прикарманить Индию. Однако немцы прекрасно поняли, что английские купцы и судовладельцы просто не хотят мириться с угрозой их монопольной торговле с Индией. Даже одержав эту важную для торговли победу, добившись прекращения работ по постройке Багдадской дороги, английские дипломаты продолжали торжественно заявлять о своем миролюбии и бескорыстном стремлении сохранить *status quo*. Вот тогда-то, один из депутатов рейхстага и сказал: «*Status quo* — это агрессия».

Итак, короче говоря, положение таково: германские капиталисты стремятся увеличить свои прибыли. Английские и французские не хотят поступиться и частницей своих. Эта война в торговле началась уже много лет назад...

Нет человека, который питал бы к милитаризму большую ненависть, чем я. Никто больше меня не желает, чтобы позор милитаризма исчез с лица земли. «Величайшие вопросы сегодняшнего дня не могут быть решены ни парламентскими речами, ни большинством голосов, их можно разрешить только кровью и железом» — «Durch Blut und Eisen». Эти слова Бисмарка стали лозунгом реакции. Они были самым большим препятствием на пути демократического развития.

Ни одна из речей последнего времени не казалась мне столь нелепо высокомерной, как речь кайзера, обращенная к «его» народу, в которой он заявил, что в этот страшный час от всего сердца прощает всех, кто когда-либо выступал против него. Мне стыдно, что в наши дни в цивилизованной стране могут говорить такую архаичскую чепуху.

Но хуже «самодержавия кайзера», хуже даже, чем звериные идеалы, которыми он похвывается, хуже всего этого плохо скрытое лицемерие его вооруженных противников, которые кричат о мире, в то время как мир этот не может быть сохранен из-за их же собственной алчности.

Еще отвратительнее глупой напыщенности кайзера голоса хора американских газет, которые делают вид, что верят — и хотели бы и нас заставить верить, — будто это борьба светлого рыцаря (современной демократии) с гнусным чудовищем (средневековым милитаризмом).

Но для чего же тогда нужен демократии союз с царем? Может быть, Петербург, где действовал поп Гапон, или Одесса с ее погромами являются очагами либерализма? Неужели наши издатели столь наивны, что верят этому? Нет, нынешний конфликт — это ссора между торговыми конкурентами. Одна сторона сохранила благовоспитанные формы современной дипломатии и говорит о «мире», рассчитывая в то же время главным образом на прославившийся своим миролюбием военный флот Великобритании, на армию Франции и на

миллионы полурабов, которых они получают за взятку у царя всея Руси (и, конечно, на силу решений Гаагской конференции), чтобы двинуть их вперед против немцев. Другая сторона — это свирепость и отвратительное евангелие «крови и железа».

Мы, социалисты, можем надеяться, можем даже быть уверены, что из ужаса кровопролития и страшных разрушений родятся далеко идущие социальные преобразования и будет сделан большой шаг вперед к нашей цели — к миру среди людей. Нас не должна обмануть газетная болтовня о том, что либерализм ведет священную войну против тирании.

Это не наша война.

ВМЕСТЕ С СОЮЗНИКАМИ

В разгар величайшей европейской войны, когда западная цивилизация находится на краю гибели, Женева сверкает, как Монте-Карло в разгар сезона. И это Женева — родина общества Красного креста, под чьим кровом не раз собирались конгрессы в защиту более гуманных методов ведения войны. То, чего так страшился весь мир, наконец наступило. Началась война, с бомбардировками мирных городов, истреблением мирного населения нейтральных стран, убийством и уничтожением раненых. Горит разграбленный Лувен, а в Женеве собралось самое веселое и легкомысленное общество в Европе. Немцы, англичане, французы вместе обедают, вместе танцуют, толпятся по ночам в курзале у игорных столов, а затем устремляются посмотреть последнее пикантное парижское ревю. Ночью огни вдоль озера сверкают, как драгоценное ожерелье. Музыканты в красных пиджаках исполняют самые веселые и легкомысленные мелодии, но музыка заглушается смехом и шепотом женщин в экстравагантных туалетах и мужчин во фраках: англичан, французов, немцев. По веселым улицам прогуливаются девицы с парижских бульваров.

Денег нет ни у кого. Все слегка потерты, пообносились. Но всякое упоминание о величайшей в мировой истории войне считается здесь проявлением дурного тона. Война кажется далекой и мало реальной. О ней ничто не напоминает, за исключением расклеенных на стенах домов приказов швейцарского правительства о мобилизации, отрядов молодых солдат, проходящих

обучение в поле среди несжатых хлебов, да молчаливых толп французских и немецких резервистов перед зданиями их консульств.

Правда, о войне пишут в газетах, каждый поезд привозит груды крикливых, истеричных французских и немецких журналов. Газеты читают все и несколько минут уделяют обсуждению новостей: «Неужели немцы действительно возьмут Париж?» — «А приведет ли это к окончанию войны?» — «Эти мерзавцы совершенно серьезно пытались призвать меня в армию...» Но затем разговор вновь переходит на женщин, театр и модные рестораны. Вы пьете ваш аперитив, любуетесь залитым солнцем озером и возвышающимися за ним мощными цепями снежных вершин с маленькими беленькими городками, приютившимися у их подножья, и думаете, а не пора ли пойти перекусить.

Мы сумели попасть на последний, как нам сказали, поезд, идущий в Париж. Немцы — так мы называли странных, чужих людей незнакомой расы, не имеющих ничего общего с милыми и приятными жителями Берлина и Мюнхена, — по слухам, были уже в тридцати километрах от Парижа. Не было никакой уверенности, что наш поезд дойдет до места назначения. В Сернадоне мы остановились на станции рядом с десятью вагонами третьего класса, из которых доносились песни и веселые крики. Все двери и окна вагонов были убраны зелеными ветвями и виноградными лозами, из них высывались сотни юных лиц и машущих рук.

Это была сама молодость Франции, ее молодая кровь, юноши призыва 1914 года. Они отправлялись в военные лагеря для прохождения специальной подготовки, которая отштампует все их мысли и чувства и превратит их в крохотные винтики послушной машины, годные лишь на то, чтобы их бросили против обработанной таким же способом молодежи Германии. Молодые солдаты кричали: «Да здравствует Франция! Обкарнаем кайзеру усы! Даешь Эльзас-Лотарингию!» В десяти местах распевали различные куплеты «Марсельезы», еще где-то пели «*Sambr et Meuse*»¹ и сотни вариантов модных песенок парижского мюзик-холла.

¹ Самбр и Мёз (Маас) — реки Западной Европы, берущие свое начало в северо-западной Франции. (Прим. перев.)

Все это сливалось в оглушительную какофонию, в гимн молодости, освобождению от школы и вступлению в новую, интересную жизнь. На стенах вагонов были нарисованы мелом непристойные карикатуры: пруссаки в уничижительных позах перед победоносным французским солдатом. Рядом видны были надписи: «Смерть пруссакам!», «Поезд идет прямо на Берлин», «Здесь предоставляются гиды немцам, желающим путешествовать по Франции».

Позднее я видел полки ветеранов, побывавших в Алжире и Бельгии. Их вагоны не были разукрашены. И хотя они ехали на фронт, они не пели и не выкрикивали приветствий. У них был тот обыденный вид, который я замечал у рабочих, идущих утром на повседневную работу на шелкопрядильной фабрике. Инстинктивно, как животные, все свободное время они употребляли лишь на еду, питье, сон, а в остальное подчинялись своим офицерам. Вот во что предстояло обратиться молодежи призыва 1914 года. Мысль эта была не из приятных.

Десять вагонов с молодежью были прицеплены к нашему поезду, и в пути до нас все время доносились песни и крики. Смеркалось. Мы стали замечать, что на каждой станции собирается молчаливая толпа одетых в серое людей, в большинстве женщин. Ими были забиты все полустанки, многие высывались из окон домов, стоящих вдоль железной дороги. С взволнованными лицами, плача, махали они платками: сестры, матери, возлюбленные призывников 1914 года. Когда стемнело, начался дождь, но они все стояли под открытым небом, и стояли уже много часов — молчаливые, серые, в сгущающихся сумерках, чтобы в последний раз взглянуть на своих мальчиков, едущих неизвестно ради чего воевать с немцами по повелению высшего разума, олицетворенного в правительстве.

В Бурге, где дорога, идущая с восточной границы, соединяется с железнодорожной линией на Лион, мы сошли с поезда и отправились пообедать. Кругом снова солдаты и множество женщин в белых формах — сестры Красного креста. Медленно подошел поезд из Бельфора. Когда он остановился, до нас донесся зловещий запах йодоформа. Из окон высывались солдаты с забинтованными руками и головами. Они просили папирос. «Откуда вы?» — спросил я у одного из

них. «Из Эльзаса», — ответил он. А солдаты на платформе выкрикивали: «Они из Эльзаса! Взяли мы уже Страсбург или нет?» — «Я не знаю, — ответил один из раненых. — В окопах никто ничего не знает. Но во Франции уже не осталось немцев». — «Ну нет, дружище, — закричал другой. — Они в тридцати километрах от Парижа». — «Слышали, ребятки?» — «Неправда, — заявил другой раненый, с головой, обмотанной окровавленными бинтами. — Мы слишком много их поубивали. Сколько же их всего, этих проклятых пруссаков?» — «Ну и ладно, мне наплевать! Я еду домой, в свою деревню. Буду есть яйца и попивать вино. А проклятая война может убираться ко всем чертям».

Паровоз дал свисток, и длинный ряд вагонов двинулся на юг; скрылись из глаз забинтованные руки, высунутые из окон в прощальном приветствии. В конце поезда были прицеплены две платформы, пол их был устлан соломой. Когда они поравнялись с нами, мы разглядели в полумраке ряды тяжелораненых солдат, лежащих на спине. До нас донеслись тихие протяжные стоны...

Мы приближались к Парижу, на дорогах стало попадаться все больше солдат. На опушке почти каждой рощицы можно было видеть стреноженных кавалерийских коней, а из-за деревьев подымались дымки бивуачных костров.

А там на небольшой возвышенности рота солдат, сняв мундиры, рыла траншею. Они высоко вскидывали лопаты, которые сверкали на солнце. В другом месте группа людей большими топорами рубила деревья. Еще дальше, у въезда в какую-то деревню, виднелась баррикада — кучи булыжника, мебели, пни. Мимо нас один за другим шли поезда с солдатами, на платформах везли серые пушки с длинными стволами. Мы вступили в Парижский укрепленный район.

Вспоминаю, как мы увидели первого британского томми. Наш поезд надолго остановился посреди моста через большую реку. На парапете, менее чем в двадцати футах от нас, сидел английский солдат и удил рыбу. Леска была привязана к штыку, фуражка сдвинута набекрень, он насвистывал «Путь далек до Типперери», пристально и с удовлетворением поглядывая на запад.

Услышав наше английское приветствие, он подошел к нам и начал рассказывать о своих приключениях:

— Да, я отступал от самой Бельгии, я видел, как ирландская гвардия была изрублена в куски в Вивье. Возле Монса было горячее дельце. Мой друг был захвачен пруссаками возле местечка, которое называется, кажется, Катто. Они сняли с него и штаны и...

Как раз в середине этого волнующего рассказа подошел еще солдат.

— Знаете ли, за все время, что мы здесь, мы не получали никаких новостей. Не можете ли вы сказать, сэр, русские уже вступили в Берлин?

— Глупости, — ответил другой с презрением. — Откуда? Они еще и Пиренеев-то не перешли.

Я осведомился:

— Как называется это место?

— Я точно не знаю, — ответил томми. — Мы здесь всего-навсего неделю. А для того чтобы научиться выговаривать его, требуется немало времени. Все эти французские названия так похожи одно на другое.

Наш паровоз дал гудок, и мы отправились дальше.

В Париж мы прибыли, когда авангард немцев был всего в тридцати километрах от города. Было прекрасное сентябрьское утро; воздух прохладный, бодрящий. В такие дни парижане возвращаются из деревни и на улицах города народа больше, чем в любое другое время года. Мы же попали прямо с вокзала в вымерший город. Длинные пустые улицы: ни омнибусов, ни фургонов, ни трамваев, все магазины с закрытыми ставнями и буквально увешаны флагами. В каждой витрине было выставлено по пять флагов: французский, бельгийский, русский, сербский и английский. Время приближалось к полудню, но на Больших Бульварах не видно было ни души. А ведь обычно, как говорится, если здесь посидеть на террасе кафе в течение часа, то перед тобой пройдет народ со всего света. На Рю де ла Пэ тоже не видно было ни одного человека. Тишина — ни грохота омнибусов, ни автомобильных гудков, ни криков уличных разносчиков, ни топота конских копыт — ничего, а ведь некогда улицы были самым шумным уголком в мире.

Кругом царила мертвая тишина, и только копыта лошади моего извозчика гулко цокали по мостовой.

Казалось, что город, разукрашенный для какого-то блестящего праздника, внезапно был парализован. Мальчишкам-газетчикам запретили громко выкрикивать заголовки газет. Они молча протягивали газеты прохожим, как бы говоря: «Нас арестуют, если мы скажем вам, как близко подошли к Парижу немецкие армии, но за пять сантимов вы можете все это прочесть здесь сами». Мы покупали их и проглядывали последнее официальное коммюнике, гласившее: «Стратегическое отступление войск союзников продолжается с большим успехом...»

Париж, впервые за всю свою историю, был безмолвен. Мы все немало слышали о стоическом спокойствии парижан в то время, когда город находился в опасности, о несгибаемом мужестве, с которым они смотрели в лицо грозящей им осаде. Но в действительности дело было в том, что все время, пока два миллиона французской молодежи вели отчаянную битву против немецких орд, вторгшихся с севера, Париж — сердце и душа Франции — оставался спокойным, равнодушным и апатичным. Когда же враг подошел вплотную, Париж и не думал дать ему отпор, а сразу опустел. Около двух миллионов человек покинули город в южном и западном направлениях. Великолепные, роскошные особняки богатей были предоставлены в распоряжение Красного креста. Этот на вид патриотический акт на деле был рассчитан на то, что флаг Красного креста спасет здания от разрушения немцами. К ставням заколоченных магазинов прикреплялись записки: «Владелец и все приказчики ушли в армию. Да здравствует Франция!» И тем не менее когда после битвы на Марне население стало возвращаться в город, те же самые магазины открывались, и владельцы со своими приказчиками без малейшего зазрения совести возвращались на прежнее место. Когда опасность миновала, некоторые особняки и дворцы были отобраны у Красного креста.

Каждый день с севера появлялся немецкий аэроплан. низко пролетал над крышами города, бросая то там, то здесь на безобидные мирные улицы бомбы и тучи листовок, призывающих парижан к капитуляции, поскольку немцы находятся у самых ворот города. Обычно он появлялся около четырех часов пополудни, и в это время весь Париж высыпал на улицы. О' приближении аэро-

плана узнавали по невероятной трескотне выстрелов, сопровождавшей его полет и прокатывавшийся по всему городу. Жители взбирались на крыши домов с оружием самых причудливых образцов и стреляли напропалую.

Официант в кафе со стуком ставил перед вами стакан, хватал ружье и мчался на улицу, чтобы стрелять в небо. Растущая, как снежный ком, лавина маленьких мальчишек и велосипедистов мчалась по улицам за аэропланом, чтобы посмотреть, где упадет следующая бомба. В кафе официанты стали просить деньги сразу, как только приносили вам аперитив, оправдывая свою просьбу тем, что посетители при появлении аэроплана убегали, не заплатив. Долгое время немецкие аэропланы развлекали парижан, и все бывали разочарованы, когда они не прилетали.

А с другой стороны бойко торговали только те магазины, которые гарантировали «Полный комплект траурного платья в течение шести часов». С каждым днем на улицах увеличивалось число людей в траурных одеждах. У мэрий сотни женщин с взволнованными лицами стояли целыми днями в очереди, чтобы хоть что-нибудь узнать о своих мужьях. Это было единственное проявление глубокого чувства, связанного с войной. Списки раненых и убитых не публиковались. Вы пытались навести справки об интересующем вас человеке. Если он был жив, вам ничего не сообщали, если же он погиб, об этом вас информировали в двух словах, и через двадцать четыре часа вы получали маленькую жестяную ладанку, какую выдавали каждому солдату перед боем.

Больше всего изменился ночной Париж. Кафе закрывались в восемь часов, рестораны — в девять. Никаких зрелищ, если не считать редкой демонстрации кинокартин. Ни потоков света, льющихся из окон кафе, ни огромных золотых фонарей на бульварах, ни изящных огненных гирлянд, опоясывающих изгибы реки и мосты, ни белого сияния Елисейских полей — всюду мрак. В половине десятого улицы совершенно пустели. Только длинные белые лучи пяти прожекторов плясали над крышами Парижа, обшаривая небо в предвидении давно ожидаемого полета аэропланов. А под моим окном на темных улицах раздавалась мерная поступь солдат, снятых с каких-то постов и направленных куда-то, а куда, они и сами не знали.

Сегодня утром раздался барабанный бой, приглашая на представление Гиньоля. Мы заплатили два су, уселись позади визжащих от восторга ребяташек и стали смотреть, как папаша Гиньоль подрался с дьяволом, а его сын перехитрил жандарма. У некоторых малышей на левом рукаве был креп, но они от души веселились. Солнечный свет прорывался сквозь листву. Взглянув наверх через просвет в деревьях, мы увидели очень высоко в небе аэроплан, сверкающий в лучах солнца, как металлическая птица. Пока мы медленно шли к воротам парка, с улицы донеслись рев труб и громкая барабанная дробь. Это проходил полк. Все солдаты были в пыли, многие прихрамывали, лица их были не бриты и покрыты грязью, — полк возвращался с фронта. Они двигались медленно, едва передвигая ноги, штыки их винтовок покачивались в такт их шагам. Я стоял на расстоянии тридцати футов от солдат, но тем не менее запах, исходивший от них, был ужасен. Это был запах ночлежного дома на Бауэри¹ зимней ночью, когда жар печи начинает распаривать грязные, зараженные болезнями тела и кишашую насекомыми одежду. Гордо звенели трубы, а солдаты тридцатого линейного полка французской армии устало брели по улице между забитыми народом тротуарами. Царило глубокое молчание. Все мы тупо, с любопытством глядели на эти странные существа, одетые в форму, пахнущие трущобами, возвращающиеся с разных подвигов... И как не вязались эти люди с представлениями Гиньоля в Люксембургском саду.

Дымка тумана окутывала верхушку белой башни маяка в Кале, когда мы вышли из ресторана и отправились побродить после обеда по Рю Руайяль. Рю Руайяль — это Бродвей города Кале. Слышится лязг трамваев, двери магазинов и кино широко открыты, и мимо толпы, собравшейся возле склада на углу в ожидании лондонских газет, доставляемых вечерним судном из Фолкстона, льется поток смеющихся, весело болтающих людей — жителей доброго города Кале: солдаты, матросы, рыбаки и их девушки. С конца пристани мы скользили взглядом вдоль ослепительного луча огромного прожектора, который неподвижно лег поперек про-

¹ Район Нью-Йорка.

лива, а где-то посередине его встречает белый луч английского прожектора в Дувре. И там, где они встречаются, из темноты появляется длинный серый английский военный корабль, идущий на север, и вновь исчезает во мраке.

На оружейной площади при свете факелов какие-то люди с криками и смехом разбирали палатки и прилавки еженедельного базара. Мы прошли вдоль погруженной в молчание улицы с булыжной мостовой, между рядов старинных серых домов и встретили двух подвыпивших матросов. Они проводили нас в *Maisan de societe*, где находилось ночное кафе с музыкой и девицами. Оно было заполнено матросами, но среди них попадались и солдаты. Все они на множество ладов и голосов пели «Марсельезу», прерывая свое пение криками: «Да здравствует Франция!» Мы предложили им выпить с нами, нас встретили по-братски. Оказалось, что эти матросы с трех подводных лодок, которые в пять часов утра должны выйти в Северное море сражаться с немцами. Солдаты, раненные и теперь выздоравливающие, должны были на следующий день присоединиться к своим полкам где-то на огромной линии фронта на реке Эн.

К утру, много времени спустя после ухода матросов, мы сидели с тремя солдатами и двумя девушками и пили шампанское во славу французского оружия. Мой друг социалист захотел выяснить, какие именно чувства скрывались за пением «Марсельезы» и криками: «Да здравствует Франция!» — и что заставляло этих людей с такой радостью идти на смерть.

— Почему вы воюете? — спросил он.

— Потому, что немцы напали на Францию.

— Но немцы тоже думают, что на них напали.

— Да, я знаю, — сказал один, — в Кале было несколько немецких военнопленных. Все очень хорошие ребята.

— Так, может быть, на них действительно напали? Может быть, они правы?

— Возможно, — сказал француз.

— Но если на них напали первыми, почему тогда вы сражаетесь?

— Потому, — пояснил другой, — что на нас тоже напали.

— А также потому, — прибавил второй, — что мы призваны в армию, чтобы сражаться за родину.

Мой друг социалист пустился в длинные рассуждения о войне. Он сказал, что народ от войны ничего не получает, что во время войны совершенно прекращается развитие рабочего класса, что война приводит к истреблению самой лучшей части народа, что она мешает прогрессу и обрекает бедняков на нищету, из которой они так долго старались выбраться ценой напряженной борьбы. Все три солдата слушали все это с самым глубоким интересом.

— Верно, — сказали они, — война — ужасная вещь.

Седой мужчина, лет под сорок, с серьезным лицом, перегнулся через столик и заметил:

— Мсье совершенно прав. Я воевал семь лет и видел, как вокруг меня гибли мои товарищи. Мой лучший друг был убит под Шарлеруа, и, клянусь богом, я обязательно отомщу за него этим проклятым пруссакам. Вот подождите — только бы мне добраться до линии огня, — уж я-то знаю, что такое война, — добавил он, горделиво потряхивая головой. — Шесть лет я служил в колониях. Посмотрите, вот фотография, на которой я снят с моей туземной ротой в Индокитае. Мы там создали прекрасную туземную армию, чтобы подавлять восстания.

Хрупкий юноша с приятным лицом сказал горячо:

— Да, я социалист.

— А, — заметил мой друг. — Наконец-то мы кое-что узнаем. Почему вы воюете?

— Я воюю, — ответил он, словно повторяя затверженный урок, — для того, чтобы уничтожить прусский милитаризм и освободить рабочий класс.

— Но ведь прусский рабочий класс воюет за то, чтобы сокрушить русский деспотизм!

— Да, это совершенно верно. Мне это говорили.

— Но что вы-то получите от уничтожения прусского милитаризма?

— Мы освободимся от прусского милитаризма...

— После этой войны, — сказал третий, — никогда больше не будет войн.

— Никогда, — подтвердили в один голос другие двое.

— Давайте закажем еще бутылочку шампанского, — сказал солдат из Индокитая. — Завтра мы вернемся к нашим товарищам. На этот раз мы не дадим немцам по-

щады. Они убивали наших раненых, и мы отплатим им тем же...

Я спросил женщин, что они думают о войне.

— Французы и англичане — благородные люди, — сказала одна из них. — Немцы все свиньи. Да здравствует Франция!

— Но что вы извлечете полезного из этой войны, которой вы так рады?

— Я? Ничего. Почему я должна выиграть от нее? Но и мне она на пользу. В Кале сейчас гораздо больше солдат и матросов, чем раньше.

Я до сих пор вспоминаю эту великолепную картину. Мой друг, поменявшись одеждой с французским солдатом, расхаживает по комнате, воинственно жестикулируя и твердя, что он, как ему кажется, мог бы стать великолепным солдатом. А после этого мы возвращались домой по безмолвным улицам Кале, распевая песни, пока патруль каких-то весьма бдительных военных не напомнил, что Кале находится на военном положении и что в связи с войной пение на улицах не разрешается.

Через две недели после окончания страшной битвы на Марне мы выехали в Эстерне, чтобы осмотреть поле сражения.

Между Эстерне и Сезанном происходили самые жестокие бои. Именно здесь армия фон Бюлова всем фронтом врезалась в правое крыло французских войск и не переставая сражалась в течение трех дней, продолжая арьергардные бои и тогда, когда вынуждена была отступить на север.

В Эстернеском кафе, где мы завтракали, было несколько французских офицеров. Французский комендант этого местечка проверил наши паспорта и любезно объяснил нам, как пройти на место сражения.

В самом Эстерне снаряд разворотил стену дома. Дыра была уже заделана, и через какие-нибудь две недели солнце и дождь сровняют это место свежей кладки, и никто не узнает, что сюда попал снаряд. Главный признак войны в Эстерне состоял в том, что молоко и яйца было еще очень трудно достать. Кроме того, здесь было много мух — тысячи мух, которые слетелись сюда на трупный запах и исчезнут только после того, как наступят холода.

Мы пересекли железнодорожное полотно и пошли по дороге на Сезанн. Регулярно через каждые три фута

с южной стороны дороги попадался маленький одиночный окоп. Засев в этих окопах, германские стрелки задерживали французскую пехоту под градом шрапнели, которой поливали их французы. Французская пехота прошла этот луг вдоль и поперек под прикрытием своей артиллерии и захватила окопы после штыкового боя. Сражение здесь было очень жестоким. В течение трех дней французские орудия сеяли смерть на этом скошенном лугу и в прилегающем к нему лесу.

Мы могли судить о действиях огня по конюшням и хозяйственным постройкам замка, расположенного на перекрестке. Они были совершенно разрушены орудийным огнем. До сих пор над ними поднимались тонкие струйки дыма, и до нас донесся удушливый запах горелого мяса.

Но по полю недавнего сражения уже шагал человек с плугом, покрикивая на своих быков. Многие воронки от снарядов исчезли под коричневыми бороздами, и никто не мог бы их отыскать. Даже в долине, где французская пехота ожесточенно отстаивала свои позиции под ужасающим огнем и где лишь клочки сена и консервные банки указывали то место, где еще недавно стояла армия, даже здесь уже появились молодые бледно-лиловые крокусы, которые выделялись на фоне плодородной земли, как лампочки в полумраке.

Поднявшись на холм, мы пошли по дороге, где с одной стороны тянулись отягощенные плодами яблони, а по другую — узкий сочный луг, подходивший к самому лесу. Мы шли к Шатильону — деревушке, которая оказалась в самом центре битвы. Это место немцы превратили в зону своей первой отчаянной обороны и при отступлении сожгли и разрушили деревню. Картечь довершила дело. Прямо перед нами, напротив перекрестка, стояли мрачные полуразрушенные стены деревенского склада, кафе и гостиницы, а с обеих сторон открывался ужасный вид на дома без крыш, с обгоревшими переплетами зияющих окон и дверей. Только церковь и школа остались неповрежденными. По словам школьного учителя, это последнее здание уцелело благодаря тому, что на чердаке его укрылись три французских солдата. Они стреляли через щели в черепичной крыше и не подпустили немцев к дому. Мы представили себе весь ужас тех страшных дней: простые крестьяне, застигнутые всепо-

жирающим огнем войны, погибали на улицах или бежали в ужасе без оглядки из своих домов, чтобы уже никогда не вернуться сюда. Однако школьный учитель сообщил нам, что через три дня после сражения все жители деревни вернулись и поселились у друзей в округе до тех пор, пока их дома не будут восстановлены. Даже самое полное и решительное разрушение и концентрированный огонь всей французской артиллерии не были в состоянии смести с лица земли одну эту маленькую деревушку:

Ясным солнечным днем после полудня мы шли, распевая, по дороге на Сезанн. Французский офицер предупредил нас, чтобы мы не углублялись в лес, так как солдаты разыскивают там немногих полумертвых от голода, несчастных немцев, скрывшихся после сражения. И действительно, мы услышали из глубины леса два винтовочных выстрела. Издали, с севера, доносился тревожный гул орудийной канонады. Там, у Реймса, усталые от бессонницы, измученные люди механически убивали друг друга. Мы постояли некоторое время, прислушиваясь к этим звукам и рассматривая расстилавшиеся желтые равнины Шампиньи, такие же, как во времена, когда здесь прошел гунн Аттила более тысячи лет назад.

На поле виднелись длинные насыпи желтой земли со следами негашеной извести по краям — сюда стаскивали за ноги трупы и закапывали в землю, немцев и французов вместе. На одном длинном кургане был деревянный крест, увитый цветами, на нем надпись: «Здесь покоятся сорок три француза из 73-го линейного полка».

РУЗВЕЛЬТ ИХ ПРОДАЛ¹

Редактор нью-йоркской «Ивнинг мейл» советовал американцам немецкого происхождения голосовать за Теодора Рузвельта. Кто-то спросил его, почему. Он ответил: «Я знаю, что он не любит немцев. Но немцы должны поддерживать Рузвельта, так как он единственный в Соединенных Штатах представитель германской культуры».

Когда Теодор Рузвельт был президентом, в Вашингтон приехала делегация от штата Мичиган. Она просила его выступить в защиту республики буров, сражавшейся тогда не на жизнь, а на смерть с английским правительством. Один из делегатов рассказывал мне, что Рузвельт ответил им с ледяным спокойствием: «Нет, более слабые нации должны подчиняться более сильным, даже если им придется исчезнуть с лица земли».

Когда немцы вторглись в Бельгию, полковник Рузвельт сообщил нам на страницах «Аутлук», что это нас не касается и что наша изоляционистская политика должна проводиться непреложно, пусть даже в ущерб бельгийскому народу.

¹ В 1916 году Рид в качестве корреспондента журналов «Metropolitan» и «Masses» присутствовал на съездах Демократической, Республиканской и Прогрессивной партий, выдвигавших кандидатов на пост президента. На съезде Прогрессивной партии Рид был свидетелем того, как Теодор Рузвельт предал эту партию. Под влиянием широко распространившегося движения против монополий они добивались выдвижения Рузвельта на республиканском съезде 1912 года. Когда республиканская верхушка добилась вторичного выдвижения Вильяма Говарда Тафта, не согласные с этим республиканцы, обманутые фальшивым либерализмом Рузвельта, образо-

Эти примеры свидетельствуют о специфически прусском направлении ума, свойственном полковнику. Поэтому мы были поражены, когда впоследствии он выступил в защиту той самой Бельгии, которую так бесповоротно обрек на гибель, и явился перед нами в роли поборника «слабых наций». Было ли это рыцарством или симпатией к делу демократии? Мы — скептики — медлили с ответом и выжидали. Но вскоре из мешка полковника высунулось шило. Все эти разговоры насчет Бельгии незаметно перешли в горячий призыв создавать огромную армию и флот, которые дали бы нам возможность выполнить свои международные обязательства. К ним присоединились ожесточенные нападки на правительство Вильсона за то, что оно не осуществляло в первую очередь того, что требовал полковник. Особенно подчеркивал он при этом трусливый отказ правительства разгромить мексиканский народ!

Стоило генералу Леонарду Вуду и честолюбивой военной касте нашей страны настроить его соответствующим образом, стоило фабрикантам оружия и агрессивно настроенным финансистам устроить в честь полковника обед, стоило хищникам-плутократам, с которыми он так славно сражался в прошлом, дать ему понять, что его кандидатура на пост президента Соединенных Штатов будет поддержана, как «наш Тедди» выступил в защиту слабых наций за границей и за подавление их на родине; за уничтожение прусского милитаризма и поощрение милитаризма американского; за либерализм во всех его проявлениях, включая финансирование России англо-американским займом, и за консерватизм финансировавших этот заем джентльменов.

Нас не ввел в заблуждение ярлык патриотизма на нашем полковнике. Не были одурачены им и фабриканты оружия и финансовые тресты. Полковник работал на них, и поэтому они поддерживали его. Но множество честных людей нашей страны, помнивших его разглагольствования об «Армагеддоне»¹ и «социальной

вали Прогрессивную партию, которая выдвинула его кандидатом на пост президента. Но через четыре года он открыто занял свою прежнюю позицию безудержной апологетики империализма и помог сокрушить движение прогрессистов. (*Прим. ред. американск. изд.*)

¹ Название места, где, согласно библейскому пророчеству, должна произойти битва между силами добра и зла; в переносном

справедливости», думало, что Рузвельт все еще на стороне народа. Большинство этих людей, упоенных мечтой о возрождении человечества, собралось в 1912 году под его знаменами. Они пожертвовали значительной долей своего времени, денег, а частично и положением, чтобы следовать демократическому учению нового мессии. Их веры не загасили четыре года диктатуры Джорджа У. Перкинса и Стального треста, в течение которых полковник спокойно допускал, чтобы его соратники толпами гибли политической смертью — четыре года, полных таких противоречий и непостоянства, что под конец он начал уже во всю мощь своих легких призывать к кровавости, повиновению и действенности.

Люди эти не были милитаристами, они были не за войну, а за мир; они вовсе не стремились служить всем и каждому или повиноваться корпорациям. Они шли за Рузвельтом. Они думали, что в конечном счете он стоит за социальную справедливость. Поэтому они, не рассуждая, глотали все, что он им преподносил, и кричали: «Хотим Тедди!»

В 1912 году Теодор Рузвельт опубликовал свое «Соглашение с американским народом», в котором уверял, что никогда не покинет его, и утверждал незыблемость отстаиваемого им принципа «социальной справедливости». В этом «Соглашении» был весь смысл существования Прогрессивной партии. И действительно, если бы прогрессисты не верили, что «Соглашение с американским народом» снова обретет силу, то вряд ли они после четырех лет молчания и забвения могли бы снова слепо пойти за полковником Рузвельтом. Они познали поражения. Они многое принесли в жертву. Им было ясно, что, как партия, они не могут прийти к власти в 1916 году. Но когда раздался этот призыв, по всей стране в миллионах сердец разгорелась ярким пламенем почти уже погасшая искра энтузиазма. Призыв к крестовому походу за демократию, воодушевлявший мужчин и женщин четыре года назад, снова прокатился по стране.

Правда, радикалы-интеллигенты ему не поверили — как бы сильно они ни «хотели Тедди», они знали, что он предаст их, когда это будет ему нужно. Ему верили по-

смысле — огромный по масштабам общественный конфликт, в частности — первая мировая война.

литически отсталые и неопытные люди, идеалисты из глухой провинции. Разве не сказал он, что никогда не покинет их? Их ждет новый Армагеддон, и они, как прежде, снова принесут жертвы на алтарь общего дела. Им и в голову не приходило, что Теодор Рузвельт называет их в Нью-Йорке «чернью» и придумывает способы освободиться от энтузиастов и идеалистов, от грязных и тупых представителей низших классов. Они не знали, что он говорит про них с досадой: «Нельзя создавать политическую партию из чудаков. Я должен избавиться от этой накипи сумасбродов». Под «накипью сумасбродов» он подразумевал тех людей, которые верили в «социальную справедливость» и хотели осуществить ее на деле.

В обращении, адресованном съезду прогрессистов, говорилось о необходимости достичь взаимопонимания с Республиканской партией. Прогрессисты согласились с этим. Некоторые потому, что хотели вернуться в лоно Республиканской партии, другие потому, что хотели навязать республиканцам и всей стране Рузвельта и «социальную справедливость». А если республиканцы не пожелают принять Тедди и принципы прогрессистов, почему бы ему не заключить соглашения с прогрессистами? Они снова будут действовать одни, как в 1912 году, снова станут Партией Протеста, партией благородной, но неосуществимой надежды. И вот они приехали в Чикаго — косноязычные, полные веры, подогреваемые смутной надеждой, которую лишь позднее собирались облечь в слова. Тедди был для них не просто Тедди. В нем воплощались демократия, справедливость и честность, он был защитником бедных и символом Готовности. А если Тедди говорит, что Готовность — это справедливость и свобода, то Тедди, должно быть, прав. Платформа Прогрессивной партии показывает, насколько полно крестonosцы 1912 года заменили принципы Рузвельтом — и в этом, увы, нет никакой «социальной справедливости».

С платформы чикагского «Аудиториума» я смотрел вниз на волнующееся человеческое море, охваченное почти религиозным чувством; на мужчин и женщин из больших и маленьких городов, из деревень и с ферм, из пустынь, с гор и со скотоводческих ранчо, отовсюду, куда ветер донес до ушей бедных и угнетенных весть о том, что на защиту правого дела встал великий воин и

целитель. Любовь к Тедди переполняла сердца этих людей. Ослепленные своим энтузиазмом, они пели: «Вперед, воины Христа!» и «Мы пойдем, пойдем за Тедди!» Силу, воодушевление, молодость — вот что олицетворяло это собрание. Здесь были великие борцы, люди, всю свою жизнь отдавшие неравной жестокой борьбе против несправедливости, выраженной в том, что шестьдесят процентов народа нашей страны владеет лишь пятью процентами ее богатства. Они не были революционерами. Большей частью это были люди недалёковидные и не умеющие рассчитывать, — обычные, простые люди, возмущенные гнетом и жестокой несправедливостью, с которыми они постоянно сталкивались. Без вождя, который мог бы выразить их мысли, они были бессильны. Мы — социалисты и революционеры — презирали прогрессистов и высмеивали их. Мы вышучивали их преклонение перед личностью. Мы потешались, когда они истерически распевали свои гимны обновления. Но когда я увидел съезд Прогрессивной партии, я понял, что в этих делегатах воплощена надежда страны на мирную эволюцию, что они — материал, из которого создаются народные герои.

На трибуне стояли другие люди — лидеры прогрессистов. Только что на съезде республиканцев я видел Бернса, Рида, Смута, Пенроуза, У. Меррея Крейна и другие зловещие фигуры, боровшиеся с народом не на жизнь, а на смерть. Так вот, люди на трибуне съезда Прогрессивной партии, на мой взгляд, немногим отличались от них. То были Джордж Перкинс с Уолл-стрита, Джеймс Гарфилд, Чарльз Бонапарт и др. В глазах этих скрытных и холодных людей не было ни единой искры энтузиазма, никакой симпатии к делу демократии. И действительно, проходя около них, я услышал, как они отзывались о делегатах внизу. Они называли их «олухами»! И тем не менее этот тесный кружок, в чьи задачи входило использовать прогрессистов как угрозу против республиканцев, но не позволять им мешать полковнику, состоял, как мне было известно, из доверенных людей Теодора Рузвельта, его представителей на съезде.

Съезд Республиканской партии заседал неподалеку, всего за несколько кварталов. Он полностью контролировался Пенроузом, Смутом, Крейном, Бернсом и другими. Делегаты прогрессистов знали об этом. Они знали

также, что Теодор Рузвельт ни при каких обстоятельствах не может быть выдвинут там. И они требовали Тедди. Громовые раскаты сотрясали здание: «Хотим Тедди! Выдвинем сейчас же Тедди!» Лишь с огромным трудом эта шайка убедила их подождать. «Созыв съезда подчеркнул необходимость сближения с республиканцами ради спасения страны, — говорили они. — Мы должны назначить комитет, чтобы договориться со съездом республиканцев о возможном кандидате, которого могли бы поддержать обе партии». — «Хотим Тедди! Хотим Тедди!»

— Подождите, — советовали Перкинс, Пенроуз, Гарфилд и прочие члены шайки. — Не будет никакого вреда, если мы поговорим с ними.

Губернатор Хирам Джонсон из Калифорнии крикнул делегатам громовым голосом:

— Помните, что сделали Бернс, Пенроуз и Крейн в тысяча девятьсот двенадцатом году! Мы ушли со съезда республиканцев потому, что его контролировали боссы. Они и теперь возглавляют его. Единственное, что мы можем сказать съезду, — это назвать своим кандидатом Теодора Рузвельта!

— Ничего страшного не случится, если мы обсудим это совместно, — советовали заправилы съезда. — У нас есть телеграмма от Теодора Рузвельта, рекомендующая нам обсудить эти вопросы с республиканцами.

На трибуну вскочил Виктор Мэрдок.

— Вы хотите Тедди, — закричал он. — Так вот, единственный путь, которым вы можете его получить, — это выдвинуть его сейчас же!

— Я скажу вам, какое послание надо направить съезду республиканцев! — кричал Уильям. Д. Макдональд: — Велите им убираться ко всем чертям!

Все они — Мэрдок, Макдональд и Джонсон — прекрасно знали, что полковник вполне способен продать их. Они отчетливо сознавали, что единственный способ заставить Рузвельта разговаривать начистоту — это выдвинуть его кандидатом немедленно, прежде чем республиканцы начнут действовать.

— Подождите! — советовали заправилы, люди хладнокровные, логично рассуждающие, вежливые и очень испуганные. — Ничего дурного не случится, если мы назначим комитет для консультации с республиканцами.

Если мы будем действовать одни, Теодор Рузвельт и «социальная справедливость» не победят на выборах.

Таким образом, был назначен совещательный комитет прогрессистов, ибо делегаты доверяли Перкинсу, Гарфилду, Бонапарту и... Рузвельту. Что думали об этом республиканцы, показал состав совещательного комитета, выбранного их съездом: Рид Смут, У. Мэррей Крейн, Никлас Мэррей Батлер, Бора и Джонсон.

— Храни нас, боже! — воскликнул губернатор Хирам Джонсон. — Отныне мы под началом у Рида Смута и Мэррея Крейна!

И он действительно попал в точку: его назначили одним из членов прогрессистского комитета, который возглавили Джордж У. Перкинс и Чарльз Д. Бонапарт.

На следующий день среди президиума съезда прогрессистов потихоньку распространился слух, что полковник попросил по телефону, чтобы его кандидатуру не выдвигали, пока республиканцы не выдвинут своего кандидата. Комитет зачитал свой доклад, который во всех отношениях страдал непоследовательностью. Постепенно все глубже укоренялось убеждение, что Рузвельт должен быть выдвинут. И только заправила сдерживали съезд, требуя, чтобы комитет провел еще одно заседание совместно с республиканцами. А потом, как гром среди ясного неба, пришло второе послание Рузвельта из Ойстер-Бея, призывавшее в порядке компромисса выдвинуть сенатора Генри Кабота Лоджа из Массачусетса. Генри Кабота Лоджа — этого заклятого реакционера, как никто далекого от народа! На делегатов съезда точно повеяло холодом. Никто ничего не понимал. К этому времени на республиканском съезде началось выдвижение кандидатур, и шайка, заправлявшая съездом прогрессистов, уже не в состоянии была контролировать события. Слово взял Бэйнбридж Колби из Нью-Йорка, который выдвинул кандидатуру Теодора Рузвельта. Хирам Джонсон поддержал выдвижение. В три минуты все процедуры были выполнены, и Рузвельт был избран без голосования.

— Теперь, — сказал председательствующий Реймонд Робинс, — ответственность ложится на полковника Рузвельта. А я никогда еще не видел, чтобы он отступал перед ответственностью, независимо от того, велика она или мала. Я думаю, что полковник Рузвельт даст согласие.

После чего был объявлен перерыв до трех часов.

Как произошло, что республиканцы подавляющим большинством голосов выдвинули Чарльза Е. Хьюза — теперь уже старая история. Но как прогрессисты, полные надежд и энтузиазма в предстоящей им великой битве, собрались снова, чтобы выслушать ответ Рузвельта, я видел собственными глазами. Играли оркестры, и люди, подобно детям, ликуяще размахивали в проходах знаменами. Профессор Альберт Башнелл Харт из Гарварда носился по залу, потрясая огромным американским флагом.

— Прогрессивная партия не может быть отдана на откуп одному, двум или трем лицам! — кричал председатель Робинс, открыто намекая на Джорджа Перкинса. — Она должна быть народной партией, финансируемой народом. Я призываю зал к подписке на фонд для проведения избирательной кампании.

Последовал взрыв неистового энтузиазма. За двадцать минут делегаты на галерее подписались на десять тысяч долларов. Это была поистине величественная дань духу «олухов».

Потом по трибуне пошел шепоток, что прибыл ответ от Теодора Рузвельта. Если съезд настаивает на немедленном ответе, говорилось в нем, он вынужден отказаться. Прежде чем принять назначение прогрессистов, полковник Рузвельт должен услышать заявление судьи Хьюза. Он даст ответ Национальному комитету Прогрессивной партии двадцать шестого июня. Если комитет сочтет позицию судьи Хьюза по вопросам Готовности и Американизма подходящей, Рузвельт отклонит выдвижение прогрессистов. Если же комитет сочтет позицию судьи Хьюза неприемлемой, он проконсультируется с комитетом о том, как лучше поступить. Мы, репортеры, так же как и Джордж Перкинс и заправилы съезда, знали об этом еще за час до перерыва. Но ни единое слово не достигло еще ушей делегатов в зале.

Председатель Робинс дипломатично объявил, что, согласно воле делегатов, он позаботится о том, чтобы собрание было закончено ровно в пять часов, хотя никто не просил его об этом. В зале по-прежнему бойко собирали деньги. Жертвовавшие их делали это потому, что думали, что Теодор Рузвельт поведет их на новую битву. Только в речах губернатора Хирама Джонсона

да Виктора Мэрдока пробивалась нотка горечи и предчувствие измены.

— Прости нас, боже, за то, что мы с самого начала не действовали так, как следовало! — воскликнул губернатор Джонсон.

Еще меньше иллюзий питал Виктор Мэрдок.

— Нас переехал паровой каток! — воскликнул он. — Мы никогда больше не должны откладывать выполнения своих решений.

А затем без четырех минут пять председатель Робинс объявил, словно между прочим, о новом письме от Теодора Рузвельта и зачитал его. И, прежде чем присутствовавшие могли осознать его смысл, был объявлен перерыв и участники собрания, огорошенные и недоумевающие, уже выходили через многочисленные двери на улицу. Понадобилось несколько часов, чтобы истина дошла до этих людей, чтобы они поняли, что мессия предал их за тридцать политических сребреников. Но в конце концов, я думаю, они поняли.

В тот же вечер я посетил штаб-квартиру прогрессистов. Рослые, бронзовые от загара люди плакали, не стесняясь. Другие ходили взад и вперед ошеломленные. В воздухе царилло ощущение беды. Да, интеллигенты-радикалы знали, что это произойдет таким образом, так нагло и грубо, но они думали, что полковник мог бы оставить и им какую-нибудь лазейку, как он оставил себе. Они не понимали, что это было как раз в его духе. В том-то и заключалась его цель, что он хотел бесповоротно порвать с этими «чудаками», с этим «сбродом». Его намерением было нанести им пощечину, предложив в качестве кандидата от прогрессистов Генри Кабота Лоджа. А теперь они остались, по выражению одного из прогрессистов, «одни на подпиленном суку».

Что же касается полковника Рузвельта, то он вернулся обратно к единственным людям, с которыми ему хорошо: к «хищникам-плутократам». Теперь он по крайней мере не связан больше с демократией. От одного этого ему, несомненно, легче дышать. Что же до самой демократии, то мы можем только надеяться, что когда-нибудь она перестанет доверять людям.

НЕПОПУЛЯРНАЯ ВОЙНА

Был один из тех влажных и душных летних вечеров, какие нередки в Вашингтоне. После превосходного обеда мы перешли в библиотеку и сняли для удобства пиджаки. Дворецкий принес сифоны, лед, бокалы и сигары.

Нас было четверо или пятеро: я — человек новый в этом мире, и другие — умные молодые люди, год назад или около того кончившие колледж. Теперь они работали добровольцами: кто в комитете по снабжению при Продовольственном управлении Гувера, кто в одном из бесчисленных подкомитетов Совета национальной обороны.

Люди эти располагали достаточными средствами, чтобы позволить себе работать на войну в Вашингтоне. Ни у кого из них не было подлинного опыта в борьбе за существование. По складу ума они были более склонны к психологии и литературной критике, нежели к политической деятельности. Войну и воинскую повинность они восприняли как шаг вперед в осуществлении политической теории, согласно которой человечеством в конечном счете будет управлять разум. Надо еще добавить, что каждый из них был готов «внести свою лепту», даже если бы пришлось умереть за родину. Один из них собирался записаться добровольцем в авиационный корпус, другие думали, что смогут принести больше пользы на постах советников и организаторов, нежели в окопах.

— Ни один сколько-нибудь интеллигентный человек не считает войну популярной, — заговорил один из них. — Как-то вечером мы обедали всей компанией: Я, Джо, Джордж Ньютон, несколько ребят из Военного департамента и парочка крупных дельцов из подкомитетов Совета национальной обороны.

Мы старались, как выражаются коммивояжеры, «найти зацепку», чтобы «подать войну». Битых три часа сидели мы, ломая себе голову, но не смогли придумать ни единого достаточно серьезного аргумента, который мог бы возбудить патриотизм рядового гражданина, не будучи вместе с тем откровенной ложью. Конечно, у нас были достаточно веские аргументы для себя, но для любой рекламной кампании они были чересчур, ну, как бы это сказать... интеллигентны.

Тут заговорил горячий поклонник авиации, который сидел, откинувшись и пуская к потолку дым дорогой сигары.

— Знаете, что нам нужно? Только одно — то самое, что помогло в Англии. Потери. Сначала невозможно было заинтересовать массы англичан войной; им нельзя было внушить, что война — это их кровное дело. Но когда начали приходить списки убитых, раненых и искалеченных — кстати, Англия должна быть благодарна немцам за их зверства, — тогда ненависть к немцам начала просачиваться из семей убитых и раненых в толщу народа. Ведь патриотизм — это общественный гнев, приспособленный для военных целей. Если бы я задался целью сделать эту войну популярной, я начал бы с отправки трех или четырех тысяч американских солдат на верную смерть. Это привело бы в возбуждение всю страну.

Если бы этот молодой человек мог пробудить Америку, попросту пожертвовав собой, я думаю, что он не поколебался бы сыграть роль Курция¹. Он сделал бы это, несмотря на то что по натуре был чужд романтических иллюзий и что в данном случае он лишь играл бы на сентиментальности публики ради сознательного достижения своей цели. Но он прекрасно знал, что не может совершить ничего такого, что хоть в самой легкой степени воодушевило бы американский народ, даже если бы это действие само по себе не было чуждо его темпераменту. Единственное, что *может* задеть людей за живое, — это боль, горе, чувство безвозвратной утраты. А потому давайте пошлем на смерть несколько тысяч американских юношей для нашего общего блага.

Жизнь теперь ценится дешево, и если, уничтожив не-

¹ Марк Курций — легендарный римский герой, принесший себя в жертву ради спасения родины.

сколько тысяч молодых людей — меньше, чем погибает за день на фронтах мировой войны, — можно будет сделать решительный шаг к освобождению человечества, я знаю, где искать людей, готовых на это — и даже невоеннообязанных. Но когда тебя принуждают или соблазняют дешевыми эффектами поддерживать политические теории, которые слишком сложны или изысканны, чтобы воспламенить массы, то это, по-моему, смахивает на те старые, недемократические махинации, которые разожгли пожар в Европе.

Года полтора я провел в различных странах и на разных фронтах, побывал во всех столицах воюющих стран, наблюдал военные действия на пяти фронтах. Один из моих лучших друзей обвиняет меня в том, что я не понимаю значения войны, что на меня не производят впечатления потрясающие контрасты этого всемирного катаклизма. Он говорит, что я поехал в Европу, руководствуясь предвзятой идеей социалиста, согласно которой правящие капиталистические классы цинично и злонамеренно, обманом втянули свои народы в войну, и что я отказываюсь видеть что-либо другое.

Согласен, я действительно поехал за границу с определенной идеей, и моя идея была, в основном, именно такова. У каждого человека была в начале войны по крайней мере одна теория. Но вскоре я разочаровался. Я обнаружил, что самые различные люди бывают настолько неразумны, что в обмане нет необходимости. Это относилось даже к социалистам и противникам милитаризма, которые расставались со своими убеждениями, как змея со старой кожей, едва лишь на улицах раздавался барабанный бой и проносили флаги.

Боюсь, что я никогда по-настоящему не понимал драматизма и красоты этой войны. В первые недели, проезжая через Францию, я думал, что никогда не смогу забыть эти украшенные цветами воинские поезда, переполненные смеющимися и поющими ребятами призыва 1914 года, которые так весело и беззаботно уезжали на фронт. И после этого я увидел Париж, но не героический, суровый и непреклонный, каким описывали его все репортеры, а обезумевший от страха, охваченный поголовной паникой город, жители которого в своем неистовом стремлении попасть на поезда, отходящие на юг, затапывали женщин и детей.

Я видел множество безобразных вещей: мелкие торговцы наживались на снаряжении, в котором нуждались солдаты; богачи отдавали свои красивые особняки под покровительство Красного креста, а потом, когда немцы отступили к реке Эна, отбирали их обратно. Военно-медицинское управление вело закулисную борьбу с Красным крестом, в результате которой в городе пустовали тысячи больничных коек, а раненые умирали под дождем прямо на булыжниках Витри.

Что противостояло этому? Нация, вставшая как один человек, чтобы отразить нашествие, но в большинстве своем состоявшая из людей не слишком воинственных и потому чувствовавших себя, как мне казалось, в очень глупом положении и совершенно бесполезными. Флаги, безлюдие, шпиономания, женщины с безумными глазами и немецкие аэропланы, методически сбрасывающие бомбы на улицы. Шок и следовавшее за ним медленное, но неизбежное расстройство повседневной жизни, постоянно растущее напряжение. А позднее однорукие и одноногие калеки, люди, лишившиеся рассудка под орудийным огнем, и все растущие очереди голодных бедняков, выстроившиеся в переулках перед общественными столовыми.

Битва на Марне могла бы стать поводом к бурному ликованию, но к этому времени в Париже не осталось никого, кто мог бы торжествовать победу. Убранный тысячами флагов, город вяло улыбался под ярким солнцем. Его улицы были пустыни, а ночи — темны. Не было ни славных новостей, ни героизма, ни звона колоколов, ни народного ликования. Все это невозможно в те дни, когда мужская половина нации гниет в окопах. Героизма не может быть там, где миллионы людей идут на страшную смерть с тем настроением, какое было у европейских армий на протяжении этих трех лет. Миллионы героев! Этого одного достаточно, чтобы полностью обесценить воинскую доблесть.

Почему я видел окружающее в таком свете? Ведь я пытался воспринять живописную, драматичную, гуманную сторону войны. Но все казалось мне бесцветным, все эти миллионы людей представлялись винтиками бездушной и скучной машины. То же самое произошло и на передовой. Я был свидетелем битвы на Марне. Я находился в расположении французских войск севернее Амьена, когда началась окопная война. Почти всегда это

было одно и то же механическое действие. Сначала нам было интересно знакомиться с новыми способами ведения войны. Но чувство новизны скоро стиралось, так же как стиралось оно и у солдат в окопах.

Во время битвы на Марне я провел один вечер с несколькими солдатами английских транспортных войск в маленькой деревушке Креси. С севера доносился грохот тяжелых орудий, раскалывавший темноту. Зачем пошли воевать эти томми? Они и сами толком не знали. Один сделал это потому, что пошел Билл, другой — потому, что надоело дома, третий — оттого, что хорошо платят. Вот и все.

Позже, примерно 1 октября 1914 года, мне пришлось заночевать в Кале. Устав от одиночества, я в конце концов отправился в единственный в городе ресторан, где можно было найти вино, песни и девушек. Заведение это было переполнено солдатами и матросами, часть которых приехала в отпуск с фронта. Я разговорился с одним пуалю¹, который заявил мне с нескрываемой гордостью, что он социалист и к тому же интернационалист. Он был приставлен охранять немецких военнопленных и с энтузиазмом рассказывал мне, какие они замечательные ребята, и все тоже социалисты.

— Но, послушайте, — спросил я, — если вы член Интернационала, почему вы воюете?

— Потому, что на Францию напали, — сказал он, смотря на меня без тени смущения.

— Но немцы уверяют, что это вы напали на Германию.

— Да, — ответил он серьезно, — я знаю, что они так говорят. Военнопленные рассказывали мне об этом. Наверное, так оно и есть. Возможно, что обе стороны подверглись нападению...

Лондон был оклеен огромными афишами с призывами: «Вы нужны королю и родине! Записывайтесь добровольцами на время войны!» На всех площадях проходили военное обучение группы молодых людей. Это были представители средних и зажиточных слоев: банковские служащие, биржевые маклеры, студенты университетов и выпускники привилегированных школ, потому что в этот период рабочие в Ист-Энд не инте-

¹ Солдат (франц.).

ресовались войной. Первый экспедиционный корпус был сметен с лица земли на пути из Монса. Правящие классы Англии приходили в неистовство. Началось образование «воинства Китченера».

Широкие массы английского народа мало что знали о войне и еще меньше думали о ней. И все же именно они должны были идти на фронт — добровольно или по призыву. Торговые и промышленные компании начали увольнять рабочих и служащих призывного возраста, а «патриотические» черные списки лишали их возможности получить другую работу. Иными словами, это означало: «Иди в армию или подымай с голоду». Вспоминается, как однажды я увидел мчавшуюся по Трафальгар-сквер вереницу огромных грузовиков. Они были битком набиты молодежью и украшены плакатами «Подарок Гаррода империи». Люди, ехавшие на них, были служащими магазинов Гаррода. Их везли на призывные пункты.

Было в Лондоне и многое другое, внушавшее отвращение. Утром по Сити разъезжали большие лимузины с плакатами на ветровых стеклах, призывавшими вступить в армию; в лимузинах преудобно сидели откормленные и разодетые господа и дамы. С товаров, выставленных в магазинах для продажи, были сорваны ярлычки «Made in Germany» и заменены ярлычками «Made in England». Рейнские и мозельские вина подавались в ресторанах с покрашенными этикетками. Благотворительные концерты и танцевальные вечера, полные неописуемого снобизма, превратили осень 1914 года в «самую веселую лондонскую осень».

И при всем этом — бесконечные разговоры о «немецком милитаризме», о «правах малых наций» и о том, что «надо покончить с кайзеризмом». Противно было сознавать, что в действительности правители Англии не верят в эти благочестивые эпитеты и банальности. И лишь от широких масс простого народа требовали, чтобы они жертвовали своей жизнью, потому что «Бельгия подверглась нападению» и «бумажка была изорвана в клочки». Совсем как у нас на родине, где умные люди не могут сдерживать улыбки или слез, когда президент Вильсон рассуждает об американской «демократии» и «демократии», отстаиваемой в этой войне Америкой.

Берлин не так откровенно грешил лицемерием, как можно было ожидать. Ведь Берлин готовился к войне

много лет. Там не возникло такой необходимости рекламировать войну, как в Лондоне и Париже, так как у немцев не было в этом вопросе таких расхождений. И все же видеть, как сотни тысяч одетых в серое автоматов неумолимо попадали в эту безжалостную машину, откуда не было возврата, как через Бельгию они перебрасывались бесконечными потоками шириной в милю и разливались батальон за батальоном вокруг развалин крепостей, окруженных трупами, было отвратительнее, чем все, что я видел в других странах.

Осмелится ли теперь кто-либо утверждать, что немецкому народу сказали правду о войне или вообще сказали что-либо, о чем стоило бы говорить? Нет. Весь народ погнали в окопы — не дав ему возможности что-либо узнать или возразить, — пожалуй, еще безжалостнее, чем в других странах, за исключением России.

Я был на немецких передовых линиях, где люди, покрытые вшами, стояли по пояс в воде и стреляли во все, что двигалось на расстоянии восьмидесяти ярдов за земляной насыпью. Их лица были землистого цвета, они беспрерывно стучали зубами, и каждую ночь кто-нибудь сходил с ума. На поле между окопами на расстоянии сорока ярдов лежала гора трупов, оставшихся после последнего наступления французов. Все лежавшие там раненые умерли, причем не было сделано ни единой попытки спасти их. А теперь тела их медленно, но верно погружались в грязь — мертвецы сами себя хоронили. На этом участке солдаты проводили три дня в окопах, а шесть дней на отдыхе в тылу у Комина, куда командование доставляло пиво, женщин и передвижные библиотеки.

Я спросил у этих забрызганных грязью людей, которые стояли под дождем, опираясь на мокрую земляную насыпь, и из-за своих маленьких стальных щитков стреляли по каждому движущемуся предмету, — кто их враги? Они посмотрели на меня непонимающе. Я объяснил им, что хочу знать, кто находится в траншеях, отстоящих на восемьдесят ярдов от них. Они не имели ни малейшего представления. Англичане это, французы или бельгийцы — никто этого не знал. Да и не интересовался. Там что-то двигалось — и этого было достаточно.

На русском тысячемильном фронте я видел тысячи молодых гигантов, безоружных, раздетых и подчас голодных, которых отправили на фронт, чтобы они остановили

продвижение немцев дубинками и своими беззащитными телами. Если кто-нибудь думает, что русский народ хотел этой войны, то ему стоит лишь приложить ухо к земле теперь, когда массы русских прервали свое вековое молчание, и он услышит приближающуюся поступь мира.

Трудно передать невообразимую жестокость русской военной системы прежнего времени, через механизм которой проходила русская молодежь. Я видел, как офицер на улице Петрограда бил по зубам солдата за то, что он не приветствовал его с должным раболепием, и это считалось в порядке вещей. С солдатами обращались, как со скотиной. Какое зло причинили русскому крестьянину японцы, персы, турки, австрийцы или пруссаки, под пушками которых он находился на чужой земле, далеко от милой родины? Что за дело ему до того, что Австрия напала на Сербию или Германия на Бельгию? Прислушайтесь теперь к нему, к его простым словам, которые так раздражают представителей западной «демократии»:

«Мир без аннексий и контрибуций!»

«Каждый народ имеет право сам определять свою форму правления».

В Сербии меня поразили сначала невероятный ущерб, причиненный войной и эпидемией этому народу, «еще не испорченному цивилизацией». Откровением были также и бесконечные запутанные интриги, в которые великие державы, готовясь к войне, втянули правителей Сербии. Один молодой серб рассказал мне, как создавался заговор с целью убийства австрийского эрцгерцога и как попустительствовало этому заговору сербское правительство. Он же сообщил мне все, что знал, про деньги, заплаченные русским министром...

К счастью, я был в Болгарии, когда та оказалась втянутой в войну ее царем и немецкой дипломатией. У меня была возможность видеть собственными глазами, как современное государство обводит вокруг пальца свой народ. Ибо из тринадцати политических партий Болгарии семь партий, представлявших большинство народа, были против вступления страны в войну. Их делегации регулярно информировали царя о своей позиции и настаивали на созыве парламента. Но царь, министры и военные власти ответили на это внезапным объявлением мобилизации. Одним росчерком пера нация была превращена в армию. Отныне всякое общение между

гражданами, всякий протест пресекались или топились в крови.

Я мог бы рассказать дальше об Италии, Румынии и оккупированной немцами Бельгии, о том, как везде я встречался с одним и тем же решающим фактом, а именно, что война эта не была народной войной, что народные массы различных стран не имели и не имеют никаких оснований продолжать борьбу, кроме случаев, когда речь идет о самозащите или о мести, и что даже теперь достаточно одного лишь приказа, чтобы миллионы людей на всех фронтах тотчас же прекратили сражение, побросали оружие и пошли домой...

Быть может, самым значительным явлением, замеченным мною в Европе, была неистребимая живучесть интернационализма, невзирая на войну. Особенно заметно это было в нейтральных странах при встречах представителей воюющих сторон. Здесь граждане враждующих стран вступали в нормальные, дружеские отношения. Мне даже казалось, что они были связаны друг с другом немного теснее, чем прочие, самим фактом бесцельной борьбы своих стран.

Как радостно было подмечать тысячи доказательств истинности положения, что интернационализм — инстинкт, присущий человечеству. В Голландии я видел даже братавшихся друг с другом английских и немецких интернированных солдат, которым не мешало незнание языка. В Швейцарии и далекой Румынии тогда же происходили встречи немцев и французов, посвященные обсуждению совместных дел и обоюдным заверениям в неизменной дружбе.

Скоро мы в Америке лишь с трудом сможем представить себе, что у нас были или могут когда-нибудь быть друзья немцы. Начнут приходить списки потерь, которые несет наша огромная, собранная по мобилизации армия. С нами начнет сбываться то, что предсказывал мой ученый молодой друг из Вашингтона. Мы начнем ненавидеть, ибо «патриотизм — это общественный гнев». О том, что произойдет в утысяченных масштабах, можно судить уже теперь на основании избиений «пацифистов» солдатами и матросами, произвольных арестов и повсеместных полицейских преследований. Говорить, что эта война — не народная и что, «защищая всемирную

демократию», мы действуем отнюдь не по-демократически, становится равносильным потере свободы.

И все же и то и другое — правда. Ни в одной стране мира, в том числе даже в Германии, эта война не была популярной. Не было на земном шаре такого места, где правительства осмелились бы поставить перед теми, кому надо было идти воевать, вопрос, следует ли начинать войну, а если война уже шла, то нужно ли ее продолжать. Во всех этих воюющих странах, на знаменах которых написано гордое слово «*Демократия*», у власти стоит горсточка непомерно богатых людей, а широкие массы рабочих живут в бедности. Так, Бельгия, сыгравшая роль изнасилованной девственницы, в мирное время была страной самой чудовищной в Европе промышленной олигархии, страной самого нищего и эксплуатируемого народа. А между тем именно ее трудолюбивый пролетариат был брошен на войну с могучей кайзеровской Германией ради защиты своих хозяев.

Теперь пришла и наша очередь. Теперь миллионы молодых американцев должны отправиться в Европу, для того чтобы во имя «демократии» убивать немцев или, наоборот, быть убитыми ими. Большинство этих молодых людей — рабочие, которые могут знать, а могут и не знать, что патриотизм их работодателей никогда не мешал им выжимать последние силы из «фабричного скота». Они могут понимать, а могут и не понимать, что одна политическая власть без экономической мощи превращает «демократию» в пустое притворство. Но, может быть, им приходило в голову, что демократическое ведение войны предполагает необходимость испрашивать согласие у тех, кто должен сражаться.

Нам ответят, что жаловаться на «недемократические» методы нашего правительства — совсем нетрудно, а вот что же делать? Я думаю, что президент Вильсон мог бы спросить об этом первого встречного — тот наверняка сказал бы ему.

Вот каким образом я определяю позицию простого человека. Когда война только началась, он был настроен вполне нейтрально, занимая как бы промежуточную позицию среди воюющих сторон. Позже его симпатии склонились на сторону Антанты, но не настолько, чтобы убедить его пролить свою кровь или умереть за нее. Не

подлежит сомнению, что независимо от того, нравится вам это или нет, Вильсон был избран именно потому, что «оберегал нас от войны».

Такова была программа простого человека. Совесть немного мучила его из-за вывоза оружия и боеприпасов в Европу, или, во всяком случае, он понимал, что это нечестно. Он охотно наложил бы запрет на наш экспорт вооружения. Он полагал, что американцам незачем разъезжать по зоне военных действий, так же как, скажем, играть в пятнашки в зараженном чумой доме. Он целиком стоял за то, чтобы внушить им держаться подальше от всего этого или по крайней мере избегать кораблей воюющих наций. Принудительную воинскую повинность он без колебаний причислял к явлениям, мягко выражаясь, «неамериканским».

Я не хочу сказать, что это умонастроение могло продержаться три года в обстановке, когда церковь, банки, университеты и коммерческие учреждения с удручающим единодушием и назойливостью проповедовали ненависть и страх. Нет, простой человек не мог выдержать всего этого. Скоро и он воздел к небу свои мозолистые руки, уверовав, что правда на стороне союзников и что весь деспотизм сосредоточен в Берлине. Но все же простые идеи, обрисованные мною выше, были реакцией рядового человека на войну. И мне кажется, что если бы в свое время у него спросили совета, что делать, то ход американской истории изменился бы. Во всяком случае, эти размышления простого человека кажутся мне ценным и разумным комментарием к войне...

Ровно за день до того, как президент зачитал Конгрессу свое послание о войне, в привилегированном клубе, членом которого я состою, сидели за коктейлем обитатели плетсбургского лагеря¹. В газетах писали тогда, что немцы торпедировали еще один американский корабль и что при этом утонули американские граждане.

«Это верно, что они уничтожают наши корабли и убивают наших граждан, — сказал, растягивая слова, один юноша. — Но должен сознаться, мой пыл несколько остыл, когда я прочел, что одной из жертв был негр...»

¹ Лагерь, где в первую мировую войну проходили военную подготовку офицеры.

СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ПОД СУДОМ

Огэст Шпис¹, один из чикагских мучеников 1887 года, начал свое заявление на суде, в котором он доказывал, что ему не должны выносить смертного приговора, цитатой из речи венецианского дожа, произнесенной шесть веков назад:

«Я выступаю здесь как представитель одного класса и обращаюсь к вам как к представителям другого класса. Моя защита — это ваше обвинение. Причина приписываемого мне преступления — ваша история».

1918 год. Помещение федерального суда в Чикаго, где судья Лэндис ведет судебный процесс по делу «Индустриальных рабочих мира»². Это большой внушительный зал — всюду мрамор, бронза и строгое темное дерево. Из его окон открывается вид на уходящие в небо деловые здания, которые господствуют над зданием суда, подобно тому как деньги господствуют над нашей цивилизацией.

¹ Огэст Шпис, хотя невиновность его не подлежала сомнению, был вместе с другими боевыми лидерами чикагских рабочих осужден на смерть по заведомо ложному обвинению, состряпанному после событий 1886 года в Хеймаркете, составлявших важную веху в общенациональном движении рабочих за восьмичасовой рабочий день. (Прим. ред. американск. изд.)

² Организация ИРМ была официально обвинена в заговоре с целью нарушения преступных законов о профсоюзах. Девяносто три участника процесса — жертвы террора военного времени — были осуждены соответственно на сроки от четырех до тридцати восьми лет заключения и подвергнуты штрафам в размере от двадцати до тридцати тысяч долларов. (Прим. ред. американск. изд.)

Над одним из окон красуется фреска, изображающая короля Джона с баронами в Реннимиде. Здесь же помещена цитата из Великой хартии:

«Ни один свободный человек не может быть схвачен, взят под стражу, лишен своего свободного держания, вольностей или свободы либо объявлен вне закона, изгнан или каким-нибудь другим образом обездолен, кроме как по законному приговору своих пэров или же по законам страны».

«Мы никому не продадим права вершить суд, никому не откажем в правосудии и никого не заставим ждать его...»

Над дверью напротив начертано золотыми буквами: *«Слова сии изрек Господь, ко всему собранию вашему на горе из среды огня, облака и мрака громогласно, и более не говорил, и написал их на двух каменных скрижалях, и дал их мне...»* «Второзаконие», V. 22.»

Героические первосвященники Израиля закрывают лица, а Моисей подымает скрижали закона к объятому пламенем и покрытому тучами небу.

На огромном судейском кресле таким маленьким кажется человек с изнуренным и очень худым лицом. У него растрепанные седые волосы, горящие, как угли, глаза и пергаментная кожа, расщепленная трещиной рта — лицо Эндрю Джексона¹ через три года после смерти. Человек этот — судья Кинсоу Маунтин Лэндис, назначенный руководить операцией. Он — боец; он всегда старается вести честную игру, как он ее понимает, и по-своему скрупулезно справедлив. Это он оштрафовал «Стандард ойл компани» на тридцать девять миллионов долларов (да, да, но компания не заплатила ни гроша).

На долю этого человека выпала историческая роль — судить социальную революцию. И он выполняет ее, как джентльмен. Не то чтобы он допускал возможность социальной революции. Не так давно он исключил из свидетельских показаний доклад Комитета по вопросам трудовых взаимоотношений в промышленности, на который пыталась сослаться защита, хотевшая обрисовать обстановку, в какой действовал ИРМ. «Это относится

¹ Эндрю Д ж е к с о н — президент США в 1829—1837 гг.

к делу не больше, чем священное писание», — сказал он, доказав по крайней мере, что не лишен чувства юмора.

Во многих отношениях этот процесс совершенно не похож на остальные. Когда судья после перерыва входит в зал, никто не встает: он сам отменил эту помпезную формальность. Сам Лэндис председательствует без мантии, в обычном скромном костюме и часто сходит со своего кресла, чтобы присесть на ступеньке около скамьи присяжных. По его личному приказу рядом со скамьями арестованных поставлены плевательницы, чтобы во время бесконечных заседаний они могли жевать резинку. Кроме того, арестованным разрешено снимать пиджаки, разминаться и читать газеты.

Судья, который хотя бы таким образом бросает вызов судебному ритуалу, должен обладать некоторой человечностью...

Что же до подсудимых, то я не думаю, чтобы когда-либо в истории Америки можно было наблюдать подобное зрелище. Их сто один человек — лесорубы, батраки, горняки, журналисты. Сто один человек, верящих, что богатства всего мира принадлежат тем, кто их создает, и что рабочие всего мира должны владеть тем, что им принадлежит. Передо мной лежит хартия их содружества, их индустриальной демократии — Единого Профсоюза.

Единый Профсоюз — вот их преступление. Вот почему организация ИРМ предстала перед судом. Если бы существовал способ убить этих людей, капиталистическое общество охотно сделало бы это, как оно убило, например, Фрэнка Литтла, а до него Джо Хилла... Отсюда и вой продажной прессы: «Немецкие агенты! Предатели!», — призывающей к самой беспощадной расправе над ИРМ.

Сотня сильных людей...

Все они люди широких просторов: подрывники, лесорубы, жнецы, портовые грузчики — словом, все те, чей труд — труд сильных. Их покрывают рубцы — следы, которые оставляет тяжелая работа и ненависть общества. Люди эти не боятся ничего...

Рано утром их приводят из тюрьмы Кук-Каунти, где большая часть их томится вот уже девять месяцев. Они входят в зал заседаний по двое, охраняемые с обеих сторон полицией и сыщиками. Судебные пристава

покрикивают на стоящую слишком близко публику. Прежде арестованных заставляли по четыре раза в день проходить по улицам Чикаго в наручниках. Сейчас с этим ежедневным цирковым представлением покончено.

И вот они входят один за другим, девяносто с лишним человек, находящихся еще под стражей, приветствуя по пути своих друзей. Здесь к ним присоединяются остальные, которые выпущены под залог. Залог настолько велик — по двадцать пять тысяч долларов с человека, — что только немногие могли выйти на волю. Остальные находятся в страшной тюрьме Кук-Каунти с начала прошлой осени. Почти год эти люди, больше всего на свете любящие свободу, сидят в тюрьме.

На первой странице выпускаемого штаб-квартирой ИРМ «Дейли дефенс буллетин» печатается изображение рабочего за решеткой и подпись: «Помните! Мы здесь ради вас. А вы там должны работать для нашего дела!»

За барьером, окружающим места подсудимых, тесно. Многие сидят без пиджаков, некоторые читают газеты, двое-трое спят, растянувшись на скамьях. Кое-кто сидит, другие стоят. У большинства лица солдат и борцов, но попадаются также лица ораторов и поэтов, темпераментные и выразительные лица иностранцев. Но все это сильные лица, лица людей, одушевленных высокой идеей. На многих из них рубцы, но лишь на некоторых лежит печать ожесточения. Трудно было бы собрать в Америке сто одного человека, которые были бы более достойны представлять социальную революцию. Все побывавшие в этом зале говорят: «Это больше походит на собрание, чем на суд». Так и есть. Именно это и придает суду достоинство. Это и то, что судья Лэндис ведет процесс с таким размахом...

А потом я заметил кучки людей с грубыми, тупыми лицами — людей-минотавров¹. Карманы их брюк оттопыривались, маленькие глазки выражали бульдожью свирепость и раболепие. Это глаза сыщиков, штрейк-брехеров и других телохранителей частной собственности...

¹ Минотавр — в греческой мифологии чудовище с туловищем человека и головой быка.

Я видел, как встал и заговорил государственный обвинитель прокурор Небекер, официальный поверенный большой меднорудной компании — сухощавый, щеголевато одетый человек, с лицом, которое от постоянного толкования и переиначивания законов приобрело выражение хитрости, и глазами холодными и ненадежными, как бракованная сталь.

Я поглядел в огромное окно и увидел в окнах окружающих нас зданий юристов, агентов и маклеров за своими конторками, ткущих паутину нашей цивилизации — цивилизации, которая вынуждает людей мечтать и бунтовать, а потом сокрушает их. С улицы доносился несмолкаемый грохот и рев Чикаго, и военный оркестр все трубил и трубил, прокладывая незримые дороги к войне...

И нам еще смеют говорить о войне! Ведь эти сто один — ветераны войны, которую им приходится вести всю жизнь, войны кровавой и дикой, полной жестоких схваток и коварства. Против них выступает страшная и беспощадная сила, не признающая никаких цивилизованных методов ведения войны. Вот уже много веков подряд ведется эта партизанская война рабочих против своих хозяев, — иными словами, классовая борьба — всемирная, бесконечная... и все же близящаяся к концу.

Эти сто один человек участвовали в ней с юных лет, с тех пор как на их глазах хладнокровно убивали им подобных, а они не могли этому помешать. Они овладели тайной успешного ведения войны — научились нападать. И за это их травят по всей земле, как крыс.

В Лоуренсе полицейский убил выстрелом из револьвера женщину, а солдат милиции заколол штыком мальчика. В Патерсоне наемные убийцы-сыщики застрелили стоявшего на пороге своего дома рабочего с ребенком на руках. В горах Месаби вооруженная охрана, состоящая на службе у Стального треста, открыто убивала одних забастовщиков, а других за это сажала в тюрьму. В Сан-Диего люди, которые осмеливались повышать голос на улицах, вывозились «видными гражданами» за пределы города. Там их клеймили раскаленным железом и ломали им ребра бейсбольными битами.

Во время уборки на полях великого Северо-Запада рабочих обыскивали. Если при них находили красные карточки (членов ИРМ), «бдительные» подвергали их жестокому наказанию. В Эверетте наемная охрана лесного треста убивала их.

Идеи ИРМ нашли распространение главным образом среди сезонных рабочих, не охваченных никакими другими организациями. Это — жестоко эксплуатируемые сельскохозяйственные рабочие, лесорубы, горняки. За жалкие гроши они вынуждены работать с утра до вечера. Они не имеют права голоса, их не защищают ни профсоюзы, ни закон. Низкая заработная плата и постоянные переезды не дают им возможности жениться и создать себе семейный очаг. У бродячих рабочих никогда не бывает достаточно денег, чтобы купить себе железнодорожный билет. Они должны разъезжать на буферах или в «пульмановских вагонах с боковыми дверями». Против них ведут борьбу не только торговые палаты, объединения предпринимателей и все судебные учреждения, но и «аристократические профсоюзы». Они — естественная добыча мира, где господствует процент. Из этого материала организация ИРМ создавала своих борцов. Превосходный материал, без чуждых примесей, ибо он выдержал испытания и прошел очистку. Сколько рыцарственных характеров, безрассудно смелых, созданных для борьбы и способных постоять за себя. Стоило в каком-нибудь городе объявить «свободную дискуссию», как туда со всех сторон, иногда за тысячу миль, стекались «бродяги», и тюрьмы наполнялись их ораторами.

А пение... Не забывайте, что ИРМ — это единственная организация американских рабочих, которая поет. А потому бойтесь ее, так как организация, которая поет, непобедима...

Бойтесь, когда слышите, как из вагонов товарного поезда, с грохотом проезжающего через черноземную деревню где-нибудь в Айове, внезапно вырываются молодые грубые голоса, поющие с издевкой:

О, как я люблю моего босса,
Он — мой лучший друг.
Вот почему я подыхаю с голода
На улице в пикете.
Аллилуйя! Я — лентяй!

Аллилуйя! Дважды лентай!
Аллилуйя! Дай нам по шее,
Чтобы вновь пробудить к жизни нас!

Бойтесь, когда в жаркий полдень где-нибудь на небережной в Филадельфии вы слышите, как кучка здоровенных парней, отдыхающих после обеда в мрачной лавчонке цирюльника, распевает классическое «Ну, чего ты спину на хозяина ломаешь?» или «Кейси Джонс, скэб». Мне и теперь слышится их песня:

Кейси Джонс с машины не слезает,
Кейси Джонс привычный держит путь.
Кейси Джонс — покорный раб хозяев,
И они ему повесили медаль на груди!¹

В ИРМ любят и почитают своих певцов. По всей стране рабочие распевают песни Джо Хилла «Мятежная девчонка», «Не отбирайте у меня папу», «Рабочие мира, проснитесь». Тысячи их знают наизусть его «Завещание» — эти три простые строфы, написанные в камере в ночь перед казнью. Я встречал людей, которые носили у себя на сердце, в кармане рабочей одежды, маленький пузырек с горсточкой пепла Джо Хилла. Над рабочим столом Билла Хейвуда в Национальном штабе ИРМ висит написанный красками большой портрет Джо Хилла, очень выразительный, сделанный с большой любовью... Я не знаю другого объединения американцев, которое чтит бы своих певцов...

Везде на Западе, где имеется местная организация ИРМ, вы найдете духовный центр, место, где читают книги по философии и экономике или же последние пьесы и романы. Здесь же обсуждают вопросы искусства, поэзии и международной политики. На моей родине в Портленде (штат Орегон) клуб ИРМ был самым оживленным центром интеллигентной жизни в городе... В организации ИРМ есть драматурги, которые пишут о жизни в «джунглях», и «бродяги»-актеры, играющие пьесы для «бродяг»-зрителей...

Но какое отношение имеет все это к процессу в Чикаго? Прошу прощения, я отклонился от темы. Мне хотелось лишь передать то своеобразие ИРМ, которое делает эту организацию такой привлекательной в моих

¹ Перевод С. Болотина.

глазах. Ведь ИРМ была моей первой любовью среди рабочих организаций...

В сентябре 1917 года началась травля членов ИРМ. Семь месяцев — с сентября 1917 года по апрель 1918 года — люди сидели в тюрьме, ожидая суда. Их обвиняли в принадлежности к организации и в заговоре, направленном на достижение поставленных ею целей. А цели ее заключались, коротко говоря, в том, чтобы уничтожить, хотя и не путем политической борьбы, существующую систему наемного труда.

Что, конечно, ведет «к свержению правительства Соединенных Штатов...» Этот главный пункт обвинительного акта был бы по меньшей мере смехотворен, если бы к нему не присоединялось зловещее обвинение в «саботировании военной программы правительства». Ко всему этому был пристегнут двойной грех: мятеж и сопротивление мобилизации...

И пока сто двенадцать человек заживо гнили в тюрьмах, во всей стране шла свирепая охота на людей. Совершались нападения на помещения ИРМ, арестовывались участники собраний, конфисковывались газеты, рабочих тысячами заключали в тюрьмы. Все органы, как регулярной так и добровольной полиции, объединились в кампании террора и насилия против членов ИРМ, которых повсеместно объявляли немецкими агентами.

Разумеется, версия «государственной измены» в деле ИРМ полностью отпала. Ее выдвинули лишь для того, чтобы как-нибудь скрыть подлинный характер судебного разбирательства. Из леденящих кровь разоблачений о немецких интригах, обещанных миру обвинением в начале процесса, так ничего и не вышло. Правительственные эксперты, исследовавшие книги и счета организации, признали, что все в полном порядке. В конечном счете так и не удалось доказать, что ИРМ проводил определенную политику по отношению к войне, ни даже того, что у него имелось какое-то единое отрицательное отношение к мобилизации...

Среди прочих смехотворных эпизодов можно назвать широко разрекламированный приезд в Чикаго экс-губернатора Аризоны Тома Кэмпбелла с чемоданом, набитым доказательствами того, что «ИРМ получал деньги от Германии». Несколько недель он маячил на первом

плане, ожидая минуты, когда его вызовут в качестве свидетеля. Затем внезапно в газетах появилось его сообщение, что знаменитый «чемодан» украден одним из членов ИРМ, переодетым в носильщика!

Для того чтобы подсудимые вызвали меньше сочувствия, прокурор отказался поддерживать обвинение против привлеченных по этому делу женщин; чтобы ИРМ не мог разоблачить тягчайшие преступления, совершенные против рабочих, к суду не был привлечен ни один из высланных по делу горянков Бизби. По этой же причине не были обвинены и стачечники Бьютта, которые могли бы рассказать о пожаре на шахте «Спекьюлейтор».

Но благодаря проявленной судьей Лэндисом широтой взглядов и умению адвокатов защиты Вандервера и Клири все выступления защитников были не чем иным, как бесконечным перечнем кровавых преступлений промышленников: Кэр д'Ален, Сан-Диего, Эверетт, Якима Вэлли, Патерсон, Месаби, Бизби, Талса...

С самого начала процесса сквозь завесу мелких юридических уловок проглядывала напряженная классовая борьба в самом чистом виде.

Первое сражение разыгралось при отборе присяжных, когда со всей драматичностью раскрылись позиции обеих сторон. При отборе присяжных прокурор задавал, например, следующие вопросы:

«Можете ли вы представить себе такой общественный строй, где рабочие сами владеют и управляют промышленностью?»

«Верите ли вы в право индивидуума на приобретение собственности?»

«Верите вы или нет в то, что нужно учить детей уважать чужую собственность?»

«Верите вы или нет, что создатели американской конституции действовали по вдохновению свыше?»

«Не думаете ли вы, что владелец предприятия должен иметь больше прав в управлении им, чем все его служащие, вместе взятые?»

Все кандидаты в присяжные, проявлявшие знакомство с историей рабочего движения, экономикой или с эволюцией общественных движений, безапелляционно

отводились обвинением. Вопросы защиты неизменно отклонялись судом. Обвинение выступило на суде с серией странных заявлений, в которых содержались замечания наподобие следующих:

«Карл Маркс — отец этой зловреднейшей теории, той выгребной ямы, в которой корни ИРМ нашли себе благодатную питательную почву».

«Это — обычное уголовное дело: ряд людей, вступивших в тайный сговор, посягал на закон... Их преступление заключается в том, что они покушались отнять у работодателя принадлежащую ему по конституции собственность, находящуюся под охраной закона».

«Система наемного труда, — сказал господин Клайн, обвинитель, — установлена законом, и всякое сопротивление ей есть сопротивление закону».

В другом случае прокурор Небекер разразился следующим заявлением:

«По закону человек не имеет права на революцию». На что судья Лэндис сам заметил:

«Ну, это зависит от того, скольких людей он может привлечь на свою сторону, другими словами — может ли он достичь своей цели».

Защита твердо придерживалась версии классовой борьбы. Среди вопросов, которые Вандевер и Клири задавали присяжным, были такие:

«Вы сказали господину Небекеру, что никогда не читали революционной литературы. Разве вам не приходилось читать в школе об американской революции 1776 года или о французской революции, которая низложила короля и превратила Францию в республику? А русская революция, которая свергла царя и самодержавие?»

«Признаете ли вы право народа на восстание?»

«Признаете ли вы идею революции одной из основ Декларации о независимости?»

«Вы сказали господину Небекеру, что считаете неправильным, когда собственность отбирают у того, кто владеет ею. Считаете ли вы правильным, что во время нашей Гражданской войны Конгресс принял закон, по которому у южан была отобрана без компенсации собственность в виде движимого имущества — рабов, стоимостью в несколько миллионов долларов?»

«Следовательно, вы не считаете интересы собственности выше интересов человечности?»

«Предположим, подзащитные думали, что большинство народа имеет право уничтожить нынешнее право собственности на крупную промышленность, чтобы освободить массу рабочих от промышленного рабства. Неужели это настроит вас против них?»

«Считаете ли вы, что рабочие имеют право бастовать?»

«Считаете ли вы, что они имеют право на стачку даже во время войны?»

«Какая сторона в трудовых конфликтах обычно прибегает первая к насилию?»

«Будете ли вы возражать против применения в промышленности основополагающих принципов американской демократии?»

«Думаете ли вы, что индивидуум имеет неотчуждаемое право эксплуатировать две или три сотни людей и получать гарантированную прибыль за счет их труда?..»

И так далее в течение месяца. Какую школу прошли присяжные! Но в остальном желтой прессе удалось «замолчать» или полностью исказить ход процесса ИРМ. Широкая огласка могла лишь пойти на пользу делу «бродяг», и потому продажные большие газеты обходили молчанием эту наиболее драматичную со времени Дреда Скотта юридическую битву. А между тем эта битва грозит серьезнейшими последствиями, и небо кругом затянуто черными тучами.

Все лето день за днем подымались на трибуну свидетели, активно принимавшие участие в классовой борьбе, и своими показаниями помогали воссоздавать великую эпопею рабочего движения. Среди них были руководители стачек, рядовые рабочие, агитаторы, шерифы, полицейские, гангстеры, провокаторы и агенты тайной службы.

Я слышал, как с горечью и озлоблением выступал Фрэнк Роджерс — молодой человек, в глазах которого горела жажда мщения. Сухо и лаконично рассказывал он о пожаре на шахте «Спекьюлейтор», о том, как сгорели сотни людей, потому что компания не пожелала прорубить двери в перемычках. Он рассказал и об убийстве Фрэнка Литтла, которого повесили в Монтане

«бдительные», и о том, как шахтеры Быютта поклялись никогда не забывать об этом.

(В штабе ИРМ находится посмертная маска Фрэнка Литтла — слепое лицо с выражением презрения и жестокой насмешки...)

А Оклахома, где рабочих Тялвы обмазывали дегтем и вываливали в перьях... А Эверетт с его пятью могилами жертв шерифа Маккраэ, похороненных на холме за Сиэтлом. Все это постепенно выходило наружу, один потрясающий эпизод за другим. Добрых два дня сидел я, слушая А. С. Эмбри, рассказывавшего сызнова про злоключения людей, высланных из Аризоны. По ходу рассказа я рассматривал фотографии горняков, которых гнали по пустыне между двух рядов людей с винтовками в руках и с белыми платками, обернутыми вокруг запястий.

Все помнят, как высланные были погружены в вагоны для скота, как машиниста, несмотря на его сопротивление, силой заставили вести поезд. Как, прибыв наконец в Колумбус (штат Нью-Мексико), поезд был отправлен назад и в конце концов остановился в пустыне, где, если бы не помощь армейской части, несчастные погибли бы от голода и лишений. У многих из высланных были в Бизби жены, семьи и имущество, некоторые не были членами ИРМ, а иные вообще не участвовали в рабочем движении. У значительной части этих людей были облигации Займа свободы, а некоторые даже регистрировались на призывных пунктах...

Я слушал совсем простого парня, сельскохозяйственного рабочего по имени Эггель, который рассказывал, как «комитеты бдительных» и гангстеры из городов Северо-Запада охотились за батраками — членами ИРМ. Бесстрастно рассказывал он, как его вместе с другими сняли с поезда в Эбердине (штат Южная Дакота) и избили.

— Один человек садился вам на шею, двое — на руки и двое — на ноги, а сыщик — имя его было, кажется, Прайс — бил вас двухвосткой из четырех переплетенных ремней с узлами на концах, так что на теле вздувались рубцы. Бил по спине и бедрам...

Так вот, посадили меня в один автомобиль, а Смита — в другой и снова задали мне трепку. А потом, когда меня избили в третий раз, я ночью вернулся украд-

кой в Эбердин и устроился спать у сарая с фуражом. На следующий день я доковылял до станции и сел на поезд, уходящий в Северную Дакоту...»

Послушайте, как библейски просто рассказывает другой.

— Значит, они заграбастали нас. И один шериф спрашивает: «Ты член ИРМ?» Я говорю: «Да». Он требует мою карточку, я даю ее ему, а он ее разрывает. Он разорвал также карточки у других ребят — членов ИРМ, бывших вместе со мной. «Что за польза рвать карточки, мы ведь можем получить дубликаты», — говорит один из них. «Не беда, — отвечает шериф, — мы можем разорвать и дубликаты». А этот парень, рабочий, заявляет ему: *«Так-то так, но вы не можете вырвать ИРМ из моего сердца».*

Прекрасно смирение этих рабочих, их почти безграничное терпение и поразительная доброта. Несмотря ни на что, они верят в конституцию и заверения правительства. Да, вопреки своей преамбуле, ИРМ еще верит в доброту людей и в возможность торжества справедливости...

С ДЖИНОМ ДЕБСОМ В ДЕНЬ ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ

— Что вам угодно, мистер Спаркс? — спросил продавец в аптеке с фамильярностью, принятой между коренными жителями Терре-Хота (штат Индиана), и с уважением, которого заслуживал этот преуспевающий политический деятель.

— Дай мне орехового мороженого, Джордж, — сказал юрист, живший за углом на Сикамор-стрит. Между прочим, звали его не Спаркс. На нем был новый серый костюм, украшенный маленьким американским флажком, значками первого и третьего Займов свободы и эмблемой Красного креста.

— Настоящая праздничная погода, как и полагается Четвертого июля, а, Джордж?

Из окна аптеки видна была необычайно оживленная Эйт-стрит. По ней шли семьи, направлявшиеся к центру города: мамы и папы в праздничных нарядах, с потными лицами, и детишки с флажками в руках. Тут же проезжали древние автомобили окрестных фермеров, украшенные флагами и битком набитые парнями в крахмальных воротничках. Издали слабо доносились то треск пущенной наудачу шутихи, то еле слышные мелодии военного оркестра, играющего на параде. Горячий, удушливый ветер гнал по улице клубы желтой пыли.

— Да, дни стоят жаркие, что и говорить, — ответил Джордж. — Мы собираемся скоро запираться лавку. Пойдем в город смотреть парад.

Он положил мороженое в стаканчик и продолжал болтать.

— Говорят, в Кливленде арестовали Джина Дебса... Все находившиеся в аптеке прекратили разговор и повернулись к нему.

— Да, — произнес юрист удовлетворенно. — Да-а-а. Судя по тому, что пишут в газетах, мне кажется, что Джин хватил на этот раз через край. Думаю, что теперь его засадят.

Сидевший за угловым столиком старик в туго накрахмаленной рубашке повернул к нему умное, гладко выбритое лицо, окаймленное седыми бакенбардами, и с тревогой спросил:

— Так, значит, по-вашему, они посадят Джина в тюрьму?

— Он должен наравне с другими понести наказание за то, что нарушил закон, — сказал назидательно Спаркс. — Тот, кто причиняет неприятности правительству, должен сам ожидать того же. Не такое сейчас время, чтобы болтать о социализме...

Джордж, сбивавший молоко с яйцом, остановился.

— Вы знаете Хенка — полисмена? Ну так вот, он был здесь вчера вечером и сказал, что Джина Дебса следовало бы запереть двадцать пять лет назад.

В ответ послышался одобрителный ропот.

— Это не делает чести городу, — возвестил мистер Спаркс. — Ведь Джин Дебс уйму денег заработал лекциями и все-таки не купил ни одной облигации Займа свободы...

Костлявый, с кирпичным лицом, юноша, который развлекал двух хихикающих девиц в пышных муслиновых платьях, крикнул злобно:

— Держу пари, что, если бы кайзер услышал о Джине Дебсе, он пожаловал бы ему железный крест!

Старик с бакенбардами осторожно вмешался.

— Ну-ну, вы хватили малость через край, — заметил он. — Все мы знаем Джина Дебса. Джин не предатель. Только немножко легкомыслен, вот в чем его беда...

В Терре-Хоте все знают Джина Дебса. Здесь он родился шестьдесят два года назад. Его родители приехали в Америку из Эльзаса. Отец Джина был человеком зажиточным — у него была фабрика в Кольмаре. Он полюбил девушку, работавшую на его фабрике, и, чтобы жениться на ней, отказался от наследства. Вместе они приехали в Индиану как иммигранты и прошли через все тяжкие испытания бедности. Все это произошло до 1870 года, и старик Дебс никогда не мог примириться с тем, что Эльзас принадлежит Германии. На

своей могильной плите он приказал выгравировать надпись: «Родился в Кольмаре, Эльзас, Франция».

Вместе со своими родителями Джин проделал определенную экономическую и политическую эволюцию. Вместе с отцом он голосовал сначала за партию гринбеков, потом за популистов. Таким типично американским путем Джин Дебс и его родители пришли к социализму...

Терре-Хот — богатый городок в Индиане — был родиной Юджина Филда, Джеймса Уиткомба Райли и множества других романистов и поэтов. Всякий раз, проезжая в поезде эти места, я не могу отделаться от чувства, что в конечном счете это и есть подлинная Америка.

Повсюду видны чистенькие деревни, белые, окруженные деревьями дома фермеров, пышные поля кукурузы. Меж глинистых берегов текут неглубокие реки, по отлогим, волнистым холмам бродят ленивые коровы и боногие дети. Там и сям разбросаны церковные шпили и кладбища, такие же, как в Новой Англии, сюда этот стиль занесли протестанты, но соприкосновение с Югом и Западом сделало его менее суровым и более масштабным. Везде можно встретить сельские школы и безобразные, но милые сердцу памятники Гражданской войны. Картину довершают сикоморы со стрекохующими в их листве цикадами и почти пугающий своим буйным плодородием чернозем, дымящийся в животворной летней жаре и дышащий неизъяснимой сладостью — совсем американской, чуть сентиментальной и добродушно-веселой.

Все вместе — это Средний Запад, страна с традицией оседлого сельского населения, которой предшествовала романтика Гражданской войны, а еще раньше — эпические подвиги двигавшейся на Запад расы переселенцев и завоевателей...

Здесь живет Джин Дебс — кровавый родич Филда и Райли, американец, уроженец Среднего Запада, человек проникательный, красноречивый, добрый и неукротимый. Мальчиком я представлял себе дядю Сэма именно таким, каким оказался Джин Дебс. И мне кажется, что инстинкт меня не обманул.

В день Четвертого июля мы с Артом Юнгом¹ отправились в Терре-Хот навестить Джина. Всего лишь ме-

¹ Известный американский художник и мастер социальной карикатуры. (Прим. ред. американск. изд.)

сяц назад распространился страшный слух, от которого сжались наши сердца: «Джин Дебс изменяет партии!» Джин разоблачил эту клевету в резком заявлении, опубликованном в нью-йоркской газете «Колл»¹. Затем последовало его турне по средним штатам, во время которого ему повсюду угрожали арестом, избиением и даже линчеванием... Но Дебс продолжал хладнокровно выступать по расписанию, — бесстрашный и непоколебимый человек, горячо любящий свой народ.

А потом последовала его речь в Кантоне², представлявшая собой открытый манифест интернационализма, и его арест в Кливленде.

«Джин Дебс арестован. Они арестовали Джина», — передавали друг другу потрясенные люди, и сердца их сжимались от любви, жалости и гнева. Ни одно событие, происшедшее в Соединенных Штатах в этом году, не взволновало до такой степени массы людей. Ни длительные сроки наказания, к которым присуждали протестовавших против военной службы людей, ни осуждение по закону о шпионаже и антиправительственной деятельности редакторов, лекторов и активистов социалистической партии, ни подавление социалистической прессы — ничто, казалось, не затронуло глубоко народ. Другое дело — арест Джина Дебса и его осуждение как изменника родины. Это была как бы пощечина, нанесенная тысячам простых людей. Многие из них вовсе не были социалистами, но они слышали его речи и поэтому любили его. Что же говорить о сотнях тех, кому он помог, кого поддержал в трудный час или спас от беды...

«Джин Дебс арестован! Наш Джин! Ну, это уж чересчур!»

Оказывается Аллан Бенсон³ выступил в газете со статьей, где критиковал власти за то, что они арестовали Дебса именно в тот момент, когда тот собирался переходить в национальную партию. Теперь, сидя в своей

¹ Социалистическая газета, основанная в 1909 году. (Прим. ред. американск. изд.)

² Знаменитая антивоенная речь Дебса, произнесенная в Кантоне на съезде социалистической партии штата Огайо 16 июня 1918 года. За эту речь он был арестован и приговорен к десяти годам тюрьмы. (Прим. ред. американск. изд.)

³ Прежний лидер социалистической партии и ее кандидат на пост президента на выборах в 1916 году. (Прим. ред. американск. изд.)

затемненной гостиной, с бюстами Вольтера, Руссо и Боба Ингерсолла за спиной, Дебс посмеивался над пронизательностью мистера Бенсона. Я не мог не представить себе мысленно забавную картину: Джин Дебс в компании благочестивых проповедников сухого закона и социалистов-ренегатов! «Олухи» — таково было суждение Джина о всем их круге.

Когда мы приехали, он был в постели, но настоял на том, чтобы немедленно встать. Он чувствует себя неважно, сказала его жена, ему нездоровилось весь год. Каким изможденным и высоким он выглядел, каким усталым казалось его длинное, сжигаемое болезнью тело. И все же, когда он поздоровался с нами, нам показалось, что от всего его существа исходит какое-то мягкое сияние. Он протягивал нам обе руки и глядел на нас с такой радостью, как будто питал к нам глубокую привязанность... Мы чувствовали себя словно окутанными симпатией Джина Дебса. Я никогда прежде не был знаком с ним, но слышал его выступления. Какую непреодолимую жизненную силу излучало в такие минуты все его существо, какое тепло, мужество и веру!

Теперь он стал старше, и напряжение, вызванное борьбой и жертвами, произвело в нем большие опустошения; но его улыбка сохранила все свое простодушие, а обаяние — глубину. По-прежнему он неудержимо загорался, когда речь шла об оказании кому-нибудь услуги...

Джин заговорил. Те, кто не слышал, как он говорит, никогда не поймут, что это было. Не эрудиция, не изысканный подбор выражений и не хорошо модулированный голос составляли его силу, сила была в энергии его пылающего лица, в быстром и слегка сбивчивом потоке его искренних слов. Он рассказывал о своем путешествии, описывая с чисто детским удовольствием, как он перехитрил сыщиков, следивших за ним в Кливленде; как повсюду в маленьких городках мэры и патриотические комитеты предупреждали его о том, чтобы он не выступал, а он все-таки выступал.

— А вы не боитесь линчевания? — спросил я его.

Джин улыбнулся.

— В том-то и дело, что я как-то не думаю об этом. Мне кажется, что таким образом я предохраняю себя психологически. Так, я совершенно уверен, что, пока я не спускаю с них глаз, они не посмеют мне ничего сде-

лать. Ведь в конце концов все они — малодушные трусы. Надо просто глядеть прямо на них, в этом вся штука...

Все время, пока мы разговаривали с ним, по улице проезжали украшенные флагами автомобили, издали доносился шум парада... Глядя в потемневшее окно, мы наблюдали за прохожими. Проходя мимо нашего окна, они кивали или указывали на него со смешанным выражением злорадства и какого-то страха. Видно было, как они говорят друг другу: «Здесь живет Джин Дебс» — с таким же выражением, как другой сказал бы: «Вот дом предателя».

— Пойдемте, — предложил внезапно Джин, — посидим на крыльце. Пусть смотрят всласть, раз они так хотят меня видеть.

Итак, мы уселись на крыльце и сняли с себя пиджаки. Проходившие мимо лишь смотрели украдкой в нашу сторону и шептались. Но, встречаясь глазами с Джином, они кланялись ему самым сердечным образом.

Джин рассказал нам, как население Индианы и всех средних штатов было запугано и терроризировано лигами «лояльности», гражданскими комитетами и «бдительными», как оно было взвинчено и доведено до истерики...

Прежняя откровенность, которая еще накануне войны была характерной чертой фермеров Индианы, теперь совершенно исчезла. Никто не решался поверить свои мысли другому. Очень многие любили его, Джина Дебса, но не отваживались проявить свои чувства иначе, как в анонимных письмах... И он заговорил о руководителях движения, которых чернь избивала, обмазывала дегтем и вываливала в перьях, после чего они прекращали всякое сопротивление и становились на точку зрения большинства...

— Сделай они что-нибудь подобное со мной, — сказал Джин, — то даже если бы я и изменил свое мнение, то уже не смог бы объявить об этом.

Было что-то и трагическое и забавное в том, как Терре-Хот относился к Джину. До войны Джин считался украшением города, не говоря уже о том, что он пользовался огромной личной популярностью. Прежде все здешнее население было против войны... Но с начала войны здесь произошла обычная перемена. Весь город был мобилизован как психологически, так и умствен-

но, — весь, за исключением Джина Дебса. И люди по-
проще не могли взять этого в толк.

Банкиры, законники и торговцы возненавидели его
лютой ненавистью. Даже проповедники-евангелисты, ко-
торые прежде не раз умоляли его выступить на молит-
венных собраниях, теперь на тех же собраниях обли-
чали «врагов в нашем лоне». Никакие имена при этом
не упоминались. Никто не осмеливался назвать Джина
Дебса в лицо врагом. Когда он выходил на улицу, все
были с ним подчеркнуто вежливы. Оперативные работ-
ники Департамента юстиции, добровольные сыщики всех
видов, агенты по распространению Займа свободы — все
они рыскали вокруг его дома, но не отваживались войти и
предстать перед старым львом. Однажды «патриотиче-
ский» комитет дельцов начал угрожать рабочему-немцу.
Услышав об этом, Джин послал комитету записку, гла-
сившую: «Чем ходить в дом этого бедняги, приходите-ка
лучше ко мне. У меня есть дробовик, который ждет вас
не дождется». Но члены комитета не пришли...

Так мне и запомнился Джин Дебс: продолговатое
улыбающееся костлявое лицо, жест худой руки с длинны-
ми музыкальными пальцами, подчеркивающий на фоне
ярких петуний в ящике на перилах значение его слов.

— Что, разве плохо держалось большинство наших
ребят? Превосходно. Если это не могло их сломить, зна-
чит их вообще сломить невозможно. Социализм прибли-
жается, и им не удастся преградить ему путь, как бы
они ни старались. Чем больше та сторона совершает
промахов, тем лучше для нас...

И когда мы спускались по лестнице, Джин, сердеч-
ный и обаятельный, пожимал нам руки и хлопал нас по
плечу. На прощанье он сказал громко, так, чтобы со-
седи могли его слышать:

— Передайте всем ребятам, которые борются, где
бы они ни находились, слова Джина Дебса. Он пойдет
с ними до самого конца без колебаний и без страха!

СОДЕРЖАНИЕ

<i>И. Анисимов. Литературное творчество Джона Рида . . .</i>	3
ВОССТАВШАЯ МЕКСИКА. <i>Перевод П. Охрименко</i>	31

РАССКАЗЫ

Капиталист. <i>Перевод П. Охрименко</i>	271
Куда влечет сердце. <i>Перевод П. Охрименко</i>	279
Игра Правосудия. <i>Перевод П. Охрименко</i>	286
Еще один случай неблагодарности. <i>Перевод П. Охрименко «</i>	290
Увидеть — значит поверить. <i>Перевод П. Охрименко . .</i>	294
Мак-Американец. <i>Перевод П. Охрименко</i>	307
Дочь революции. <i>Перевод П. Охрименко , ...</i>	313
Права малых наций. <i>Перевод П. Охрименко</i>	327
Потерянный мир. <i>Перевод П. Охрименко</i>	332
Ночь на Бродвее. <i>Перевод П. Охрименко</i>	338
Глава рода. <i>Перевод П. Охрименко «</i>	346
«Так принято». <i>Перевод П. Охрименко</i>	355
Эндимион, или на границе. <i>Перевод Б. Кокорева . . .</i>	361
Кок — отважный капитан. <i>Перевод С. Раскиной и Е. Пестковской «</i>	371

ОЧЕРКИ

Война в Патерсоне. <i>Перевод С. Раскиной</i>	393
Война в Колорадо. <i>Перевод С. Раскиной</i>	404
Война торговцев. <i>Перевод С. Раскиной «</i>	444

Вместе с союзниками. <i>Перевод С. Раскиной</i>	449
Рузвельт их продал. <i>Перевод Е. Пестковской</i>	462
Непопулярная война. <i>Перевод Е. Пестковской</i>	471
Социальная революция под судом. <i>Перевод Е. Пест-</i> <i>ковской</i>	482
С Джимом Дебсом — в день Четвертого июля. <i>Перевод</i> <i>Е. Пестковской</i>	495


18 III 1961г.

Д Ж О Н Р И Д
ВОССТАВШАЯ МЕКСИКА
РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ

*

Редактор *Н. Ветошкина*
Художественный редактор *Д. Ермоленко*
Технический редактор *А. Трошин*
Корректор *Т. Лукьянова*

*

Сдано в набор 4/VI 1959 г. Подписано в печать
7/X 1959 г. Бумага $84 \times 108^{1/32}$ — 15,75 печ. л. =
= 25,86 усл. печ. л. 26,94 уч.-изд. л. Тираж 150 000.
Заказ 1352. Цена 14 р. 50 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

*

Ленинградский Совет народного хозяйства.
Управление полиграфической промышленности.
Типография № 1 «Печатный Двор»
имени А. М. Горького.
Ленинград, Гатчинская, 26.

14 р. 50 к.

ДЖОН
РИД

ГЯССЫЗЫ
ОЧЕРКИ